



САД УЧЕНЫХ НАСЛАЖДЕНИЙ



ВЫСШАЯ ШКОЛА
ЭКОНОМИКИ

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Институт гуманитарных историко-теоретических исследований
имени А.В. Полетаева

САД УЧЕНЫХ НАСЛАЖДЕНИЙ

*Сборник трудов ИГИТИ
к юбилею профессора
И. М. Савельевой*



Издательский дом Высшей школы экономики
МОСКВА, 2017

УДК 009
ББК 94.3
С14

Ответственные редакторы — *Е.А. Вишленкова,
А.Н. Дмитриев, Н.В. Самутина*

- С14 **Сад ученых наслаждений [Текст]:** сб. тр. ИГИТИ к юбилею профессора И. М. Савельевой / отв. ред. Е. А. Вишленкова, А. Н. Дмитриев, Н. В. Самутина ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики», Институт гуманитарных историко-теоретических исследований им. А. В. Полетаева. — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2017. — 348, [4] с. — 500 экз. — ISBN 978-5-7598-1551-8 (в пер.). — ISBN 978-5-7598-1625-6 (e-book).

Издание представляет собой *festschrift* по случаю юбилея Ирины Максимовны Савельевой, основателя (в 2002 году, совместно с А.В. Полетаевым) и бессменного руководителя Института гуманитарных историко-теоретических исследований им. А.В. Полетаева, ординарного профессора НИУ ВШЭ. Структура книги отражает разнообразие исследовательских интересов сотрудников Института. В нее вошли работы по истории идей и научных дисциплин; статьи о репрезентации и политиках прошлого; исследования коммуникативных практик в различных медиа и в городской среде.

Книга рассчитана как на профессионалов-исследователей, так и на читателей, интересующихся современными тенденциями в гуманитарных науках.

УДК 009
ББК 94.3

На обложке — фрагмент фрески Беноццо Гоццолли из цикла «Шествие волхвов» (1459–1460). Капелла волхвов, палаццо Медичи-Риккарди (Флоренция)

Опубликовано Издательским домом Высшей школы экономики <<http://id.hse.ru>>

ISBN 978-5-7598-1551-8 (в пер.)
ISBN 978-5-7598-1625-6 (e-book)

© Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2017

Содержание

Об искусстве ученых наслаждений.....	5
«ВИНОГРАД НАУК, ФОНТАН ИДЕЙ»: ИСТОРИЯ ИДЕЙ И ДИСЦИПЛИН	
<i>Павел Соколов, Юлия Иванова</i>	
Находчивая физика, или Абиссинская философия: картезианская наука о природе в лекции Джамбаттисты Вико «О способе изучения и преподавания наук в наше время»	9
<i>Александр Ф. Филиппов</i>	
Другие «люди Гоббса»: о философских источниках и перспективах одного социологического заблуждения.....	23
<i>Алексей Руткевич</i>	
Идеи 1914 года.....	41
<i>Сергей Матвеев</i>	
Формирование философии Франсуа Гизо	85
<i>Галин Тиханов</i>	
Герменевтика, социология и проблема «классического» в 1920–1930-е годы (Гадамер, Фрайер, Бахтин).....	99
<i>Александр Дмитриев</i>	
Встречи истории с социологией в тени «Великой войны»: имперское, национальное, европейское	124
<i>Олеся Кирчик</i>	
Экономика конвенций: как и для чего вернуть историю в экономический анализ?	153
«В ЧЕРТОГАХ ЗАБВЕНИЯ»: ИНСТИТУТЫ И ПОЛИТИКИ ПРОШЛОГО	
<i>Кира Ильина</i>	
Фридрих Фатер и Карл Гофман: филологи-классики из немецких университетов в России в середине XIX века	171
<i>Михаил Давыдов, Елена Вишленкова</i>	
«Герои двенадцатого года» и механизмы культурной памяти	183
<i>Вадим Парсамов</i>	
Журнальные рецензии как форма «классовой борьбы» в Советской России начала 1920-х годов.....	209

Борис Степанов

Советская историческая периодика в 1950–1960-е годы:

рамки и пределы модернизации227

**«БЕСЕДЫ И ПРОГУЛКИ»: ПРОСТРАНСТВА И ПРАКТИКИ
КОММУНИКАЦИИ**

Михаил Андреев

Трагикомедия Бомонта и Флетчера251

Петр Резвых

Романтические истоки туристической практики259

Кирилл Левинсон

Хиршенхоф и Ирши: трансформация локальной исторической
памяти под влиянием «ностальгического туризма»275

Наталья Самутина, Оксана Запорожец

Городские поверхности как пространство коммуникации:
прошлое и настоящее Берлина в культуре стрит-арта299

Александра Колесник

Репрезентация городских образов через историю
популярной музыки: опыт Шеффилда.....330

Источники использованных иллюстраций347

Об искусстве ученых наслаждений

Можно жить и мучиться. Можно работать и страдать. Можно творить и жаловаться. А можно любить и наслаждаться. Можно писать и получать от этого удовлетворение. Можно даже от административной работы иметь удовольствие. А от таких свершений, как создание и развитие успешного института, — точно можно. Древнее искусство жизни — превращать слезы в жемчужины.

Мы не смогли назвать свой подарок к юбилею ординарного профессора, директора Института гуманитарных историко-теоретических исследований им. А.В. Полетаева Высшей школы экономики, нашего руководителя и вдохновителя, сухо и сдержанно. Не вяжется образ Ирины Максимовны Савельевой с холодным отблеском цифр о стаже, со списком заслуг и хронологией событий. Никому из нас не хотелось дарить ей гербарий юбилейных материалов, подвязанный списком ее публикаций. Поэтому мы решили преподнести россыпь ученых наслаждений — статьи, которые мы с азартом писали для «большой науки», и эта россыпь отражает наши разнообразные исследовательские интересы и увлечения. Впервые мы издаем их вместе на русском языке и посвящаем творчеству и жизни яркой женщины, умеющей любить и ценить нетривиальное разнообразие.

Юбилей И.М. Савельевой совпал с 15-летием ИГИТИ. Мы надеемся, что сегодня эта аббревиатура не нуждается в расшифровке. Это бренд высококачественных исследований в области социального и гуманитарного знания. После фундаментальных книг, написанных Ириной Максимовной с Андреем Владимировичем Полетаевым, институт — их второе детище. В 2002 году он родился как маленький, сугубо элитарный коллектив, образованный вокруг тематики его творцов и их ближайших коллег. После ухода из жизни Андрея Полетаева ИГИТИ доказал свою жизнеспособность. И.М. Савельева последовательно превращала его в институцию, в которой сегодня работают вместе около 40 ведущих исследователей со специализацией в истории, философии, культурологии, социологии, филологии и лингвистике. Для эффективной работы и управления ИГИТИ разделен на четыре центра: истории и социологии знания, университетских исследований, истории наук о языке и тексте, исследований современной культуры. От выделения этих исследовательских зон институт не утратил целостности, но обрел устойчивость.

Написать яркие книги в соавторстве с любимым человеком — дело таланта, азарта и вдохновения. Создать уже без него большой и успешный институт — дело каждодневного труда и упорства. На этом пути много препятствий и ловушек. Не то чтобы ум, опыт и тонко настроенное чув-

ство красоты автоматически избавляют Ирину Максимовну Савельеву от ошибок, но они явно способствуют правильному выбору сотрудников-единоверцев.

Мы надеемся, что эта книга — букет, собранный из экзотических растений, — продемонстрирует читателям искусство аранжировки и флористики, которым владеет наш директор. Мы поздравляем Ирину Максимовну Савельеву с днем ее рождения и желаем, чтобы у нее и в ИГИТИ ничего не менялось: чтобы каждый день садовник выходил в любимый сад и чтобы все саженцы в нем цвели, доставляя читателям интеллектуальные наслаждения.

Ведущие и ведомые, научные и культурные сотрудники ИГИТИ

«ВИНОГРАД НАУК,
ФОНТАН ИДЕЙ»:
ИСТОРИЯ ИДЕЙ
И ДИСЦИПЛИН



Павел Соколов,
Юлия Иванова

НАХОДЧИВАЯ ФИЗИКА, ИЛИ АБИССИНСКАЯ ФИЛОСОФИЯ: КАРТЕЗИАНСКАЯ НАУКА О ПРИРОДЕ В ЛЕКЦИИ ДЖАМБАТТИСТЫ ВИКО «О СПОСОБЕ ИЗУЧЕНИЯ И ПРЕПОДАВАНИЯ НАУК В НАШЕ ВРЕМЯ»

Наше исследование¹ представляет собой не более чем скромное *addendum* к поистине безбрежной литературе, посвященной отношениям Вико с философией Декарта и картезианцев, в особенности же его антикартезианским аргументам в программной инаугурационной речи 1708 года (опубликована в 1709 году) «О методе преподавания и изучения наук в наше время» («De nostri temporis studiorum ratione»). Мы оставим в стороне хрестоматийно известные направления критики Декарта у Вико, такие как демонстрация несостоятельности *cogito* в качестве «несокрушимого основания достоверности» в «О наидревнейшей мудрости италийцев» или указание на ограниченность Декартовой философии «истинного» (*verum*), и сосредоточимся на подходе неаполитанского философа к картезианской физике, уделив специальное внимание фигуре картезианца Томаса Бернета и его «теории Земли». Мы предполагаем пролить новый свет на проблему, которая могла бы показаться безнадежно исчерпанной — феномен «проникновения риторики за границы полиса» как конститутивной черте эпистемического стиля Вико («*transplantation of rhetoric beyond the polis*», выражение Дэвида Маршалла²). Под этим выражением подразумевается использование одного и того же когнитивного инструмента — метафоры, и одной и той же способности души — «находчивости» (*ingenium*) одновременно

¹ Исследование выполнено в рамках Программы фундаментальных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и с использованием средств субсидии на государственную поддержку ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров, выделенной НИУ ВШЭ.

² Marshall D.L. Vico and the Transformation of Rhetoric in Early Modern Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. P. 121.

в целом ряде областей, по видимости, далеко отстоящих друг от друга: эстетике (теория возвышенного), риторике и физике. Несмотря на то что сама по себе проблема «ingenium у Вико» звучит уже как клише или даже тавтология³, рассмотрение ее по-прежнему остается плодотворным для понимания специфического способа обращения неаполитанца с конкурирующими теориями: его парадоксальной склонности конструировать выраженно субъективные и эмоционально окрашенные, порой сбивающие с толку или даже внутренне противоречивые образы своих оппонентов.

От запланированного Вико специального сочинения, посвященного физике, «Книги о физике» («*Liber physicus*»), уцелел лишь небольшой набросок, вследствие чего мы вынуждены собирать разрозненные фрагменты, относящиеся к интересующей нас теме, извлекая их из разных по проблематике и времени написания его сочинений: «О методе...» (1709), «О наидревнейшей...» (1710), «Жизни Джамбаттисты Вико, написанной им самим» (1723/1728) и «Новой науки» всех трех редакций (1725, 1730 и 1744) — и уделяя специальное внимание пятой главе «О методе...». Как известно, Вико начинает «*De ratione*» с похвалы Бэкону — фигура Веруламца здесь очевидным образом связывается с экспериментальным методом, пользовавшимся большой популярностью в Неаполе эпохи Сейченко. В юности Вико и сам отдал ему дань (вспомним о его близости к кругу неаполитанских эпикурейцев и членство в «Академии исследователей⁴»). Однако эта отсылка к экспериментальному методу соседствует с идеей о его риторической основе: в известном пассаже Вико противопоставляет чисто картезианскую дедукцию (основной метод декартовой геометрии), предполагающую длинную цепочку аргументов, в которой каждый последующий тесно связан с предыдущим, и метод сближения разнородных понятий в риторической операции нахождения:

Все новейшие физики довольствуются строгой и скупой манерой рассуждения: а коль скоро физика эта и в той форме, в какой она преподается, и в той, в какой она воспримется, извлекает выводы из смежных с ними посылок, то она заглушает в учениках ту способность, которая представляет собой собственное достояние философов — умение видеть сходства в далеко друг от друга отстоящих и совершенно различных вещах, каковое почитается основанием и источником любой остроумной и живописной манеры выражения. Ведь тонкость (*tenue*) не тождественна остроумию (*acutum*): тонкость подобна прямой линии,

³ Основная библиография, посвященная этому сюжету, была собрана на специальном ресурсе Стефано Джесини: <www.lettere.uniroma1.it>.

⁴ См.: *Badaloni N. Laici Credenti all'Alba del Moderno: La Linea Herbert-Vico*. Firenze: Le Monnier, 2005; *Barnouw J. Vico and the Continuity of Science: The Relation of His Epistemology to Bacon and Hobbes* // *Isis*. 1980. Vol. 71. No. 4. P. 609–620; *Iannizzotto M. L'empirismo nella gnoseologia di Giambattista Vico*. Padua: CEDAM, 1968.

а остроумие — углу, образованному двумя. В остроумных речениях главенствующее положение принадлежит метафоре, каковая является достоинством и призывным украшением всякой живописной речи⁵.

Впоследствии, в «Автобиографии», Вико развивает концепцию «находчивой физики», проводя аналогию между тем способом, каким *ingenium* действует в природе, и функционированием его в общей системе способностей души: «Латиняне называли природу *ingenium*, основное свойство которого — острота; точно так же и природа образует и преобразует все вещи посредством воздушного резца»⁶. «Острота», действующая как в физической, так и в человеческой природе, — принцип, который египтяне символически представляли в форме пирамиды⁷, — образует общее основание красноречия и естественных наук, делая возможным применение способности нахождения как в гражданском, так и в природном мире. Еще в одном хорошо известном пассаже из «О наидревнейшей мудрости италийцев» Вико утверждает, что красноречие и «способность к наблюдению» в науках о природе происходят из одного источника (*ex iisdem fontibus, ex quibus copiosi oratores, et observatores etiam maximi provenire possint*). Помимо операции нахождения, еще одной общей чертой физики и риторики является принадлежность их обеих к области правдоподобного (*verisimile*): в риторической практике переход посредством «длинной цепи рассуждений» от первой истины к истинам производным (от *primum verum* — к *vera secunda*) порождает у слушателей скуку, в физике же применение геометрического метода (*mos geometricus*) наталкивается на невозможность распространить математическое доказательство на мир природных явлений, потому что, в отличие от Бога, мы не являемся его творцами; этот тип доказательства может функционировать лишь как способ упорядочения материала (*a geometria methodum quidem habent, non demonstrationem*). Уже в одном из ранних сочинений Вико, в его третьей инаугурационной речи, приложение геометрии к физике выступает примером «лукавства» (*dolus*) и «злого умысла» (*mala fraus*)⁸. Специфическая ущербность новейшей «геометрической» физики, ее необоснованные притязания на то, чтобы быть единственной достоверной наукой, неоднократно обличаются в более поздних сочинениях Вико. В «Новой науке» (начиная с версии 1730 года) физический мир (*globo mondano*) на «Аллегорической картине» («*Dipintura*»)

⁵ Vico G. De nostri temporis studiorum ratione // Id. Opere. 2 vols / A cura di A. Battistini. Milano: Meridiani Mondadori, 1990. Vol. 1 (далее — De rat.). P. 116.

⁶ Vita di G.B. Vico scritta da se medesimo (1725–1728) // Opere scelte di Giambattista Vico. Vol. 1. Milano: Società tipografica de' classici italiani, 1836. P. 407.

⁷ Ibid.

⁸ Vico G. Le Orazioni inaugurali / A cura di G.G. Visconti. Bologna, 1982. III Orazione. P. 7.

изображен опирающимся на символический алтарь лишь одной своей стороной. Как сам автор объясняет в примечании к ней (*spiegazione*), это указывает на односторонность современной физической науки в противовес науке гражданской (*scientia civilis*).

Один из главных аргументов Вико против «новой» (картезианской) физики заключался в указании на фиктивность ее природы. Если сравнить между собой критику того способа построения автобиографического нарратива, который был характерен для Декарта как автора «Рассуждения о методе», и аргументы Вико против одной из наиболее известных картезианских космогоний — «теории Земли» Томаса Бернета, — изложенные в «Новой науке» 1725 года, то мы без труда сможем различить в них общее основание: оба этих текста характеризуются как фиктивные, «художественные» произведения. В «О методе...» Вико утверждает, что конститутивное применение новой физики к природному миру потребовало бы открытия «некоего совершенно нового порядка явлений в качестве ее короллария» (*aliquod novum phaenomenon explices, tanquam eiusdem physicae corollarium*)⁹, — по нашему мнению, здесь мы можем усмотреть отсылку к логике конструирования «возможного мира», характерной для «О мире» Декарта¹⁰. Вико рассматривает два аспекта картезианской философии, каждый из которых он определяет как «басню». Первый из них — воображаемая автобиография вневременного и внеисторического «я» из «Рассуждения о методе» (в собственной автобиографии Вико, как известно, утверждает, что «не собирается измышлять», *non fingerassi*, историю своей жизни); второй — космологическая «фантазия» (*fantasia*) Томаса Бернета, которая, по мнению неаполитанца, была почерпнута именно из Декартова «О мире» (заслуживает внимания плеонастическое использование в цитируемом ниже фрагменте терминов, связанных с воображением и вымыслом: *capricciosa-immaginata-fantasia*)¹¹:

Это доказательство поистине разрушает лжеискусное разрушение Земли, вымышленное Томасом Бернетом; каковой вымысел он сочинил под влиянием, во-первых, Ван Гельмонта, а во-вторых — «Физики» Картезия: будто бы Земля подверглась большому разрушению в своей южной части, чем в северной; в недрах последней осталось-де больше воздуха, отчего она сделалась более плавучей и потому более высокой, чем противоположная ей часть, полностью

⁹ De rat. P. 114.

¹⁰ О роли фикции и связанных с нею эстетических категорий в эпистемологии Декарта и его последователей см.: Labio C. *Origins and the Enlightenment: Aesthetic Epistemology from Descartes to Kant*. N.Y.: Cornell University Press, 2004. P. 15–34.

¹¹ «Чтобы вам не наскучило это длинное рассуждение, я представлю кое-что в виде аллегории (*fable*), в которой, надеюсь, истина выступит достаточно ясно; читать ее будет не менее приятно, чем простое изложение» (Декарт Р. Мир, или Трактат о свете // Он же. Сочинения: в 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1989. С. 196).

затопленная водами Океана; вследствие чего Земля отчасти отклонилась от равномерного своего движения вокруг Солнца¹².

Несмотря на кажущиеся различия, история мира наций у Вико и картезианская физика имеют ряд общих предпосылок: обе они заняты пред-
метами, которые в соответствии с аристотелевскими критериями науч-
ности были исключены из сферы аподиктического доказательства. Если
гражданская наука имеет дело с «недоверенностью человеческого произ-
вола» (*incertitudo arbitrii*), то физика занимается миром протяженных тел и
неравномерных движений — тем самым, эти науки охватывают две главные
части «мира фактичности». Образ Декарта у Вико весьма неоднозначен: как
мы узнаем из «Жизни Вико», впервые с картезианской физикой и метафи-
зикой он познакомился, тайком взяв с полки в отцовской библиотеке (Ан-
тонио Вико был книгопродавцем) «Основания физики» Хенрика Регия, под
именем которого, как он ошибочно считал, скрывался сам Картезий. Однако
Вико, по всей видимости, не подозревал о настоящем отношении Декарта к
его неверному ученику и ничего не знал об ожесточенной полемике между
ними, вспыхнувшей в конце 1640-х годов, поэтому он принял «Основания»
Регия за буквальное изложение Декартовой физики¹³. Мы можем видеть, что
в обоих случаях (в обоих пассажах, посвященных Регию и Бернету) многооб-
разие различных версий картезианства оказывается в значительной степени
сглажено: Вико смешивает между собой «картезианскую» интерпретацию
Книги Бытия у английских «теоретиков Земли» и мысленный эксперимент
из трактата «О мире» самого Декарта; кроме того, он подводит физику Регия
под рубрику Декартовой философии *primum verum*, несмотря на разногла-
сия между ними. В «Жизни Вико» философия Декарта предстает ущербной
и неспособной служить фундаментом какой-либо более частной науки, будь
то этика (проект построения картезианской этики, анонсированный Маль-
браншем, завершился неудачей), логика (декларативные картезианцы Арно
и Николь в действительности построили систему своей логики, опираясь на
Аристотеля) или медицина (ибо «картезианского человека не видел ни один
анатом»)¹⁴. Эта бесплодность картезианского метода в его применении к кон-

¹² Vico G. *Principi di una Scienza Nuova intorno alla natura delle nazioni per la quale si ritrovano i principii di altro sistema del diritto naturale delle genti*. Napoli: Diogene, 2014. P. 53. Паоло Росси подчеркивал родство моделей мировой истории у Вико и Бернета, а также близость их эстетических воззрений, отмечая, вместе с тем, и расхождения между ними — так, при-
верженность доктрине *prisca sapientia* и христологическая доминанта в трактате Бернета со-
вершенно чужды мышлению Вико (Rossi P. *The Dark Abyss of Time: The History of the Earth
and the History of Nations from Hooke to Vico*. Chicago: Chicago UP Press, 1987. P. 106).

¹³ О разногласиях между Декартом и Регием см.: Fowler C.F. *Descartes on the Human Soul: Philosophy and the Demands of Christian Doctrine*. Dordrecht: Kluwer, 1999. P. 340–410.

¹⁴ Vita di G.B. Vico... P. 388.

клетным дисциплинам коррелятивна оторванности философии Декарта от эмпирического материала — и «теория Земли» Бернета представляет собой лишь одну из попыток, заведомо обреченных на провал, приложить картезианский теоретический инструментарий к объектам реального мира.

Аргументация с позиций скептицизма — идея, согласно которой картезианское доказательство существования внешнего мира в «Шестом Рассуждении» представляет собой не более чем паралогизм, а физика его «покоится на неправомерной эмпирической гипотезе¹⁵», — красной нитью проходит через всю раннюю историю рецепции Декарта. Как и в большинстве случаев, критика Декарта у Вико несет в себе черты того образа философа, который имел широкое хождение среди граждан Республики ученых. Впрочем, определенные предпосылки возникновения этого «имиджа» можно найти в текстах самого Картезия: в «Метеорологии» и «Диоптрике» рассуждение Декарта и в самом деле строится в режиме гипотезы, что отчасти может рассматриваться как элемент своего рода «философской пруденции» (ср. известное утверждение Декарта о том, что он должен «прощупать почву», *sonder le guay*, прежде чем предлагать радикально новые идеи, а также его девиз *larvatus prode*). Впрочем, в переписке своей Декарт указывал на то, что необходимые предосторожности были не единственной причиной того, чтобы не эксплицировать всю последовательность аргументов, связывающих между собой причины и следствия: «Я мог бы вывести все выше-сказанное из первых истин, но предпочел не делать этого»¹⁶.

Как бы то ни было, именно гипотетическое рассуждение составляет основу того метода, которым Декарт пользуется в своей физике — это отмечали как противники его, так и сторонники. Показательно, что допущение гипотетического метода существенным образом деформирует Декартову концепцию демонстративного доказательства, побуждая Картезия отказаться от аристотелевского понимания его как безошибочного выведения посылок силлогистическим методом из первых принципов¹⁷. Внутреннее напряжение картезианской идеи аподиктического доказательства (дедукция *vs* восхождение от следствий к их гипотетическим причинам и *vice versa*) вызвало среди последователей французского философа разногласия в вопросе об объяснительном потенциале гипотез, истинность которых не была гарантирована. Прежде чем перейти к анализу того решения, которое предложил для этой проблемы Бернет, рассмотрим показательный пример апологии «гипотетического» метода в физике у Расмуса Бартоли-

¹⁵ Marcialis M.T. Sceptical Readings of Cartesian Evidence in Seventeenth- and Eighteenth Century Italy // The Return of Scepticism: From Hobbes and Descartes to Bayle // G. Paganini (ed.). Dordrecht: Kluwer, 2003. P. 243.

¹⁶ Garber D. Descartes' Metaphysical Physics. Chicago: Chicago University Press, 1992. P. 22.

¹⁷ Об этом см.: Clarke D.M. Descartes Philosophy of Science and the Scientific Revolution // The Cambridge Companion to Descartes / J. Cottingham (ed.). P. 258–285.

на (1625–1698), датского последователя картезианской философии. В своих «Академических вопросах о чудесах природы» («*De naturae mirabilibus quaestiones academiae*») Бартолин собрал самые сильные аргументы, отличающие онтологическую ущербность картезианского гипотетического метода в физике. Он указывает на принципиальную недопустимость критики гипотетического метода с эмпирических позиций в духе Вико. Бартолин подчеркивает, что сама природа гипотезы делает невозможным доказательство ее посредством опыта¹⁸; тем не менее, он прекрасно осознает опасность произвольного конструирования гипотез¹⁹. Парадоксальным образом, основной гарантией состоятельности картезианской модели в физике оказывается ее внутренняя логическая связность и безальтернативность приводимых Декартом доказательств: конкурирующие теории оказываются в затруднительном положении вследствие того, что «едва ли возможно изобрести другую столь же совершенную теорию»²⁰. Тем самым доказательная сила картезианской физики оказывается заключена не в наличии необходимой связи между теорией и ее объектом, а скорее в ее риторической эффективности. Так виртуозность теории, затрудняющая возможность миметического ее воспроизведения, оказывается основанием ее научной убедительности, а эстетические критерии смешиваются с эпистемологическими. Даже на уровне терминов, которыми оперирует Бартолин для описания воздействия, оказываемого логически когерентными аргументами на того, кто их воспринимает, мы можем видеть родство с риторическими категориями: гипотетическая способность картезианского аподейксиса «направлять души» (*ferre animos*) естественным образом ассоциируется с Цицероновым *animus movere*; стилистические характеристики дедуктивного рассуждения также не могут не напоминать риторические качества «простоты и естественной красоты» (*simplicitas, naturalis venustas*) рассуждения²¹; не менее характерным

¹⁸ «Самой природе гипотез противоречит, чтобы доказательство их достоверности основывалось на демонстрации самой вещи: ведь нет места предположению там, где сам опыт свидетельствует об истинном положении дел» [*Naturae hypothesis repugnat, ut demonstretur eas, ex rei compertae fide esse excogitatas; desinuntque esse suppositiones, ubi experimenta rem ipsam ostendunt*] (*Bartolinus E. De naturae mirabilibus quaestiones academiae*. Hafniae: Georgii Gōdiani, 1674. P. 74–75).

¹⁹ Ibid. P. 75.

²⁰ «Следует или придерживаться этого изобретения (картезианской физики. — П. С.), или же измыслить (*figendum*) другое, столь же совершенное; о том, сколь это трудно и даже, быть может, непосильно для смертных, может судить всякий, кто внимательно будет рассматривать отдельные явления» [*aut standum esse hoc invento, aut aliud diversum aequalis perfectionis figendum; quod quam sit difficile, adeoque mortalium arduum nimis, fatebitur ille, qui singula penitus consideraverit*] (Ibid. P. 76).

²¹ «Как же нам не хвалить и не отзываться с почтением об этой простоте и непосредственности в исследовании истины, которое без лишних прикрас, при помощи одной лишь естественной красоты придает блеск ничтожным материям и не только объясняет, но и приводит неопровержимые доказательства как всем явлениям природного мира, так и тому, что

представляется упоминаемый Бартолином моральный навык пользования только отчетливыми понятиями в своих рассуждениях (*diuturnitas distincte ratiocinandi, et disserendi, methodum hanc convertit in mores*²²), наделяющий геометрический метод этическим измерением, характерным для риторики. Показательно, что Бартолин говорит о «некоей неборимой силе» (*invicta quaedam vis*²³), присущей дедуктивной аргументации, и предлагает распространить этот тип доказательства также и на область повседневной практики (*in quotidianae vitae communi commercio*). Эта интерференция математического доказательства и риторики представляет собой один из возможных путей преодоления коммуникативной ограниченности картезианского метода; другой же представлен одной из *bête noire* викианского пандемониума, Томасом Бернетом.

Как мы уже отмечали выше, главный космологический труд Бернета, «Священная теория Земли» («*Telluris theoria sacra*», 1681; английский перевод под названием «*The Sacred Theory of the Earth*» вышел три года спустя), несмотря на присущий ему апологетический пафос (автор сознательно представляет свое сочинение как опровержение лжеучения Исаака Ла Пейрера о вечности мира²⁴), породил ожесточенную полемику, отголоски которой ощущались по всей Европе, и после краткого периода воодушевления встретил скорее критическую реакцию со стороны современников. В предисловии к английскому изданию Бернет выдвигает против своих противников неожиданный контраргумент; как проникательно отметил М. Принс, он «не отвергает критику, а обращает ее себе на пользу!»²⁵. Обращая ору-

имеет место в повседневном обиходе?» [Quis non laudabit, et suspiciet hanc ingenuitatem, et simplicitatem investigandae veritatis, quae nullo fuco, sed naturali venustate, nitorem addit vilioribus, et quicquid in mundi ambitu continetur, vel est in quotidianae vitae communi commercio, non tantum explicat, sed demonstrat?] (*Bartolinus E. Op. cit.* P. 79).

²² Ibid. P. 80.

²³ «Этим необходимым выводам присуща некая неборимая сила, оказывающая сильное, словно бы таинственное влияние на человеческий дух <...> Поэтому слов в них мало, а учат они многому; никогда не позволяют увлечь себя случайности или поддаться влиянию толпы; в них высказывается лишь то, что ясно следует из посылок и соответствует ходу доказательства; лишь свойственное Философии и истине. Ибо как в Физике, так и в Математике и Геометрии лик философии един» [Hisce consequentiis necessariis indita est invicta quaedam vis, quae animos graviter ferit, quamquam ex abdito <...> Hinc pauca loquuntur, multa docent, nunquam fortuito disserunt, aut vulgaria; sed ea tantum enunciant, quae consequentia patefecit, demonstratio conclusit; propria Philosophiae, et veritati: eritque tam in Physica, quam in Mathematicis et Geometria, unus idemque Philosophiae vultus] (Ibid. P. 77).

²⁴ Magruder K.V. Thomas Burnet, Biblical Idiom, and Seventeenth-Century Theories of the Earth // *Nature and Scripture in the Abrahamic Religions: Up to 1700*. 2 vols // J. van der Meer, S. Mandelbrote (eds). Vol. 1. Leiden: Brill, 2008. P. 462.

²⁵ Prince M.B. A Preliminary Discourse on Philosophy and Literature // *The Cambridge History of English Literature, 1660–1780* / J. Richetti (ed.). Cambridge: Cambridge University Press, 2005. P. 400.

жие своих врагов против них самих, Бернет утверждает, что любая теория с определенной точки зрения может рассматриваться как роман:

Некоторые люди, пусть и не лишенные остроумия и разносторонне одаренные, но недалекие и не склонные к размышлению, с легкостью отвергают как вымысел и фантазию все, что не подчиняется диктату чувств и не может быть ими непосредственно удостоверено. Люди подобного темперамента или характера называют такие теории, как наша, философскими романами, и находят это выражение остроумным. Они согласны признать их занятой игрой ума, но считают, что в них нет ни истины, ни содержания. Они говорят о романе всякий раз, когда имеется налицо многообразие частей в должном сочетании их друг с другом, и гармоничное сопряжение этих частей вызывает изумление, однако таковыми романами должны быть все теории природы и Провидения, если только они хорошо составлены²⁶.

«Остроумные» критики Бернетовой физикотеологии впадают в заблуждение, потому что им недостает проницательности, позволяющей «мысленным взором охватить огромные эпохи и великое многообразие вещей». Таким образом, Бернет описывает свой «романический», основанный на действии воображения, метод в том же ключе, что и Вико, когда тот говорит, что «мы не создаем и не изобретаем сами [естественно-научные истины], а лишь находим или открываем их»²⁷. В средоточии этого метода нахождения, пролагающего «путь от хаоса к порядку»²⁸, заключена «формула оригинальной эстетической теории» — идея «мужественной красоты» всякой научной теории: «Когда же все они [необходимые для научного знания факты] открыты, как следует обработаны, тщательно осмыслены, то в получившейся таким образом Теории больше красоты, по крайней мере, мужественной красоты, чем в любой Поэме и в любом Романе»²⁹. Ученые спорят о том, насколько велика была зависимость английских авторов теорий Земли от Декарта: Ж. Роже считает, что в «О мире» Декарт описывает возникновение Земли «в некотором вневременном модусе» в противополож-

²⁶ Burnet Th. *The Sacred Theory of the Earth*. L.: Printed for M. Wotton, 1697. Preface, s.p.

²⁷ Coppola A. *Imagination and Pleasure in the Cosmography of Thomas Burnet's Sacred Theory of the Earth* // *World-building and the Early Modern Imagination* / A.B. Kavey (ed.). N.Y., 2010. P. 120.

²⁸ См. другое его высказывание, относящееся к этому же предмету: «Близорукие умы неспособны к Философии, собственным делом которой является открытие и описание явлений мира и их причин посредством всеобъемлющих теорий» [Short-sighted minds are unfit to make Philosophers, whose proper business it is to discover and describe in comprehensive Theories the *Phaenomena* of the World, and the Causes of them].

²⁹ Roger J. *The Cartesian Model and Its Role in the Eighteenth-Century "Theory of the Earth"* // *Problems of Cartesianism* / T.M. Lennon, J.W. Davis (eds). Kingston: McGill-Queen's University Press, 1996. P. 95–112.

ность историческому способу изложения у Томаса Бернета³⁰, в то время как П. Харрисон полагает, что разница между ними — лишь в нюансах. По мнению Харрисона, Бернет лишь «отчасти историзирует» картезианскую модель; его геогония напоминает нам скорее Гоббсов мысленный эксперимент, естественное состояние³¹. По мнению некоторых исследователей, Бернет унаследовал от Декарта «как его чувствительность к темпоральному измерению, так и эпистемологические установки»³² — несмотря на его открыто артикулированное желание дистанцироваться от Моисеева повествования о сотворении мира, Декарт стремится ввести элемент диахронии в свою физику, эксплицируя «воображаемую структуру рационального порядка»³³. Следуя по стопам Декарта в своей космогонии, Бернет претендует на то, что его теория представляет собой не просто спекулятивную реконструкцию Сотворения мира, а «рассказ о том, что в самом деле происходило тогда на Земле» (гл. 7 «Священной теории»). Возможность применения Бернетовой гипотетической космогонии к реальной истории Земли основывается на постулируемом им совпадении структур человеческого интеллекта и мира, сотворенного Богом (т.е. соответствия друг другу «Интеллектуального Мира» и природного³⁴). В полном согласии с утверждением Вико о том, что «простота притупляет *ingenium*, а трудности оттачивают его» (*facilitas dissolvat, difficultas vero acuat ingenia*), Бернет посвящает пространное рассуждение тому удовольствию, которое возникает в нас от упражнения риторических способностей³⁵. В то же время ключевым аргументом в защиту научной состоятельности («fairness») его «протогеологической» теории, подобно тому как это было у Бартолина, оказывается ее «логическая связность и потенциальная истинность», а также «противоречивость и невозможность» всех прочих³⁶. Более того, вся конструкция доказательства у Бернета увенчива-

³⁰ Harrison P. The Influence of Cartesian Cosmology in England // Descartes' Natural Philosophy / S. Gaukroger, J. Schuster, J. Sutton (eds). N.Y.: Routledge, 2000. P. 178.

³¹ О мысленном эксперименте «уничтожения мира» (*annihilatio mundi*) как отправной точке естественной философии у Томаса Гоббса см.: Zarka Y.Ch. La décision métaphysique de Hobbes: conditions de la politique. Paris: Vrin, 1999. P. 36–58.

³² Magruder K. V. Op. cit. P. 456.

³³ Prince M.B. Op. cit. P. 399.

³⁴ Burnet Th. Op. cit. P. 3–4.

³⁵ «Обоснованная идея того, как вообще был возможен Потоп <...>, правдоподобное и непротиворечивое Объяснение Всемирного Потопа <...>, все прочие до сих пор приводившиеся Объяснения Ноева Потопа нескладны и невозможны; поэтому следует считать, что он произошел именно так, как мы правдоподобно и убедительно изложили в нашем сочинении» (Ibid. P. 54).

³⁶ Mr. Addison's Ode to Dr. Thomas Burnet on His Sacred Theory of the Earth. L.: Printed for T. Warner, 1727.

ется фантастическим образом, достойным Бернара де Фонтенеля: Бернет предлагает читателю взглянуть на Землю глазами некоего «инопланетного визитера», явившегося на нашу «маленькую грязную планету» из чистого любопытства и обзирающего ее с вершины «горы на Тенерифе»³⁷.

Таким образом, становится понятным, почему как сторонники, так и противники Теории Земли Бернета приводили в свою поддержку аргументы эстетического характера. Так, Джозеф Аддисон посвятил Бернету оду, в которой прославлял «Священную историю» за ее литературные достоинства, в то время как Мельхиор Лейдеккер (1642–1722)³⁸, критиковавший англичанина с позиций протестантской ортодоксии, порицал его теорию за идею о непрочности допотопного и невзрачности послепотопного мира: «Боже Милостивый, если я хоть что-то здесь понял, выходит, что шар Земной раскололся и рассыпался на части, и мы живем на его руинах!»³⁹. У Мельхиора Лейдеккера были особые причины не любить Бернета — будучи энтузиастическим сторонником «продолжения Реформации» (*Nähere Reformation*) и последовательным критиком картезианства (в этом он следовал своему учителю Гейсберту Воссю), он не мог найти лучшей цели для своих нападок. Помимо собственно богословских аргументов, целью которых является гелиоцентризм самого Бернета и Декарта, мы можем видеть в полемическом трактате Лейдеккера столкновение конкурирующих эстетических программ: на классицистический вкус нидерландского автора допотопная Земля в изображении Бернета, «от самого возникновения обреченная на разрушение» (*ad ruinam mox ab ortu preparanda*), лишена малейшего намека на красоту (*nam Bruneti primigenia Tellus nullum habet κάλλος vel pulcritudinem, minime κόσμος est*). Другой картезианский троп, изобличенный и разоблаченный Лейдеккером, — переплетение аллегорезы и гипотетического метода (*metaphoricam ρήσιν flectere ad novam Hypothesin*); злоупотребление ученой метафорой, приводит к жонглированию необоснованными гипотезами, потому что когнитивный механизм, лежащий в их основе, идентичен. Если критика Лейдеккера в общем и целом сводится к приведению эстетических и богословских аргументов, то большинство

³⁷ Возможно, имеется в виду вулкан Тейде, самая высокая точка Испании. — П. С.

³⁸ *Leidekker M. De Republica Hebraeorum libri duodecim, quibus de sacerrima gentis origine et statu in Aegypto, de miraculis divinae providentiae in Reipublicae constitutione, de Theocratia, de illius sede ac civibus, de regimine politico, de religione publica ac privata, disseritur. Porro antiquitates Judaeorum verae ostenduntur, et falsae corriguntur, historia Veteris Testamenti exponitur, fabulosae origine Gentium, Aegyptiorum, Phoenicum, Arabum, Chaldaeorum, Graecorum et Romunorum referuntur. Subjicitur Archaeologia Sacra, qua historia creationis et diluvii Mosacia contra Burneti profanum telluris Theoriam asseritur. Amstelaedami: Apud Isaacum Stokmans, 1704. P. 88.*

³⁹ «Однако все мыслимые границы дерзости перешел Бернет, когда признал, что система Картезия противоречит Писанию, равно как и его учение о том, что Солнце находится в центре Вселенной» [At omnem audaciam superavit Burnetus, dum fassus est systema Cartesii Scripturis repugnare, nec minus suum de Sole in medio Universi constituendo] (Ibid. P. 87).

оппонентов Бернета оспаривали его научный метод с эпистемологических позиций, в первую очередь ополчаясь против его приверженности картезианскому гипотетическому методу. Так, в противоположность ожесточенной, но серьезной критике Бернета у таких авторов, как Уистон, Кейль и Вудворд, Роберт Сент-Клер, ассистент Роберта Бойля и адепт экспериментального метода⁴⁰, беззастенчиво третирует своего оппонента в весьма пренебрежительной манере, заявляя, например, что «добрая женщина, которая печет пирожки на продажу, приносит обществу больше пользы, чем ученый доктор своей теорией». Собственная теория Потопа у Сент-Клера изображает генезис этой катастрофы как химический процесс, «конфликт противоборствующих солей, кислот и щелочей» в недрах Земли. Чтобы доказать свою гипотезу, он провел совместно со своим другом, венецианским послом, опыт: извержение подземных вод «Техом-Рабба» (Великой Бездны из Быт. 1, 2) было воспроизведено *in vitro* при помощи сифона, кислоты, купороса и металлических опилок⁴¹. В исполненном сарказма пассаже, подчеркивающим произвольный характер выбора элементов, взаимодействие которых полагается у Бернета в основание его теории (масло, соль и земля), Сент-Клер настаивает на том, что даже его собственная экспериментально подтвержденная гипотеза никоим образом не может рассматриваться как историческая реконструкция того, что происходило с Землей во время Всемирного Потопа (мы позволим себе привести аргумент Сент-Клера целиком):

Отныне пусть Парацельс оставит свои три принципа — соль, серу и ртуть, Аристотель свои четыре элемента, Декарт свои три начала — тонкую материю, частицы второго элемента и материю третьего элемента, а многоопытнейший Ван Гельмонт свою аксиому, согласно которой все вещи состоят из воды и семенных начал; хотя бы опыт и научил его, а через него и других естествоиспытателей, что не только масло, но также и соль, и земля состоят из воды — ведь это доказывается *a posteriori* или от следствий, посредством эксперимента (основания любого нашего знания о природе). Но что касается допотопного мира, то, коль скоро он не слишком заботит нас в настоящий момент, то оставим рассмотрение принципов его устройства Абиссинским Философам⁴², доказывающим все что угодно *a priori*⁴³.

⁴⁰ Hunter M. Boyle Studies: Aspects of the Life and Thought of Robert Boyle (1627–1691). Dorchester: Ashgate, 2015. P. 14.

⁴¹ St. Clair R. The Abyssinian philosophy confuted, or, *Telluris theoria* neither sacred nor agreeable to reason being for the most part a translation of Petrus Ramazzini, *Of the wonderful springs of Modena*: illustrated with many curious remarks and experiments by the author and translator: to which is added a new hypothesis deduced from Scripture and the observation of nature: with an addition of some miscellany experiments. L., 1697. Preface, s.p.

⁴² Этот каламбур основан на сходстве английских слов *abyss* — бездна и *Abyssinian* — абиссинский, эфиопский.

⁴³ Ibid.

Будь то тяжеловесная, несколько схоластичная критика теории Бернета у Мельхиора Лейдеккера или остроумные выпады Роберта Сент-Клера, оппоненты «Священной теории» единодушно указывают на фиктивный характер этого повествования. Обвиняя Бернета в том, что он включил элемент вымысла в свои аргументативные процедуры, его критики были неспособны различить «первичную» и «вторичную» риторику (*rhetorica primaria/ rhetorica secundaria*) по классификации Дж.Р. Гетша⁴⁴. Отрицая саму возможность построения гипотез для реконструкции истории мира, они не способны были увидеть элементы поэтики нахождения в Бернетовой теории Земли, в определенном отношении близкой «топической физике» Вико.

Как известно, Вико считал неправомерным проецировать методы и эпистемологические стандарты современных естественных наук на эпоху «первых исследователей природы», которых он также характеризует как «первых поэтов», обладавших «необузданным воображением», но «скудным разумом», однако парадоксальным образом мы находим у него указания на определенную преемственность между «поэтической физикой» и физикой новейшей (*recentior physica*); так, Декарт сумел доказать существование «зрительного луча» (*baston visuelle*) стойков, почерпнувших эту метафору из «героических описаний» архаических народов; более того, оказывается, что «самые проникательные из наших исследователей природы» «только начинают осознать» истину, давно открытую «героическими поэтами», в соответствии с которой «прикоснуться к телу означает отделить от него нечто»⁴⁵. Кроме того, Вико называет в числе *commoda*, т.е. преимуществ современных методов в естественных науках, прогресс *ingenium* в физике (*a nostris longe ingenio victos*)⁴⁶ — вспомним в связи с этим рассуждения неаполитанца о полезности современной физики для поэзии (в конце гл. VIII «О методе»). Согласно Вико, именно физика является неисчерпаемым резервуаром метафор и чувственных образов (включая сюда даже архаический троп метонимии), которыми может пользоваться поэзия⁴⁷.

Подводя итоги вышесказанному, мы можем задаться вопросом о том, действительно ли различие между «современной» (картезианской) физикой, оперирующей «соритами» (цепочками силлогистических доказательств), и древней или грядущей физикой *ingenium* было столь уж резким, как это иногда представляется и, соответственно, заслуживали ли критиковавшиеся Вико «картезианцы» его упреков. Образ Декартовой физики у Вико, рас-

⁴⁴ Goetsch J.R. Vico's Axioms: The Geometry of the Human World. New Haven; L.: Yale University Press, 1995.

⁴⁵ Вико Дж. Основания новой науки об общей природе наций / пер. с ит. А.А. Губера. М.; Киев, 1994. С. 307.

⁴⁶ De rat. P. 122.

⁴⁷ Ibid. P. 148–149.

смотренный на материале разных его сочинений, предстает исполненным противоречий и амбивалентностей. С нашей точки зрения, прямолинейный дуализм, противопоставляющий друг другу аналогически-индуктивное и критико-дедуктивное мышление (*conoscere analogico-induttivo vs conoscere critico-deduttivo*), обыкновенно рассматриваемый как отличительная черта викианского мышления, должен уступить место более дифференцированному подходу. Критическое мышление у Вико не просто противостоит топическому, оперирующему способностью нахождения; скорее, оно содержит в свернутом виде предыдущие стадии «натурального прогресса метафор». Метафора, главный когнитивный инструмент викианской физики, также амбивалентна: в «Об изучении...» она одновременно предстает как элемент стилистического декорума текста (*ornatus*) и как эпистемологический принцип естественных наук. Несмотря на существование непреодолимой пропасти между чувственным мышлением древнейших людей и рациональностью ученых эпохи «явленного разума» (*ragione spiegata*), метафизика воображения и чувственная метафора — «самый блистательный, самый необходимый и чаще всего встречающийся» троп поэтической логики — оказываются по-прежнему востребованы современной наукой, ибо «в каждом языке понятия самых утонченных искусств и самых глубоких наук имеют простонародное происхождение». Другой пример конструктивной роли, которую метафизика играет в эпоху «явленного разума», — знаменитый умственный словарь, «язык, на котором говорит Вечная Идеальная История», набросок которого был изложен в первой «Новой науке», но опущен в третьей, окончательной ее версии. Подобно тому, как современная рациональная физика говорит тропами поэтической логики, «рациональная гражданская наука Провидения» использует «умственный словарь», в котором находит свое воплощение «здравый смысл рода человеческого». Это колебание между континуальностью и разрывом с архаическим прошлым представляет собой характерную черту викианского стиля мышления в целом, делая позицию автора, его *ироническую* установку по отношению к историческому материалу (вспомним, что по Вико ирония — троп рефлексии и в определенном смысле антитеза метафоре), особенно проблематичной. «Новая наука» не предполагает никакого внешнего наблюдателя, «актера» или чего-то подобного «неподвижной точке», *point fixe* Пьера Николя — неслучайно, что раздел, посвященный «практическому применению настоящей науки», был исключен автором из финальной версии его *opus magnum*. В противоположность фантазерам-картезианцам, Вико, будучи сам вовлечен в «натуральный прогресс метафоры», «обретаясь в грязи города Ромула» (*rovesciandosi nella feccia di Romolo*), не изобретает гипотез — подобно Исааку Ньютону, которому он некогда посылал свою «Новую науку», так, впрочем, и не дождавшись ответа.

Александр Ф. Филиппов

ДРУГИЕ «ЛЮДИ ГОББСА»: О ФИЛОСОФСКИХ ИСТОЧНИКАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ ОДНОГО СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ЗАБЛУЖДЕНИЯ

...Die Menschen von Hobbes und die von ihnen
abstammenden Individuen meiner Gesellschaft — von
Natur Feinde sind, einander ausschließen und verneinen.

*Ferdinand Tönnies*¹

В социологии хорошо известно выражение «Гоббсова проблема» или «Гоббсова проблема социального порядка»². Прямого отношения к текстам самого Гоббса это выражение не имеет. Английский философ не говорил ни о социальном порядке, ни о проблеме социального порядка. Это термины позднейшего социологического словаря. «Гоббсова проблема» появилась много позже, в книге Толкотта Парсонса «Структура социального действия»³, его первом значительном сочинении. Парсонс обращается к Гоббсу, чтобы проанализировать характерную для утилитаристов аргументацию и на классическом примере продемонстрировать ее тупики. В своей второй значительной книге «Социальная система»⁴ Парсонс упоминает Гоббса только раз, но тоже для доказательства очень важной мысли относительно роли власти в социальной жизни. В обоих случаях понимание Гоббса Парсонсом оставляет желать лучшего, однако влияние трудов Парсонса на социологию, хотя и далеко не так велико в наше время, как пятьдесят и бо-

¹ «...Люди Гоббса и происходящие от них индивиды моего общества по природе суть враги, исключают и отрицают друг друга». Фердинанд Тённис (*Tönnies F. Gemeinschaft und Gesellschaft*. Achte Aufl. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. (1935) 1979. S. 105). Это место нуждалось в буквальном переводе. В остальном я полагаюсь на превосходный перевод Д.В. Складнева.

² Первоначальный вариант этого текста был опубликован на английском языке: *Filipov A.F. The other 'Hobbes' people: An alternative reading of Hobbes // Journal of Classical Sociology*. 2013. Vol. 13 (1). P. 113–135. Текст переработан и дополнен в рамках проекта Центра фундаментальной социологии НИУ ВШЭ «Дружба, доверие и конфликт: основные категории описания социальной жизни».

³ *Parsons T. The Structure of Social Action*. N.Y.: McGraw Hill, 1937.

⁴ *Idem. The Social System*. N.Y.: The Free Press, 1951.

лее лет назад, все-таки по-прежнему несопоставимо более сильно, чем непосредственное влияние самого Гоббса. Это тем более примечательно, что в классической социологии уже до Парсонса Гоббсу уделялось значительное внимание. Фердинанд Тённис, который был профессиональным историком философии и внес большой вклад в исследования Гоббса, во многом опирался на него в самом известном своем сочинении «Общность и общество». Слова Тённиса, взятые в качестве эпиграфа к этой статье, хотя и справедливы лишь отчасти, зато в полной мере свидетельствуют о значении Гоббса для формирования в социологии концепций, во многом определивших ее развитие. Поучительно было бы сопоставить понимание Гоббса у Парсонса с тем, что писали его современники. За год до «Структуры социального действия» вышла в свет книга Лео Штрауса о политической философии Гоббса⁵, а годом позже — важная, привлекавшая большое внимание статья Альфреда Тейлора «Этическая доктрина Гоббса»⁶. В том же году в Германии появилась книга Карла Шмитта «Левиафан в учении о государстве Томаса Гоббса»⁷. В промежутке между «Структурой социального действия» и «Социальной системой» вышло в свет издание «Левиафана» под редакцией и с предисловием Майкла Оукшотта⁸, одного из самых выдающихся моральных философов, писавших на английском языке в XX в. При сопоставлении аргументов Парсонса с этими работами бросается в глаза его отставание от исследований по истории философии и от политического философии его времени. Для науки, которая привыкла считать «Гоббсову проблему» ключевой, это является не курьезом, а в некотором роде скандалом. Роль Парсонса в социологии не становится меньше оттого, что Гоббса он понял не адекватно, но, возможно, сама социология могла бы выиграть от переосмысления Гоббса.

В этой статье я остановлюсь на (I) некоторых особенностях интерпретации Гоббса Тённисом; (II) основных аргументах Парсонса, касающихся понимания Гоббса и формулирования «Гоббсовой проблемы»; (III) собственных аргументах Гоббса, относящихся к сфере того, что сохраняет важность для социологов и может быть использовано для теоретической работы.

I

Я уже упомянул, что Тённис внес большой вклад в историко-философские исследования Гоббса. Именно он открыл в архивах раннее политико-философское сочинение Гоббса, которое вышло в свет под названием

⁵ Strauss L. The Political Philosophy of Hobbes. Oxford: The Clarendon Press, 1936.

⁶ Taylor A.E. The Ethical Doctrine of Hobbes // Philosophy. 1938. Vol. 11. P. 406–424.

⁷ См. в русском переводе: Шмитт К. Левиафан в учении о государстве Томаса Гоббса. СПб.: Владимир Даль, 2006.

⁸ Hobbes T. Leviathan / M. Oakeshott (ed.). Oxford: Basil Blackwell, 1946.

«Elements of Law». Под его редакцией выходил «Бегемот» Гоббса, он написал несколько статей о Гоббсе и выпустил его биографию, выдержавшую несколько изданий. В 1929 году Тённис был избран президентом «Гоббсовского общества» (Societas Hobbesiana). Гоббс не мог не оказать на него большого влияния. Современная исследовательница и переводчик Тённиса Х. Харрис утверждает: «Хотя выводы Тённиса в некоторых отношениях очень сильно отличались от выводов Гоббса, его основная задача была та же, что и у автора “Левиафана”. Она заключалась в выяснении того, как могут люди — солипсистские существа — создать жизнеспособный социальный порядок и даже жить вместе в состоянии некоторого дружелюбия и взаимного удовлетворения»⁹. Формулировки Харрис, конечно, современные. Что за люди имеются здесь в виду, что за «солипсистские существа»? В знаменитой дихотомии «общность/общество» («Gemeinschaft/Gesellschaft»), обоснованию и исследованию которой посвящен труд Тённиса, эти люди, несомненно, принадлежат обществу, именно в обществе социальный порядок является проблемой. Общность, *Gemeinschaft* предполагает ощущение единства, хотя выглядит это единство очень по-разному, в зависимости от того, базируется ли оно на кровном родстве, на соседстве или на духовной общности граждан. *Gesellschaft* — это общение разрозненных индивидов, это потеря единства, это рациональные, основанные на выборе связи. Тённис считает, что эти понятия отсылают не к этапам в социальной эволюции, а к определенным типам организации социальной жизни; однако он усматривает в социальной жизни в прошлом по преимуществу сообщество, а в современности — общество. Общество он понимает как общение людей, которые могли бы вступить, вместо мирных и взаимовыгодных соглашений, в войну между собой. Прекращение войны всех против всех возможно благодаря государству. Государство — это именно то, что позволяет обществу не распасться, скрепляет его как выражение общей воли. Если люди в общности так или иначе едины, государство в этом смысле им ни к чему. Поэтому Тённис не смешивает античную общность граждан политических союзов или средневековых горожан с современным государством. Это разные политические единства; государство и общество предполагают друг друга. Но это значит, что враждебность в государстве или, точнее, в обществе, где есть государство, не исчезает. Если мы решили, что порядок может быть основан на взаимной удовлетворенности и дружелюбии, то откуда взяться дружелюбию, даже если удовлетворение от совершения сделок и надежности договоров налицо?

Тённис, конечно, пишет о дружбе, а не о дружелюбии. Дружба для него — один из видов *Gemeinschaft*'а, место ей в городе, хозяйственном и

⁹ Harris J. General introduction // Tönnies F. Community and Civil Society / J. Harris (ed.); J. Harris, M. Hollis (transl.). Cambridge: Cambridge University Press, 2001. P. X.

культовом сообществе, в котором легче всего встретиться близким по духу и роду занятий людям. В обществе дружба не возникает, потому что корыстные и расчетливые люди не объединены духовной общностью, потому что сам тип этой связи такой, что способствует скорее вражде. В обществе живут «люди Гоббса». Описание первых видов общности у Тённиса отсылает к Аристотелю, которого Гоббс часто критиковал, доказывая, что человек — не общественное существо, что человек как раз по природе враждебен другому человеку (поэтому естественное состояние — «война всех против всех»). Речь об этом у нас пойдет ниже. Рассуждение Аристотеля совсем другое. Природа человека как живого существа сказывается в том, что люди образуют семьи и другие общности, помогающие им выживать, но природа человека как общественного существа сказывается именно «в завершении», т.е. в полисной (предполагающей в том числе и дружбу) жизни¹⁰. Казалось бы, главное лежит на поверхности: есть основанная на Аристотеле и последующей традиции описания типов совместной жизни людей (домохозяйство — соседство — город) концепция *Gemeinschaft*'а. Есть политическая философия Гоббса, в которой критикуется Аристотель и утверждается, что естественна война всех против всех, а своекорыстные индивиды готовы лишь заключать договоры между собой и подчиняться государственной власти. На ней строится концепция *Gesellschaft*'а. Но проблемы здесь только начинаются.

Харрис — одна из немногих, кто анализирует в наши дни рецепцию Гоббса у Тённиса, — находит немало важных различий в концепциях двух мыслителей¹¹. Если Гоббс считал, что в отношениях, предшествующих договору, царит враждебность между людьми, то Тённис утверждал, что именно в *Gemeinschaft*'е есть согласие, а потом начинается враждебность. Получается, что воздействие государства на людей, по Гоббсу, совсем другое, чем по Тённису: «В то время как в системе Гоббса искусственные социальные и политические институты умирляли и цивилизовали голую человеческую агрессию, в системе Тённиса они ее возвращали и пускали в ход. <...> За всем этим скрывалось предположение, что «естественные социальные отношения» — благотельные и нормальные, тогда как искусственные — опасные и патологические»¹². Здесь необходимо пояснение. Есть устойчивая, хотя и неправильная, точка зрения, согласно которой естественное состояние в понимании Гоббса предшествует общественному договору. Сначала естественное — война, — потом искусственное — договор и го-

¹⁰ О том, как связаны между собой недооценка общности и отказ от аристотелевского понимания человека как политического животного, см.: Udehn L. The Limits of Public Choice: A Sociological Critique of the Economic Theory of Politics. N.Y.: Routledge, 1996. P. 351.

¹¹ См.: Harris J. Op. cit. P. xxvi.

¹² Ibid. P. xxvii.

сударство. Харрис считает, что Тённис усматривает в *Gemeinschaft*'е естественное состояние, которое в обществе и государстве, после общественно-го договора, разрушается, причем высвобождается человеческая агрессия. Тогда в отношении *Gemeinschaft*'а он просто следует за Аристотелем и всей последующей традицией (что, собственно, мы и зафиксировали выше), а в отношении *Gesellschaft*'а не замечает глубокого воздействия государства на человеческую мотивацию и промахивается мимо важных аспектов социальной жизни.

Конечно, эта интерпретация Тённиса и Гоббса выглядит несколько сомнительной, потому что предположение о естественном как о том, что предшествует искусственному, вполне логично, но не работает, когда речь идет о Гоббсе. Отчасти этот вопрос еще будет затронут ниже. Не очень убеждает и рассуждение о цивилизующей дрессуре государства по отношению к естественной агрессии человека. Однако в понимании Тённиса у Харрис многое схвачено все-таки верно. В обществе, пишет Тённис, «эгоистически-произвольное деяние и поведение вполне можно понимать как оскорбительное, поскольку оно насквозь проникнуто сознательным притворством»¹³. В этом все дело. Именно в обществе действует изолированный, руководствующийся расчетом человек. Как бы он ни был усмирен, цивилизован государством, главное его определение совсем другое. Общество разрушает «сущностную волю» (волю общности как единства) и «освобождает от оков» избирательную (рациональную) волю, делая ее безжалостное применение условием сохранения индивида¹⁴. То благоразумие, которое заставляет человека придерживаться в государстве норм права, не только не заменяет теплоту чувства (это понятно само собой), но и не отменяет враждебности. Тённис — вспомним это — с одобрением ссылается на Гоббса, говорящего о стремлении людей к власти, которое прекращается лишь со смертью, и о связанном с этой жаждой власти тщеславии, желании выделиться¹⁵. Тённис приводит и рассуждения Гоббса в трактате «О человеке» (гл. XII, 9), где говорится, что добродетели человека и гражданина разные, и к добродетелям человека относятся храбрость, благоразумие и умеренность; ведь в число их не попадают моральные добродетели, т.е. ничто из того, что связано с приятностью, дружескими отношениями между людьми¹⁶. Это значит, что в обществе-государстве людей ничто не притя-

¹³ Тённис Ф. Общность и общество / пер. Д.В. Складнева. СПб.: Владимир Даль, 2002. С. 182.

¹⁴ См.: Там же. С. 254.

¹⁵ Там же. С. 174–175.

¹⁶ Там же. С. 161. Вероятно, достаточно важным с историко-философской точки зрения является то, что значительная часть отсылок к Гоббсу сделана Тённисом в добавлениях ко второму изданию книги, т.е. после большой исследовательской работы, посвященной Гоббсу.

гивает друг к другу. Таким образом, Тённис достаточно последователен. Он конструирует чистое понятие общества, свободное от отсылок к естественным и изначальным связям между людьми¹⁷, а все «естественное» (семьи и союзы семей) размещает не в каком-то ином историческом измерении, а в другом идеальном типе, который, не забудем, все-таки является идеальным типом связей, более характерных для прошлого. Самый важный и самый трудный момент состоит здесь в следующем. Гоббс отдавал себе отчет в том, что неполитические связи между людьми (семьи и союзы семей) существуют также *до* и *помимо* государства. Но он считал, что у негосударственных образований нет ни шансов выстоять в войне, если кто-то на них нападет, ни устроить достаточно надежную мирную совместную жизнь (которую он традиционно считал возможной лишь в политическом сообществе). Тем не менее, поскольку общественный договор, конституирующий государство, он *не считал* историческим событием, он *не писал* о том, что вместе с вступлением в государство эти естественные связи между людьми разрушаются. *Не считал и не писал* — вопреки мнению последующих комментаторов и критиков!

Эти тонкие моменты были понятны Тённису как исследователю Гоббса, но не нашли отражения в его теоретико-социологической работе. Тем не менее, даже самое общее сопоставление Гоббса и Тённиса имеет смысл. Оно позволяет поставить некоторые вопросы не историко-философского, а социологического характера. Главный из них касается характера той связи, которая возникает между людьми после разрушения или разложения (а не исторической замены обществом-государством) *Gemeinschaft*'а. Сказать, что для человека естественно быть связанным с другими, значит оставить без ответа проблему постоянно преодолеваемой в обществе враждебности. Без враждебности не было бы общества, т.е. *Gesellschaft*, это так, иначе непонятен смысл общественного договора, по Гоббсу. Но и без общества не было бы враждебности, иначе непонятно, почему же не продолжается существование тех или иных, включая политические, *Gemeinschaft*'ов, по Тённису. Однако враждебность между людьми не перерастает в настоящую войну, потому что они держатся договоров, а соблюдать эти договоры их вынуждает государство. Если бы враждебность и недоверие исчезли, государство или стало бы ненужным, или переродилось бы в новое этическое единство, соединяющее принуждение с воспитанием. Тённис писал об этом в более поздних работах, но их обсуждение вывело бы нас уже далеко за пределы нашей темы. Нам достаточно того, что сопоставление Гоббса и Тённиса (включающее также и отсылку к Гоббсу в социологии Тённиса) по-

¹⁷ Ларс Уден замечает, что Тённис подчеркивает именно идеально-типический характер теории общественного договора у Гоббса и не стремится критиковать его как плохого историка или социолога. См.: Udehn L. Op. cit.

зволяет увидеть внутренние противоречия, неизбежно возникающие при любой попытке додумать до конца любой из их аргументов, будь то в аутентичной трактовке или с позиции комментаторов.

II

Толкотт Парсонс не вдавался в тонкости философии Гоббса и, тем более, интерпретации Гоббса Тённисом. Тем не менее о Гоббсе он рассуждает довольно много, а о концепции Тённиса высказывается хотя и сжато, но содержательно, не забывая отметить его занятия Гоббсом. Для Парсонса основной интригой «Структуры социального действия» было решение проблемы социального порядка, а саму эту проблему он прояснял, показывая недостатки и тупики утилитаризма. «Для Тённиса, — говорит Парсонс, — *Gesellschaft* является тем типом социальных отношений, формулу которого дала утилитаристская школа социальной мысли. Примечательна личная история, результатом которой стала эта теория. Тённис много занимался Гоббсом и заслуживает большого уважения за те усилия, благодаря которым возродился интерес к Гоббсу»¹⁸. Не Тённис придумал связывать Гоббса с утилитаристской традицией. Дж. Александер пишет, что Парсонс опирался на французского историка и философа Эли Алевиста¹⁹. Можно предположить, что эта интерпретация Гоббса не столько определила собственные воззрения Парсонса, сколько более всего отвечала его теоретическим целям. Гоббса Парсонс рассматривает, примерно, так же, как и других авторов, о которых речь идет в «Структуре социального действия»: главное для него — решение проблемы социального порядка. Именно порядок — главное для социологии. «Структура социального действия» построена как сочетание историко-теоретических реконструкций и чисто теоретических исследований. Каждый автор, о котором идет речь, внес вклад в формулирование или решение основной проблемы, а общая рамка, «frame of reference of action», позволяет организовать все результаты анализа так, чтобы получить связную, последовательную теорию. Маленькое исследование «Гоббс и проблема социального порядка», которое мы находим в этой большой книге, предпринято для того, чтобы проиллюстрировать

¹⁸ Parsons T. The Structure of Social Action. P. 687.

¹⁹ См.: Alexander J.C. Theoretical Logic in Sociology. Vol. 1. Positivism, Presuppositions and Current Controversies. L.: Routledge and Kegan Paul, 1982. P. 98–99. Александер повторяет это суждение в четвертом томе «Теоретической логики в социологии». См.: Alexander J.C. Theoretical Logic in Sociology. Vol. 4. The Modern Reconstruction of Classical Thought: Talcott Parsons. L.: Routledge and Kegan Paul, 1984. P. 22. См. также: Halévy E. The Growth of Philosophic Radicalism / M. Morris (transl.). Boston: The Beacon Press, 1955. P. 78. Алевиста находит у Гоббса «принцип искусственного тождества интересов» — то, что Парсонс, как считает Александер, позже назвал «фактическим порядком» в «Структуре социального действия».

развитие «индивидуалистического позитивизма», как называет его Парсонс. Основной аргументации Гоббса в области социальной мысли, продолжает он, было понятие «естественного состояния» как «войны всех против всех». Гоббсу было совершенно не свойственно нормативное мышление, он не говорил о том, каким *должно быть* поведение, а просто анализировал предельные условия социальной жизни. У человека, по Гоббсу, есть много страстей, благо для него — то, чего он желает²⁰. Хотя человек обладает разумом, но разум его служит страстям, т.е. ищет способы удовлетворить желания. Люди также нуждаются во власти, чтобы наиболее эффективным образом заполучить явные будущие блага. Но по природе они сотворены равными, почти одинаковыми, так что, при отсутствии контроля над ними, они будут стремиться к достижению целей силой и обманом, что приведет к войне, а значит, не позволит рассчитывать на удовлетворение желаний. По общественному договору люди отказываются от своей естественной свободы и отдают ее суверенному властителю, который гарантирует им безопасность, т.е. защиту от агрессии и обмана со стороны других людей²¹. Таким образом, по Парсонсу, «Гоббсова система социальной теории является почти чистым случаем утилитаризма»²². Для человеческого поведения важнее всего «страсти», объекты которых сами по себе не являются благом и могут рассматриваться как случайные. Однако, продолжает Парсонс, Гоббс на этом не остановился. Он «попытался вывести отсюда характер конкретной системы, которая должна была бы появиться, если бы ее элементы были именно такими»²³. Чтобы объяснить, какую именно эмпирическую проблему обнаружил Гоббс, Парсонс вводит различие между нормативным и фактическим порядками. Всякий фактический порядок есть противоположность случайности; всякий нормативный порядок имеет отношение к системе норм, правил и т.п. Если нормативный порядок разрушается, возникает нормативный хаос, однако сохраняется ли при этом фактический порядок? Переформулируем это иначе: если люди перестанут следовать общезначимым нормам, сохранится ли при этом какой-то порядок в их действиях или они станут совершенно случайными? Парсонс считает, что, согласно утилитаристской схеме, все люди стараются достигнуть своих целей в соответствии со своими страстями и самым эффективным, т.е. рациональным образом. В число целей входит, с одной стороны, признание:

²⁰ Эти формулировки не точны, они приводятся вслед за Парсонсом. Отмечать все случаи неполного понимания Гоббса у Парсонса здесь невозможно.

²¹ См.: *Parsons T. The Structure of Social Action*. P. 89–90. Парсонс здесь приводит, в частности, обширные цитаты из гл. XIII «Левиафана».

²² *Ibid.* P. 90.

²³ *Ibid.* P. 91.

каждый человек хочет (должен хотеть) признания со стороны других людей; с другой стороны, среди средств, которые им могут потребоваться, мы находим услуги, которые могут оказывать другие люди: каждый человек хочет (должен хотеть), чтобы другие люди помогали ему, а не препятствовали. Чтобы обеспечить себе признание и услуги, лучше всего прибегнуть к силе и обману. Во всяком случае, в утилитаристской перспективе ничто не запрещает пользоваться как тем, так и другим в качестве наиболее эффективных средств²⁴. Однако, как мы видели, именно применение этих средств ведет к хаосу, а не к порядку, т.е. торжеству войны всех против всех. Общество, построенное на чисто утилитаристской основе, было бы нестабильным из-за постоянной борьбы за власть. Это та же самая непрерывная враждебность, которую мы видели в анализе Гоббса у Тённиса. Иначе говоря, при отсутствии нормативного порядка разрушается и фактический.

Хотя Парсонс и не анализирует дальше политическую философию Гоббса, он постоянно возвращается к нему в «Структуре социального действия». Так, он пишет, что центральной для Гоббса является борьба за власть и различия во власти между людьми²⁵; что сила и обман играют ключевую роль в социальной жизни у Парето, Макьявелли и Гоббса²⁶, и что постоянное использование принуждения приведет к войне всех против всех²⁷. Кроме этого, Парсонс делает важное различие между тем, что, как он говорит, теоретически правильно, но эмпирически ложно, и тем, что теоретически ложно, но эмпирически правильно. В первую очередь, это касается Гоббса, который рассуждает «с железной последовательностью», но переоценивает проблему безопасности и потому эмпирически не прав²⁸. Но сугубо логическая последовательность ничего не стоит, настоящий научный результат может быть получен лишь за счет сочетания теоретической последовательности и эмпирических наблюдений. Гоббс, говорит Парсонс, в отличие от Локка, который был теоретически менее последователен, но эмпирически более наблюдателен, не обратил внимания на то, что в действительности социальная жизнь представляет собой не ситуацию войны, от которой людей удерживает только принуждающий к миру суверен, но «состояние относительно спонтанного порядка»²⁹. Спонтанный порядок противопоставляется навязанному, т.е. такому, который устанавливается путем насилия со стороны суверенной власти. Ошибка Гоббса и всей утилитаристской

²⁴ См.: Ibid. P. 92.

²⁵ См.: Ibid. P. 109.

²⁶ См.: Ibid. P. 179.

²⁷ См.: Ibid. P. 236.

²⁸ См.: Ibid. P. 97.

²⁹ Ibid. P. 362.

традиции мысли, считает Парсонс, состояла в том, что перейти от страхов, связанных с войной всех против всех и преследованием эгоистических интересов, к мирному существованию в духе общественного договора под охраной суверена просто невозможно. Стоит нам только принять основные предпосылки утилитаризма, как всякий социальный порядок рассыпается. Решение Парсонса, как известно, состояло в том, чтобы встроить нормативную ориентацию в устройство элементарного действия, а не только больших социальных образований. Выбирая цели и средства их достижения, действующий принимает в расчет ценности и нормы, без которых вообще не может совершить действия. Нет никакой эффективности достижения, связанной с голым своекорыстием цели, так как и возможные цели, и возможные средства ограничены и специфицированы ценностями. Даже единичное действие не может быть сугубо утилитарным, а поскольку нормы и ценности носят надындивидуальный характер, но при этом встроены в индивидуальную мотивацию, то «Гоббсову проблему» можно считать решенной. Во время революций и гражданских войн нормативный и фактический социальный порядок исчезает. Общество не может быть устроено как *Gesellschaft* Тённиса и не может состоять из «людей Гоббса».

III

В политической философии и в истории философии «Структура социального действия» не вызвала никакого отклика и не пробудила никакого интереса. Социологи, которые испытали влияние Парсонса, даже если и не соглашались с его теоретическим решением, были больше озабочены самой проблемой, о которой он размышлял, а не тем, насколько адекватно он понял Гоббса³⁰. Проблема же состоит в том, как возможен социальный

³⁰ Есть очень важный, но не получивший широкого отклика текст Гарольда Гарфинкеля «Парсонс для начинающих». Он до сих пор не опубликован на языке оригинала, небольшая часть его переведена на русский язык, причем как раз тот фрагмент, где речь идет о Гоббсе и его интерпретации Парсонсом. Несмотря на то что Гарфинкель здесь ставит целью именно изложение, а не критику Парсонса, а значит, в основном следует за его аргументами, понимание Гоббса у него явно гораздо более глубокое. Главное, что появляется у Гарфинкеля, это более адекватное представление того, что Гоббс считал пруденцией, благоразумием, которое приобретается с опытом и позволяет более эффективно ориентироваться в решении практических задач. Тем не менее и Гарфинкель пишет: «Нет ужаса перед смертью другого, а только страх собственной смерти, и до тех пор, пока Человек действует в соответствии с нормами рациональности, сила — наиболее эффективное средство для выживания. Не существует соглашений, помимо тех, которые Человек сам берется соблюдать, поскольку это соответствует его целям, и до тех пор пока Человек действует в соответствии с нормами рациональности, обман — наиболее рациональная тактика» (*Гарфинкель Г. Парсонс для начинающих. Для применения Ad hoc*. Гл. 4. «Адекватные» описания социальных структур / пер. В.Я. Кузьмина, П.М. Сте-

порядок. Эта формула нуждается в пояснении, которое позволит несколько иначе взглянуть на знакомые тексты³¹.

Точная формулировка — «как возможен социальный порядок» — отсылает, собственно, не к одному философу, а к двум: поскольку речь идет о возможности того, что есть, а не возникновения того, чего еще нет, в такой постановке вопроса различимы не столько гоббсовские, сколько кантовские мотивы³². Что значит переформулировать «Гоббсову проблему» в кантовском духе? Гоббс проводил различие между «condition of warre» (состоянием войны) и «common-wealth» (он его называет также «civitas», т.е. граждански-республиканским состоянием, если переводить строго). Если мы поставим вопрос о возможности социального порядка «по-кантовски» (т.е. не с опорой на исследования Канта по политической философии, а только ориентируясь на формулу «как возможно...»), то он будет выглядеть следующим образом. Поскольку мы знаем, что общество, понимаемое политически (*civitas*, общность граждан), существует, а войны всех против всех фактически нет, то надо понять, при каких условиях оно может мыслиться как существующее, что в реальности позволяет ему не разрушаться³³. Если поставить вопрос о возникновении общества и прекращении войны, это будет уже совсем другой вопрос, касающийся учреждения общества. Но если мы помыслим социальное не существующим, а переход к социальному

панцова; под ред. С.П. Баньковской // Социологическое обозрение. 2011. Т. 10. № 1–2. С. 145. <https://sociologica.hse.ru/data/2011/09/07/1266959541/10_1-2_14.pdf>.

³¹ Я постарался обойтись без пространных цитат из Гоббса. Что касается русских переводов, я опираюсь на следующие издания: Гоббс Т. Философские основания учения о гражданстве / пер. с лат. В. Погосского. М.: Издание Г.А. Лемана и Б.Д. Плетнева, 1914; Он же. Левиафан / пер. с англ. А. Гутермана. М.: Рипол Классик, 2016. Оригинальные издания трудов Гоббса: *Hobbes T. De cive. Critical Edition* / H. Warrender (ed.). Oxford: Clarendon Press, 1983; *Idem. Leviathan. Revised Student Edition* / R. Tuck (ed.). Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

³² Видимо, первым опытом применения кантовской формулы «как возможно» к социологической проблематике стал экскурс Георга Зиммеля в первой главе большой «Социологии» «Как возможно общество?». См.: Зиммель Г. Как возможно общество? // Он же. Избранное. Т. 2. Созерцание жизни. М.: Юрист, 1996. С. 509–526. Применительно к Парсонсу см.: *Bershadsky H.J. Ideology and Social Knowledge*. Oxford: Blackwell, 1973. Один из последних, не кантовских по духу и букве, опытов такого рода — большое исследование Никласа Лумана «Как возможен социальный порядок?». См.: *Luhmann N. Wie ist soziale Ordnung möglich?* // *Idem. Gesellschaftsstruktur und Semantik: Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft*. Bd. 2. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1981. Обзор проблематики и литературы я делал довольно давно. См.: Филиппов А.Ф. Поворот к Канту в современной буржуазной социологии // Новейшие тенденции в современной немарксистской социологии. Материалы к XI ВСК. Ч. 2. М.: ИНИОН, 1986. С. 154–207.

³³ Джордж Каспар Хоманс сформулировал эту проблему самым сжатым и внятным образом: «Гоббсова проблема состоит в том, почему нет войны всех против всех» (*Homans G.C. Bringing men back in* // *American Sociological Review*. 1964. Vol. 29 (6). P. 813.)

возможным, то как должен мыслиться такой переход? Как историческое событие? Гоббса очень часто критиковали за то, что он придумал такое событие: общественный договор, о котором не сохранилось никаких сведений. Критики были несправедливы. Гоббс не хотел, чтобы его рассуждение о заключении договора (*covenant, pactum*) понимали исторически. В главе XIII «Левиафана» Гоббс говорит, что войны всех против всех, видимо, *никогда не было* как всеобщего, повсеместного состояния, но представление о том, каково обходиться без правительства, можно составить, не только наблюдая американских дикарей, но и по тому, до какого образа жизни опускаются во время гражданской войны люди, привыкшие жить при мирном гражданском правлении. Этот аргумент, как и утверждение Гоббса, что суверены разных стран всегда находятся в естественном состоянии войны, появляется не случайно. Ведь тогда получается, что и образования государств, так сказать, с нуля, из разрозненных индивидов, не было в реальности. Было нечто иное: завоевание одним государством другого, с присоединением граждан побежденной страны к общественному договору страны-победителя. Во всяком случае, именно так он считает возможным понимать обретение побежденными всей полноты гражданских прав³⁴. Это предполагает пусть молчаливое, но недвусмысленное признание ими нового суверена, новых законов и обязанностей, т.е., как полагает Гоббс, новый общественный договор. Если это так, то, за исключением непрекращающихся войн между государствами, все прочие войны происходят на месте распадающихся социальных порядков, в гибнущем или больном государстве. Условием его сохранения и является предотвращение мятежей и гражданских войн.

Гоббс рассматривал не только абстрактный, чисто теоретический вопрос «как может...» (точнее говоря, то, что потом было переформулировано в виде этого вопроса), не только идеальную модель³⁵, но и актуальные проблемы, которые диктовались живым историческим опытом. Собственно, доказательство того, что речь идет именно о модели, а не о реальных событиях, было в свое время большим достижением в понимании Гоббса, потому что позволяло вынести за скобки всю ту несправедливую критику,

³⁴ Квентин Скиннер подчеркивает значение подчинения завоевателю в заключительных рассуждениях Гоббса в «Левиафане». *Skinner Q. Conquest and consent: Hobbes and the engagement controversy // Idem. Visions of Politics. Vol. III. Hobbes and Civil Science. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. P. 305.*

³⁵ См. о понимании рассуждений Гоббса как идеальной модели influential до сих пор работу Макферсона: *Macpherson C.B. The Political Theory of Possessive Individualism: Hobbes to Locke. Oxford: Clarendon Press, 1962. P. 20 ff.* Макферсон неоднократно говорит о том, что понимание естественного состояния как чисто логической, а не исторической гипотезы является общепринятым. Однако это относится лишь к последнему столетию в рецепции Гоббса. Кроме того, он делает важную оговорку: рассуждения Гоббса относятся лишь к цивилизованным, а не первобытным людям.

которая вменяла ему в вину недостоверные исторические аргументы, и сосредоточиться на существе дела. Представить Гоббса теоретиком значило и значит открыть большое поле возможностей обсуждения самой модели, а не адекватности соответствия модели исторической реальности. Понимать рассуждения Гоббса как идеальную модель, конечно, можно и совсем по-другому: такой моделью, строго говоря, является его гипотеза, будто бы люди, соглашаясь подчиняться власти, не могут иметь в виду ничего, кроме общественного договора, в прошлом кем-то заключенного. То есть моделируется не договор, а представление граждан о договоре. Фактически не бывшее должно мыслиться как происходившее в прошлом в модели общественного согласия. Но «теоретическая модель существования и поддержания» и «теоретическая модель генезиса» — это не одно и то же, а стремление очистить аргумент Гоббса от исторической привязки к конкретному опыту кажется чрезмерным. Дело не в том, что Гоббс был в точном смысле слова популярным автором, который читался своими современниками отнюдь не как автор оторванных от жизни рассуждений, а как великий просветитель или источник великих заблуждений, способных принести беды. Исторические обстоятельства создания и рецепции философских трудов имеют большое значение для адекватного их понимания, но часто безразличны для теории. Дело в другом. Гоббс действительно совершенно иначе видел устройство общественного договора и генезис суверенной власти, чем это пытались ему приписать критики. Реальная жизнь, история, куда сильнее присутствовали в его теории, чем это казалось тем, кто пытался извлечь из его построений сухую конструкцию «Гоббсовской проблемы». Но это не значит, что у него не было, по меньшей мере, элементов того, что мы были бы готовы назвать социальной теорией. Это связано, в частности, с гоббсовским пониманием человека.

Чтобы продемонстрировать это, я вкратце остановлюсь на некоторых его рассуждениях, недостаточно оцененных до сих пор именно в теоретико-социологической перспективе. Прежде всего, я хотел бы вернуться к тому, о чем шла речь в самом начале, а именно к противоположности воззрений Аристотеля и Гоббса на человека как общественное (т.е. политическое) существо. Сам Гоббс писал об этой противоположности очень решительно. Трактат «О гражданине», по существу, именно с того и начинается, что Гоббс рассуждает о *неправильном* понимании человека у Аристотеля и многих позднейших авторов (гл. I, 2). В главе V, 5 Гоббс критикует Аристотеля за то, что тот называет некоторых других животных общественными, поскольку животные обходятся без политического правления, а человек нет. В главе III, 13 он доказывает неправоту Аристотеля, утверждавшего, что одни люди по природе господа, а другие — рабы. В главе IV, 2 Гоббс причисляет Аристотеля к тем, кто не умеет провести правильного различия между законом

(т.е. тем, что имеет для человека непреложную значимость) и соглашением (т.е. тем, что заведомо является условным, имеющим преходящее значение, тем, что можно оспорить). Таким образом, критика Аристотеля носит у Гоббса сквозной характер. Быть может, наиболее показательно то, насколько категорически Гоббс оспаривает понятие дружбы у Аристотеля именно в связи с пониманием человека как общественного существа. Не дружбой движимы люди, говорит он, а корыстным интересом, когда вступают в общение друг с другом; все не могут быть друзьями всем. Если бы люди любили друг друга *естественным образом*, т.е. природа человека была бы такова, что именно человеческое в другом человеке привлекало бы его к общению с ним, то все общались бы со всеми одинаково охотно, потому что по природе все — люди. Но на самом деле человек стремится больше общаться с теми, от кого получает больше почета и пользы. Посмотрите, продолжает Гоббс, чем будут люди заниматься, когда собрались. Если по делам торговым, то им нужна выгода, а не дружба, если по делам должностным, то это *forensis quaedam amicitia, plus habens metus quam amoris* (некая публичного рода дружба, в которой страха больше, чем любви), из нее разделение на партии родится, а благоволение — никогда. Если они встречаются ради развлечения (скорее всего, речь идет о спортивных играх), то каждый рассчитывает получить удовольствие от сравнения с другими, обнаружив, что он сильнее или может их чем-то поразить. Нет и здесь места чистой дружбе.

Что означает эта критика Аристотеля? Можно сказать, Гоббс читал его поверхностно, интерпретировал тенденциозно. Недостаток места не позволяет привести соответствующие места из этических трактатов Аристотеля, но, в общем, хорошо известно, что, помимо общения лучших, достойнейших, он рассматривал, исследуя дружбу, и отношения людей, движимых скорее соображениями собственной пользы, чем благом другого человека. Для нас же имеет значение точка зрения самого Гоббса, а она заключается в том, что он готов признавать дружбой только отношения добродетельных людей. К сожалению, говорит он, подлинная дружба невозможна, потому что людям свойственно сравнивать себя с другими и подвергать других критике. Иначе говоря, дело не в том, что люди не дружат, а в том, что дружат не безупречные и не бескорыстно. Вообще-то аргумент его устроен плохо. Аристотель не мог говорить о склонности людей друг к другу, к общительности и дружбе, имея в виду, что природа их во всем одинакова и как раз поэтому склоняет к общению и благожелательности всех. Придумать это можно только в том случае, если соединить представление Гоббса о том, что все люди по природе одинаковы, с утверждением Аристотеля, что не все человеческие существа (для которых у него нет общего понятия) одинаковы по природе (не все свободные граждане) и не все люди одинаково добродетельны. Но если держаться гоббсовского представления, не подмешивая

к нему других, то и тогда он ничего не доказывает, потому что лишь развертывает первоначальный аргумент, не добавляя к нему ничего нового.

Посмотрим теперь на развитие другой идеи у Гоббса. Специфически человеческой страстью, отличающей человека от прочих животных, Гоббс называет не желание богатства или высших должностей, не смех и не стыд, хотя он упоминает, что все это есть только у человека, но *любопытство*, т.е. желание «знать, как и почему», знать «причины вещей». Это желание превозмогает чувство голода и все чувственные удовольствия, потому что «вожделение ума», неустанное желание «порождать знание» сильнее всех плотских удовольствий. Но можно ли тогда называть — по Гоббсу — людьми тех, кто более склонен к чувственным удовольствиям, чем к интеллектуальным добродетелям? Поиск причин, о котором здесь идет речь, нельзя отождествлять с накоплением опыта и благоразумия, (пруденции, *prudence*), которое служит человеку подспорьем в практической деятельности. Известный исследователь Гоббса Говард Уоррендер справедливо замечал: «Как эмпирическое знание причин, пруденция является более или менее надежным ожиданием соответствующих результатов и способностью, общей человеку и другим [живым] созданиям»³⁶. Поэтому подлинно человеческим назвать благоразумие нельзя, им может быть только разум и научное знание — и как способность, и как страсть. Разум является необходимым, но недостаточным условием социальной жизни человека. Мы в нем нуждаемся, говорит Гоббс («О гражданине», гл. XVII, 12), чтобы строить дома и перемещать тяжести, собирать машины и исследовать землю, исследовать природу вещей, знать толк в естественных и гражданских законах, заниматься философией и т.п. — т.е. не только для того, чтобы жить, но *жить хорошо*³⁷. Казалось бы, здесь Гоббс оказывается на прочной почве традиции. Однако его следующее рассуждение, примыкающее к процитированному, свидетельствует, что это не так и что связать воедино разум, науку и благую жизнь он не может и не намерен. Допустим, говорит он, у женщины рождается ребенок необычного вида (и предполагается, что его захотят убить), но законом запрещено убивать людей. Кто примет решение, человеком ли является это странное на вид существо? Аристотелевское определение человека как разумного животного здесь не поможет, решение принимает общество-государство (*civitas, commonwealth*), точнее, полити-

³⁶ Warrender H. Political Philosophy of Hobbes: His Theory of Obligation. Oxford: Clarendon Press, 1957. P. 245.

³⁷ «...scientiaeque omnes quae philosophiae nomine comprehenduntur, *partim ad videndum, partim ad bene vivendum necessariae sunt*». Формула «жить хорошо», конечно, отсылает к старой формуле, которую мы находим у многих философов, в том числе и у атакованного Гоббсом Аристотеля: люди соединяются в полисе не просто ради жизни, но ради «благой жизни» (Политика, кн. III, 1280b33–1281a3).

ческое единство граждан, какова бы ни была там форма правления, потому что авторитетное решение может исходить только от него, как и во всех иных случаях, когда разум рассматривается не просто как способность, как процесс размышления (*rationatio*), имеющим некий конечный результат, который может оказаться правильным или ошибочным. В отличие от чисто теоретических построений, которые имеют безошибочный, но условный характер (если было X , то наступит X_1 ; если было Y , то наступит Y_1), суждения о факте, как прошлом, так и будущем, не могут иметь характер абсолютного знания³⁸, и даже если люди по видимости согласны между собой, это может быть связано просто с тем, что они по-разному понимают значения одних и тех же имен. Поэтому в случае несогласия они могут спорить до бесконечности, если власть-авторитет не положит конец их спору. Следовательно, не затрагивая вопрос о власти, невозможно решить практический вопрос, какое суждение в спорном случае считать правильным. Разум как способность и страсть к исследованию причин вещей отступает перед соединенной властью граждан, как только речь заходит о вещах, имеющих политическое значение и политические последствия. Но это значит, что высшее, то, что в некотором роде только и делает человека человеком, плохо сочетается, если сочетается вообще, с суверенным решением. Правда, по Гоббсу, они находятся, так сказать, в разных плоскостях. Но всегда ли это так?

Власть — это сила, это способность совершать деяния и достигать своей цели. Человек тем больше имеет могущества, чем более точно он использует речь, не путаясь в значениях слов, правильно связывая между собой ощущения и слова, которыми он их называет. Но правильность имеет отношение не только к тому, как он сам для себя что-то именует. Правильное использование речи имеет коммуникативный характер, т.е. предполагает взаимопонимание. А здесь власть, как мы помним, у того, кто принимает решения относительно прекращения споров. Кажется, что иметь власть прекращать спор и обладать наилучшей способностью к размышлению далеко не одно и то же. Та способность, которую Гоббс называет, еще опираясь в трактате «О гражданине» на очень старую традицию, «*recta ratio*», «*right reason*» — «правый, правильный разум», не является безошибочной, не дает гарантий правильного суждения, хотя и позволяет их производить. Это разум самосохранения, а поскольку самосохранение в естественном состоянии и в гражданском состоянии обеспечивается по-разному (в гражданском состоянии надо знать, что является законом), то и *recta ratio* оказывается «разум самого государства», а не просто способность рассчитать, что полезно телу человека в природе.

Гораздо глубже идут рассуждения о власти в «Левиафане». В главе X Гоббс формулирует то знаменитое определение, на которое обращают

³⁸ Подробному обсуждению этого вопроса посвящена гл. VII «Левиафана».

внимание в том числе Теннис и Парсонс. Власть — это средства, которые имеются в наличии сейчас (*present means*), чтобы достигнуть некоторого явного, видимого блага в будущем (*some future apparent Good*). Власть представляет собой нечто вроде надежного ожидания, что в будущем случится то, что отвечает желанию человека. Власть как сила и способность есть у каждого, потому что каждый действует по своему желанию (хотя бы иногда), но более силен тот, кто способен соединить силы многих людей, т.е. поставить их на службу своим желаниям. Однако именно потому, что *power* до некоторой степени неотъемлема (человек не может отказаться вообще от всякой способности признавать благом то, что ему полезно и приятно, и доставлять себе это полезное и приятное), невозможно сделать других людей простым инструментом своих желаний. А для того чтобы добиться своего, совсем не обязательно подчинять других людей себе, есть множество правил обхождения, много разумных способов улучшить отношения или не ухудшить их. Эти правила Гоббс называет естественными законами, и место их в системе его рассуждений довольно спорное, потому что они представляют собой принципы тактичного, благожелательного, осмрительного поведения *при условии мира*, стремление к которому, собственно, и является первейшим естественным законом. Однако достижение мира возможно лишь на пути учреждения политического единства во главе с сувереном, а если мир уже достигнут через общественный договор, необходимость этих правил в некоторой части становится сомнительной. Главы XIV–XV «Левиафана» построены очень искусно: Гоббс начинает с того, что разумно для человека желать мира и добиваться мира, если есть на него надежда (и искать преимущества на войне, раз иначе не получается), из чего вытекает разумность соглашений, связанных со взаимным отказом от прав. Однако далее, помимо права, он затрагивает другие аспекты общежития. Соблюдение правил, относящихся к любезности, обходительности, великодушию и многому другому в том же роде диктуется разумом, но это не закон в строгом смысле слова. Это то, что касается, как мы бы теперь сказали, мотивации, но не продиктовано боязнью санкций за нарушение закона государства. Поэтому все рассмотрение этих законов остается в первой части трактата, названной «О человеке». Именно в области логичного рассуждения видна связь между правом и нравами, в действительности ни одно правило разума само по себе не может выступить принуждающей силой для всех, так чтобы сообщество организовалось на этих началах. Но если за соблюдением договоров в политическом состоянии стоит полновластие суверена, главный разумный мотив их соблюдения — «чтобы не было войны» — отпадает. Именно поэтому Гоббс не может не отметить возможность таких ситуаций, когда внешне человек сделал все по закону, внутренне же его нарушил. А ведь требуется только внутреннее усилие («непритворное

и постоянное»), чтобы привести свои желания в соответствие с разумом. Гоббс благоразумно не развивает эту тему. Усилие (*endeavor, conatus*), о котором он говорит, — одна из самых трудных его идей. Усилие есть начало того движения, которое мы наблюдаем как волевое действие, но само оно не наблюдаемо, возможность воздействовать на него доводами разума сомнительна. Тем не менее ничто не мешает интерпретировать Гоббса и таким образом: люди, в общем, устроены так, что способны понять вред наглости, несправедливости, неблагодарности и т.д. Установить мир, основываясь на этом понимании, они не могут, а вести себя подобающим образом, когда мир уже есть, способны, хотя гарантировать чистоту их намерений невозможно. А это значит, что социальная жизнь в политическом единстве совсем не обязательно основывается на внутренне враждебном отношении людей между собой, на их готовности только соблюдать договоры. Социальность и социабельность как общительность нуждаются лишь в гарантиях мира, а не в непрерывном цивилизующем действии суверена. Способность добиться своего оказывается тогда сложным социальным умением, которое совсем не сводится ни к простому перевесу сил, ни проблеме суверенитета, ни даже к договорам. Тот же вывод мы могли бы сделать, исследовав понятие славы у Гоббса. Жажда славы является одной из причин войны, но, как и власть, слава приобретает более сложный характер в мирном состоянии. Это заслуживает, впрочем, отдельного изучения.

Мы видим, что «люди Гоббса» не такие уж простые существа, заинтересованные только в сохранении жизни и приобретении собственности. Разум, дружба, общительность не просто *случаются* у них, но в некотором роде не могут быть «отмыслены» от природы человека. Все проблемы, сопряженные с их описанием, связаны именно с тем особым преломлением, которое природа человека испытывает в обществе-государстве. Если бы речь шла о том, как устроить его для боязливых, эгоистичных, корыстных индивидов, «Гоббсова проблема» была бы именно такой, о какой мы привыкли говорить благодаря Парсонсу и отчасти Тённису. Подлинная проблема Гоббса — это сочетание или совмещение вполне традиционных для моральной и политической философии описаний человека с государственно-политической жизнью эпохи модерна, в которой нет места ни гражданским, ни человеческим добродетелям, для надежного, гарантированного осуществления которых она создается. В противоречие с социальным порядком государства вступает (и не может не вступать) порядок человеческих дел, который можно отменить лишь вместе с этим пониманием человека. Все, что по этому поводу говорит Гоббс, не является решением проблемы. Оно было и остается вызовом для политической философии и социальной науки.

ИДЕИ 1914 ГОДА

Самое мирное в истории Европы столетие (1815–1914) было веком быстрых перемен: в начале этого периода европейцы жили почти так же, как люди всех предшествовавших аграрных обществ, к его концу одни страны Европы стали промышленными державами, другие встали на путь индустриализации и прошли значительную часть этого пути. Развитие фабричного производства, торговли, транспорта сопровождалось изменениями социальной структуры, которые способствовали политическим трансформациям. Пафос новизны был присущ европейской философской и научной мысли с XVII века, теперь он достигает уровня политики. Идея революции сопрягалась с мечтой об эмансипации, движением вверх тех слоев общества, которые ранее не имели надежды на какое бы то ни было улучшение своего удела. Громадное большинство, всегда жившее только своими повседневными нуждами, начинает творить историю. Закрытая ранее для масс сфера публичной политики теперь открывается посредством революционного насилия.

Революция мыслится как неодолимый ураганный ветер, сметающий на своем пути ветхие строения прежних эпох. После Французской революции любой бунт стал рассматриваться как продолжение движения, начатого в 1789 году, — словно периоды затишья и реставрации были всего лишь передышками, во время которых революционный поток уходил на глубину, откуда, собравшись с силами, вновь выплескивался на поверхность¹. Именно осмысление революции и ее последствий ведет к идее исторической необходимости. На смену прежним религиозным верованиям приходит вера в прогресс, т.е. в неизбежное движение ко все более совершенному состоянию. Идея бесконечного линейного прогресса, которая была неведома предшествующим векам, теперь движет и наукой, и массами. Почерпнутая из биологии метафора «развития» переносится на общество, на изменения в таких сферах человеческой деятельности, как наука и искусство. Она получает распространение и за пределами научного цеха. Как писал В.С. Соловьев в 1877 году, «понятие развития с начала настоящего столетия вошло не только в науку, но и в обиходное мышление»². От суеверий человечество переходит к научному мировоззрению, с помощью науки создает технику и промышленность, овладевает миром, сбрасывает с себя гнет прежних «неразумных» политических институтов, руководствуется все более человеко-

¹ См.: *Арендт Х. О революции*. М.: Европа, 2011. С. 60–62.

² *Соловьев В.С. Философское начало цельного знания*. Минск: Харвест, 1999. С. 179.

любивой моралью, создает все более прекрасные произведения искусства. «А поскольку прогресс приводит к таким выдающимся успехам, то первым и священным долгом всякого нормального человека является служение ему, подчинение этому служению всего и вся»³.

Эту веру исповедует все расширяющийся слой образованных европейцев. Капиталистическая экономика и национальные государства испытывают потребность в огромном числе специалистов — инженеров, учителей, врачей, юристов и им подобных работников умственного труда. Увеличивается число университетов, а сами они преобразуются по ходу реформ. Во второй половине XIX века для этого слоя начнут искать наименование: *Intelligenz* из философских учений Шеллинга и Гегеля переключается в газеты и станет обозначать социальную группу; в конце века правые публицисты во время «дела Дрейфуса» назовут своих противников «интеллектуалами».

Победное шествие разума в первой половине XIX века еще связывалось с философией. Грандиозные построения немецких мыслителей захватывали лучшие умы в том числе и потому, что философия обратилась к истории. Выражения «дух эпохи», «дух времени» принадлежат XIX веку. Французская революция и последовавшие за ней четверть века войн были разрывом с традицией, они оказали историзирующее воздействие на сознание современников, заключающееся в том, что «с этого момента современная эпоха, в противоположность всем прежним, понимает себя исключительно и категорически временно-исторически и обращает свой взгляд в будущее»⁴. Как писал Георг Вильгельм Фридрих Гегель, «философия есть эпоха, схваченная в мысли». Дух эпохи соотносится с исторической действительностью и выражает ее посредством идей.

Первые опыты такого постижения современности относятся к самому началу XIX века — лекции Иоганна Готлиба Фихте «Основные черты современной эпохи» (1804–1805), в которых обнаруживаются общие очертания и либерального прогрессизма, и пролетарской эсхатологии последующих десятилетий. Если мы хотим понять нашу эпоху, то вместе с тем мы должны понимать историю в целом, последовательность эпох: «такое понимание предполагает *мировой план*, который был бы вполне постижим в своем единстве и из которого можно было бы полностью вывести главные эпохи человеческой земной жизни и выяснить их происхождение и связь друг с другом»⁵. Поиски подобного мирового плана получали в дальнейшем различные имена: польский гегельянец Август Чешковский ввел термин *историософия*, учение Карла Маркса о следующих друг за другом *форма-*

³ Бохеньский Ю. Сто суеверий. М.: Прогресс, 1993. С. 120–121.

⁴ Лёвит К. От Гегеля к Ницше. Революционный перелом в мышлении XIX века. СПб.: Владимир Даль, 2002. С. 353.

⁵ Фихте И. Факты сознания. Назначение человека. Наукоучение. Минск: Харвест, 2000. С. 7–8.

циях было названо *историческим материализмом*. Но и далекие от немецкой спекулятивной философии мыслители со второй половины XVIII века говорили о необходимом движении человечества от дикости и варварства к цивилизации, от охоты и собирательства через земледелие к торговле и промышленности. Идея «всемирной истории» была одной из важнейших предпосылок появления исторической науки, которая быстро развивалась на протяжении XIX столетия. За несколько поколений (от Леопольда фон Ранке до Иоганна Густава Дройзена и Теодора Моммзена) университетская историография проходит путь от юности до зрелости. Сходным образом конституируются как самостоятельные дисциплины экономика, социология, психология, филология, этнография. Творцы этих новых наук еще обращаются к философии: имена таких мыслителей, как Вильгельм фон Гумбольдт, Иоганн Густав Дройзен, Вильгельм Вундт, упоминаются в любом серьезном учебнике по истории философии. Но их ученики на открываемых новых факультетах философией интересуются все меньше.

Еще дальше от философии отходят естественные науки. Вошедший в оборот к концу века термин «агностицизм» первоначально обозначал только то, что ученые держатся опытных данных и не прибегают к умозрительному (спекулятивному) познанию. Наука есть развитие здравого смысла⁶. Столь важная для немецких мыслителей 1830–1840-х годов гегелевская философия предана забвению в эпоху «грюндерства»; Вильгельм Виндельбант в своей «Истории философии Нового времени» не без оснований заметил, что в 1880–1890-е годы в Германии вряд ли нашлось бы пять человек, читавших «Феноменологию духа». Правда, к Гегелю во второй половине столетия обращаются в Великобритании и в Италии. Но общая интеллектуальная атмосфера викторианской эпохи была совершенно чужда как прежней метафизике, так и гегелевской диалектике.

Несмотря на сопротивление всех церквей, ученое сообщество держится разных вариантов материализма и позитивизма. С учетом того, что медицинские факультеты по числу выпускников превосходили все остальные естественно-научные факультеты, типичным представителем подобных воззрений был врач, своего рода «среднестатистический Базаров». Медицинские науки только к середине XIX века избавлялись от наследия витализма, которому противопоставлялся «механицизм», т.е. опора на фундамент физики и химии. Получавшие образование в 1870–1880-е годы люди продолжали именовать себя «механицистами» в начале XX столетия, даже если сами они далеко отошли от подобной узкой программы научного знания⁷.

⁶ В «Духе позитивной философии» О. Конта целый раздел был посвящен «солидарности» между положительной философией и «всеобщим простым здравым смыслом» (см.: Конт О. Дух позитивной философии. Ростов н/Д: Феникс, 2003).

⁷ Например, З. Фрейд противопоставлял свои воззрения витализму («оккультизму») К.Г. Юнга и писал, что сам он и его ученики остаются «механицистами и материалистами».

Математика и естествознание доказывали свою истинность все новыми техническими достижениями, но к умственной и общественной жизни применить законы физики или химии было довольно трудно. Попытки создать «социальную физику» были очевидным образом несостоятельными. После открытий Чарльза Дарвина к общественной жизни стали применять понятие естественного отбора, появляются различные варианты социал-дарвинизма. Однако и эти доктрины демонстрировали свою несостоятельность, когда их применяли для объяснения искусства, морали, религии. «Человек произошел от обезьяны, и, следовательно, мы должны любить друг друга», — так насмешливо излагал В.С. Соловьев кредо эволюционистов XIX века.

С момента своего возникновения наука Нового времени противопоставлялась не только средневековой схоластике, но и политическим дебатам: наука есть плод незаинтересованного, бескорыстного постижения мира. Эта оппозиция была четко сформулирована уже в раннем трактате Томаса Гоббса «О гражданине»⁸, но сам он приложил все усилия для создания социально-политической теории в «Левиафане». То же самое можно сказать о ведущих мыслителях эпохи Просвещения: на протяжении всего XVIII века, от Шарля-Луи Монтескье до Николая Кондорсе, они отталкивались от ньютоновской физики, но писали, прежде всего, о социальных проблемах. Сходным образом поступали и создатели позитивизма XIX века. Огюст Конт и Герберт Спенсер были основоположниками социологии, Джон Стюарт Милль был крупным экономистом. Для понимания процессов, происходящих во все более сложном обществе, требовались социальные науки. Они появляются одновременно с идеологиями, поскольку в основании лежит одна и та же социальная трансформация, переход от аграрного общества к индустриальному. Общество стало сложным и непрозрачным, число социальных взаимосвязей выросло, «гражданское общество» обособилось от государства — перед тем как действовать, нужно его понимать. Но и управлять этим обществом, контролировать его оказывается невозможно без средств мобилизации атомизированных индивидов, преследующих собственные интересы. Социология и экономика нужны для познания и предсказания, идеология нужна для совместного действия.

Термин «идеология» первоначально обозначал научные изыскания исследователей Просвещения, вроде Пьера Кабаниса и Антуана Дестюта де Траси в наполеоновской Франции. Но уже через пару десятилетий его начинают употреблять в другом значении, имея в виду политические трактаты и

⁸ Или даже в нескольких афоризмах Леонардо да Винчи, противопоставлявшего «высшие достижения математических наук» наукам софистическим, «которые учат лишь вечному крику» (см.: Леонардо да Винчи. Суждения о науке и искусстве. СПб.: Азбука, 1998. С. 127–128).

партийные программы. К началу 1830-х годов складываются три основных идеологических течения, значимые до сегодняшнего дня: либерализм, консерватизм и социализм. Первоначальная связь этих идеологий с интересами существующих на тот момент социальных групп (движущейся вверх буржуазии, сдающего свои позиции дворянства, нарождающегося рабочего движения) со временем стала не столь очевидной, да и в начальный период ситуация была не столь простой. Анри Сен-Симон и его ученики желали представлять интересы всех «производителей» (включая фабрикантов), британские консерваторы вовсе не были «реакционерами», мечтавшими о реставрации абсолютной монархии — таковыми не были и многие континентальные консерваторы, вроде Франсуа Гизо, Алексиса де Токвиля или Лоренца фон Штейна. Все эти политические проекты обосновывались с помощью философских и научных аргументов. После революций 1848 года на протяжении нескольких десятилетий либерализм, казалось бы, одержал окончательную победу. Консервативные партии в парламентах становятся выразителями интересов не только остатков аристократии, но и сельской буржуазии, выступления «четвертого сословия» подавлены. Сама социальная реальность, кажется, подтверждает либеральную доктрину. Капитализм свободной конкуренции доказывает свое превосходство ростом промышленности, торговли, техники, образования.

Однако этот период оказался довольно коротким. Правительства вынуждены принимать законы о профсоюзах и совершенствовать фабричное законодательство; под давлением аграриев они обращаются к практике протекционизма, да и защита интересов собственной промышленности требует тарифной политики. «Конкурентные рынки все больше и больше превращались в монопольные, а во внешней сфере набирали силу империалистические тенденции. Любопытно, что контрдвижение против экономического либерализма стало спонтанной реакцией, которая охватила все без исключения развитые страны, так что даже самые последовательные приверженцы этого учения не могли не осознать того факта, что *laissez faire* несовместим с условиями развитого рыночного хозяйства»⁹. Это ведет к ряду последствий, в том числе и касающихся вопросов мира и войны.

Если в период Священного Союза буржуазия была революционной силой, ставившей мир под угрозу (например, требованиями создания национальных государств и пересмотра границ), то во второй половине века победившая буржуазия желала мира и порядка. Европейский концерт национальных государств опирался на экономическую систему финансовых и торговых рынков, на золотой стандарт. «Успехи Европейского концерта

⁹ Нуреев Р.М., Латов Ю.В. Россия и Европа: эффект колеи (опыт институционального анализа истории экономического развития). Калининград: Изд-во РГУ им. Канта, 2010. С. 215.

объяснялись нуждами новой международной организации экономики, и с крахом этой организации сам Европейский концерт должен был потерпеть фиаско»¹⁰. Начинается борьба за внешние рынки, колониальная экспансия ведет к конфликтам. В границах каждой из стран формировалось организованное рабочее движение, в борьбе между разными социалистическими движениями господствующее положение занял марксизм — учение о неизбежности и желательности пролетарской революции. С «красной угрозой» к концу века вынуждены считаться правящие элиты. Наиболее дальновидные мыслители еще в 1860-е годы предсказывали вступление Европы в эпоху, в которой двумя главными идеями станут социализм и национализм. В статье «Национальное самоопределение» (1862) идеолог либерализма и историк лорд Актон писал о том, что при всей утопичности и даже абсурдности социалистических доктрин, они все же ставят вопрос об ужасающем бремени, которое цивилизация возложила на людей физического труда. «Но национализм не имеет в виду ни свободу, ни благосостояние: и то, и другое принесено им в жертву повелительной необходимости сделать нацию шаблоном и мерилom государственности. Его путь будет отмечен как вещественными, так и нравственными руинами, и все во имя нового мышления, готового попать и труды господни, и интересы человечества»¹¹. И социализм, и национализм «отдают человека на милость коллективной воли» — такова, по Актону, угроза европейскому гуманизму.

Однако у целого ряда мыслителей уже в то время под сомнением находились итоги развития буржуазной цивилизации — торжество либерализма совсем не похоже на вершину человечности. К середине XIX века хорошо видны расхождения между заявленными в качестве высших ценностей «свободой, равенством и братством» и действительностью. И революционеры-социалисты, и контрреволюционеры-роялисты согласны в критике буржуазного порядка, между реакционерами, вроде Хуана Доносо Кортеса и Фридриха Юлиуса Штала, с одной стороны, и революционерами, вроде Пьера Жозефа Прудона и Карла Маркса — с другой, нет принципиальных разногласий в оценке либералов: «либеральная буржуазия желает Бога, однако он не должен становиться активным; она желает монарха, но он должен быть беспомощным; она требует свободы и равенства и, несмотря на это, ограничения избирательного права имущими классами, чтобы обеспечить образованию и собственности необходимое влияние на законодательство, как будто образование и собственность дают право угнетать бедных и необразованных людей; она упраздняет аристократию крови и семьи и допускает бесстыдное господство денежной аристократии, глупейшую и вуль-

¹⁰ Поланьи К. Великая трансформация. Политические и экономические истоки нашего времени. СПб.: Алетейа, 2002. С. 29.

¹¹ Актон Дж. Очерки становления свободы. L.: Overseas Publications Ltd, 1992. С. 137.

гарнейшую форму аристократии; она не желает ни суверенитета короля, ни суверенитета народа. Так чего же она, собственно, хочет?»¹². Русские консерваторы охотно цитировали А.И. Герцена, разочаровавшегося в европейской буржуазии, оценки Запада у анархиста М.А. Бакунина в «Кнута-германской империи» сходны с суждениями националиста Н.Я. Данилевского.

Правые и левые сходятся в оценке самого типа человека, который доминирует в Европе. Если буржуа революционной эпохи иной раз проявлял героические черты, если нечто величественное все же было присуще «грюндерам», которые становились «угольными» или «стальными баронами», то их дети и внуки предстают как рантье, как потребители. К.Н. Леонтьев соглашается с Прудоном в оценке итога революционных перемен: «Европейская революция есть всеобщее смещение, стремление уравнивать и обезличить людей в типе *среднего*, безвредного и трудолюбивого, но безбожного и безличного человека, — немного эпикурейца и немного стоика»¹³. Но разве можно считать этого эстетически и этически посредственного индивида наследником Возрождения, на которое так охотно ссылаются либеральные публицисты? Можно ли считать вершиной и целью истории царство серости? Господствующий тип буржуазного интеллектуала представлен прежде всего рантье, адвокатами, парламентскими ораторами. Доносо Кортес называл буржуазию *la clase discutidora*, имея в виду готовность до бесконечности забалтывать любой вопрос. Если же взять гуманизм этого человеческого типа, то вполне подходят слова Токвиля, сказанные о «короле-буржуа» Людовике Орлеанском: «Алчный и сладостный» (*cupide et doux*). Речи о свободах и правах прикрывают жестокую эксплуатацию в самих европейских странах, вовне они служат обоснованием колониальных захватов. Уже в XIX веке «политика канонеров» предполагала высокие слова о свободах и о благах цивилизации. Первой войной «за свободу» была война Великобритании против Китая — за свободу торговли опиумом.

Те творцы цивилизации, которые поднимаются над уровнем вульгарного рантье — ученые, инженеры, художники — сделались наемными работниками капитала. Но власть денежных мешков не может быть вечной. Для одних торжество новой аристократии труда наступит в результате социалистической революции, для других эта аристократия предстает как синтез воинских доблестей феодального мира и научно-технических орудий современности. Фридрих Ницше был самой яркой фигурой среди тех, кто выступил проповедником такой аристократии, но далеко не единственной. Теории правящей посредством меча элиты создаются в то время целым рядом мыслителей в разных странах Европы. Итальянский эконо-

¹² Шмитт К. Политическая теология. М.: Канон-Пресс-Ц, 2000. С. 89.

¹³ Леонтьев К.Н. Записки отшельника. М.: АСТ, 2004. С. 159–160.

мист и социолог Вильфредо Парето или французский создатель социальной психологии Густав Ле Бон были теми авторами, которые сформировали сознание Бенито Муссолини. Новая аристократия предполагает и новую общественную иерархию, на вершинах которой оказываются не боящиеся крови «люди дела». При всей ненависти Ницше к демократии, социализму и анархизму он пишет: «Революция сделала возможным Наполеона. За такую цену мы должны были бы даже желать анархического низвержения всей нашей цивилизации»¹⁴. На вратах подступающей эпохи начертано: «Горе слабому».

Социал-дарвинизм к 1890-м годам соединяется с расизмом и становится составной частью идеологии колониальных держав. Практика создателей колониальных империй, вроде Джона Сесилия Родса, воспевается поэтами, пишущими о «бремени белого человека». Теория естественного отбора в рамках этой новой идеологии осмысливается следующим образом: выживают сильнейшие, к ним относятся представители белой расы, создавшие замечательную индустриально-техническую цивилизацию. Прочие не смогли этого сделать, поскольку принадлежат к биологически ущербным расам. Эти воззрения принадлежали совсем не «реакционерам»: на конец XIX века общепризнанными считались взгляды либерала Спенсера на эволюцию человеческого общества. По мере прогресса все более сложными и высокоорганизованными становятся язык, знания, умения, умственные способности. Люди с более развитым умом достигают успеха, выигрывают в конкуренции. Столкновения групп приводят к вытеснению сильными и развитыми слабых и отсталых. «Поскольку победители наиболее приспособлены, то из теории Спенсера следовало, что англичане XIX века обладали наиболее высокими способностями и жили в самом развитом обществе, являя собой, таким образом, образец для сравнения других народов»¹⁵. Вполне обычными для этнографов, историков, социологов той эпохи были сравнения дикарей с детьми. Но не так уж редки были и рассуждения о принадлежности представителей «низших рас» к животным. В зоопарках европейских государств обычно имелся и вольер с африканцами¹⁶; вскоре и счеты друг с другом европейские буржуа начинают выяснять, используя расовую терминологию. Чаще всего рассуждениями о расовом превосходстве пользовались в Англии и в Германии, но сходные пассажи обнаруживаются и у противников «пангерманизма». Например, автор монументальной книги «Империя царей и русские», Анатолий Леруа-Болье, обосновывает для

¹⁴ Nietzsche F. Der Wille zur Macht. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag, 1996. S. 597.

¹⁵ Коул М., Скрибнер С. Культура и мышление. М.: Прогресс, 1977. С. 26.

¹⁶ Такие вольеры в некоторых странах Европы просуществовали еще несколько десятилетий. Последний из них закрылся в Турине только в 1930-е годы.

французского образованного читателя союз с Россией детальным подсчетом того, что в крови русских арийское наследство преобладает над угрофинским. Антисемитизм был лишь одной из составляющих тогдашнего политического дискурса, и наиболее вирулентным он был в республиканской демократической Франции¹⁷. Одни теоретики конца XIX века пишут о классовой борьбе, другие о беспощадной «борьбе рас».

La belle époque

Наименование *Belle époque* на языке современных историков относится не к историческим, а к мемориальным — «прекрасной эпохой» стали называть четверть века, предшествовавшую мировой войне, пережившие эту войну люди, которые ностальгически вспоминали о мирной и упорядоченной жизни. Это была эпоха невиданного промышленного роста, технических изобретений, научных открытий. В это время на улицах европейских городов появляются автомобили и трамваи, в домах — электрическое освещение и телефоны. Радио, аэропланы, кинотеатры, подводные лодки — этот список можно было бы продолжить. Все эти технические новинки опирались на научные открытия предшествующих десятилетий, но на это же время падают новые открытия, переворачивающие представления об устройстве мира, которые нередко именуют «научной революцией» (специальная теория относительности Альберта Эйнштейна, «атом Бора», генетика).

В ряде стран Европы в литературе и изобразительных искусствах ощущим ветер перемен. Внешние обстоятельства были совершенно различными. Скажем, в Испании писатели и поэты, принадлежащие к так называемому «поколению 1898 года», выходят на сцену истории в момент военного поражения Испании в войне с США и утраты последних колоний, тогда как в Германии, Австро-Венгрии, России ситуация была иной. Но во всех этих странах литераторы и художники обращаются к новым формам. Наименования этому движению в статьях и манифестах давались самые разнообразные. Как писал впоследствии Г.В. Адамович, «у движения этого есть несколько названий: есть кличка, ставшая презрительной, — “декадентство”, есть уклончивое, неясное имя — “модернизм”, есть определение литературное — “символизм”... Одна, единая творческая энергия вызвала в девяностых годах литературное оживление...»¹⁸. Общим для всех этих художников и поэтов оказывается отрицание эстетики викторианской эпохи.

Изменения происходят и в богословии. В католицизме они связаны с появлением «модернизма», в немецком протестантизме возникает «школа

¹⁷ См.: *Sternhell Z. La droite révolutionnaire 1885–1914. Les origines françaises du fascisme.* Paris: Seuil, 1978.

¹⁸ Адамович Г.В. *Одиночество и свобода.* СПб.: Азбука, 2006. С. 52.

истории религии», которая отходит от морализаторских трактовок христианства в рамках так называемой «либеральной теологии». Самым существенным в Новом Завете для этой школы оказывается не догматика, не нравственные идеи, но личное благочестие, мир переживаний верующего индивида¹⁹. Высшим выражением религии становится мистика. Религиозное переживание не сводится к прочим высшим человеческим чувствам, не говоря уж об инстинктах, социальных интересах и т.п.; если такое сведение невозможно, то первой задачей становится феноменологическое описание, установление неких всегда в нем проявляющихся структур. Виднейший представитель этой школы, Рудольф Отто, с 1911 года работает над книгой «Священное», которая выйдет во время войны — первый в XX веке набросок феноменологии религии. Пробуждается интерес к оккультизму, к восточным религиям. При этом разочаровавшиеся в собственных религиозных традициях люди заняты поиском нового опыта, а не каких-то догматов и ритуалов. Каждый образованный индивид считал своим долгом иметь «мировоззрение» — таковым могли стать хоть дарвинизм, хоть вагнерианство. «Это был век, когда музыка Вагнера, не довольствуясь ролью музыки, хотела занять место философии и даже религии; это был век, когда физика хотела стать метафизикой, философия — физикой, а поэзия — живописью и музыкой; политика уже не желала оставаться только политикой, а мечтала сделаться религиозным кредо и — что уж совсем нелепо — сделать людей счастливыми»²⁰.

Слова «переживание», «опыт», «субъективность» вообще наиболее характерны для умозрений этого периода. Один из наиболее чутких диагностов эпохи, немецкий философ и социолог Георг Зиммель в неоконченном наброске «Индивид и свобода» писал о появлении нового индивидуализма. Наследием Просвещения был либеральный индивидуализм XIX века, утверждавший свободу и равенство абстрактного человека — равного любому другому, а потому и равноправного. «В практической области эта концепция индивидуальности явным образом выливается в *laissez faire, laissez passer*. Если во всех людях содержится всегда тот же самый «человек вообще» как общая их сущность, если предлагается полное и ничем не сдерживаемое развитие этой сердцевины, то не требуется никакого регулирующего вмешательства в человеческие отношения»²¹. Общественная гармония возникает из конкурентной борьбы, «невидимая рука» устанавливает равновесие не только на рынках, она гарантирует права и свободы в «гражданском обществе», а государство мыслится как «ночной сторож». Но

¹⁹ См.: Бульман Р. Избранное: Вера и Понимание. М.: РОССПЭН, 2004. С. 17.

²⁰ Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? М.: Наука, 1991. С. 74.

²¹ Зиммель Г. Избранное. Т. 2. М.: Юрист, 1996. С. 196–197.

возможно и совсем иное понимание индивидуальности, развитое прежде всего в рамках романтизма. Ведь «обособившиеся индивиды желают *отличаться друг от друга*, быть не просто свободными одиночками вообще, но особенными и неповторимыми»²². Каждый индивид сам формирует некий совершенно неповторимый облик — такова нравственная задача каждого, каждый должен стремиться к самореализации, а потому не равенство, но различие людей становится нравственным требованием. Такой индивидуализм Зиммель называет «качественным», противопоставляя его «нумерическому» индивидуализму Просвещения и либерализма. Но качественный индивидуализм неповторимых личностей предполагает иные социально-экономические принципы. Уже не свободная конкуренция, а разделение труда в рамках сложного общественного организма становится основанием экономики. Романтический индивидуализм связан не с механическим, а с органическим пониманием общества. В последнем роль государства никак не сводится к положению «ночного сторожа».

Философия в этот период также обращена к субъективному опыту мира. На разные языки переводят с датского Сёрена Кьеркегора, растет число поклонников Артура Шопенгауэра, пожалуй, самым популярным мыслителем становится Фридрих Ницше — не только в Германии, но и в России начала XX века. Даже занятые обоснованием «математического естествознания» неокантианцы пишут о «чистом опыте», текучую «жизнь сознания» пытается уловить феноменология Эдмунда Гуссерля. Слово «переживание» (*Erlebnis*) из философских трудов Вильгельма Дильтея переходит в повседневную речь, основоположник прагматизма Уильям Джеймс пишет о «потоке сознания» и создает теорию «радикального эмпиризма». И в интуитивизме Анри Бергсона во Франции, и в немецкой «философии жизни» отвергается прежняя ориентация философии на естественные науки, причем речь идет не только о натурализме и позитивизме XIX века, но и о всей традиции Нового времени — философия перестает быть «служанкой науки». Появляются первые труды мыслителей (Н.А. Бердяев и Л.И. Шестов в России, Мигель де Унамуно в Испании), которые впоследствии будут классифицироваться как «экзистенциалистские».

Впоследствии и либералы, и марксисты напишут немало критических статей и монографий, в которых этот поворот к «жизни» будет рассматриваться как «затмение разума», иррационализм, реакционный антиинтеллектуализм, обслуживавший империалистическую политику и подготавливавший фашизм. Иные из этих работ были талантливыми (скажем, книга Георга Лукача), но такой узко «партийный» взгляд на философию той эпохи односторонен. Легко указать и на то, что в то время сочинения Ницше, Бергсона, Зиммеля находили почитателей прежде всего среди «левых» ин-

²² Зиммель Г. Указ. соч. С. 196–197.

теллекулалов. В России Ницше зачитываются русские символисты, причем писали о нем именно те из них, которые после 1917 года станут служить новой власти; к Бергсону обращается и анархист И.С. Книжник-Ветров, и марксист В.А. Базаров; даже Г.В. Плехановым была написана положительная рецензия на «Материю и память» Бергсона²³. Критика догматического материализма, позитивизма или гегелевской диалектики совсем не обязательно ведет к «поповщине» или фашизму. Противники этой философии правы лишь в том, что через пару десятилетий некоторые тезисы философов превратятся в идеологические принципы послевоенных партий.

Идеологические дебаты предвоенного времени дают картину любопытных трансформаций доктрин и партийных программ. «Национал-либерализм» союзов немецкой буржуазии, вроде *Alldeutsches Verband*, *Kolonialgesellschaft*, *Flottverein*, представляет собой программу империалистических захватов, «борьбы за место под солнцем», как выразился германский канцлер. Социал-демократы в целом пока еще не переходят на позиции появившихся среди них «ревизионистов», вроде Эдуарда Бернштейна, но лидеры профсоюзов, желающие прежде всего улучшать условия наемных работников, уже далеки от революционных мечтаний. Иные из них уже переоценивают и лозунг о превращении империалистической войны в войну гражданскую. Конечно, на социалистических конгрессах они поют «Интернационал», один куплет которого исчез в русском переводе: «И если эти каннибалы будут упорствовать и делать из нас героев, то скоро они узнают, что наши пули предназначены для собственных генералов». Но как практики они хорошо понимают, что наличие рабочих мест и благосостояние тружеников зависят от наличия рынков сбыта, борьбы за колонии. Немецким рабочим были хорошо известны слова их вождя Августа Бебеля: «Если речь пойдет о войне с Россией, я первым возьму винтовку». Война за территории на Востоке как продолжение *Drang nach Osten* у одних сочетается с мыслями о войне между «европейским прогрессом» и «тюрьмой народов» у других.

Еще более характерны трансформации консерватизма. Во второй половине XIX века происходила «национализация» европейских монархий, дворянство служило уже не династии, а нации. «Пангерманизм» и «панславизм» еще совсем не характерны для 1870-х годов, но они становятся направляющими идеями во времена Александра III и Вильгельма II. В Италии правые националисты начинают писать о революционной борьбе «молодых наций» против «старых». Происходит преображение и либеральной, и консервативной идеологии: «Национализм из понятия, связанного с левыми и либеральными идеями, превратился в среде мелкой буржуазии в

²³ См.: *Нэттеркотт Ф.* Философская встреча. Бергсон в России (1907–1917). М.: Модест Колеров, 2008.

шовинистическое, имперское, агрессивно-ксенофобское движение, точнее — в правый радикализм»²⁴. В республиканской Франции эта эволюция консерватизма была еще более заметной. Action française Шарля Морраса выступает как партия «интегрального национализма», отказа от традиционных форм монархии, связи престола и алтаря. По существу, это уже партия нового «цезаризма», противостоящего плутократии. Более того, «интегральные националисты» пытаются выработать общую программу с левыми анархо-синдикалистами, воздействовать на рабочее движение через профсоюзы. Попытки были неудачными, но они задают вектор будущих движений такого рода: консервативные элиты должны опираться на рабочие массы. В Австро-Венгрии в 1904 году возникает первая рабочая партия (Немецкая рабочая партия — DAP), которая увязывает улучшение положения рабочих с национализмом, направленным как против «еврейского капитала», так и против притока «дешевой рабочей силы» из Чехии. Молодой Адольф Гитлер в то время наблюдал за тем, как пользуется анти-семитской пропагандой бургомистр Вены Карл Люгер, а Георг фон Шёнерер сочетает немецкий национал-либерализм с расовой доктриной. В «Майн кампф» он будет вспоминать свой восторг в связи с началом войны. Убийство эрцгерцога Фердинанда в Сараево поначалу вызвало у него опасения, поскольку наследника с его симпатиями к славянам империи ненавидели и готовы были уничтожить сторонники пангерманизма; его убили сербы, война неизбежна, да здравствует война!

Предчувствия

Философы последних предвоенных лет занимались не только своими цеховыми проблемами онтологии и этики, они писали о путях развития европейской цивилизации. Философы размышляли о борьбе в сфере духа, которая имеет отношение к борьбе наций. Н.А. Бердяев в книге о А.С. Хомякове писал о том, что ранним славянофилам приходилось бороться с классическим немецким идеализмом, тогда как ныне борьба идет с идеализмом эпигонским. «То вооружение, которое выковывалось в борьбе с классическим германским идеализмом, с вершинами западной философии, может пригодиться и для борьбы с идеализмом модернизированным»²⁵. Сходные

²⁴ Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 года. СПб.: Алетея, 1998. С. 192.

²⁵ Бердяев Н.А. Константин Леонтьев. Алексей Степанович Хомяков. М.: АСТ, 2007. С. 351–352. «Грех Хомякова был не в том, что он отрицал Запад (он не отрицал Запад, а в своей критике Запада часто бывал прав), — грех его в том, что он с нелюбовью относился к католичеству, т.е. к целой половине христианского мира, и питал антипатию к романским народам, т.е. к живым носителям католичества на Западе. Хомяков всегда отдавал предпочтение Германии перед странами романскими. Думаю, что в этом он допустил большую ошибку по

отсылки к Иоганну Готфриду Гердеру, Иоганну Готлибу Фихте, Георгу Вильгельму Фридриху Гегелю, как «борцам» немецкой Kultur против западной civilization, были нередки в Германии. Но намного интереснее таких отсылок к «национальному духу» неутешительные размышления о судьбах европейского мира. Пророками философы все же не были, пророческим даром обладали, скорее, поэты, предрекавшие «неслыханные перемены, невиданные мятежи»²⁶. Можно вспомнить о видениях, посещавших хоть русских символистов, вроде Андрея Белого и Л.Л. Эллиса, либо немецких поэтов-экспрессионистов, вроде Георга Гейма. Наступает век войн и революций — об этом было немало сказано мыслителями самых разных воззрений. Такие русские писатели, как Л.Н. Толстой, К.Н. Леонтьев или В.С. Соловьев, полемизировали по многим вопросам, общим для них было предвидение насильственных перемен²⁷. Правда, ни они, ни западноевропейские писатели не предвидели характера, длительности, ожесточенности войны.

Об этом писали более информированные и политически ангажированные люди. В 1911 году председатель самого крупного союза немецкой буржуазии Alldeutsches Verband, Генрих Клас, пишет брошюру «Если бы императором был я», в которой требует от кайзера скорейшего начала войны, поскольку через несколько лет Россия укрепитя экономически и выиграш в войне станет проблематичным. Эту позицию разделяют генералы германского Генштаба. О неизбежности войны пишут публицисты многих стран; опасаящиеся войны социал-демократы на своих предвоенных конгрессах обещают ответить на подступающую войну всеобщей забастовкой. «Война великих европейских держав, разразившаяся в начале августа 1914 года, ни для кого не была неожиданностью. Редко бывало так, чтобы о войне так

отношению к идеалам России и славянства. Германия — носительница идеалов пангерманизма, глубоко враждебных идеалам панславизма. Германия имеет всемирно-историческое стремление германизировать славянство, привить ему свою культуру. Германизм — одна из исторических опасностей для России и славянства, подобно опасности панмонголизма. Со странами романскими нам делить нечего» (Там же. С. 426–427).

²⁶ В предисловии к написанному в основном в 1910–1911 годах «Возмездие» Блок отмечает, что на то время в газетах мелькали статьи о грядущей войне: «Уже был ощутим запах гари, железа и крови».

²⁷ «Мы чуть держимся в своей лодочке над бушующим уже и заливающим нас морем, которое вот-вот гневно поглотит и пожрет нас. Рабочая революция с ужасами разрушений и убийств не только грозит нам, но мы на ней живем уже лет 30 и только пока, кое-как разными хитростями на время отсрочиваем ее взрыв. Таково положение в Европе; таково положение у нас и еще хуже у нас, потому что оно не имеет спасительных клапанов» (Толстой Л.Н. Так что же нам делать? // Он же. Собр. соч.: в 22 т. Т. XVI. М.: Художественная литература, 1983. С. 378–389). «Социализм (т.е. глубокий и отчасти насильственный экономический и бытовой переворот) теперь, видимо, неотвратим, по крайней мере для некоторой части человечества» (Леонтьев К.Н. О всемирной любви // Он же. Записки отшельника. М.: АСТ, 2004. С. 210).

много говорили задолго до ее начала. Прежде чем начались военные действия, война уже давно существовала в головах европейцев... Эта большая война стала возможна благодаря новому национальному мышлению культурных (!) народов Европы, его основные особенности можно выразить четырьмя понятиями: национализм, милитаризм, империализм и расизм»²⁸.

Однако мыслилась будущая война по образцам прошлых войн, причем не только генералами, которые планируют будущие войны по имеющимся шаблонам. Государственные деятели и юристы по-прежнему отталкивались от идеи абсолютного суверенитета²⁹; политики и философы писали о том, что война служит преодолению индивидуального эгоизма, дисциплинирует людей, развивает силы для служения высшим всеобщим интересам. Не только поклонники Гегеля писали о высшей разумности войны; слова оппонента Гегеля в философии истории Якоба Буркхардта передают общее умонастроение правящих элит на 1914 год: «Длительный мир не только расслабляет, он способствует появлению множества плачущих, боязливых, жалких существ, которые без него не могли бы появиться, но теперь с громким воплем кое-как цепляются «за право» существовать, занимают места, принадлежащие подлинным силам, и коптят небо, а в общем оскверняют национальное достоинство. В войне восстанавливается уважение к истинной силе, жалкие же существа по крайней мере принуждаются к молчанию»³⁰.

Война

Начало войны было с энтузиазмом встречено городскими массами почти всех участвовавших в войне стран. Митинги, шествия, торжественные проводы на фронт первых эшелонов — таким был отклик на сообщения о войне европейских элит и среднего класса. Мобилизованные дети крестьян и рабочих отправлялись на войну покорно, но без всякого восторга. Вожди рабочего движения и профсоюзные лидеры поддерживали во всех странах «оборонительную» войну, но у одетых в серые шинели молодых рабочих восторга война не вызывала. Зато их сверстники из дворянских и буржу-

²⁸ Данин О. Нации и национализм в Германии, 1770–1990. СПб.: Наука, 2003. С. 212.

²⁹ «Европейское государственное международное право никогда не имело целью или принципом постановку войны вне закона. Совсем наоборот, оно предусматривало должные формы объявления войны, запрещало использование в войне некоторых средств и способов, регламентировало порядок заключения перемирия и подписания мира, устанавливало определенные обязанности нейтральных стран по отношению к странам воюющим, а воюющих — по отношению к гражданскому населению, военнопленным и т.д. Короче говоря, оно узаконивало и ограничивало войну, но никак не считало ее преступлением» (Арон Р. Мир и война между народами. М.: Nota Bene, 2000. С. 165–166).

³⁰ Буркхардт Я. Размышления о всемирной истории. М.: РОССПЭН, 2004. С. 143.

азных семей — студенты, выпускники гимназий и лицеев — записывались добровольцами, заполняли юнкерские училища. Сохранились восторженные письма погибших в первые месяцы войны добровольцев-студентов, передающие эти умонастроения³¹. Романтизм предвоенных движений, вроде немецкого Wandervogelbewegung, патриотизм французских католических союзов или роялистов из Camelots du Roi способствовал мобилизации лучшей части молодежи. С фронта не вернется примерно треть предвоенных выпускников Оксфорда и Кембриджа. Жертвовали своими детьми и представители высшего света: среди погибших на фронте встречаются и немецкие герцоги, и русские великие князья.

Отправились на войну и философы. По разные стороны фронта находились Эмиль-Огюст Шартье (известный под псевдонимом Ален) и Эрнст Юнгер, в галицийском сражении участвовали Людвиг Витгенштейн и Федор Степун. Воевал и будущий неотомист, историк средневековой философии Этьен Жильсон, и вступивший добровольцем во французский Иностранный легион Александр Койре, который прославится как историк науки. У мыслителей старшего поколения сражались и гибли на фронте сыновья (как сыновья Э. Гуссерля и Г.Г. Шпета). В 1915 году погиб наиболее даровитый представитель молодого поколения неокантианцев Эмиль Ласк, в боевых действиях участвовали Ханс Фрайер и Норберт Элиас (философы, которые внесли значительный вклад в развитие социологии), будущий учитель американских неоконсерваторов Лео Штраус. Мартин Хайдеггер был мобилизован, но на фронт не попал по состоянию здоровья, тогда как его будущий ученик Карл Лёвит воевал и оказался в плену у итальянцев. Эти мыслители напишут главные свои труды после войны; их старшие коллеги, имевшие к тому времени известность и научный вес, вели другую войну — впервые в истории с таким размахом велась пропаганда, оправдывающая собственные действия и очерняющая врага.

Уже с самого начала конфликта почти каждой стране было нелегко обосновывать свое вступление в войну. Разумеется, имелись страны-жертвы (Бельгия, Сербия) и договоры, в соответствии с которыми приходилось объявлять войну агрессору, напавшему на союзника. Но кто был тем агрессором, который развязал войну? Оправдывать свои действия правительствам приходилось не только перед общественным мнением собственных стран. Активная пропагандистская кампания велась в нейтральных странах, она сопрягалась с подрывной деятельностью в тылу врага. Эта практика уже

³¹ «Ура, наконец-то я получил назначение! — писал студент-юрист незадолго до своей гибели в сражении на Марне. — Мы победим! Да и как может быть иначе при столь могущественной воле к победе. Дорогие мои, гордитесь тем, что вы живете в такое время и являетесь представителями такого народа» (Kriegsbriefe gefallener Studenten / Ph. Witkop (Hrsg.). München: Albert Langen, Georg Müller, 1929. S. 7 ff).

существовала («рептильная пресса» Отто фон Бисмарка³², подготовка американскими газетными трестами войны с Испанией в 1898 году, японские деньги для русских революционеров и т.п.), но впервые она приобрела такой размах. В странах, которые вступали в войну в 1915–1917 годах (Болгария, Италия, Румыния, США), уже воюющие державы вели активную агитацию в газетах. Но с каждым месяцем затянувшейся войны все более настоятельной была задача мобилизации внутренних ресурсов, недопущения антивоенных выступлений, забастовок и бунтов.

В этих идеологических кампаниях с самого начала были задействованы университетские профессора. Собственно говоря, война слов началась еще до того, как развернулись боевые действия. Первый манифест, подписанный несколькими английскими учеными, был опубликован 1 августа: в нем содержался призыв к правительству отказаться от участия в войне, которая прямо не затрагивает британские интересы. Через несколько дней появляется другой манифест, подписанный уже десятками ведущих ученых и литераторов, в котором, помимо ссылок на вторжение в Бельгию, содержатся все главные тезисы пропаганды Антанты: война идет не с Германией науки и искусства, а с милитаризмом и экспансионизмом правящей юнкерской верхушки. Ответом на это выступление был получивший наибольшую известность манифест «К культурному миру» («Манифест 93-х») виднейших немецких ученых и литераторов, в октябре вышел еще один манифест: «Обращение преподавателей высших школ германского рейха», написанный видным филологом-античником Ульрих фон Виламовицем-Мёллендорфом и подписанный 4 тысячами профессоров и приват-доцентов. Затем последовала «Декларация немецких университетов»³³.

Наибольшую — и печальную — известность получил манифест «К культурному миру», на него будут ссылаться критики немецких интеллектуалов из самых разных стран. Он состоял из антитезисов, каждый из которых начинался со слов: «Неправда, что...». Причем иные из этих утверждений сразу вызвали возмущение не только в странах Антанты. Как могли восприни-

³² Пожалуй, именно с Бисмарка начинается согласование дипломатических и военных действий с организацией общественного мнения через прессу. «У Бисмарка были свои журналисты, без которых он не сумел бы наносить свои удары, — с завистью писал французский националист Ш. Моррас в 1905 году. — Эмская делегация предполагала восторженное участие многочисленной и покорной прессы; вот образцовое использование потребных государству фикций, которые вбрасываются в благоприятный и хорошо просчитанный момент, чтобы последовал взрыв в общественном мнении» (*Моррас Ш. Будущее интеллигенции*. М.: Практис, 2003. С. 61–62).

³³ Подробно «война манифестов» и ее последствия для научного мира рассматриваются в статье А. Дмитриева: *Дмитриев А.Н. Мобилизация интеллекта: международное научное сообщество и Первая мировая война // Интеллигенция в истории*. М.: ИВИ РАН, 2001. С. 296–335.

маться слова о том, что Германия вовсе не нарушала суверенитета Бельгии? Разве не сгорела библиотека в Лувене, не был разрушен огнем артиллерии собор в Реймсе? Ответом были воззвания ученых стран Антанты, в которых вновь и вновь подчеркивалось, что война идет не с Германией Гёте и Шиллера, а с варварством авторитарной прусской военщины.

Разумеется, немецкие профессора имели основания для того, чтобы укорять своих оппонентов в лицемерии, когда те писали о том, что война ведется странами Антанты за ценности цивилизации, за свободы и права. В Германии и в Австро-Венгрии свобод и прав у населения было не меньше, чем в Великобритании (и явно больше, чем в России), принадлежность Центральной Европы к «европейской цивилизации» также не вызывала сомнений. Но немецкие ученые и литераторы утверждали нечто большее: с немецкой стороны война была объявлена «войной духа», Кант и Гёте в ней оказались в одном строю с Бисмарком и Мольтке. В дальнейшем немецкие публицисты раз за разом будут писать об «особом пути» (*Sonderweg*) Германии, чем будут неизменно пользоваться их оппоненты, ссылающиеся то на политическую культуру лютеранства, то на ментальность немецких «мандаринов»³⁴. Впрочем, во время войны попытки сделать ее религиозной не нашли поддержки ни у протестантов, ни у католиков, а либеральные и марксистские разоблачения консервативных «мандаринов» принадлежат другой эпохе и связаны с попытками «левых» найти истоки нацизма в бисмарковском рейхе³⁵ (а то и во всей немецкой истории). Немецкие ученые той поры были не столько консерваторами, сколько национал-либералами, как и большая часть предвоенной немецкой городской буржуазии.

Немецкие публицисты пользовались той же оппозицией «духа» и политической «плоти», оценивая страны Антанты. Существует Россия Толстого и Достоевского и Россия царского самодержавия — восточная деспотия и «тюрьма народов»; Франция Декарта и Паскаля находится в конфликте с цивилизацией рантье; историк Ганс Дельбрюк, один из представителей научного цеха, наиболее вовлеченных в разработку германских планов послевоенных аннексий, писал о «двух Англиях». Французский реваншизм

³⁴ См.: *Ringer F. The Decline of German Mandarins. The German Academic Community 1890–1933.* Cambridge: Harvard University Press, 1969. Об особенностях сформированного Реформацией немецкого менталитета и его воздействии на политическую сферу написано огромное число работ. Начало положила написанная Х. Плесснером книга «Запоздавшая нация» (1935) (впервые вышла под другим названием: *Plessner H. Das Schicksal deutschen Geistes im Ausgang seiner bürgerlichen Epoche.* Zürich; Leipzig: Max Niehans, 1935. В 1959 году — ее переименованное переиздание: *Plessner H. Die verspätete Nation. Über die politische Verführbarkeit bürgerlichen Geistes.* Stuttgart; Berlin; Köln; Mainz: W. Kohlhammer, 1959).

³⁵ Наибольшую известность среди историков получили труды Х.-У. Велера, в первую очередь: *Wehler H.-U. Das Deutsche Kaiserreich 1871–1918.* Goettingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1973.

ничуть не легче было обосновывать ссылками на «цивилизацию», чем германский империализм. Ведь если следовать провозглашаемым лозунгам о правах народов, то Эльзас заселен все же этническими немцами. Британское стремление удержать за собой колонии и господство на морях трудно подкрепить ссылками на поэзию Шекспира или прозу Диккенса.

Все полемические ухищрения такого рода не имеют отношения к философии. Конечно, видные философы подписывали манифесты: Э. Бутру и А. Бергсон во Франции, В. Вундт и В. Виндельбанд в Германии, Л.М. Лопатин и П.Б. Струве в России. Но они поступали в данном случае как патриоты, граждане своих стран, а не философы в строгом смысле слова. Философия рождается как незаинтересованное созерцание Универсума, исследование наших познавательных способностей, размышление о сущем и должном. Даже политическая философия проясняет вопрос об общественном благе и лучшем политическом устройстве, а не о том, кто фактически виновен в развязывании войны. Лишь в том случае, когда темой философских умозрений сделалась история, а сам философ сделался своего рода диагностом рождающегося будущего, мировая война обретала черты именно философской проблемы. Но склонные к такого рода умозрениям философы составляли незначительное меньшинство.

Круг проблем, которыми занимались британские, французские, американские философы, был таков, что они не писали по поводу войны *философских* текстов. Они подписывали воззвания, принимали участие в важных дипломатических миссиях, но все это не имело никакого отношения к их собственным теоретическим построениям. Скажем, Бертран Рассел занял пацифистские позиции, выступал против участия Англии в войне, даже был осужден и арестован, но с его работами по математической логике и теории познания это никак не соотносилось. Анри Бергсон был послан французским правительством в США с целью уговорить Вудро Вильсона начать войну против Германии — свою роль играла его всемирная известность, равно как и то, что, в отличие от прочих французских философов, он хорошо говорил по-английски, поскольку провел детство в Великобритании. Но с проблематикой таких трудов, как «Материя и память» или «Творческая эволюция», это никак не было связано. Никакой роли не играла тут и вера в Бога или атеизм мыслителей. Все христиане понимали, что убийство есть грех, но все церкви благословляли войну; европейские социалисты и социал-демократы, чаще всего в Бога не верившие и до войны провозглашавшие войну злодеянием правящих классов, теперь ее прямо оправдывали. Профессора философии в этом отношении ничуть не отличались от прочих представителей образованных средних классов. Французские и англосаксонские философы принимали общую для подавляющего большинства версию событий, их профессиональные навыки не играли никакой роли. Скажем, детальный анализ публичных выступлений французских

философов³⁶ показал, что писали патриотические тексты для прессы чаще всего никому не известные учителя лицеев (философия как в III Республике, так и ныне изучается в последнем классе средней школы), а к профессиональным можно отнести лишь некоторое число историко-философских статей, содержащих суровые суждения о Фихте и Гегеле. Последний вообще был плохо известен во Франции и истолковывался во времена Наполеона III как опасный левый автор, подкрепляющий социалистические устремления к подрыву общественного порядка³⁷, тогда как в предвоенные годы и во время войны его считали идеологом прусского милитаризма. В те годы словосочетание «немецкая идеология» приобретает широкое хождение во Франции. Его использовал еще создатель *Action française* Шарль Моррас, относя к таковой без разбора и немецких романтиков, и Фихте, и Маркса, и анархистов. Такое «безразмерное» словоупотребление будет иметь во Франции долгую историю — от историко-философски неточных, но все же уместных суждений Альбера Камю в «Бунтующем человеке», и вплоть до ничтожных с профессиональной точки зрения писаний «новых философов», вроде Андре Глюксмана.

В указанных странах само философское образование не способствовало историософским трудам. Во Франции на философских факультетах учили будущих учителей в лицеях, им давали добротное историофилософское образование и некоторые познания в области эпистемологии и этики³⁸. В Великобритании еще до возникновения аналитической философии обучали тех, кто способен аргументированно решать четко поставленные проблемы логики и теории познания. Всемирно-историческое значение войны к подобным проблемам никак не относилось, равно как и популярные оппозиции «европейская цивилизация — немецкое варварство» и т.п. Одни философы воевали на фронте, другие подписывали манифесты, третьи просто молчали (таковых было подавляющее большинство).

³⁶ См.: *Les Philosophes et la Guerre de 14*. Saint-Denis: Presses universitaires de Vincennes, 1988. Во время войны философы написали всего лишь 50 статей, причем в подавляющем большинстве случаев ничего собственно философского в них не было. Не было написано ни одной философской книги, посвященной войне. Если учесть, что во Франции число преподавателей философии было большим, чем во всех остальных воюющих странах (из-за обязательного преподавания философии в лицее), то можно сказать, что французские философы приняли минимальное участие в словесной войне.

³⁷ См.: *Espagne M. En deca du Rhin. L'Allemagne des philosophes français au XIX-e siècle*. Paris: Cerf, 2004; *d'Hondt J. De Hegel à Marx*. Paris: PUF, 1972.

³⁸ Первая работа, которая может быть отнесена к философско-историческим в том смысле, как это понималось в Германии, была опубликована во Франции только в 1938 году — это докторская диссертация Раймона Арона (См.: *Aron R. Introduction à la philosophie de l'histoire. Essai sur les limites de l'objectivité historique*. Paris: Gallimard, 1938; *Idem. Essai sur la théorie de l'histoire dans l'Allemagne contemporaine. La philosophie critique de l'histoire*. Paris: Vrin, 1938).

Во Франции легче, чем в других воюющих странах, произошла интеграция социалистов в правящую элиту. Жан Жорес был убит накануне войны, а прочие вожди французского социализма и ранее вступали в союзы с радикалами. Профсоюзы во Франции не были сильны, социалисты чаще всего не были догматическими сторонниками марксизма. Идеологическое обоснование было республиканским — война шла со вторгшейся на территорию Франции армией, все «левые» вспоминали битву при Вальми и пели те куплеты «Марсельезы», в которых упоминались светловолосые варвары, кровью которых следует обогреть штыки. Те самые депутаты и министры, которые до начала войны всячески мешали перевооружению армии и вели агитацию против «военщины»³⁹, мгновенно сделались патриотами. Сделавший карьеру на борьбе с церковью и армией Жорж Клемансо, занявший пост министра во время войны, не только жестоко подавил бунты в армии под конец войны, но арестовал ряд лиц, бывших в прошлом его союзниками. Патриотизм на время объединил давних врагов. Роялисты из *Action française* поклонялись Жанне д'Арк, а не республиканской Марианне, но точно так же добровольцами вступали в армию ненавидимой ими III Республики. Более того, и на уровне идей между ними и радикалами не было противоречия: и те и другие выступали против «германского варварства» от имени «цивилизации»⁴⁰, и те и другие говорили о единении всей нации в борьбе с историческим врагом.

Все участвующие в войне государства ссылались на национальный интерес, *raison d'état*, ими руководили националисты. Даже в царской России правительство уже считалось с интересами национальной буржуазии. Исключением была разве что Австро-Венгрия, поскольку национальные движения разрывали империю — немецкие националисты из сторонников Георга Шёнераера были не меньшими врагами империи, чем националисты чешские или венгерские. Одним из парадоксов дунайской монархии было то, что официального имперского патриотизма здесь держались прежде всего евреи, тогда как пангерманское движение выступало не только против династии, но и Австро-Венгрии как таковой, видя свою цель в воссоединении всех немцев. Они мечтали о власти германской расы над всем миром, тогда как принадлежащие евреям газеты, начиная с главного либерального

³⁹ Хорошее представление о настроениях этой части французской элиты дают первые страницы воспоминаний посла Франции в Петрограде М. Палеолога (*Палеолог М. Царская Россия во время мировой войны. М.: Международные отношения, 1991*).

⁴⁰ Особенностью французских крайне правых было то, что они считали себя наследниками не только классицизма времен абсолютной монархии, но и всего греко-римского наследия. Поэтому Ш. Моррас, подводя итоги своей публицистической деятельности, мог писать о том, что *Action française* всегда защищало от варварства единственную «истинную Цивилизацию». См.: *Maurras Ch. Mes idées politiques. Paris: Fayard, 1937. P. 82–84.*

издания «Neue Freie Presse», проповедовали имперский патриотизм, являвшийся своего рода гражданской религией австро-венгерских евреев. «Если император был наднационален, то евреи были поднациональны, представляя собой вездесущую народную субстанцию Империи»⁴¹. Более того, евреи были чаще всего пронемецки настроены. В воспоминаниях Карла Каутского можно найти слова о том, что либеральные венские евреи были «националистами с энтузиазмом, переходившим в шовинизм», причем шовинизм у них был пангерманский — среди основателей пангерманского движения Шёнераера поначалу было много евреев (его правой рукой и идеологом движения был еврей Генрих Фридьонг), которые покинули движение лишь после того как к антиславянскому шовинизму движения добавился расовый антисемитизм. В этих условиях во время войны была приглушена любая национальная пропаганда, а несущая огромную ответственность за развязывание войны полуфеодалская элита⁴² желала лишь сохранения status quo. В Австрии имелись серьезные философские школы, но о войне австрийские мыслители практически ничего не написали.

Сложнее всего было обосновывать оборонительный характер войны в Германии. Причем не только потому, что она объявила начало военных действий, вторглась в Бельгию и вела войну на чужой территории. В сравнении с другими странами, немецким церквям было труднее объявлять войну «богоугодной». Христианского политика отличает от нехристианского не столько практика, сколько обоснование своих действий: христианин не станет оправдывать свои поступки антихристианскими принципами. При всей гибкости богословов трудно было объяснить немецкому католику, помнившему о гонениях времен Бисмарка, что война с французскими единоверцами имеет религиозный характер, а расистские принципы, вдохновлявшие уже в то время значительную часть германской элиты, проистекают из христианского учения. Совсем не чужд расизму был и кайзер Вильгельм, регулярно повторявший, что война имеет расовый характер (Rassenkrieg) между германством и славянством, причем без малейшего учета того, что в армии союзника воевали чехи, словаки и хорваты, а из поляков формировали боевые части для войны за «независимую Польшу». Ссылки на войну против «варваров» хоть как-то годились для обоснования борьбы с Сербией и Россией, но и Франция, и Англия (а затем Италия) могли указывать на

⁴¹ Schorske C. *Fin-de-siecle Vienna: Politics and Culture*. N.Y.: Vintage Books, 1981. P. 119.

⁴² Среди нелицеприятных характеристик, данных правящим кругам Австро-Венгрии современниками, самая уничижительная принадлежит, пожалуй, Р. Люксембург: «...габсбургская монархия есть не политическая организация буржуазного государства, а лишь слабо связанный синдикат нескольких клик общественных паразитов» (цит. по: Ленин В.И. О брошюре Юниуса // Он же. Полн. собр. соч.: в 30 т. Т. XXII. 5-е изд. М.: Изд-во политической литературы, 1973. С. 8).

варварство тех, кто постоянно ссылался на победу над римскими легионами в Тевтобургском лесу.

И Англия, и Франция обосновывали свое вступление в войну защитой цивилизации от варварского милитаризма, но и Германия желала не просто захватывать новые территории. Даже далекие от мудрствований генералы размышляли о судьбах всего мира. Фельдмаршал Мольтке писал о том, что латинские народы уже прошли зенит своего развития, славяне еще слишком дики и несут кнут и духовное варварство; Британия преследует только материальные интересы. «Одна лишь Германия может помочь человечеству развиваться в правильном направлении. Именно поэтому Германия не может быть сокрушена в этой борьбе, которая определит развитие человечества на несколько столетий»⁴³. Германская элита видела во внешней экспансии средство одоления внутренней угрозы, победы над взбунтовавшимися «варварами» в самой Германии. Как говорил канцлер фон Булов, «национальная политика — истинное средство в борьбе с социал-демократами». Крупная победа социал-демократов на выборах в 1912 году была одним из важнейших побудительных мотивов для начала войны. Пангерманизм буржуазных политических организаций становился все более расистским во время войны. Глава Всенемецкого союза, Генрих Клас, уже тогда требовал начать «безжалостную борьбу с еврейством»⁴⁴. Даже оказавшая огромное воздействие на умы легенда о вонзенном красными и евреями «ноже в спину» победоносной армии родилась в этих кругах еще в июле 1918 года. Немецкая буржуазия считала казарму «школой нации», а собственное «верноподданничество» (*Untertanmentalität*) образцом для подражания всех прочих народов.

Совсем не склонный к преувеличениям левых историков, желающих находить во Втором рейхе все черты Третьего, Томас Ниппердей⁴⁵ отмечал, что наряду с «официальным» национализмом (с сильной монархической составляющей), ориентацией на сохранение *status quo*, существовал куда более агрессивный либеральный национализм, который он называет «интегральным». Не прусские юнкера, а немецкая буржуазия была его носителем. Сотни тысяч членов насчитывали уже указанные союзы: *Alldeutsches Verband*, *Wehrverein*, но рядом с ними действовали также весьма сильные *Ostmarkverein*, *Allgemeine Deutsche Sprachverein*, ставившие перед собой задачи вытеснения одних славян и онемечивания других. Уже названия других союзов — *Deutsche Kolonialgesellschaft*, *Deutsche Flottverein* — передают то, что нацелены они были на борьбу Германии «за место под солнцем».

⁴³ Цит. по: Уткин А.И. Первая мировая война. М.: Эксмо, 2002. С. 165.

⁴⁴ Цит. по: *Wehler H.-U.* Op. cit. S. 216.

⁴⁵ *Nipperdey T.* Deutsche Geschichte 1866–1918. Bd. II. München: Beck, 1992.

Они были тесно связаны и с промышленниками, и с правительственными кругами. На 1914 год во флотском союзе состояли 331 тыс. прямых членов и 1,1 млн членов через его отделения.

Помимо «красных» члены этих союзов видели врагов в этнических меньшинствах (поляки, евреи), в пацифистах, иногда в левых либералах и католиках. «Борьба за выживание» была объявлена непрерываемым принципом политики: мир виделся поделенным на добро и зло, свет и тьму; в борьбе действует максима «победа или смерть», а условием победы являются «порядок и авторитет». Идеологию Всенемецкого союза можно считать *voelkisch*, поскольку в ней присутствует и популизм, и национализм с элементами расовой доктрины⁴⁶. Впоследствии, уже после Второй мировой войны, довольно распространенным станет истолкование истории немецкой буржуазии, согласно которому в начале XX века она по-прежнему уступала решение важнейших вопросов юнкерству, была аполитичной, а потому покорно принимала прусский милитаризм. Действительно, мечта немецкого бюргерства об объединении Германии была осуществлена «железом и кровью», высшие посты в государственном аппарате занимали дворяне. Однако сама немецкая буржуазия далеко ушла от гуманистических мечтаний времен Гердера и Шиллера. «Никогда ранее не произносили и не писали такого числа славословий власти, причем власти насильственной»⁴⁷. Если в некоторых других странах, вроде России, Ницше воспринимали прежде всего как «бунтаря» (а потому его читали и почитали «левые»), то в Германии он оказался философом германского империализма *par excellence*. Хладнокровный администратор и техник войны, фельдмаршал Людендорф, «лучше, чем кто бы то ни было другой воплощал тип нового буржуазного господствующего класса, отодвинувшего во время войны прежнюю аристократию; он был воплощением идей Всенемецкого союза, его brutальной воли к победе, одержимости, с которой на кон ставилось все ради власти над всем миром»⁴⁸.

Программа милитаризации экономики, подготовки к войне, концентрации всех сил на борьбе за новые колонии за морями (Англия!) и территории на континенте (Россия!) предполагала проведение столь же решительной внутренней политики — репрессивный закон против социалистов, введение цензуры, ограничение избирательного права, прекращение *Judenemanzipation* (евреи должны быть лишены гражданских прав и должны рассматриваться как иностранцы). Еще во времена англо-бурской войны эти союзы вели

⁴⁶ В 1933 году постаревший Г. Клас приветствовал приход Гитлера к власти, прямо считая его наследником Всенемецкого союза, причем для этого имелись веские основания. Об идеологии национально-либеральных союзов см.: Eley G. *Wilhelminismus, Nationalismus, Faschismus. Zur historischen Kontinuität in Deutschland*. Münster: Westfälische Dampfboot, 1991.

⁴⁷ Elias N. *Studien ueber die Deutschen*. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1992. S. 236.

⁴⁸ Haffner S. 1918/1919. *Eine deutsche Revolution*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1981. S. 28.

яростную антианглийскую кампанию, теперь Англия становится первейшим врагом в борьбе за мировое господство. У этого союза было наибольшее влияние на правящие элиты (включая окружение кронпринца и военных в Генштабе). Во многом благодаря усилиям этих империалистических элит Германия раньше других стран начала подготовку к войне. Собственно говоря, война началась в 1914 году именно потому, что германская экономика прошла весь четырехлетний цикл подготовки хозяйства к войне, тогда как Франция последовала за нею лишь в 1912 году, а Россия вообще к войне не была готова (у Великобритании в готовности был лишь флот, а потому считалось, что она в войну на континенте вообще не вступит). Германские элиты готовили эту войну и стремились к ней.

Рассматривая притязющую на философские глубины немецкую публицистику тех лет, следует учитывать, что в рамках правящего класса Германии шли непрестанные споры о целях войны, о том, кто является главным соперником Рейха. Для группы политиков и промышленников вокруг канцлера фон Бетман-Гольвега таким противником была Россия, для «военно-морской партии» во главе с адмиралом фон Тирпицем таковым была Англия. Если в тексте интеллектуала война рассматривалась прежде всего как схватка с «мировой плутократией» и «капитализмом», то он явно склонялся ко второй группе немецкой элиты.

Геополитика в явной или неявной форме всегда предполагает некую историософию. Германия была родиной двух наиболее разработанных философско-исторических моделей. Первая из них, представленная прежде всего Фихте и Гегелем, утверждает необходимое движение всего человечества, проходящего на своем пути ряд ступеней. Один народ сменяет другой как выразитель и лидер в этом движении — к началу XIX века таковым стали немцы. Другая модель восходит к Гердеру и романтикам: есть множество народов с их неповторимыми культурами, нет единого человечества и управляющих его развитием законов. Этот круг идей получил развитие сначала в «исторической школе права», затем у немецких экономистов и социологов (от Франца фон Листа до Вернера Зомбарта).

Во время войны немецкие мыслители склонялись либо к подчеркиванию своеобразия немецкого духа, «особого пути» (*Sonderweg*) Германии и «Срединной Европы» (*Mitteleuropa*), либо провозглашали, что Германия несет человечеству новую эру, отменяющую наследие либерализма и «идей 1789 года», которым противопоставлялись «идеи 1914 года».

Sonderweg

В Германии противопоставление немецкой *Kultur* французской и английской *civilisation* к концу XIX — началу XX века уже приобрело антизападные черты, тогда как во время Первой мировой войны оно стало общим местом

не только трактатов философов и историков, но и официальной пропаганды. Этих воззрений держались даже те мыслители, которые никак не были крайними националистами. Эрнст Трёльч в 1916 году пишет статью «Метафизический и религиозный дух немецкой культуры»⁴⁹, в которой немецкие философия, искусство, политическое мышление отличаются от западных. Германская идея свободы всегда будет иной, не похожей на свободу западных народов, поскольку она имеет не столько политический, сколько духовный характер: «...она всегда будет сохранять связь с идеалистической идеей долга и романтической идеей индивидуальности»⁵⁰. Немцы иначе видят соотношение индивида и государства, парламентская демократия не является чем-то необходимым для немца, зато ему исконно присуща «романтическая идея индивидуальности».

Но еще более характерны публикации времен войны и первых послевоенных лет, принадлежащие Томасу Манну, которого можно считать одним из духовных отцов «консервативной революции». Собственно говоря, он первым употребил это словосочетание, ссылаясь на Достоевского⁵¹, который в «Дневнике писателя» писал и об особого рода революционности, возникающей из консерватизма («Мой парадокс»), и о незавершенном протесте немцев против Запада. Несколько статей Манна времен войны и написанная во время войны и вышедшая вскоре после перемирия книга «Размышления аполитичного» (1918) непосредственно примыкают к «консервативной революции». На протяжении всей этой огромной книги он непрестанно цитирует Достоевского, называет его «пророком»; хотя Германия и Россия находились в состоянии войны, Манн пишет о союзе Германии и России как о «мечте своего сердца» (вопреки пропаганде того времени, в которой Россия именовалась не иначе как «варварская страна»). Этот союз, по Манну, должен быть направлен против наступающего англосаксонского мира с его прагматизмом и утилитаризмом (в конце книги, видимо, уже после подписания перемирия, он пишет по-английски: «The world is rapidly becoming english»). Немцев и русских роднит близкое понимание человека и человечности, отличное от латинского и англосаксонского. Манн ставит вопрос о сходном противостоянии традиций этих двух стран Западу и спрашивает:

⁴⁹ Она без изменений была переиздана в 1925 году в сборнике избранных статей Э. Трёльча с характерным названием «Немецкий дух и Западная Европа» (*Troeltsch E. Deutscher Geist und Westeuropa. Gesammelte kulturphilosophische Aufsätze und Reden*. Tübingen: Mohr, 1925).

⁵⁰ Трёльч Э. Метафизический и религиозный дух немецкой культуры // Антология. Логика культуры. М.; СПб.: Университетская книга, 2009. С. 234.

⁵¹ Влияние Достоевского на немецких мыслителей начала века было вообще значительным. Этому поспособствовал новый перевод собрания сочинений, издававшегося под редакцией Д.С. Мережковского и Артура Мёллера ван ден Брюка. Последний написал предисловия к ряду томов (кстати, перевод осуществляла его золовка).

«Разве у нас нет своих славянофилов и своих западников?» («Haben nicht wir auch unsere Slawophilen und unsere Sapadniki?»). Тех, кого он презрительно именует «литераторами» (включая и собственного брата Генриха Манна, с которым были на несколько лет прерваны все отношения), Томас Манн относит к «западникам», т.е. к тем, кто хотел бы разрушить Германию. Славянофильство в России он оценивает по негативному содержанию — как реакцию на Запад, а по позитивному — как консерватизм. Именно такова его собственная позиция — консервативное противостояние Западу. Английская и французская пропаганда времен войны изобиловала штампами: «цивилизация» — «варварство» (либо «цивилизация» — «пруссский милитаризм» и т.п.). Еще в статье «Мысли во время войны»⁵² Манн саркастически пишет: французы полвека кричали о реванше, но когда дело дошло до войны, то вспомнили о «цивилизации». Они сделали Реймс крепостью, расположили пушки рядом с собором, а после того, как немцы стали отвечать на огонь этих пушек и разрушили собор, то поднялся плач о «цивилизации», которой грозят «варвары». Но ведь средневековые соборы давно перестали быть частью их «цивилизации», с точки зрения которой они принадлежат к векам «фанатизма и предрассудков».

Эта «цивилизация» с ее демократией и «правами человека» насквозь фальшива и лицемерна. Национальная тема совпадает в «Размышлениях аполитичного» с консервативной: «Политический дух демократического Просвещения и “человеческой цивилизации” является не только душевно антинемецким; он с необходимостью оказывается политически враждебным Германии, где бы он ни преобладал. Будущие историки еще покажут, какой была роль международного иллюминатства, мировой ложи франк-масонов... в духовной подготовке и действительном развязывании этой мировой войны — войны “цивилизации” против Германии»⁵³. Истинным духовным врагом Германии является даже не Франция, реваншизм которой все же национален, а потому хоть как-то оправдан; настоящий враг — Англия и ее агенты — сторонники «человеческой цивилизации». Этими агентами являются и «deutsche Sapadniki», которые желают тотального изменения национального характера немцев. За образец берется «мировая демократия», «империя цивилизации», «общество человечности», целью которых, однако, является исчезновение немецкого духа. Война поэтому определяется Томасом Манном как «консервативное сопротивление прогрессу», который он иронически и с явной отсылкой к Ницше называет «прогрессом от музыки к демократии». Войну Манн приветствует как открытую борьбу с этой цивилизацией — с плоскогуманной, тривиально-декадентской, феминистски-элегантной Европой, «литературной как парижская кокет-

⁵² См.: Mann T. Gednken im Kriege // Die Neue Rundschau. Nov. 1914. No. 11.

⁵³ Idem. Betrachtungen eines Unpolitischen. Frankfurt a. M.: Fischer, 1956. S. 58.

ка», ставшей «слишком человеческой»; это война с «цивилизацией танго и тустепа», делячества, прикрытого высокими словами о правах и свободах⁵⁴. Эта цивилизация уже начала завоевывать Германию до войны, и война есть «восстание Германии против западного духа», дошедшего до нигилизма в результате Просвещения и демократического прогресса. Мир демократии, партийной политики, прав человека и прочих «идей 1789 года» признается им антинемецким, ибо Германия по духу своему консервативна и аполитична.

Для такого вывода имелись известные основания. После Реформации в Германии доминировало лютеранство, а не кальвинизм, способствовавший не только «духу капитализма» (по формуле Макса Вебера), но и демократии в англосаксонских странах. Кальвинисты отвергли вместе с церковной иерархией и мирскую: подобно тому, как они избирают своих пресвитеров, со временем стали избирать президентов и губернаторов. Лютеранство не только сохранило минимальную церковную организацию, но связало церковь со светской национальной властью — «всякая власть от Бога». Как и кальвинист, лютеранин склонен к «внутримирской аскезе», к реализации своего призвания в деятельности. Но если для кальвиниста эта деятельность может быть какой угодно, а потому включает в себя любое прибыльное предприятие, то лютеранство ориентирует на реализацию своего призвания в сфере высокой культуры — музыка, живопись, философия, поэзия представляют собой те избранные области духа, где лютеранин действует с чувством религиозной избранности. Поэтому он аполитичен и консервативен: в Германии, словами Хельмута Плесснера, развилась настоящая «культурнабожность» (*Kulturfrommigkeit*), имеющая своим коррелятом аполитичного творца, равнодушного к темам земной власти. Немецкий консерватизм имел не только романтические, но также религиозные истоки.

Однако этот консерватизм был совсем не революционным. Таковым он делается из-за того, что побеждает и укрепляется противоположный ему дух либерализма и прогрессизма. В предисловии к антологии русских писателей Томас Манн замечает: «Консерватизму нужно набраться духу, чтобы стать более революционным, чем какое-нибудь позитивистски либеральное Просвещение; сам Ницше, начиная со своих “Несвоевременных размышлений” был не чем иным, как консервативной революцией»⁵⁵. Манн сравнивает Гоголя с Ницше, сочувственно пишет о православном консерватизме Лескова и, разумеется, о Достоевском, как о тех, кто восставал против западной цивилизации.

Противопоставление Германии и Запада получило особенно широкое распространение у многих немецких мыслителей во время войны. Я коснусь только двух авторов из числа тех, кто впоследствии создавал фило-

⁵⁴ См.: *Mann T. Betrachtungen eines Unpolitischen.*

⁵⁵ См.: *Idem. Essays. Bd. II. Frankfurt a. M.: Fischer, 2002. S. 37.*

софскую антропологию. Макс Шелер и Вернер Зомбарт получили известность еще до войны: первый — как феноменолог, соединивший Гуссерля с Августиним, второй — как автор работ по истории капитализма. Оба они участвовали в полемике по поводу работы Макса Вебера «Протестантская этика и дух капитализма», причем негативное отношение их к капитализму как таковому не было ни для кого секретом. Зомбарт до войны считался марксистом, а Шелер был консервативным католиком, написавшим чрезвычайно важную для понимания феномена «консервативной революции» работу «О переворачивании ценностей», в которой одной из важнейших тем является критика демократии и светского «гуманитаризма».

В начале 1915 года Макс Шелер публикует большую книгу «Гений войны и немецкая война», которая по своему политическому содержанию отличается от антизападной ориентации «консервативной революции», поскольку главной задачей Германии в войне Шелер считает победу над Россией, отбрасывание ее от Прибалтики и Черного моря. Это — «священная война» за «европейское дело», а Франция и особенно Англия оказываются «предателями» этого дела. За этой войной последует ряд других, и объединенную континентальную Европу будет вести на борьбу с Россией именно Германия, которая одновременно введет блокаду против Англии. «Солидарная континентальная Европа под военным руководством Германии»⁵⁶, ведущая войну с геополитическим врагом, с Россией, — можно сказать, что Шелер уже сформулировал здесь основные лозунги, под которые действительно шла следующая европейская война. Задача Германии заключается в том, чтобы объединить «железом и кровью» Европу, уничтожить Россию как самостоятельную державу, а затем вести борьбу с англосаксами за мировое господство.

Все это обосновывается Шелером ссылками на «европейский дух», что, впрочем, всегда стояло на знаменах тех, кто провозглашал «святым делом» уничтожение России. Любопытно то, что уже в следующей работе Шелера — «Причины ненависти к немцам» (1917) — его оценки радикально меняются. Он замечает, что ненависти к Германии значительно меньше в царской России, чем в «демократических» странах Антанты. Основную причину ненависти к Германии он видит в буржуазном, торгашеском духе Англии. Еще дальше идет Шелер в докладе «Христианский социализм как антикапитализм», сделанном сразу после заключения Версальского договора. В это время он поддерживает связи с «Июньским клубом» (через Генриха фон Глейхена) и формулирует идеи, которые в целом созвучны «консервативной

⁵⁶ Аннексия Бельгии, насильственное включение Голландии в таможенный союз, захват Прибалтики, Украины — обо всем этом Шелер, как и многие другие немецкие идеологи, писал вполне откровенно. Время «политической корректности» еще не настало, а потому «честные» немцы той эпохи так не любили лицемерие англосаксов, которые уже научились камуфлировать свои имперские интересы словами о демократии, свободах и правах.

революции». Можно даже сказать, что «христианский социализм» Шелера является прямым предшественником «немецкого социализма». Марксизм и большевизм им отвергаются, но выдвигается идея «национального государственного социализма». Шелер пишет о возможном союзе с Россией в борьбе против Запада. Целью Германии провозглашается «антикапиталистическая политика». Войну выиграла прежде всего Америка, а это на время дает господство «капиталистическому типу человека и хозяйства», тогда как все остальные нации делаются «в большей или меньшей мере рабами, даже пролетарскими нациями по отношению к англо-американскому капитализму»⁵⁷. Но время этого капитализма подходит к концу, поскольку «капитализм есть эпизод мировой истории, он пришел не так уж надолго». Это — идол Маммоны, извращение человеческой природы. Борьба с англо-американским «мировым капитализмом» объединяет угнетаемые «пролетарские нации» — вплоть до возможного союза с Россией, которую несколько лет ранее Шелер считал главным противником европейской культуры.

Вернер Зомбарт во время войны выпустил яркую книгу «Торгаши и герои» (1915), где основная оппозиция проводится между Англией и Германией. Враги Германии говорят о борьбе «западной цивилизации» с «немецким милитаризмом», но в действительности речь должна идти о борьбе двух человеческих типов — торгоша и героя. Они вечно присутствуют в любой культуре, но как два доминирующих мировоззрения они самым отчетливым образом воплотились в Англии и в Германии. И английская философия от Фрэнсиса Бэкона до Герберта Спенсера, и английская политэкономия, и английская наука от Исаака Ньютона до Чарльза Дарвина связаны с торгашеством. Даже на природу переносятся либерально-буржуазные представления, тогда как учение о государстве дает образ мещанской конторы. Меркантилизм присущ всей английской жизни, все войны ведутся ради прибыли, прикрываясь лицемерными словами о «правах и свободах». Английский социализм есть следствие подобного капитализма: положительный знак сменяется на отрицательный, но человек предстает в точности таким же — в духе утилитаризма и материализма.

Поэтому «война 1914 года есть война Ницше»; «немецкое мышление и немецкое чувство заявляют о себе прежде всего как решительное отрицание всего того, что хоть как-то напоминает английское, или западноевропейское вообще, мышление и чувство»⁵⁸. Немец отвергает утилитаризм и эвдемонизм, идеи пользы и наслаждения во имя воли и духа, долга и преданности, самопожертвования и героизма. Немецкому духу присуще органическое представление о государстве, как о том панцире, который защищает

⁵⁷ Scheler M. Politisch-pädagogische Schriften. Bern; München: Franke, 1982. S. 653.

⁵⁸ Sombart W. Händler und Helden, Patriotische Besinnungen. München; Leipzig: Duncker & Humblot, 1915. S. 55.

народное тело. «Милитаризм» — это выражение ненавидящих Германию торгашей и купленных ими «демократических» писак. На деле речь идет о примате ценностей воина, героя. Война позволяет выявить эти высшие человеческие свойства. До войны торгашеская культура, буржуазное мировоззрение уже стало завоевывать мир своим стремлением к материальным благам и к комфорту. Однако богатство и комфорт не могут быть высшими ценностями жизни; там, где они делаются таковыми, жизнь неизбежно обречена на упадок. «Идеи 1789 года» антижизненны, поэтому против них идет «священная немецкая война», равно как против «интернационализма» торгашей, против «европейничанья» — не существует «европейца вообще», как не существует одного для всех стран единого языка — представители разных наций еще не дошли до того, чтобы говорить на каком-нибудь эсперанто.

Следует сказать, что Зомбарт в своей книге негативно высказывается о планах захвата территорий: ничего не нужно захватывать, никого не следует «германизировать»; историческая роль Германии заключается в том, чтобы быть дамбой на пути у грязного потока торгашества, готового захлестнуть весь мир. Разумеется, германская Realpolitik тех лет весьма отличалась от этих прокламаций, ибо речь уже тогда шла о «жизненном пространстве». Работа Зомбарта важна как этап не только его биографии (из лагеря марксистов — пусть самых умеренных — он переходит в лагерь последовательных националистов), но и в плане подготовки идеологии «консервативной революции». Внешняя оппозиция Англии и Германии переходит после войны во внутреннюю оппозицию капиталистического либерализма и «немецкого социализма». Противопоставление двух человеческих типов, проведенное Зомбартом, становится общим местом идеологов «консервативной революции».

Полезно держать в руках старые книги. Эта книга Зомбарта вышла в серии «Buecher fuer die Zeit» издательства Duncker — одно лишь это издательство предлагало своим читателям на конец 1915 года десятка три книг немецких профессоров; по аннотациям можно выяснить, что в них мы имеем дело с целой панорамой. В одних обсуждаются (и осуждаются) британский империализм, французская демократия, русская деспотия, в других обосновывается право немцев на захват территорий, в третьих прославляются великие немецкие полководцы прошлого и т.д. Некоторые ранее никому неизвестные провинциальные учителя, вроде будущего нацистского куратора немецкой философии Эрнста Крика, получили известность именно благодаря таким патриотическим сериям.

Идеи 1914 года против идей 1789 года

Идея тождества между прусским милитаризмом и социализмом появилась задолго до Первой мировой войны. Еще в 80-е годы XIX столетия Карл Каутский высмеивал книгу Г. Туха, в которой решение социального вопроса

чуть ли не было равнозначно превращению Европы в одну большую казарму. Социал-демократы принимали в те времена призывающие к миру резолюции и в соответствии со словами «Интернационала» обещали превратить империалистическую войну в гражданскую. Хотя, как уже упоминалось выше, харизматическому вождю партии Августу Бебелю принадлежали слова: «Если речь идет о войне с Россией, я сам возьму в руки винтовку», вплоть до августа 1914 года социалисты считали себя пацифистами — таковыми их считали и их противники, т.е. двор кайзера, офицерство, практически вся немецкая буржуазия. Даже накануне войны 25 июля 1914 года руководство партии приняло резолюцию, осуждающую австро-венгерское правительство за «фривольную провокацию войны». Но уже через несколько недель парламентская фракция социал-демократов в подавляющем большинстве своем одобряет военные кредиты и повторяет вслед за официальной пропагандой, что война была развязана Сербией и Россией, что Германия ведет оборонительную войну за «правое дело».

Подобную эволюцию проделали почти все социалисты Европы. Когда дом горит, то не время заниматься поиском того, кто виновен в поджоге, нужно сначала потушить пожар. Пробудившийся патриотизм социалистов вряд ли нужно — вслед за партийной коммунистической историографией — характеризовать как «предательство» интересов рабочих своих стран. Но часть руководства эсдеков пошла много дальше того, что можно назвать патриотизмом. От первоначальной позиции («мир без завоеваний») партийное руководство к 1916 году перешло к поддержке планов аннексий германского руководства: захват территорий может служить экономическому и историческому «прогрессу», в борьбе с «кровавым царизмом» хороши все средства.

Само по себе это согласие с целями германского империализма еще ничем не отличает немецких социал-демократов от прочих европейских социалистов, поддержавших свои правительства в условиях войны. Идеино к этому социалисты были отчасти готовы: еще за десять лет до войны в Фабианском обществе в Великобритании возникли идеи «социал-империализма». Особенностью германских правых социал-демократов было то, что тотальная мобилизация всех ресурсов в условиях войны оказалась для них желанным образцом социалистического общества. Разве Энгельс в «Анти-Дюринге» не писал о том, что на место анархии капиталистического производства придет более совершенная плановая экономика? Правда, ни Энгельс, ни Маркс не писали о том, что эта новая социалистическая экономика возникает в рамках национального государства, а социализм есть средство мобилизации трудовых ресурсов ради военной победы. Но у другого основоположника СДПГ, Фердинанда Лассалья, уже присутствовала подходящая идея «государственного социализма», а слова «организация» и «дисциплина»

вожди этой партии (К. Либкнехт, А. Бебель) любили не меньше прусского офицерства.

Термины «национальный социализм» и даже «национал-социализм» появляются в изданиях немецких социал-демократов с 1915 года. Первопроходцем был Август Винниг, напечатавший статью в издании профсоюза немецких строителей. В ней говорилось о том, что военная экономика предполагает не только нормирование ресурсов, но также иную организацию всего общества, участие в управлении профсоюзов — дисциплина и организация становятся ключевыми словами в определении того, что Винниг уже тогда назвал *Elemente eines neuen Deutschtums*. Классовая борьба исчезает в новом рейхе, пролетариат становится союзником и сотрудником государства, поскольку судьба Германии и судьба рабочего класса неразрывно друг с другом связаны.

Среди социалистов, пересмотревших свои прежние пацифистские убеждения, наиболее интересна фигура Пауля Ленша, который принадлежал левому флангу СДПГ, вместе с Розой Люксембург воевал с «ревизионистами». Еще в августе 1914 года он принадлежал к тем, кто противился голосованию за военные кредиты, но с 1915 года он входит в группу правых («Группа Кунова — Хэниша — Ленша»), которая идет дальше всех прочих в переосмыслении программы и политики социал-демократов в духе «военного социализма». Ленш хорошо разбирался в вопросах экономики (после войны он вышел из партии и стал профессором экономики в Берлинском университете), а потому увязывал необходимость пересмотра пацифистских позиций социалистов с изменениями в отношениях между государством и хозяйственными отношениями. Образование синдикатов и картелей ведет к монополистической организации рынка, ко все большему сращиванию частного капитала с государством. Растет и роль государственного планирования — война лишь усилила и ярко выявила эту тенденцию. Мировая война для Ленша имеет революционный характер, поскольку она ведет к стиранию старых классовых и сословных различий, к плановому «государству организации», в котором все индивиды становятся клетками единого организма. Возникающее в условиях войны общество отменяет индивидуалистические принципы 1789 года. Поэтому и социал-демократическая партия не может оставаться прежней классовой партией пролетариата. Из крайне левой партии она становится «партией центра», в которой свою роль будут играть и интеллектуалы, и чиновники, и офицеры. Социалистический идеал вообще никогда не был тождествен буржуазным идеям прав и свобод, его сердцевину составляет идея равенства в организованном обществе. Такое общество может возникнуть только в рамках национального государства, а потому социализм выступает у Ленша как «спаситель национализма». В отличие от других руководителей партии, де-

лавших оговорки в духе прежних лозунгов («мир без аннексий», «всеобщее разоружение» после войны), он считает такого рода идеалы абстрактными и оторванными от действительности. Мы живем в мире национальных государств, интересам немецких рабочих отвечает сильная экономика в могущественной империи. У рабочих есть свое отечество, за которое они готовы умирать.

Не меньший интерес представляет книга Иоганна Пленге: «1789 и 1914. Символические годы в истории политического духа»⁵⁹. Пленге не был членом СДПГ, хотя относился к близким правому крылу этой партии публицистам. Во время войны он печатался в издаваемом А.Л. Парвусом «Die Glocke». Пленге был правым гегельянцем, он критиковал Маркса и его последователей в своих довоенных работах «Маркс и Гегель» (1911) и «Будущее в Америке» (1912): марксисты не видят того, что грядущий социализм не будет социализмом «свободных ассоциаций трудящихся», но социализмом функционеров, «офицеров и унтер-офицеров хозяйства и управления».

Книга начинается с оппозиции идей Канта и Гегеля — в германской истории идей она оказывается определяющей. Война возвращает нас к закрытому торговому государству Фихте и к гегелевскому возвеличиванию Пруссии как образцового государства. Война ведет к преодолению классовых противоречий в национальном государстве, она привела уже к централизации, к планированию хозяйственной жизни. «Война производит экономику, экономика — войну!»⁶⁰. Именно это составляет существо «идей 1914 года». Нечто подобное происходит и в других воюющих странах, но там нет соответствующей интеллектуальной традиции. «За нами будет XX век. Как бы ни окончилась война, мы являемся образцовым народом. Наши идеи будут определять жизненные цели человечества»⁶¹. 1914 год является годом перелома, поскольку с ним связано «свободное включение крупных хозяйственных органов в государство», сделавшееся «всеобъемлющим центром всех членов экономической жизни». Возникает «народное товарищество национального социализма»⁶².

Пленге пишет, что «идеи 1914 года» являются «золотой серединой» между государственным социализмом и демократизмом. Они объединяют такие противоположности, как организация и индивидуализм, чиновничество и народная свобода, системой обязанностей и правами человека. Движение

⁵⁹ Plenge J. 1789 und 1914. Die symbolischen Jahre in der Geschichte des politischen Geistes. Berlin: Julius Springer, 1916. Пленге ссылается на вышедшую годом ранее книгу шведского юриста Кьеллена, в которой уже присутствует оппозиция этих двух дат (впервые она была использована неизвестным автором в передовице «Frankfurter Zeitung»).

⁶⁰ Ibid. S. 18.

⁶¹ Ibid. S. 20.

⁶² Ibid. S. 82.

к государственному социализму началось еще до войны. Капитализм вообще не был мирным — эпоха капитализма есть эпоха колониальных захватов, передела мира во имя экономических целей. «Капитализм возник не на каких-то островах мира во всемирной истории... Капитализм был орудием для государства, а государство, со своей стороны, орудием капитализма, желавшего расширить свои рынки, подавить своих противников с помощью политических средств»⁶³. Капитализм начинался с освобождения, он завершается организацией. Он освободил крестьян, освободил производство от цеховых ограничений, провозгласил свободу торговли и свободу слова. Это привело к быстрому техническому и экономическому развитию. Но само это развитие привело к концентрации капитала, к гигантским предприятиям, которые переплетаются с государственными институтами и гасят прежние свободы. 1789 год был годом победы идей свободы, 1914 год символизирует завершение этого исторического периода.

Пленге признает то, что военное хозяйство есть временное явление, что после войны произойдет возврат к некоторым чертам прежней эпохи. Но сохранится идея «немецкой организации», планового хозяйства, четкого разделения труда в рамках единого экономического организма. Идеи 1914 года для него именно поэтому суть идеи «национального социализма». Вслед за Гегелем он говорит о движении мирового духа через ступени, находящие свое выражение в «идеях». Теперь он принимает вид национального государства с плановой экономикой, национальной и социалистической в одно и то же время. Прежняя социалистическая идея была для Пленге чуть ли не анархической: обобществление средств производства мыслилось социал-демократами как движение к «свободным ассоциациям трудящихся». Война показала истинное лицо будущего социализма: плановое хозяйство требует диктатора, поскольку ему требуется центр организации. Еще в статьях 1915 года Пленге сравнивал кайзера с Наполеоном («мировой идеей на коне» у Гегеля), причем кайзер предстал не как традиционный монарх, а как «вождь немецкого народа», диктатор и организатор побед.

Не затрагивая два больших раздела книги, посвященных внешней политике и демографии, обратим внимание только на главную мысль Пленге: грядущий социализм не будет утопическим «царством труда» довоенных социалистов, он будет национальным и военным социализмом.

«Философски это можно выразить следующим образом: хотим мы того или нет, мы вступаем в закрытое торговое государство Фихте, которое будет строиться на основе гегелевских представлений о государстве»⁶⁴. Оно будет закрытым для мирового капитала, который способен только грабить наро-

⁶³ Ibid. S. 74.

⁶⁴ Ibid. S. 121.

ды (и сравнивается Пленге с пиратами). Это будет сильное национальное государство, в котором одна и та же сила пронизывает все части и посредством единой воли направляет все члены организма к решению стоящей перед нацией задачи. К довоенному обществу уже нет возврата — война изменила и общество, и государство. «Посредством войны мы сделались более чем когда-либо *социалистическим обществом*»⁶⁵. Правда, социализм для Пленге не есть огосударствление всего и вся, не ликвидация частной собственности. И собственность, и основные права личности сохранятся, но изменится сама среда их существования, иными будут идеалы. Социализм есть организация, которой соответствует определенный тип человека. «Революция 1914 года» рождает нового человека, с новой моралью. Пленге дает набросок, в котором уже содержатся основные черты «Рабочего» Эрнста Юнгера. Он пишет о новой «морали господ» (*Herrenmoral*), критикуя при этом Ницше, поскольку тот оставался индивидуалистом, а новая мораль является национальной и социалистической. Идея организации вообще является «аполлоновской», а не «дионисийской»; высший тип представляет собой рационального человека организации, а не дионисийского «сверхчеловека».

Идеи Пленге и Ленша оказали немалое влияние на правое крыло СДПГ (так называемое «неолассальянство»), но было бы ошибочным делать всю немецкую социал-демократию непосредственным предшественником и побудителем национал-социализма, как это представлялось Фридриху Хайеку⁶⁶, для которого любой национально окрашенный социализм уже является нацизмом. Обвиняя всех социал-демократов, Хайек решал свои задачи — апологетики либерализма австрийской школы. В действительности СДПГ, вопреки своей марксистской программе, была главной опорой Веймарской республики, а ее правое «милитаристское» крыло ослабло после воссоединения «большинства» и «независимых» в начале 1920-х годов. Некоторое влияние этой идеологии продолжали испытывать немецкие профсоюзы — их вожди куда легче находили общий язык с национал-социалистами. Но истинным наследником Вальтера Ратенау и Иоганна Пленге был В.И. Ленин: в статьях 1918–1920 годов он часто обращался к опыту военного «госу-

⁶⁵ Plenge J. Op. cit. S. 123.

⁶⁶ Книга Ф. Хайека «Дорога к рабству», к сожалению, доныне является для многих читателей единственным источником сведений о немецкой социал-демократии первой трети прошлого века. В ней идеи небольшой группы раскольников, вроде П. Ленша и А. Виннига, либо независимого философа и публициста И. Пленге, выдаются за позицию всей партии, причем именно в СДПГ он видит ту силу, которая готовила победу НСДАП во времена Веймарской республики. Лживость этих обвинений очевидна для всякого, кто имеет хотя бы малейшее представление о немецкой истории, но англоязычные либералы чаще всего такого представления не имели ни в 1944 году, когда вышла «Дорога к рабству», ни, тем более, сегодня (см.: Хайек Ф. Дорога к рабству. М.: Новое издательство, 2005).

дарственного социализма». Именно эти идеи легли в основание планового хозяйства, а не чуждая большевикам традиция крестьянского «мира».

Томас Манн так передал суть «идей 1914 года»: «...что после Испании, Франции, Англии пришла наша очередь отметить своей печатью и повести за собой мир; что двадцатый век принадлежит нам и что по истечении провозглашенной около ста двадцати лет назад буржуазной эпохи мир должен обновиться под знаком немецкой эры, стало быть, под знаком того, что не совсем четко определяется как милитаристский социализм» и иронически завершает свои воспоминания об идеологических исканиях тех лет: «Эта мысль, чтобы не сказать — идея, завладела нашими умами вместе с убеждением, что война нам навязана, что лишь священная необходимость заставила нас взяться за оружие, — оружие, кстати сказать, давно прикопленное и которым мы столь превосходно владели, что, конечно, жаждали пустить его в ход»⁶⁷.

Россия

В русской патриотической публицистике имелись совпадения с публицистикой союзников по Антанте, но с одним отличием. Если в Великобритании и во Франции (а затем в США) противостояние «германскому милитаризму» сочеталось с оппозициями «свобода — несвобода», «демократия — авторитаризм», то в России они были по понятным причинам невозможны. Об освобождении славян от германского «ига», разумеется, писали немало — начало войне положил ультиматум Сербии. Из пленных чехов и словаков начали создавать армейские подразделения, были даны обещания полякам. Планы расчленения Австро-Венгрии, несомненно, существовали, но в публицистике война представляла преимущественно как война оборонительная или освободительная.

Панславизм опирался на традицию, восходящую к трудам славянофилов первой половины XIX века, хотя многие важнейшие элементы славянофильства были пересмотрены или целиком отброшены⁶⁸. Идеальная история всего XIX века «определялась одним и тем же фактом: соприкосновением и оппозицией России и Запада, проникновением европейской цивилизации в Россию. Этот процесс... породил две проблемы: с одной стороны, проблеме отношений между “Россией и Западом”, “Россией и Европой”, между “национальным существованием и западной цивилизацией”; с другой стороны, проблеме отношений между образованными людьми и массой, ин-

⁶⁷ Манн Т. Доктор Фаустус. М.: АСТ, 2004. С. 359.

⁶⁸ Славянофилы, в отличие от их наследников начала XX века, не были ни националистами, ни государственниками (достаточно вспомнить полемику Ю.Ф. Самарина с М.Н. Катковым).

теллигенцией и народом»⁶⁹. Философия в России развивалась прежде всего как философия истории — проблемы логики и эпистемологии интересовали русских мыслителей лишь в связи с политическими и историософскими вопросами. Однако сколь бы самобытными ни были иные русские мыслители, философский инструментарий заимствовался ими у западных философов, причем И.В. Киреевского и А.С. Хомякова это касается ничуть не в меньшей степени, чем П.Я. Чаадаева, В.Г. Белинского или А.И. Герцена.

Русская философская мысль возникала под определяющим влиянием немецкой философии — Канта, романтиков, Шеллинга, Гегеля. Киреевский писал, что немецкая философия «вкоренится у нас не может», но сам он был несомненным наследником романтиков и Шеллинга, равно как и первый русский западник — Чаадаев. Гегельянцами были и западники, вроде Белинского и Чичерина, и такие славянофилы, как Аксаков и Самарин. Затем Шеллинга и Гегеля сменили другие немцы — Фейербах, Штирнер, Маркс. С 1890-х годов в России становится необычайно популярным Ницше — ни в одной другой европейской стране помимо самой Германии у него не было такого числа переводчиков, толкователей и поклонников. Наконец, в начале XX века русские студенты проходят выучку у неокантианцев и Гуссерля в Германии, в Вене и Цюрихе постигают психоанализ. Не столько российские естествоиспытатели, сколько члены РСДРП спорят о теориях Маха, Авенариуса и Оствальда. В это же время ряд идеологов партии эсеров учатся философии у неокантианца Алоиза Рия. Если же иметь в виду то обстоятельство, что естественным наукам, медицине, инженерному делу многочисленные русские студенты обучались за границей именно в немецких университетах, то становится понятным, что противопоставление России и Германии в сфере духа оказывалось довольно затруднительным.

При этом во время войны совершенно непригодной оказывалась унаследованная от славянофилов оппозиция «Россия — Запад» — союзниками России были Франция и Великобритания, которые, к тому же, рассматривались как «Запад» многими немецкими публицистами. Противопоставление «германства» и «славянства» вообще не всегда совпадало с оппозициями: «Россия — Запад», «Россия — Европа». Причем противниками «германства» были не только и не столько славянофилы — в качестве примера можно привести уже упомянутую «Кнута-германскую империю»⁷⁰ Бакунина.

Еще до войны начинаются споры между двумя группами русских философов по поводу немецкой мысли. Одни подчеркивали самобытность русской философии, признавая, конечно, некоторое влияние немецкой мыс-

⁶⁹ Койре А. Философия и национальная проблема в России начала XIX века. М.: Модест Колеров, 2003. С. 6.

⁷⁰ См.: Бакунин М.А. Кнута-германская империя // Он же. Философия. Социология. Политика. М.: Правда, 1989. С. 188–290.

ли; другие — чаще всего прошедшие выучку в Марбурге, Гейдельберге или Фрайбурге — пытались привнести в Россию последние достижения германской философии⁷¹. Поэтому в полемике с «германским духом» военных времен можно обнаружить след предшествующих споров. Стоит сказать, что подобного рода «внутренняя борьба» в явном или скрытом виде присутствовала во многих публикациях с самого начала войны. Скажем, получившая широкий отклик книга В.В. Розанова «Война 1914 года и русское возрождение» сводит счеты прежде всего с российской революционной и либеральной интеллигенцией, которой противопоставляется не столько славянофильство, сколько официальное монархическое государственничество. Н.А. Бердяев в своих статьях продолжает начатую в «Вехах» борьбу с «нигилизмом» русской интеллигенции, с марксистским утопическим доктринерством, с радикальным западничеством (на примере Горького), которое на деле является идолопоклонством: «Именно крайнее русское западничество и есть явление азиатской души»⁷². Славянофилы для него были как раз первыми европейцами, так как они пытались мыслить по-европейски самостоятельно, а не просто на детский манер подражать, как это делали западники, остававшиеся в этом отношении именно азиатами. К последним относится и Горький, у которого «все время чувствуется недостаточная осведомленность человека, живущего интеллигентско-кружковыми понятиями, провинциализм, не ведающий размаха мировой мысли»⁷³. Почти столь же резко Бердяев пишет о наследниках славянофильства, о Розанове⁷⁴: война вовлекает Россию во всемирную историю, она кладет конец замкнутому провинциальному существованию, а тем самым и «славянофильскому самодовольству», и «западническому рабству».

По существу, подобного рода сведение счетов с оппонентами в самой России обнаруживается в многочисленных публикациях. Разумеется, некоторые позиции в условиях военной цензуры не были представлены (ни пацифизм, ни большевистское «пораженчество»), другие вообще не получили в России широкого распространения: в отличие от Германии, о «расовой войне» в России не писали, да и наличие немецкой по крови династии прибалтийских баронов препятствовало распространению подобных суждений.

⁷¹ В качестве примера можно привести основанный учившимися в Германии у неокантианцев Ф.А. Степуном и С.И. Гессеном журнал «Логос»; само издательство «Мусагет» было создано на немецкие деньги и с целью «продвижения» в Россию германской культуры.

⁷² Бердяев Н.А. Азиатская и европейская душа // Он же. Судьба России. М.: Эксмо, 2007. С. 69.

⁷³ Там же. С. 71.

⁷⁴ См.: Бердяев Н.А. О «вечно бабьем» в русской душе // Он же. Собр. соч.: в 5 т. Т. III. Типы религиозной мысли в России. Париж: YMCA-Press, 1989.

Зато о метафизическом столкновении с германством «русского духа» писали часто. В памяти потомков остались только самые одиозные публикации, вроде статьи В.Ф. Эрн «От Канта к Круппу» (в сборнике «Меч и крест»), написанной в самом начале войны. Впрочем, его позиция не была примитивно-пропагандистской, а в работе «Время славянофильствует» он четко указал на границы подобных сопоставлений и сделал ряд оговорок. Как и некоторые другие православные мыслители, он указывал на важную особенность немецкой послекантовской философии, в которой субъект полагает, конструирует реальность. Трансцендентальный идеализм Канта и Фихте получил развитие в неокантианстве Марбургской школы — именно в Марбург отправлялись учиться русские философы⁷⁵. Под «немецким духом» Эрн понимал некое сочетание «коперниканской революции» Канта, логицизма Гегеля и волюнтаризма Фихте, Ницше и популярной на то время «философии жизни». Подобно тому, как трансцендентальный субъект организует и даже конструирует объект познания, «немецкий дух» желает навязать свой порядок всему миру. С той оговоркой, что этим богатая спекулятивная мысль Германии не исчерпывается: рейнская мистика, романтизм Новалиса или умозрения Гёте противостоят этому доминирующему в Германии подходу к действительности.

Сходным образом о «немецком духе» писал С.Н. Булгаков, для которого внешние события (мировая война) в каком-то смысле подготавливались и предрешались борьбой в сфере духа: «В частности, давно уже назревало и то столкновение германства с православно-русским миром, которое внешне проявилось ныне, не теперь только началась война духовная. С германского запада к нам давно тянет суховей, затягивая пепельной пеленою русскую душу, повреждая ее нормальный рост. Эта тяга, ставшая ощутительной с тех пор, как Петр прорубил окно в Германию, к началу века сделалась угрожающей. И, конечно, существеннее было здесь не внешнее «засилие» Германии, но духовное ее влияние, для которого определяющим стало своеобразное преломление христианства через призму германского духа»⁷⁶. Немецкое прочтение для Булгакова есть «арианское монофизитство», принимающее различные облики: от монизма и имманентизма, до социалистического человекобожия. Он даже именуется «хлыстовством западного типа»: если соблазном для православия является мистическая разнузданность, укорененная в бессознательном, то «западное, германское хлыстовство зарождается и культивируется в дневном сознании и потому вообще страждет интеллектуализмом»⁷⁷. Эти слова писались Булгаковым в

⁷⁵ Да и не только философы — можно вспомнить о Б.Л. Пастернаке.

⁷⁶ Булгаков С.Н. Свет невечерний. М.: Республика, 1994. С. 5.

⁷⁷ Там же.

конце 1916 года, но в самой его книге, начатой еще до войны, действительно можно обнаружить продолжение его предшествующей полемики с «человекобожеством» Фейербаха, Маркса и всего светского гуманизма, которую он начал десятью годами ранее.

За пределы этих еще предвоенных споров выходит Н.А. Бердяев. Безусловно, в его статьях, вошедших в книгу «Судьба России», достаточно много тем, общих для большинства обратившихся к публицистике философов, но появляются совершенно нетипичные для религиозной философии той эпохи вопросы. От рассуждений о «русской и германской душе» он переходит к соотношению национального и общечеловеческого, пишет об империализме, закате европейского рационализма — термины «сумерки Европы» и «новое средневековье» появляются уже в его статьях 1915–1916 годов. Развязанная европейцами мировая война приведет к росту могущества Америки и пробуждению Востока. Он подвергает критике морализаторство по поводу войны и попытки представить одну лишь Германию ответственной за войну — столкновение империалистических волей Германии и Англии было неизбежным. И с российской стороны речь должна идти не об одной лишь защите от агрессора: «Россия имеет свои самостоятельные задачи, независимые от злой воли Германии. Россия не только защищается, но и решает свои самостоятельные задачи»⁷⁸. Время войны вообще было для Бердяева временем огромного духовного напряжения — именно в эти годы обретает окончательные черты его близкая последующему экзистенциализму доктрина, впервые выраженная в большой работе «Смысл творчества». В ней значительное место занимает философия истории — размышления о технической цивилизации, мессианизме, эсхатологии возникают в связи с мировой войной и привносимыми ею переменами в судьбы народов.

Революция, поражение в войне привнесли пессимистические оттенки в суждения о продолжающейся войне. Для Бердяева «русское падение и бесчестье способствовало военным успехам Германии. Но успехи эти не слишком реальны, в них много призрачного. Германские победы не увеличили германской опасности для мира. Я даже склонен думать, что опасность эта уменьшается. Воинственный и внешне могущественный вид Германии внушает почти жалость... Германия есть в совершенстве организованное и дисциплинированное бессилие. Она надорвалась, истощилась и принуждена скрывать испуг перед собственными победами»⁷⁹. Всей Европе грозит внутренний взрыв, подобная российской революционная катастрофа. Возможное крушение всей христианской цивилизации, приход нового варварства под прикрытием революционной риторики — такова пугающая Бердяева

⁷⁸ Бердяев Н.А. Судьба России. М.: Советский писатель, 1990. С. 148.

⁷⁹ Там же. С. 7–8.

перспектива. «После ослабления и разложения Европы и России воцарится китаизм и американизм, две силы, которые могут найти точки сближения между собой»⁸⁰. Розанов в это время пишет «Апокалипсис наших дней», авторы «Вех» вновь объединяются, чтобы выпустить сборник «Из глубины».

Пожалуй, самым глубоким из этих сочинений конца войны была книга Е.Н. Трубецкого «Смысл жизни», большая глава которой была посвящена войне и ее последствиям. Война видится им как провал всеевропейской государственности, всех тех идей, на которых строилась цивилизация. И в личной, и в общественной жизни стал господствовать «кодекс последовательного и беспощадного каннибализма». Экономические и технические усовершенствования, даже политическая демократия вели к мировой войне: «раньше война была делом не народа как целого, а особой армии... Принцип всеобщей воинской повинности, *вооруженного народа*, есть изобретение времен новейших... Меч государства, выпавший из его рук, обратился против него: народ, вооруженный государством, стал величайшею угрозою для самого его существования»⁸¹. Национализм, т.е. коллективный эгоизм, столкнулся с ничуть не менее убедительным для массы коллективным эгоизмом класса. В других странах революционно-анархические стремления пока сдерживаются, но современный шовинизм и там может обернуться бунтом: «Чем сильнее шовинистический подъем, тем могущественнее могут оказаться и революционная волна, им вызванная, и те искушения интернационала, против которых безверие бессильно!»⁸². Когда народы истекают кровью, неотразимым соблазном может оказаться самая нелепая утопия. Отчаянная попытка довести войну до победного конца приводит к гражданской войне. Но даже победа в лишенном духовного измерения мире означает лишь биологическую победу более приспособленного к борьбе за существование организма. «Символ мирового владычества — кольцо Нибелунгов — обрекает на гибель его обладателя, ибо оно вооружает против него всех, делает его предметом всеобщей ненависти»⁸³. Без привнесения морали в правила взаимоотношений между государствами цивилизованный мир неизбежно будет следовать от одной войны к другой, все более страшной по своим последствиям.

Если религиозные мыслители в результате поражения России пришли к мысли о пагубности войны, способной перейти в войну гражданскую, то их наиболее радикальные оппоненты с августа 1914 года призывали к такому переходу. Гражданской войной была охвачена не только Россия — в странах

⁸⁰ Бердяев Н.А. Судьба России. С. 9.

⁸¹ Трубецкой Е.Н. Смысл жизни. М.: АСТ, 2003. С. 346.

⁸² Там же. С. 356.

⁸³ Там же. С. 358.

Центральной Европы удалось подавить очаги революции. Но эти искры не угасли. Словами немецкого историка Эрнста Нольте, началась эпоха «европейской гражданской войны».

Этой эпохе соответствовал определенный тип человека, выкованный в огне мировой войны. Человека, который готов убивать и жертвовать собой, видящего мир исключительно в черно-белых красках, делящего окружающих на «друзей» и «врагов». Одни будут повторять, что проиграли войну лишь из-за предательства в тылу (*Dolchstosslegende*), провозгласят войну вечным состоянием человека, а «тотальную мобилизацию» условием возможности победы. Другие ответят: «Война — войне», но ради прекращения империалистических войн сделают революционную войну перманентной. Хотя в Германии в силу особенности ее послевоенного положения эти тенденции проявились ярче и сильнее, чем в других странах, они хорошо видны по всей Центральной и Восточной Европе. Английский историк Х. Сетон-Уотсон в 1930-е годы объездил почти всю Европу и был свидетелем «хождения в народ» молодых интеллектуалов, которых он сравнивает с русскими народниками XIX века. В одних странах (Испании, Польше, Хорватии, Словакии) они не получали поддержки рабочих, в Венгрии и Румынии эти движения нашли массовую поддержку пролетариата. В Сербии эти молодые люди становились коммунистами, в Румынии — фашистами, но сам человеческий тип был тем же самым. «Румыны боялись России, а капиталистический враг в их среде часто был евреем. Поскольку Третий рейх воевал как против внутреннего, так и внешнего врага, Гитлер был для них защитником, и они проглотили его идеологию. Сербь же, наоборот, боялись Германии и любили Россию, и еврейский вопрос в их стране не стоял. Марксизм предлагал решение их трудностей и, кроме того, за ним стояла мощь большого славянского брата»⁸⁴. Идеализм молодежи послевоенного поколения способствовал росту враждебных друг другу сил; общим у них было только неприятие властвующих элит, власти крупного капитала, «рабства процента», купленных плутократами парламентских фракций и газет.

Тип дисциплинированного и предельно рационального в использовании любой техники воина-труженика, рационального, пока речь идет о средствах, но не о выборе конечной цели. Тут он целиком вверяет себя вождю, партии, организации. На уровне философских умозрений речь шла о «воле», «интуиции», «решимости», «экзистенциальном выборе», «рискованности существования». Однако у вовлеченных в политику интеллектуалов того времени готовность к решительному действию слишком часто сопровождалась жертвоприношением интеллекта ради идолов примитивных идеологий. Эти идеологии не только выражали умонастроения бывших

⁸⁴ Сетон-Уотсон Х. Фашизм справа и слева // Коммунизм и фашизм — братья или враги? М.: Яуза-Пресс, 2008. С. 190.

фронтовиков, они обещали творить «нового человека» по образу и подобию добровольца 1914 года.

Военизированные союзы и партии, мобилизация масс посредством шествий в униформе под зовущие в бой марши, сеющие ненависть к политическим противникам речи и газетные передовицы — несогласный с единственно правильной доктриной оказывается «врагом», по отношению к которому хороши любые средства. Врага нужно не просто переубедить или перебороть, его требуется уничтожить, «ликвидировать».

Слова «если враг сопротивляется, его уничтожают», «винтовка рождает власть» были сказаны позже, но они вполне подходят к ментальности тех, кто вернулся с фронта Первой мировой войны и окунулся в атмосферу войны гражданской. Морализаторские суждения современных историков, пишущих о коммунистической и фашистской идеологии, чаще всего не учитывают именно то, что сделало массовыми малозначимые политические секты, — миллионы европейцев уже мыслили и были готовы действовать в соответствии с такими политическими проектами.

ФОРМИРОВАНИЕ ФИЛОСОФИИ ФРАНСУА ГИЗО

Философия Франсуа Гизо (1787–1874) — плод трагичной семейной истории, блестящей государственной карьеры и исследовательской работы, принесшей европейскую славу¹. Обращение к биографии и первым опытам интеллектуальной работы позволяет выяснить обстоятельства и события, которые содействовали формированию политико-философских взглядов и убеждений Гизо. Задача настоящей статьи заключается в том, чтобы реконструировать интертекстуальные связи биографических сюжетов с философской теорией французского мыслителя.

Франсуа Пьер Гийом Гизо родился 4 октября 1787 года в протестантской семье на юге Франции в городе Ниме (провинция Лангедок). Однако друзья, а впоследствии и биографы отмечали, что у Гизо был характер «человека севера», парижская культура и английские манеры². Родители будущего философа были тайно обвенчаны кальвинистским священником в 1786 году, и появление ребенка на свет не было официально зарегистрировано³. Их род сохранял непокорность католицизму со времен эдикта Фонтенбло (1685)⁴ и вплоть до Версальского эдикта (1787), гарантировавшего гугенотам свободу вероисповедания и гражданские права. После того как преследования протестантов прекращаются, родители Гизо отходят от прежнего религиозного фанатизма и занимают «философские» позиции. Воспоминания о притеснениях протестантов сделали Гизо убежденным сторонником религиозной терпимости, светского образования и противником всяких попыток проникновения католической церкви в разные сферы жизни общества.

Семья Гизо жила в самом центре старинного города, неподалеку от рагуши, предпочитая в быту скромность и протестантскую умеренность. Дет-

¹ Исследование выполнено в рамках Программы фундаментальных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и с использованием средств субсидии на государственную поддержку ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров, выделенной НИУ ВШЭ.

² См.: Broglie G. Guizot. Paris: Perrin, 1990. P. 13.

³ Bardoux A. Guizot. Paris: Hachette et cie, 1894. P. 5–6.

⁴ Эдикт Фонтенбло — эдикт Людовика XIV от 18 октября 1685 года об отмене принятого в 1598 году Генрихом IV Нантского эдикта, гарантировавшего гугенотам свободу вероисповедания.

ство Франсуа было отмечено восторженным присоединением его родителей к новым идеям и реформам. Отец будущего философа Андре Гизо был молодым «благовоспитанным адвокатом»⁵ с безупречной репутацией, блестящими перспективами⁶ и талантом оратора. Много лет спустя, когда Гизо уже был влиятельным политиком, мать напоминала ему: «Ты наследовал талант своего отца»⁷. Андре Гизо принял и поддержал первые мероприятия революции 1789 года и примкнул к клубу якобинцев, а затем к партии жирондистов. Начиная с 1792 года, он последовательно выступает против политики насилия и централизации, а также критикует экстремизм робеспьеристов. Во время «дела жирондистов» на Андре Гизо был написан донос, автор которого обвинял адвоката в «федерализме и умеренности»⁸. После безуспешных попыток найти убежище отец Гизо был схвачен. Из тюрьмы он передал записку, которая была адресована старшему сыну: «Когда мы снова будем вместе, я научу тебя писать»⁹. Оба его малолетних сына — четырех и шести лет — присутствовали с матерью на заседании суда в момент оглашения приговора, согласно которому Андре Гизо был гильотинирован 8 апреля 1794 года¹⁰.

Гизо никогда не вспоминал публично об этих днях, однако сам факт казни родителя экстремистским правительством оказал несомненное влияние на отношение будущего мыслителя к крайним идеологиям. Биографы склонны считать, что это событие нанесло Гизо психологическую травму и «заронило в душу первые семена той ненависти и того презрения к человечеству, которые, скрываясь под внешне холодными и бесстрастными манерами министра-консерватора, при каждом удобном случае невольно проявлялись наружу»¹¹. Не случайно его немногочисленные друзья имели схожую судьбу — были сиротами по вине гильотины. К слову, безоговорочно поддержанный Гизо «король французов» Луи-Филипп также потерял своего отца Филиппа Эгалите в годы якобинской диктатуры. Можно с определенной уверенностью предположить, что консерватизм философа возник под влиянием кровавых сцен Французской революции. Сент-Бёв утверждал, что Гизо всю жизнь помнил страшные дни террора¹². В будущем Гизо часто сталкивался с необходимостью выбора между свободой и порядком, воспоминания о революции помогали ему сделать этот выбор.

⁵ *Bardoux A. Op. cit. P. 6.*

⁶ *Broglie G. Op. cit. P. 14.*

⁷ *Ibid. P. 15.*

⁸ *Ibid. P. 15–16.*

⁹ *Ibid. P. 16.*

¹⁰ *Bardoux A. Op. cit. P. 7.*

¹¹ Гизо и его «Записки» // Отечественные записки. 1858. Т. 118. № 5–6. С. 695.

¹² *Bardoux A. Op. cit. P. 7.*

18 фрюктидора (4 сентября) 1797 года в Ниме начались волнения. Консервативная протестантская буржуазия, к которой принадлежала семья Гизо, стремилась к порядку, а республиканцы, которых поддерживала парижская власть, вновь начали преследовать нелояльных и «подозрительных». Мадам Гизо захотела избавить своих сыновей от опасностей, связанных с новым конфликтом, который вызывал у нее ужас. Второй родиной нимских протестантов была Женева, 26 апреля 1798 года вошедшая в состав Французской республики, поэтому туда можно было уехать не эмигрируя.

В конце августа 1799 года семья перебралась в Женеву, где открывались возможности для получения хорошего образования. Следующие пять лет стали важным этапом в развитии Франсуа. «Женева — моя интеллектуальная колыбель», — напишет Гизо своему ученику шестьдесят лет спустя¹³. Он отметит также: «В Женеве я получил очень либеральное образование, но в строгих порядках и набожных верованиях, развивших во мне не удивление к заслугам и влиянию философии восемнадцатого столетия, а враждебное к ней чувство»¹⁴. Сначала будущий философ обучается в гимназии, основанной Кальвином, где осваивает классические языки и греческую литературу. С юных лет Гизо изучал пять языков (латынь, греческий, итальянский, английский и немецкий), каждый из которых пригодится ему в зрелые годы.

В 1801 году Франсуа поступает в Женевскую академию, где занимается риторикой, арифметикой, геометрией, т.е. получает среднее образование. Методика обучения была либеральной и оставляла за учениками право выбора тем для углубленных занятий, также существовала возможность создавать литературные общества. В 1803 году Гизо переводится с филологического отделения и начинает слушать курс философии. Вспоминая об этом, он признается: «Только тогда я начал жить»¹⁵. Юноша получает удовольствие от интеллектуальной работы, увлеченность которой отвлекала от повседневного однообразия и скудости быта. Он долгие годы хранит педантичные конспекты, свидетельствующие о жадности, с которой он получал знания. Курс включал в себя занятия геометрией, химией, физикой, однако основными предметами были философия и мораль.

Сильнее всего на Гизо влияют два преподавателя: Пьер Прево и Шарль Пешье. Профессор философии П. Прево — эрудит, член многих иностранных академий, яркий сторонник «идеологии», уходящей корнями в просветительское движение, последователь И. Канта, Э. Кондильяка и А. Дестюта де Траси. Он читает лекции по «рациональной философии» (логике). Ш. Путас, а за ним и Г. Брольи считают, что в этом образовании можно ис-

¹³ См.: Broglie G. Op. cit. P. 18.

¹⁴ Guizot F. Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps. Vol. 1. Paris: M. Levy, 1858. P. 8.

¹⁵ Ibid.

кать «первый трепет доктринерской мысли»¹⁶ Гизо, с чем категорически не согласен Б. Реизов, считавший, что «доктрина» и все ее учение противопоставлены идеологии¹⁷.

Строгий пастор Ш. Пешье преподает Франсуа мораль и физику. Именно на этих занятиях приобретают свой размах способности Гизо к абстрактному теоретическому мышлению и обобщениям¹⁸, которые в полной мере проявятся на страницах «Истории цивилизации в Европе» (1828). Пешье, последовательный критик философии Просвещения и ее главного социального итога — Французской революции, стремился привить эти убеждения своим ученикам, о чем последние неоднократно вспоминали¹⁹. Именно в это время в манерах Гизо появляются высокомерие, аристократизм, а в суждениях — брезгливое отношение к прямой демократии и «праву улицы».

Особым источником политических воззрений Гизо является английский опыт. Во времена континентальной (1806–1814) блокады Женева была единственным городом наполеоновской империи, который поддерживал тесные отношения с Англией. Английская литература попадала в наполеоновское государство через швейцарский город. Благодаря этому Гизо овладел английским языком, освоил многие тексты островных философов, приобрел привычку систематически читать лондонские периодические издания и узнавать про современные события с точки зрения английского взгляда.

В эти же годы мадам Гизо продолжала следовать воспитательной концепции Руссо²⁰, которая была изложена в «Эмиле». В раннем детстве (до двух лет) — физическое воспитание, от двух до двенадцати лет — воспитание чувств, от двенадцати до пятнадцати — умственное, а от пятнадцати до восемнадцати лет происходит нравственное воспитание²¹. Она считала, что ребенок каждый день должен заниматься физической работой. Гизо выучился столярному и токарному искусству, мог своими руками изготавливать мебель. Он был физически сильным юношей и прекрасным наездником, а также отличался высокой работоспособностью²². Вместе с тем он ведет однообразную жизнь, лишенную многих радостей его возраста. Примечательно, что в своих мемуарах Гизо опустил все детали, касающиеся собственного детства.

¹⁶ Phouthas Ch.-H. *La Jeunesse de Guizot (1787–1814)*. Paris: Librairie Félix Alcan, 1936. P. 100; Broglie G. Op. cit. P. 20.

¹⁷ См.: Реизов Б.Г. Французская романтическая историография. 1815–1830. Л.: Изд-во ЛГУ, 1956. С. 173.

¹⁸ Broglie G. Op. cit. P. 20.

¹⁹ См., например: Guizot F. *Mémoires...* Vol. 1. P. 8.

²⁰ Bardoux A. Op. cit. P. 8.

²¹ См.: Руссо Ж.-Ж. *Эмил, или О воспитании*. М.: Педагогика, 1981.

²² Bardoux A. Op. cit. P. 9.

С юных лет круг чтения Гизо был потрясающе широк: от трактатов греческих философов и Отцов церкви до работ просветителей. Из последних он чаще упоминает Ш.-Л. Монтескьё²³, которого вместе с А.Р. Тюрго и Ж.Л. д'Аламбером называет «благородными либералами»²⁴. В будущем, обсуждая поправки в законопроект «О разделении производства при расследовании преступлений гражданских и военных лиц» (1837), он ссылается на Монтескьё как на авторитет, повторяя «*comme dit Montesquieu*»²⁵, что крайне нехарактерно для Гизо-политика. Вольтер, Руссо и Дидро — представители «неверующей партии»²⁶ («*parti incrédule*») — иногда становятся объектом критики²⁷, но чаще являются для Гизо лишь персонажами прошлого, которыми он мало интересуется²⁸. С юных лет и на всю жизнь любимыми для Гизо становятся сочинения Фукидида, Саллюстия, Цезаря, Тацита и Макиавелли²⁹. Благодаря годам, проведенным в Женеве, Гизо овладел немецким языком, сыгравшим большую роль в его дальнейшем развитии. После того как Франсуа достиг восемнадцати лет, а именно в этом возрасте заканчиваются образовательные циклы методики «Эмиля», мать отпускает его в Париж для получения юридического образования.

Таким образом, не совсем точны биографы, полагавшие, что мировоззрение Гизо выработано им самостоятельно, «без каких-либо семейных влияний»³⁰. Мадам Гизо оказала большое воздействие на формирование характера и привычек старшего сына. Умение быстро принимать решения, энергичность и последовательность, доходящая до упрямства, передались Франсуа так же, как аскетизм и умеренность матери³¹. О тесной эмоциональной связи между матерью и сыном говорят скупые мемуарные заметки, в которых Гизо признается, что порой он устает от политического спектакля и готов отдать многое ради нескольких недель, проведенных с матерью³². Она присутствует даже при дипломатических переговорах, которые проходили в парижском особняке Гизо в его бытность министром иностранных дел³³. Все

²³ Guizot F. Mémoires... Vol. 1. P. 396; Ibid. Vol. 2. P. 403–405.

²⁴ Ibid. Vol. 2. P. 398.

²⁵ Ibid. Vol. 4. P. 441.

²⁶ Ibid. Vol. 1. P. 274.

²⁷ Ibid. P. 378.

²⁸ Ibid. Vol. 2. P. 405.

²⁹ Ibid. Vol. 1. P. 3.

³⁰ См.: Pouthas Ch.-H. Op. cit. P. 19; Пеузов Б.Г. Указ. соч. С. 173.

³¹ См.: Guizot F. Mémoires... Vol. 1. P. 11.

³² См.: Ibid. P. 25.

³³ Ibid. Vol. 4. P. 120–121.

свидетельствует о большой значимости для него традиционных семейных ценностей. Впоследствии самые грозные и непримиримые оппоненты Гизо никогда не могли уличить его в коррупции и нравственной нечистоплотности. Даже в полемическом пылу они скорее готовы были предположить связь влиятельного министра с дьяволом, чем обвинить его в хищениях, воровстве или неразумной роскоши, столь распространенных во времена Июльской монархии. Близость Гизо с матерью обнаружится и в 1848 году, когда они вместе покинут охваченную революцией Францию. Гизо тяжело переживал смерть матери и сам факт ее захоронения не на французской земле, а в Лондоне на кладбище Кенсал-Грин.

В июне 1805 году Гизо получает диплом об окончании философского отделения Женевской академии. В это время он находится под сильнейшим влиянием матери, которая мечтает о том, чтобы сын продолжил дело отца и стал адвокатом. Однако в Женеве не было юридического факультета, и семья вернулась в Ним.

В начале сентября 1805 году Гизо приезжает в Париж и записывается в школу права³⁴, где в полной мере раскрываются его ораторские способности. Каждое воскресенье организовывались коллоквиумы, на которых студенты вели тяжбу с адвокатами. Франсуа преуспел в прениях и обратил на себя внимание наставников. Однако он разочаровался в избранной профессии и понял, что хочет большего, чем работа юристом. В августе 1806 года он сдал экзамены и покинул школу.

Гизо методично и упорно занимается самообразованием, совершенствует знание классических и современных языков. Его отношение к Парижу меняется с 1807 года, именно с этой даты он впоследствии начнет свои воспоминания. В 1806 году Гизо — завсегдатай салона мадам де Ласкур — присоединяется к франкмасонству и вскоре попадает в важнейшие интеллектуальные круги своего времени, завязав знакомство с Ж. де Сталь. Автор «Гения христианства», Ф.Р. Шатобриан, стал для Гизо интеллектуальным кумиром, однако дух этого философского трактата можно обнаружить только в поздних сочинениях самого Гизо³⁵. Конфессиональная принадлежность не сыграла сколько-нибудь значительной роли и не отразилась ни в одном из политических текстов мыслителя за пределами формальных риторических ссылок на «волю Провидения» и «глас Божий».

Если знакомство с Шатобрианом состоялось лишь заочно, то с мадам де Сталь Гизо вступил в переписку, которая привела к скорой встрече. 28 авгу-

³⁴ См.: Broglie G. *Op. cit.* P. 22–23.

³⁵ См.: Guizot F. *Méditations sur l'essence de la religion chrétienne*. Paris: M. Lévy, 1864; *Idem*. *Méditations sur l'état actuel de la religion chrétienne*. Paris: M. Lévy, 1866; *Idem*. *Méditations sur la religion chrétienne dans ses rapports avec l'état actuel des sociétés et des esprits*. Paris: M. Lévy, 1868.

ста 1807 года патриарх французского политического либерализма мадам де Сталь приняла малоизвестного журналиста, который еще не был автором ни одного серьезного сочинения. За ужином гость сидел по правую руку от хозяйки, которая сделала ему предложение присоединиться к своей «партии»: «Я уверена, что вы хорошо сыграете в трагедии; оставайтесь с нами и займите место в “Андромахе”»³⁶. Гизо был польщен предложением, но вежливо отказался³⁷. Впоследствии он часто вспоминал о единственной встрече с «великой женщиной».

В 18 лет Гизо поступил учителем в доме бывшего швейцарского министра, а в 1805 году швейцарского представителя в Париже Ф.-А. Стапфера³⁸. Отец учеников был для Гизо не просто работодателем, но в известной степени другом и наставником («guide intellectuel»). В политике Стапфер был последовательным сторонником умеренного либерализма, но не демократии, он выступал против всеобщего избирательного права, прибегая к аргументу Монтескьё, согласно которому массы невежественны и не могут ценить свободу личности³⁹. Избирательный ценз должен отсеять тех, кто «находится в столь низком состоянии, что считается не имеющим собственной воли»⁴⁰.

Посол позволял гувернеру без ограничений пользоваться своей богатой библиотекой, используя которую, Гизо готовил свои первые статьи. В этих публикациях часто встречаются слова благодарности, адресованные покровителю и наставнику. Например, во вводной статье к переводу «Истории упадка и разрушения Римской империи» Э. Гиббона Гизо писал: «Если в моем труде найдут какие-нибудь достоинства, мне придется пожалеть только о том, что я не буду в состоянии с точностью определить, какой именно долей этих достоинств я обязан господину Стапферу»⁴¹.

По поводу значения фигуры посла в собственной жизни Гизо замечал: «Я также позволю себе упомянуть о том, как много я обязан советам человека, столько же просвещенного, сколько опытного в тех исследованиях, которыми мне предстояло заняться. Без знаний, которые я черпал в библиотеке Стапфера, я очень часто затруднялся бы отыскать сочинения, в которых я мог найти достоверные сведения, и многие из этих сочинений, без

³⁶ *Idem. Mémoires...* Vol. 1. P. 12.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Bardoux A. Op. cit.* P. 13.

³⁹ См.: *Монтескьё III. Дух законов*. СПб.: Изд-во Императорского университета, 1839. С. 276–277.

⁴⁰ Там же. С. 277.

⁴¹ Гизо Ф. Предисловие // Гиббон Э. *История упадка и разрушения Римской империи*. Т. 1. СПб.: Наука, 2006. С. 29.

сомнения, остались бы для меня вовсе неизвестными»⁴². Таким образом, швейцарский посол обогащал Гизо в одно и то же время и своими советами, и своими книгами.

Страстный кантианец Стапфер помог Гизо усовершенствовать немецкий язык, а также познакомил будущего философа с учением И. Канта и философским движением в современной ему Германии. Чтение и анализ «Критики чистого разума» делают Гизо кантианцем⁴³. В это же время по инициативе Стапфера юный мыслитель вступает в переписку с Ш. де Виллером, который с 1793 по 1799 год жил в Берлине и прекрасно знал немецкую философию, а после возвращения стал пропагандистом Канта во Франции⁴⁴.

В своих воспоминаниях Гизо признавался, что сразу после приезда в Париж немецкая философия и литература стали предметом его любимых шуток: «Я читал Канта и Клопштока, Гердера и Шиллера гораздо больше, чем Кондильяка и Вольтера»⁴⁵. Немецкие философы в его понимании несли «дух истинной свободы» и учили уважать права других. «Я больше узнал от них, чем из всей практической деятельности того времени»⁴⁶, — признавался Гизо. Он отмечал также, что во французских интеллектуальных кругах его «немецкий энтузиазм» выглядел странно: «Некоторые принимали его со снисходительной улыбкой, но в основном это было просто безразличие»⁴⁷. В зрелые годы Гизо обращался к Канту и немецкой мысли значительно реже.

В 1807 году у Стапфера Гизо познакомился с Ж.Б. Сьюром, который взял юного интеллектуала под свою протекцию. Сьюр, прославленный литератор, член Французской академии (1772), издатель роялистских «Политических новостей» («Nouvelles politiques») при директории, а при Наполеоне — секретарь академии и главный редактор «Публициста» («Le Publiciste»), скептически относился к немецкой философии и кантианству Гизо. Несмотря на разницу в возрасте (в 1808 году Сьюру было 76 лет), между академиком и юным журналистом сложились дружеские отношения. Они много беседовали о философии, литературе, искусстве, современной политике, а иногда разговаривали «без цели и необходимости, ради удовольствия интеллектуального общения»⁴⁸. Впоследствии Гизо вспоминал, что в словах Сьюра он чувствовал «искренность и бескорыстие духа» собеседника⁴⁹. Академик,

⁴² Гизо Ф. Указ. соч. С. 29.

⁴³ Broglie G. Op. cit. P. 29.

⁴⁴ См.: Ibid.

⁴⁵ Guizot F. Mémoires... Vol. 1. P. 8.

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Ibid. Vol. 2. P. 409.

⁴⁹ Ibid.

как и Стапфер, стоял на «философских» и либеральных позициях, а также был последовательным сторонником конституционной монархии и избирательного ценза (в свое время Сюар был близким другом и единомышленником Кондорсе, идеи которого многократно всплывали в беседах с Гизо). Благодаря Сюару Гизо получил «уроки подлинно французского разума»⁵⁰, что уравнило немецкое влияние Стапфера. Также в салоне редактора встретились будущие доктринеры, и началась полувековая дружба Шарля де Ремюза, Франсуа Гизо и Проспера де Баранта.

В возрасте двадцати лет Гизо считался поэтом. Вкусы времени принесли популярность напыщенным одам, элегиям и трагедиям. Претензии Гизо как поэта были распалены первым, анонимным, контактом с Шатобрианом. Юный Франсуа передал властителю дум письмо с поэмой. Шатобриан послал благосклонный ответ с тем же курьером: «Я прочитал поэму неизвестного с удовольствием...»⁵¹. Благодаря довольно слабой с литературной точки зрения элегии на смерть Генриха IV (лидера гугенотов в конце религиозных войн во Франции, основателя династии Бурбонов), 29 декабря 1807 года Гизо был избран членом академии департамента Гара⁵². Однако в будущем он предпочитал никогда не вспоминать об этом литературном опыте, в том числе на страницах мемуаров.

Первым опубликованным текстом Гизо стал «Обзор философии и литературы за 1807 год», напечатанный в «Публицисте» Сюара⁵³. Именно плодотворное сотрудничество с этим журналом принесло Гизо признание парижских литературных кругов. Позже были статьи для исторического сборника Ж. Мишо «Biographie Universelle». Затем вышла книга — лучший на момент издания «Новый словарь синонимов французского языка»⁵⁴. Гизо переводит с немецкого языка очерк Г. Рефуса «Испания в 1808 году», пишет обзор «О состоянии изящных искусств во Франции и о Салоне 1810 года»⁵⁵, компилирует «Биографии поэтов века Людовика XIV» (1813). Это был дебют долгой и удивительной интеллектуальной карьеры, которая закончится семьдесят лет спустя. Ж. Симон впоследствии скажет: «Гизо жил и работал в течение века»⁵⁶.

Сложно переоценить значение площадки, предоставленной Сюаром на страницах «Публициста», для того признания, которое получил моло-

⁵⁰ Broglie G. Op. cit. P. 29.

⁵¹ Ibid. P. 25.

⁵² Ibid. P. 30.

⁵³ Guizot F. Mémoires... Vol. 1. P. 9–11.

⁵⁴ Idem. Nouveau Dictionnaire universel des synonymes de la langue française. Paris: Maradan, 1809.

⁵⁵ Idem. De l'état des Beaux-Arts en France et du Salon de 1810. Paris: Maradan, 1810.

⁵⁶ Simon J. Thiers, Guizot et Rémusat. Paris: Cornely et cie, 1885. P. 221.

дой Гизо. Немаловажным оказался и исключительно выгодный контракт: издатель платил литератору 200 франков в месяц за восемь статей. «Сюар, возглавлявший журнал, любезно потакал моим желаниям <...> Он позволил мне сделать карьеру»⁵⁷, — вспоминал Гизо впоследствии. И не только карьеру. У Сюара же Гизо встретил Полину де Мелан, блестящего литератора с европейской репутацией, автора многочисленных работ по истории образования, женщину на четырнадцать лет старше его. Она принадлежала к либеральной аристократии Старого порядка, многое потеряла во время революции и вынуждена была зарабатывать на жизнь литературной деятельностью, в частности, сотрудничеством в «Публицисте».

Знакомство Гизо с П. де Мелан переросло в удивительно плодотворный творческий союз: с 1807 по 1810 год они опубликовали 248 статей, посвященных главным образом обзору иностранной литературы. Уже в этой литературной критике Гизо проявился как независимый автор, который не ограничивается комментариями к отдельным выдержкам из сочинений, а практически всегда стремится создать определенную концепцию и встроить проблему в широкий контекст.

Скрепя сердце Сюар позволял Гизо быть порой «слишком немецким», а иногда «слишком христианским», что в целом противоречило духу «Публициста»⁵⁸. Именно поэтому редактор, заказывая рецензию на новый роман Шатобриана «Мученики» (1809), просит автора писать, руководствуясь вкусом, а не верой⁵⁹. Книга была холодно встречена в парижских интеллектуальных кругах, потому что учение Вольтера и его последователей имело большое влияние среди либералов. Мнение Гизо было совершенно иным, он страстно удивился Шатобриану, его чувствам и языку: «Эта потрясающая смесь религиозных чувств и романтических тенденций, поэзии и моральной полемики подействовали на меня так сильно... Видя жестокие нападения, посыпавшиеся на них, я решился защищать их...»⁶⁰. После публикации отзыва литературные способности Гизо привлекают благосклонное внимание Шатобриана, который был польщен молодостью талантливого критика⁶¹. О своем одобрительном отношении Шатобриан сообщил в письме от 12 мая 1809 года, которое начиналось словами: «Позвольте выразить мое удовольствие...»⁶². Даже много лет спустя Гизо был благодарен Шатобриану за доброжелательное отношение к той рецензии⁶³. Между Гизо

⁵⁷ Simon J. Op. cit. P. 9–10.

⁵⁸ Broglie G. Op. cit. P. 30.

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Guizot F. Mémoires... Vol. 1. P. 9.

⁶¹ Ibid. P. 9.

⁶² Ibid. P. 377.

⁶³ Ibid. P. 8–12.

и Шатобрианом завязалась дружеская переписка, которой не суждено было стать продолжительной. Политические интересы, оказавшиеся сильнее всякой признательности и взаимной расположенности, легли непреодолимой бездной между двумя корреспондентами.

Своими статьями Гизо завоевал уважение таких разных интеллектуалов, как Ж. Лакретель, К. Жордан, Ш. де Виллер, М. де Монморанси, а также получил широкую известность как во Франции, так в Германии и Швейцарии. Он становится желанным автором во многих изданиях, таких как «Европейский литературный архив» («Archives littéraires de l'Europe»), «Меркурий» («Le Mercure»), Стапфер делает Гизо корреспондентом «Заметок о новейшей космогонии» («Miscellen für die Neueste Weltkunde»), издаваемых в Швейцарии.

Несмотря на успехи в журналистике, Гизо не чувствует себя на месте. Для этой профессии он слишком отвлечен от реальности и любит абстракции. К тому же он не очень уважает свою читательскую аудиторию и хочет чего-то большего. Именно Полина де Мелан определяет его настоящее предназначение: «Вы говорите всегда лучше о вещах, чем о книгах... Ваш талант, мне кажется, принадлежит истории»⁶⁴.

В 1810 году «Публицист», как и «Французский вестник» («Gazette de France»), стремительно теряет свой объем, превращаясь в «носовой платок», и переходит под контроль правительства, а в конце года прекращает свое существование. С 1811 по 1813 год Гизо с П. де Мелан совместно издают «Анналы образования»⁶⁵ («Annales de l'éducation»), где печатают статьи по истории и методике воспитания детей⁶⁶. Каждый номер состоял из трех больших статей, рассказа, рецензии и библиографии новейших изданий, связанных с проблемами образования. Дух времени и зоркость министра полиции А.Ж. Савари заставили исключить из журнала даже неочевидные намеки на политику. Формат издания во многом был продиктован строжайшей цензурой, запрещавшей обсуждение многих проблем.

В 1812 году Гизо женится на Полине де Мелан, которая приняла протестантизм. Вместе они проживут до 1827 года, года смерти супруги⁶⁷. Интеллектуальное сообщество, в которое Гизо попал благодаря жене, оказало значительное воздействие на формирование его мировоззрения. Большая часть друзей супруги Гизо были выходцами из салонов Старого порядка и являлись сторонниками конституционной монархии. Полина познакомила Гизо с Буфлером, Констаном, Гаратом, Дюпоном де Немуром и др.⁶⁸ Франсуа был очаро-

⁶⁴ Broglie G. Op. cit. P. 31.

⁶⁵ Guizot F. Mémoires... Vol. 1. P. 14.

⁶⁶ Всего вышло шесть томов журнала.

⁶⁷ Guizot F. Mémoires... Vol. 3. P. 52.

⁶⁸ Broglie G. Op. cit. P. 34–35.

ван их большой известностью и интеллектуальным влиянием, но вступил с ними в диалог на равных. Гизо собрал еще живые воспоминания о философии Просвещения. В это же время он отходит от Стапфера, общества германистов и концентрируется на французской мысли и французской политике.

Гизо любил вспоминать, что оказался в «очаровательной компании» людей, которые прошли великие испытания и сейчас делились своими воспоминаниями. Это были интеллектуалы Старого порядка, обладавшие вкусом к жизни, их имел в виду Талейран, заметивший: «Кто не жил до 1789 года, тот не знает, что такое жизнь в удовольствии»⁶⁹. Подводя итог своей жизни в 1807–1812 годах, Гизо писал о своем окружении в этот период: «Не то чтобы я в то время был очень обеспокоен политикой или тем, что свобода мне не доступна. Я жил в оппозиционном обществе, но оппозиция [эта] мало походила на ту, развитие которой мы видели на протяжении последующих тридцати лет. Это были обломки философского мира и либеральной аристократии XVIII века, последние представители тех салонов, в которых думали и говорили обо всем свободно, все подвергали критике, все обещали и на все надеялись, но не по причине высокомерия и честолюбия, а из-за живости ума. Разочарования и бедствия революции не подтолкнули оставшихся в живых представителей этого замечательного поколения ни отречься от своих убеждений, ни отказаться от своих желаний; они остались искренними либералами, но без претензий, [в отличие] от многих людей, которые пострадали и не преуспели в своих проектах и государственных [амбициях]. Они желали свободу мысли и слова, но не добивались власти; они ненавидели и порицали деспотизм, но ничего не делали, чтобы укротить или свергнуть его. Это была оппозиция осведомленных и независимых зрителей, которые не имели никакого шанса или желания вступить в действие не в качестве зрителей, но в качестве актеров»⁷⁰. Тем не менее в кругу этих людей Гизо научился «более, чем от кого-либо, быть справедливым к другим и уважать чужую свободу, что составляет признак и отличие настоящего либерального человека»⁷¹.

В 1812 году в Сорбонне Гизо подружился с известным профессором философии П.П. Руае-Колларом, философско-исторические взгляды которого заинтересовали молодого преподавателя еще в период Империи. Впоследствии Гизо лаконично напишет о людях, оказавших на него самое значительное влияние. Среди них он назовет мать, Полину де Мелан и Руае-Коллара⁷². Политические взгляды последнего были близки Гизо, а

⁶⁹ Guizot F. Mémoires... Vol. 1. P. 6.

⁷⁰ Ibid. P. 5–6.

⁷¹ Ibid. P. 8.

⁷² Ibid. P. 42.

их непоколебимость пленяла. Руайе-Коллар был строгим янсенистом, сторонником конституционной монархии и последовательным противником любых революционных идей и экстремизма. Он яростно атаковал вольтерьянство и идеологов⁷³, убежденный, что эти течения нанесли Франции огромный вред и должны принадлежать исключительно прошлому. Догматизм и логика сочетались у Руайе-Коллара с романтическим воображением и литературным стилем научных текстов. В своих лекциях он объединял факты в абстрактные категории и доктрины, утверждая, что теоретичность — важное свойство науки.

Руайе-Коллар взял молодого Гизо под опеку, и годы спустя, когда их пути разойдутся, Гизо не изменит своего теплого отношения к наставнику: «Он сделал намного больше, чем пара услуг на благо моей карьеры. Он способствовал моему внутреннему и личному развитию, а также открыл для меня перспективы [философского исследования]»⁷⁴. Руайе-Коллар ввел Гизо в философские круги и познакомил его с А. Ампером, Э. Галуа, В. Кузеном.

Необходимо помнить, что мировоззрение Гизо, представленное в его политических трактатах, определялось в первую очередь социально-политическими реалиями посленаполеоновской Франции. И в этом смысле он принадлежал к мыслителям, преобразовывавшим государственно-правовые теории и понятия под влиянием общественных и политических процессов. Как отмечал К. Шмитт, «новые злободневные вопросы могут вызывать к жизни новый социологический интерес и реакцию против “формального” метода рассмотрения государственно-правовых проблем»⁷⁵. Однако в период своего становления как политического мыслителя Гизо испытал значительное влияние философии Просвещения, в первую очередь работ Монтескьё, и идеологии фельянов (предшественников доктринеров). Умолчание Гизо об источниках, используемых им в основных политических сочинениях, не было странным для того времени явлением. Заимствуя методы, стилистику или идеи, мыслитель, как и многие его современники, не только не делает ссылок, но даже не упоминает авторов, что затрудняет реконструкцию идейных влияний.

Истоки политической философии Гизо можно охарактеризовать следующим образом. Принадлежа к протестантской семье, испытывавшей трудности во времена религиозных притеснений, он был последовательным приверженцем религиозной терпимости. Потеряв отца в годы революционного террора, Гизо отрицательно относился к политическому экстремизму, революционным потрясениям разного рода и слабому государству, кото-

⁷³ См.: Ibid. P. 20.

⁷⁴ Ibid.

⁷⁵ Шмитт К. Политическая теология. М.: Канон-Пресс-Ц, 2000. С. 30.

рое способно допустить народные волнения. Благодаря матери он получил прекрасное воспитание, привившее ему аскетизм, религиозность и способность к упорному труду. В Женеве Гизо обрел фундаментальное образование и научился «суровой методе находить строгие связи между отдельными фактами». Швейцарские годы открыли для Гизо английскую философскую традицию и вкус к английскости в целом. Немецкую мысль, оказавшую большое влияние на исторический метод, Гизо воспринял через Стапфера и его окружение, а во французские интеллектуальные круги своего времени он оказался вхож благодаря Сюару и П. де Мелан. В их салонах он познакомился с последователями философии Просвещения и либеральными политиками времен Французской революции.

С одной стороны, круг чтения и общения, либеральный характер жевевского образования сформировали критически мыслящего интеллектуала, с другой — Гизо с детских лет размышлял над опытом Французской революции и укрепился в уверенности, что все ее злоупотребления стали следствием слабости предшествовавших якобинцам правительств. Казнь отца сделала его противником социального радикализма и «народной демократии». Во взглядах Гизо равным образом присутствовали либеральные и консервативные ценности: недоверие к слабому государству и религиозная терпимость, отрицание революционного пути развития и почтение к философии просветителей, отрицание народной демократии и ненависть к авторитарному диктату. Истоки мировоззрения Гизо лежат в области философии Просвещения, политической мысли первых лет Революции 1789 года и либерально-консервативной реакции на Революцию и Империю. Главные авторы его библиотеки — Кант и Монтескьё — определяют контуры его политической философии.

ГЕРМЕНЕВТИКА, СОЦИОЛОГИЯ И ПРОБЛЕМА «КЛАССИЧЕСКОГО» В 1920–1930-Е ГОДЫ (ГАДАМЕР, ФРАЙЕР, БАХТИН)

В этой статье я хотел бы рассмотреть вопрос о том, как культуры производят традиции и как трактовала этот процесс созданная в Советской России 1930-х годов теория романа Михаила Бахтина. Фоном при этом мне будет служить важная полемика об общности, языке и классике¹, проходившая в Германии примерно в тот же период. Анализ некоторых весьма значимых и не изученных до сих пор аспектов герменевтических и социологических штудий 1920–1930-х годов поможет найти идейные основания русской теории культуры, романа и классики, созданной в тот период прежде всего Бахтиным, а также поместить эту теорию в должный контекст и оценить ее общенаучное значение. Мне кажется, анализу этих дебатов до сих пор явно недоставало перспективы и многие ограничивались преимущественно материалами только российской интеллектуальной жизни, не пытаясь заниматься интерпретацией более широкого плана. Поэтому я начну с событий, происходивших за пределами России, а затем вернусь к российскому теоретическому ландшафту, чтобы посмотреть на него сквозь призму попыток Бахтина предложить свою собственную версию классического в книге о Рабле, где он выдвинул идею синтеза подвижности романа и стабильности опирающегося на традицию эпоса. Таким образом, в первой части этой статьи будет дан краткий обзор некоторых важных проблем и установок немецких исследований 1920–1960-х годов по герменевтике и социологии, а также на примере трудов и биографических связей Ханса-Георга Гадамера и Ханса Фрайера будут показаны пути взаимодействия двух этих областей знания. Затем я перейду к анализу толкования традиции и классики у Гадамера в перекличке с теориями общности, общества и языка Ханса Фрайера. В заключение труды Бахтина о неканонической природе романа, а также исследование о Рабле будут помещены в богатый и противоречивый интеллектуальный контекст той эпохи. Тем самым я хотел подчеркнуть значимость

¹ Я буду пользоваться попеременно двумя русскими версиями перевода концепта *Klassik/Classic* — в зависимости от контекста будет идти речь то о более употребительном в ту эпоху понятии «классики», то о более масштабной и, скорее, философски осмысляемой идее «классического».

бахтинской теории романа и как порождения советских споров о классике в 1930-е годы, и в некоторой степени как части этих дебатов. Я рассматриваю интерпретации Бахтиным целого ряда важнейших эстетических и социологических категорий (таких как «полифония» и особенно «гетероглоссия»), чтобы заново оценить его достижения и поставленные перед самим собою задачи. Кроме того, в статье будут проанализированы характерная амбивалентность Бахтина по отношению к общинному, коллективистскому и индивидуалистическому типам культуры, а также идеологические и политические импликации его подхода, который в целом можно обозначить как постромантический.

Фрайер и Гадамер: общность, язык и классическое

Моей отправной точкой станет взаимосвязь трех понятий, игравших центральную роль в дискурсе гуманитарных наук в Германии на протяжении последнего столетия, — «традиция», «общность» и «классическое». В дальнейшем я коротко скажу о том, как эти понятия фигурируют в работах современников Бахтина — Фрайера и Гадамера, двух важных немецких теоретиков культуры и общества.

Прежде всего, вероятно, следует кратко сказать о том, почему взгляды Фрайера и Гадамера на традицию и классическое имеет смысл рассматривать как тесно связанные между собой. Начать надо с того, что с самого своего возникновения немецкая социология была пронизана стремлением «понимать» общество — примерно так, как это делается в герменевтическом анализе. И гораздо меньше она интересовалась объективным описанием и установлением социальных законов путем беспристрастного исследования, которое было бы методологически независимо от традиции наук о духе (*Geisteswissenschaften*). Характерно, что в работе, опубликованной в то время, когда Фрайер уже занял доминирующее положение в немецком социологическом сообществе (в 1936 году), Раймон Арон говорил, что социология в Германии опирается на наследие Дильтея и феноменологии, ориентируясь на «понимание» (*Verstehen*)².

Однако помимо этой исконной близости в сфере методологии существует также явная биографическая причина, позволяющая говорить о Фрайере и Гадамере буквально через запятую. На сегодняшний день Ханс-Георг Гадамер уже прочно и навсегда вошел в канон европейской философии. В 1997 году, еще при его жизни, Жан Гронден опубликовал его первую био-

² Aron R. Die deutsche Soziologie der Gegenwart. Systematische Einführung in das soziologische Denken [1936] / Übers. u. Hrsg. I. Fetscher. Stuttgart, 1969. S. 154.

графию³; перед смертью в 2002 году Гадамер успел увидеть и публикацию собрания своих сочинений на немецком языке. В отличие от него, Фрайер остается фигурой относительно маргинальной (несмотря на то влияние, которое он оказал на Т. Парсонса и Э. Шилза). В 1990-е годы наблюдался недолговечный ренессанс его идей, т.е. о нем наконец-то вспомнили, но в канон европейской мысли XX века пока еще не вернули. Если попытки бросить на Гадамера тень, обвинив его в молчаливом приятии нацизма, если не в прямом сотрудничестве с ним (прежде всего в работах Терезы Ороско⁴ и Ричарда Волина⁵), похоже, не дали ощутимых результатов и репутация Гадамера осталась более или менее незапятнанной, то Фрайер явно дискредитировал себя в 1930-е годы, когда был одним из пропагандистов и идеологов консервативной революции. В частности, он выпустил манифест «Революция справа» (1931), а потом возглавлял Германский научный институт в Будапеште (1941–1945), который — как все учреждения подобного рода, основанные нацистами в союзных странах, — характеризовался сомнительным смешением академических занятий и пропаганды. Фрайер также стал первым (и последним) приглашенным профессором истории немецкой культуры в Будапештском университете (1938–1945); и эта должность, и пост директора Германского научного института были учреждены Министерством иностранных дел Германии⁶. Фрайер не вступил в НСДАП, но в 1930-е годы активно участвовал в приведении германской социологии к единому нацистскому стандарту (*Gleichschaltung*); к тому времени он уже стал самым выдающимся представителем Лейпцигской социологической школы. С 1925 года он возглавлял кафедру социологии в Лейпцигском университете — первую в Германии, где социология как дисциплина не включалась в состав других учебных предметов, а была обозначена как самостоятельная область исследований. После Второй мировой войны влияние его уже было менее прямым и больше походило на политику «отложенного» воздействия. Несмотря на то что Фрайер был отстранен от преподавания только на период 1947–1953 годов (а не на всю оставшуюся жизнь, как Карл

³ *Grondin J.* Hans-Georg Gadamer: Eine Biographie. Tübingen, 1997.

⁴ *Orozco T.* Platonische Gewalt. Gadamer's politische Hermeneutik der NS-Zeit. Hamburg: Berlin, 1995; *Eadem.* The art of allusion. Hans-Georg Gadamer's philosophical interventions under National Socialism // *Radical Philosophy*. 1996. No. 78. P. 17–26.

⁵ *Wollin R.* Untruth and Method. Nazism and the complicities of Hans-Georg Gadamer // *The New Republic*. 2000. 15 May. P. 36–45 (Волин во многом опирается на исследование Ороско). Политически более нейтральный подход к ранним философским произведениям Гадамера представлен в книге: *Sullivan R.R.* Political Hermeneutics. The Early Thinking of Hans-Georg Gadamer. L.: University Park, 1989.

⁶ *Muller J.* The Other God That Failed. Hans Freyer and the Deradicalization of German Conservatism. Princeton, 1987. P. 305.

Шмитт), Хабермас включил их вместе с Хайдеггером в тройку мыслителей, пользовавшихся наибольшим влиянием на интеллектуальное становление своего поколения на исходе 1950-х годов⁷.

Гадамер и Фрайер были сослуживцами в Лейпциге с 1938 по 1947 год; в 1943 году Гадамер замещал отсутствовавшего Фрайера в качестве организатора коллоквиума на тему «Внешняя политика и наука о государстве»⁸; они планировали провести в 1945 году такой совместный коллоквиум снова, но летний семестр, на который он был запланирован, так и не состоялся из-за военных действий⁹. Когда Лейпцигский университет вновь открылся в феврале 1946 года, Гадамер стал его ректором и сделал все возможное, чтобы защитить Фрайера от надвигающейся денацификации¹⁰. Кроме того — и это еще более существенно — как сам Гадамер признал в интервью 1982 года, он с большим интересом прочитал первое издание важной работы Фрайера «Теория объективного духа: введение в философию культуры» (1923)¹¹. И в самом деле, вполне можно утверждать, что гадамеровское понимание традиции и совмещения горизонтов стимулировалось и даже в заметной степени было сформировано трактовкой традиции у Фрайера. Опираясь на Дильтея (который вместе с Гегелем и Зиммелем был главным источником вдохновения для социологии и философии Фрайера), Фрайер предложил свою версию герменевтического круга, которая основывалась на триаде понятий «жизни», «выражения» и «понимания». Жизнь здесь виделась как активная сила, и Фрайер, соответственно, говорил о «полноводном потоке душевной жизни»¹², который встречает на своем пути различные формы объективации. Именно в этой встрече реализуется понимание как динамичный, усиливающий жизнь процесс. Здесь безошибочно угадываются

⁷ *Habermas J. Vom öffentlichen Gebrauch der Historie // Die Zeit. 7 November 1986.*

⁸ См.: Hans-Georg Gadamer to Erich Rothacker. 8 April 1943. Rothacker Nachlass. Universitätsbibliothek Bonn (благодарю Моника Клаус за расшифровку этого письма).

⁹ См.: *Linde H. Soziologie in Leipzig, 1925–1945 // Soziologie in Deutschland und Österreich, 1918–1945 / M. Rainer Lepsius (Hrsg.) (Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie. Sonderheft 23. 1981). S. 102–130, здесь S. 115* (Линде, похоже, не знал, что Гадамер был причастен к работе этого коллоквиума начиная еще с 1943 года). О лейпцигском периоде творчества Фрайера см.: *Schäfer G. Wider die Inszenierung des Vergessens: Hans Freyer und die Soziologie in Leipzig, 1925–1945 // Jahrbuch für Soziologiegeschichte. 1990. Bd. 1. S. 121–175; Üner E. Soziologie als "geistige Bewegung". Hans Freyers System der Soziologie und die "Leipziger Schule. Weinheim, 1992; Eadem. Kulturtheorie an der Schwelle der Zeiten. Exemplarische Entwicklungslinien der Leipziger Schule der Sozial- und Geschichtswissenschaften // Archiv für Kulturgeschichte. 1998. Bd. 80. Nr. 2. S. 375–415.*

¹⁰ См.: *Muller J. Op. cit. P. 322–324.*

¹¹ *Ibid. P. 91, n. 14.* Рус. пер. книги Фрайера: *Фрайер Х. Теория объективного духа.* СПб., 2013.

¹² *Фрайер Х. Указ. соч. С. 174.*

обертоны философии жизни (*Lebensphilosophie*); они раскрывают самые истоки современной герменевтики — герменевтическая идея понимания как активного процесса, протекающего в настоящем, не была бы возможна без формирующего влияния философии жизни.

Традицию, таким образом, Фрайер представлял как встречу «понимающей жизни» с объективными культурными формами. Выступая от имени жизни, чье первенство над формой есть необходимое условие существования традиции, Фрайер выстраивает следующее объяснение (написанное несколько эссеистическим языком, временами в духе своеобразного философского диалога). Сталкиваясь с ранее утвердившейся формой, понимающая жизнь «говорит: вот сейчас эта форма пуста, и она должна быть пустой, чтобы сохранялась ее связь со мной, но когда-то она была чем-то наполнена, а в сущности остается наполненной и сейчас; или: я привела к сдвигу в смысле этой формы, но когда-то он был прямым, и форма все еще несет в себе, подобно драгоценному воспоминанию, всю свою изначальную глубину»¹³. Фрайер продолжает, используя понятия, эхом которых станет позже идея слияния, совмещения горизонтов у Гадамера: «Таким образом, между обеими линиями смыслового содержания, — подразумеваемого сейчас и подразумевавшегося изначальное, — все время поддерживается своеобразное равновесие, их как бы соединяют друг с другом скрытые связи»¹⁴. Говоря словами Гадамера из «Истины и метода», «при господстве традиции всегда имеет место такое слияние. Ведь там, где царит традиция, старое и новое всегда вновь срастаются в живое единство, причем ни то, ни другое вообще не отделяется друг от друга с полной определенностью»¹⁵.

Теперь я хочу сделать в своей аргументации следующий шаг и выдвинуть тезис, что не только за понятием традиции, но и за всей концепцией классического у Гадамера стояли те же мотивы, которые играли главную роль в социологии Фрайера. Гадамеровское определение классического сформулировано на языке философского парадокса и почти религиозного почитания: «классическое есть то, что сохраняется, *потому что* оно само себя означает и само себя истолковывает <...> То, что называется “классическим”, прежде всего не нуждается в преодолении исторической дистанции — оно само, в постоянном опосредовании, осуществляет это преодоление. Поэтому классическое, конечно же, “вне времени”; но сама эта вневременность есть способ исторического бытия»¹⁶. Попытка Гадамера примирить друг с другом

¹³ Там же. С. 267.

¹⁴ Там же. С. 267–268.

¹⁵ *Gadamer H.-G. Wahrheit und Methode: Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik.* Tübingen, 6. Ausg., 1990. S. 311. [Рус. изд.: *Гадамер Х.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики.* М., 1988. С. 361–362. Здесь и далее ссылки на данную работу Гадамера приведены по этому переводу (с некоторыми изменениями).]

¹⁶ *Гадамер Х.-Г. Указ. соч.* С. 342–343.

вневременность и историчность как равно существенные режимы бытования классики проистекала из его метафизической веры в существование имманентной истины, которая *есть* всегда, но выявить ее возможно лишь в потоке времени. Гадамер настойчиво утверждал, что классика есть категория историческая, но логика этого утверждения привела его к противоположному выводу: «классическое именно потому подлинно историческая категория, что оно есть нечто большее, чем понятие определенной эпохи или стиля, и вместе с тем не претендует на сверхисторическую ценность. Оно обозначает не какое-то качество, приписываемое определенным историческим явлениям, но исключительный способ самого исторического бытия, утверждение исторической сохранности [Bewährung], которое — путем все новых и новых испытаний [Bewahrung] — создает возможность бытия для чего-то истинного [Wahres]»¹⁷. Классика, пишет Гадамер далее, — это то, что «способно устоять перед исторической критикой». Это звучало бы как довольно банальный тезис, если бы не следующее полемическое его расширение: «поскольку историческое превосходство [классики], сила и обязательность ее передающей, утверждающей себя самой значимости предшествуют всякой исторической рефлексии и сохраняются в ней»¹⁸. Лексикон Гадамера, изобилующий гегельянизмами и изречениями в духе Хайдеггера, но при этом все же понятный, свидетельствует о повороте в аргументации: из исторической категории классическое плавно и незаметно превращается в понятие, предшествующее исторической рефлексии и от нее независимое. В конечном счете для Гадамера «классическое есть в принципе нечто иное, чем то дескриптивное понятие, которым пользуется объективирующее историческое сознание; классическое — это историческая реальность, которой принадлежит и подчиняется само историческое сознание»¹⁹. Здесь, считает Гадамер, всемогущество исторического сознания принуждено отступить и смирить свою гордыню перед тем фактом, что классическое обладает «непосредственной силой»: «Слово “классическое” как раз и означает, что сила, с которой обращается к нам данное произведение, принципиально неограниченна, как и продолжительность обращения»²⁰. Именно на основе этого интенсивного отделения исторического от надисторического Гадамер интерпретирует нормативное значение классического как «образца», который, «в качестве прошедшего, недостижим и вместе с тем присутствует в некотором актуальном качестве [gegenwärtig]»²¹.

¹⁷ Гадамер Х.-Г. Указ. соч. С. 340.

¹⁸ Там же.

¹⁹ Там же.

²⁰ Там же. С. 343.

²¹ Там же. С. 342.

Идеи Гадамера отражают остроту основной проблемы герменевтики: как помыслить историческое как нечто особенное, уникальное, единичное, и в то же время как нечто, причастное структуре настоящего и обращенное ко дню сегодняшнему? Гадамер всячески стремится убедить нас: все это становится возможным благодаря традиции, понимание локализуется именно в ней и диалогическая универсализация исторического опыта мыслима только в толще традиции. Трудность, однако, возникает из-за того, что саму традицию — как событие исторически осмысленной передачи образца (в данном случае эстетического) — Гадамер под сомнение не ставит; он принимает ее в качестве абсолютной сущности. Классика призвана служить примером безусловного характера традиции. Она должна проиллюстрировать плавно работающие механизмы традиции, которые делают процесс передачи посланий от прошлого к настоящему бесперебойным. В этом смысле можно сказать, что классика сама задает границу: на ней все мытарства и перипетии смысловых переключек разных эпох как будто бы прекращаются — классика очерчивает безопасную и гарантированную линию передачи транслируемых идей, чем и подтверждаются сила и красота традиции. Именно эта лиминальность, пограничность феномена классики и позволяет — с точки зрения Гадамера — говорить о ней исключительно парадоксами. Гадамер не разбирает вопрос о том, почему некоторые произведения прошлого получают особый статус «классических»; он не ставит этот статус под сомнение, а просто фиксирует, объявляя его фактом, объективно существующим.

Предложенная Гадамером интерпретация классики несет на себе черты, характерные для консерватизма — как политического, так и культурного. В некотором смысле подход Гадамера характерен для консервативной идеологии — он чрезвычайно опасается какого-либо опосредования: классика летит на крыльях традиции как удивительно чистая сущность, словно бы избавляя читателя от профанных помех процесса рецепции, которые неизбежно сопровождают (пере)распределение культурного капитала в обществе. Более того, в условиях эпохи модерна классика, как представляется, воспроизводит черты *общности* — идеальной аудитории и хранильницы традиций.

Различение между общностью и обществом было для немецкой социологии и гуманитарной мысли архетипическим. Впервые его сформулировал Фердинанд Тённис в своей книге «Общность и общество» (1887); в Веймарской республике это различие стало центральной темой социологических дискуссий; в 1924 году Хельмут Пlessнер в работе «Границы общности» уже критиковал идею общности, подчеркивая ее ограниченную пригодность для эпохи модерна²². Именно в этом контексте Ханс Фрайер оказы-

²² Это может показаться удивительным, но Тённис благожелательно встретил работу Пlessнера; см. его предисловие к 6-му и 7-му изданиям его самой известной книги: *Tönnies F. Gemeinschaft und Gesellschaft. Grundbegriffe der reinen Soziologie*. Darmstadt, 1991. S. XLI–XLVI, здесь S. XLIII.

важется особенно важен для понимания Гадамера и его взгляда на классику. В своей основной работе довоенного периода — «Социология как наука о действительности»²³ — Фрайер обосновывает такое понимание общности, которое опирается на то же самое напряжение (иллюзорное, по его словам) между темпоральностью и надысторичностью, на котором построена и теория классического у Гадамера. Важно отметить, что интерес Гадамера в проблеме классического восходит к 1930-м годам, т.е. к тому же времени, когда и Фрайер развивал свои идеи об общности, прогрессе и технике. В 1940 году, например, Гадамер написал рецензию на влиятельную в то время книгу Ханса Розе «Классика как художественная форма мышления Запада»²⁴. В «Истине и методе» нет никаких ссылок на Фрайера, но в статье «Герменевтика и историзм» (1965) и в работе «Классическая и философская герменевтики» (1968) Гадамер упоминает Фрайера как важного продолжателя дела Дильтея²⁵.

По мысли Фрайера, наиболее важным отличительным признаком общности является то, что в отличие от общества она основана на пространственных, а не темпоральных связях²⁶. И если общество состоит из разных поколений, представители которых, возможно, никогда не встречались друг с другом лично, или даже из разных индивидов, которые являются современниками, но не знают друг друга, то в рамках общности социальная коммуникация по определению имеет природу совершенно иную. «Не существует общности на расстоянии, заданной через отношения посредничества»²⁷. Общность является результатом связей, реализующихся в пространстве, которое Фрайер называет «пространством [общей] судьбы» (*Schicksalsraum*). Понятие

²³ Freyer H. *Soziologie als Wirklichkeitswissenschaft: Logische Grundlegung des Systems der Soziologie*. Leipzig, 1930.

²⁴ Rose H. *Klassik als künstlerische Denkform des Abendlandes*. München, 1937 (рецензию можно найти в: *Gadamer H.-G. Gesammelte Werke*. Bd. 5. S. 353–356).

²⁵ *Gadamer H.-G. Gesammelte Werke*. Bd. 2. Tübingen, 1993. S. 100, 398.

²⁶ Здесь Фрайер воспроизводит важное различие, введенное немецкими романтиками. Адам Мюллер тоже считал, что фундаментальное, полярное разделение в общественной жизни — это разница между пространством (принцип «одно рядом с другим») и временем (принцип «одно после другого»); когда оба принципа реализованы гармонично, возникает здоровая нация. Следует учесть, что Адам Мюллер нашел раннюю версию этого различия еще у Э. Бёрка. Более подробно об этом можно прочесть у Ханса Рейсса во введении к *Reiss H. The Political Thought of the German Romantics*. Oxford, 1955. P. 29–30. Фрайер высоко оценивал роль немецкого романтизма в развитии современной социологии — см.: *Freyer H. Die Romantiker* // Mann F. (Hrsg.). *Gründer der Soziologie*. Jena, 1932. S. 79–95; о преемственности между Фрайером и Фихте см.: *Grimminger M. Revolution und Resignation. Sozialphilosophie und die geschichtliche Krise im 20. Jahrhundert bei Max Horkheimer und Hans Freyer*. Berlin, 1997. S. 195–209.

²⁷ *Freyer H. Soziologie als Wirklichkeitswissenschaft...* S. 241.

судьбы, без сомнения, предполагает определенные темпоральные аспекты, однако же исключает идею истории. Общность живет в своем общем пространстве как единое целое, которое «хотя постоянно и обновляется за счет смены поколений, остается в этом изменении одним и тем же»²⁸. Как классика у Гадамера, «общность находится внутри истории, ее берега омываются или обжигаются историей, но сама общность не имеет истории; у нее есть только длительность»²⁹. Как выразился Гегель (оказавший сильное влияние и на Гадамера, и на Фрайера), общность представляет собой феномен до-исторический. Но Фрайер считает, что общность, в своем бессмертии, есть еще и организм, который — так же, как природа, — «вне истории»³⁰ и, в отличие от общества, пребывает «по существу, вне времени»³¹; и это различие очень важно. Подобно классике, общность не разрушается в бурях истории и наличествует в своей постоянно обновляемой неизменности.

Для нас еще большее значение имеет то, что Фрайер перебрасывает также мостик к специфическим культурно-лингвистическим аспектам, которые впоследствии станут чрезвычайно важны для Гадамера. Структурный закон жизни в рамках некой общности представляет собой отражение структурного закона языка. Общность основывается и действует на тех же принципах, которые управляют и языком. По словам Фрайера, «общность как будто всецело и есть язык»³². Здесь Фрайер (как и в последующем Гадамер) обращается к романтическому учению Вильгельма фон Гумбольдта о языке как организме. Будучи организмом, язык является целым и неделимым. В социальном варианте — таковой же выступает и общность, и именно поэтому язык остается целостным и неделимым только при использовании его общностью, в родовом репертуаре ее творящих потенций. В той степени, в которой люди остаются членами общности (органической и неделимой), они используют язык целостно: «невозможно в принципе, чтобы язык жил в человеке частично или использоваться по кусочкам»³³. Только с развитием социальной дифференциации и с возникновением отношений господства (Herrschaft) — что Фрайер, как и Гегель, и Тённис, считал знаком перехода от общности к обществу — появляется разноразличие (Verschiedensprachigkeit, гетероглоссия), нарушающее гармонию жизни в пределах общности. В условиях гетероглоссии язык начинает использоваться частично, со всем спектром заново возникающих социолектов. Различ-

²⁸ Ibid. S. 243.

²⁹ Ibid. S. 244.

³⁰ Ibid. S. 243.

³¹ Ibid. S. 239.

³² Ibid. S. 246.

³³ Ibid.

ные социолекты создают различные и конкурирующие культурные миры, в которых предписывающая сила традиции постепенно сходит на нет, а органически созданный канон общности распадается.

Аргументы Фрайера помогают понять, что гадамеровская теория классического фактически была обращена против оппозиции между обществом и общностью, которая имела столь важное — по сути, конститутивное — значение для современной немецкой социологии. Значит, и герменевтика Гадамера, в свою очередь, требует наших герменевтических усилий. Ее необходимо понять и истолковать как специфический ответ на приход современности. У Гадамера классика призвана стереть травму социальной дифференциации и заполнить пространство, которое зияет и разрастается в процессе модернизации. Эту задачу Гадамер выполняет, представляя классику как инструмент, переносящий валидность смысла из органической общности, в которой, как выразился Фрайер, «царит замкнутый, довлеющий горизонт»³⁴, в открытую, социально разнообразную жизнь общества. И здесь уже традиции приходится обеспечивать «слияние» гетерогенных горизонтов, а также неоднородности социальных ожиданий относительно искусства. Классика, если угодно, должна стать своего рода фольклором для Нового времени — эпохи письменности и технически совершенных средств связи.

Важно увидеть полемику об общности, языке и классике, шедшую в Германии в 1930-е годы, именно как обращение немецких гуманитарных наук к более широким дискуссиям о модерности и цене быстрых перемен, наступивших после 1933 года. С политической точки зрения почитание классики и общности как формы жизни заключало в себе двоякое назначение: с одной стороны, неотступное подчеркивание роли классического было призвано вызывать чувство неизменности, которое, в свою очередь, должно было смягчить опасения нестабильности и потенциального разрушения порядка; с другой стороны, дискурс на тему классического был тесно переплетен с постромантическим и нередко почвенным по духу (*völkisch*) национализмом. В рамках последнего классика в литературе, музыке и искусстве культивировалась как вечное порождение и воплощение германского духа, одним из проявлений которого была и общность как форма жизни. Таким образом, защита общности и классики представляла собой стратегию, призванную утверждать (и завоевывать) моральное превосходство в этих дебатах для тех, кто рассматривал новые социальные реалии, возникшие при нацистском режиме, с позиции, которую лучше всего можно было бы охарактеризовать как сочувственную, но в основе все же решительно консервативную. Моральные обертоны этой позиции сохранились до 1950-х годов, когда Фрайер, призывая к более утонченному консерватизму, писал, что не нужно вставать в слепую оппозицию технологическому и экономическому

³⁴ Freyer H. *Soziologie als Wirklichkeitswissenschaft...* S. 242.

прогрессу, а вместо этого следует наполнить его непреходящей осмысленностью базовых форм общественной жизни, основываясь на которых только и может в принципе осуществляться прогресс. Таким образом, эти формы жизни следует описывать не в чисто негативных терминах — как «тормоза», удерживающие движение вперед, — а наоборот, как положительные силы, придающие прогрессу такие качества, которые невозможно взрастить органически внутри «вторичной системы», каковой является прогресс как таковой, взятый сам по себе. Эти качества — «витальность, человеческий здравый смысл, человеческая полнота и созидательность»³⁵.

Бахтин: эстетика и социология классического в 1930-е годы

Как было сказано выше, Фрайер использовал слова «гетероглоссия» и «горизонт» — те самые, которым суждено было чуть позже стать краеугольным камнем в теории культуры и романа у Бахтина. Я хотел бы, отправляясь от этих понятий, предложить гипотезу, призванную объяснить — хотя бы до некоторой степени — значимость работ Бахтина о романе как сложной реакции на модернность и как защиту традиции. Для бахтинского осмысления романа, как и для трудов Ханса Фрайера, сама эта идея жизни в общности была чрезвычайно существенна.

Я позволю себе начать с одного наблюдения касательно эволюции Бахтина как мыслителя, которое прольет свет на его подход к гетероглоссии. Еще в 1929 году, в первой версии книги о Достоевском, Бахтин выдвинул концепцию полифонии. Это был ранний предвестник гетероглоссии, несмотря на то что понятие «полифония» Бахтин использовал тогда почти исключительно для того, чтобы описать личное достижение одного величайшего писателя, а не как порождение множества социальных и культурных факторов. Однако в книге 1929 года есть намек на то, что полифонию следует рассматривать как нечто большее, нежели дар незаурядного художника слова. Эта линия рассуждений была заимствована Бахтиным из книги Отто Кауса «Достоевский и его судьба» (1923)³⁶. Каус поставил себе задачу предложить такое объяснение Достоевского, которое было бы ориентировано на различие общности и общества и на эволюцию от одного к другому:

Те миры, те планы — социальные, культурные и идеологические, которые сталкиваются в творчестве Достоевского, раньше довлели себе, были органически замкнуты, упорочны и внутренне осмыслены в своей отдельности. Не было

³⁵ *Idem*. Der Fortschritt und die haltenden Mächte [1952] // *Idem*. Herrschaft, Planung und Technik. Aufsätze zur politischen Soziologie / E. Üner (Hrsg.). Weinheim, 1987. S. 73–83, здесь S. 82.

³⁶ *Kaus O. Dostojewski und sein Schicksal*. Berlin, 1923.

реальной, материальной плоскости для их существенного соприкосновения и взаимного проникновения. Капитализм уничтожил изоляцию этих миров, разрушил замкнутость и внутреннюю идеологическую самодостаточность этих социальных сфер³⁷.

Каус, а вслед за ним Бахтин, приравнивают друг к другу кризис и модерность и воспринимают капитализм как кризисное состояние общества, характеризующееся естественным, и все же нарушающим привычное равновесие процессом взаимного размыкания различных сфер жизни — что открывает множество сокрытых ранее горизонтов и голосов. Бахтин особенно стремился подчеркнуть особую благоприятность для этого российских обстоятельств:

Действительно, полифонический роман мог осуществиться только в капиталистическую эпоху. Более того, самая благоприятная почва для него была именно в России, где капитализм наступил почти катастрофически и застал нетронутое многообразие социальных миров и групп, не ослабивших, как на Западе, своей индивидуальной замкнутости в процессе постепенного наступления капитализма. <...> Этим создавались объективные предпосылки существенной многопланности и многоголосости полифонического романа³⁸.

Несмотря на эти попытки социологической аргументации, в ранних своих работах Бахтин все еще рассматривал полифонию почти исключительно как художественное явление, которое высвечивает особое достижение Достоевского как писателя-новатора. На том этапе Бахтин еще не говорил об исключительности романа как воплощения полифонии вообще. Он лишь утверждал, что роман Достоевского стал убедительно новаторским именно в силу своей полифоничности — как никакой другой роман прежде³⁹. Бахтин не утверждал никакой необходимой связи между полифонией и жанром романа. Данные произведения Достоевского были однократным художественным событием, не вписывавшимся ни в какую традицию. О беспрецедентном характере достижения автора, ставившем его выше и вне традиции, в то время говорили и левые, и правые истолкователи Достоевского в Европе, это стало своего рода общим местом. Достаточно указать на интерпретации творчества Достоевского, принадлежащие Мёллеру ван ден Бруку или Георгу (Дьёрдю) Лукачу. Лукач в «Теории романа», например, писал, что Достоевский был последним романистом и первой ласточкой «ново-старой» эпической фор-

³⁷ Бахтин М.М. Проблемы творчества Достоевского // Он же. Собрание сочинений. Т. 2. М., 2000. С. 26.

³⁸ Там же. С. 27.

³⁹ О том, как эволюционировала интерпретация Достоевского у Бахтина, см.: Tihanov G. The Dynamics of Dialogue: How are Bakhtin's Dostoevsky Texts Made? // Wiener Slawistischer Almanach. 2001. Bd. 48. S. 127–151.

мы. По сути, радикальная похвала новизне Достоевского, высказанная Бахтиным, была всего лишь повторением — в положительном смысле — утверждения Льва Толстого о том, что русские вообще не умеют писать романов в том смысле, в котором понимают этот род сочинений в Европе.

В 1930-е годы, однако, понятие полифонии постепенно вытесняется понятием гетероглоссии. Бахтин понимает гетероглоссию как феномен, не зависящий от личного художественного уровня автора. Это, скорее, то, о чем говорил Ханс Фрайер: положение вещей, при котором язык используется уже не целостно, а — как мы помним — в качестве набора заведомо частичных социолектов. Если «полифония» включает в себе смешение как эстетических, так и моральных обертонов — слушать другого человека и не ставить себя над ним/ней, — то «гетероглоссия» отказывается от этой потенциальной теплоты морального ожидания. Вместо этого данное понятие предполагает более нейтральный взгляд на язык и на роман — такой взгляд, который не выдвигает никаких моральных притязаний. Оказывая предпочтение понятию «гетероглоссия» и анализируя (в пассаже, который настолько хорошо известен, что нет нужды его здесь цитировать), речь и мир крестьянина, говорящего в разных обстоятельствах на разных социолектах, Бахтин поступает как социолог, который хочет предложить точное описание данной языковой ситуации⁴⁰, — а не как гуманист, исполненный решимости спасти те голоса, которые в противном случае могут оказаться заглушены и потеряны в какофонии модернизации. Только теперь — в 1930-е годы — Бахтин утверждает необходимую связь между гетероглоссией и романом: роман рассматривается как наиболее выдающееся, если не единственное, воплощение гетероглоссии, как художественная форма, лучше всего позволяющая поймать и сохранить зачастую несопоставимые языки и голоса, представленные в обществе.

При этом важно, на мой взгляд, то, что вопрос о гетероглоссии и о ключевых социологических основаниях теории романа стал в 1930-е годы в России вариантом размышлений о традиции и классике. Российские штудии по герменевтике в то время не были чем-то особенно примечательны⁴¹,

⁴⁰ О Бахтине как социологе — в ином контексте и ориентируясь на иную проблематику — пишет К. Хиршкоп: *Hirschkop K. Bakhtin, philosopher and sociologist // Adlam C. et al. (eds). Face to Face: Bakhtin in Russia and the West. Sheffield, 1997. P. 54–67, особенно p. 63–64.*

⁴¹ Единственным заметным исключением в годы революции и Гражданской войны был Густав Шпет, однако его важная работа «Герменевтика и ее проблемы» осталась в рукописи и была опубликована (в нескольких номерах литературоведческого альманаха) только на рубеже 1980–1990-х годов — см.: *Шпет Г.Г. Герменевтика и ее проблемы // Контекст. 1989, 1990, 1991.* (Чуть позже вышел немецкий перевод: *Spet G. Die Hermeneutik und ihre Probleme. Freiburg, 1993.*) О других подходах к герменевтике, представленных в России, преимущественно в трудах Вячеслава Иванова, см.: *Силард Л. Проблемы герменевтики в славянском литературоведении XX в. (Фрагмент) // Studia Slavica Hungarica. 1993. Vol. 38. No. 1–2. P. 173–183.*

не существовало никакой отечественной исследовательской литературы, к которой Бахтин мог бы обратиться при разработке своей теории. Вместо этого он обратился к богатой традиции формалистов. Он многим обязан Шкловскому, открывшему самоироничный характер романного жанра, который никогда не позволяет роману утвердить свой собственный окостеневший канон⁴². К достижениям формалистов Бахтин добавил важное собственное открытие лингвистической разнородности романа, воплощенной в принципе гетероглоссии. Поэтому как теоретик он в 1930-е годы столкнулся с наиболее сложной задачей: как превратить неканонический, самоироничный, разноразличный жанр романа — материал, явно непригодный для создания классики, — в один из элементов, составляющих традицию. Вопрос заключался в том, **как** использовать роман для построения более широкой теории — теории не только романной литературы, но и культуры в целом, — основывающейся, однако, по-прежнему лишь на его прочтении «великих книг великих авторов»: Достоевского, Толстого, Гете, Рабле.

Далее последует относительно простой и ясный ответ, импликации которого я кратко рассмотрю в заключительной части статьи. Итак, я утверждаю, что в конце 1930-х годов, в своей книге о Рабле, Бахтин сумел превратить жанр романа в один из элементов, образующих классику, переконфигурировав определение романа таким образом, чтобы открыть его для включения эпических элементов. Другими словами, стратегия Бахтина заключалась в том, чтобы «поженить» роман и эпос в одном синтетическом жанре, который сохранил бы черты романного мира, исключив моменты преходящего и текучего, столь характерные для романа и столь противные самому понятию классического. Эпический субстрат в романном жанре был призван у Бахтина служить гарантией постоянства и стабильности, необходимых для любой версии классического. Вдобавок именно такое присутствие эпики и позволило бы продлить, сохранить и удержать характерные для жизни в общности черты даже в эпоху модерна, когда социальное раздробление и иерархия становятся неумолимой реальностью.

Чтобы обосновать этот тезис, вспомним сначала Лукача — одного из великих учителей Бахтина и его негласного конкурента в деле создания теории романа. В своей ранней работе «Теория романа» Лукач утверждал, что романная форма — это форма фрагментарная, тогда как эпический жанр целостен, поскольку способен схватывать и воспроизводить тотальность. (Сам Бахтин тоже использовал это противопоставление эпоса и романа в

⁴² О том, чем Бахтин обязан формалистам, см.: *Tihanov G. The Master and the Slave: Lukács, Bakhtin, and the Ideas of Their Time. Oxford, 2000. P. 131–136; Milligan S. Shklovsky's Practice and Bakhtin's Theory // Variations. Literaturzeitschrift der Universität Zürich. 2003. Nr. 10. S. 137–149.* Влияние формальной школы на свои концепции сам Бахтин практически не признавал; имя Дьёрдя Лукача, который тоже сильно на него повлиял, не упомянуто ни в одном из опубликованных текстов Бахтина.

своих работах 1930-х годов.) Но можно ли сопрячь эти две противоположности с помощью чего-то опосредующего, так, чтобы любая часть обеспечивала бы доступ к целому, а целое высвечивало бы свои части и воздавало им должное, к ним все же не сводясь? Другими словами, возможен ли синтез гетероглоссии романа и более подходящего для традиции единственного и единого моногоризонта (как сказал бы Фрайер) эпоса — та форма, которая могла бы гарантировать выживание традиции общности в эпоху ее разрушения силами модерности?

Я бы предположил, что в своей книге о Рабле Бахтин указывает именно на такой синтез эпоса и романа — двух форм, которые в его статьях 1930-х годов были, напротив, бескомпромиссно разделены: в книге о Рабле эпос возвращается — в то же самое время, когда в статье «Эпос и роман» («Роман как литературный жанр») он подвергается изгнанию и поношению. Едва ли это должно вызывать у нас удивление: на сегодняшний день исследователи представили уже достаточно доказательств того, что на одной и той же стадии своей идейной эволюции Бахтин был вполне способен придерживаться разных, и даже противоположных взглядов. Достаточно вспомнить его противоречащие друг другу тезисы о коллективной и/или индивидуальной идентичности, которые он отстаивал в книге о Рабле и в статье о романе воспитания соответственно⁴³. Однако, прежде чем я перейду к более детальному анализу книги «Творчество Франсуа Рабле» на предмет синтеза эпоса и романа, к которому стремился Бахтин, я позволю себе кратко перечислить те критерии эпичности, которые он сам сформулировал в работах о романе 1930-х годов.

На основании статьи «Роман как литературный жанр» мы с уверенностью можем вывести четыре характерные черты эпоса — хотя, в силу собственной риторики Бахтина тенденции к повторам и модуляциям, между ними неизбежны некоторые совпадающие моменты⁴⁴.

1. Сюжетом эпоса является героическое национальное прошлое; эпическое время (национальное прошлое) отделено от всего, что было после него, в особенности от того времени, в котором живут и действуют «певец и его слушатели»⁴⁵. Прошлое таким образом получает высокую ценность, и

⁴³ Подробнее об этом см. в: *Tihanov G. The Ideology of Bildung: Lucács and Bakhtin as Readers of Goethe // Oxford German Studies. 1998. Vol. 27. P. 102–140.*

⁴⁴ Формулировки бахтинских критериев эпичности приведены (с некоторыми моими модификациями) по весьма полезной обзорной работе: *Vice S. Introducing Bakhtin. Manchester; N.Y., 1997. P. 79–80.*

⁴⁵ *Бахтин М.М. Роман как литературный жанр // Он же. Собрание сочинений. Т. 3. Теория романа (1930–1961 гг.). М., 2012. С. 620* (эта работа Бахтина 1941 года более известна под редакторским названием в первой публикации 1970 года «Эпос и роман (О методологии исследования романа)»).

по отношению к нему неуместны критика или сомнения. Эпический герой является воплощением недоступности и объектом почитания.

2. Источником эпоса является «национальное предание», а не личный опыт человека. Эпос опирается на исключительно «безличное непререкаемое предание».

3. Эпос существует благодаря такому типу «памяти», которая заметно отличается от дегероизирующей личной памяти автобиографий, мемуаров или романной «памяти», последняя, как правило, охватывает всего одну человеческую жизнь; в рамках такой современной памяти «нет отцов и поколений»⁴⁶, а если они и есть, то являются соперниками, а не как прежде — живущими в согласии родственниками, связанными между собой тотемическим почитанием ушедших предков.

4. В силу того что эпос основан на событиях прошлого, которые хорошо известны аудитории, слушатель/читатель не может быть по-настоящему заинтересован *сюжетом* эпического повествования. Аудитория эпоса ценит повторяющееся и ранее знакомое, нежели удивляющее и новое.

Какое отношение к этим критериям имеет книга Бахтина о Равле? Ниже я приведу аргументы в пользу того, что предложенная там интерпретация карнавала действует двояким образом: с одной стороны, она укрепляет предполагаемое (а порой даже открыто выраженное) соответствие между карнавалом и романом как средствами утверждения личной свободы, рождающейся в опыте культурного взаимодействия; с другой стороны, она же размывает черты романного жанра и восстанавливает эпос как одну из важнейших культурных форм, регулирующую и обогащающую жизнь «народа» на основах общности. Идея карнавала у Бахтина в этой книге превращает отношения между эпосом и романом из взаимной неприязни и отчуждения в безмятежную взаимодополнительность. В поддержку этого утверждения я предлагаю четырехступенчатый анализ бахтинских критериев эпоса в их противопоставлении идее карнавала. Но сначала я кратко остановлюсь на точках соприкосновения между карнавалом и романом.

Как и роман, карнавал у Бахтина расширяется и становится уже не специфической культурной формой, а воплощением более широкого спектра практик, культуры как таковой. Он объявляется той точкой, в которой все импульсы народной энергии стекаются вместе, — подобно тому, как и роман вмещает в себя подвижную энергию слова:

Этот процесс объединения словом «карнавал» разнородных местных явлений и поведение их под одно понятие соответствовал и реальному процессу, протекавшему в самой жизни: различные народно-праздничные формы, отмирая и вырождаясь, передавали ряд своих моментов — обрядов, аксессуаров, обра-

⁴⁶ Бахтин М.М. Роман как литературный жанр. С. 628.

зов, масок — карнавалу. Карнавал стал в действительности тем резервуаром, куда вливались прекратившие свое самостоятельное существование народно-праздничные формы⁴⁷.

Кроме того, карнавал наделен той же колонизирующей способностью, что и роман: подобно тому, как роман склонен «романизировать» все прочие жанры (именно потому, что мыслится как нечто большее, чем жанр), так и карнавал не уживается рядом с другими формами народной культуры: «Но там, где карнавал в узком смысле расцветал и становился объединяющим центром для всех форм народно-площадного веселья, он в известной мере ослаблял все остальные праздники, отнимая у них почти все вольные и народно-утопические элементы»⁴⁸. Таким образом, мы приходим к выводу, что в теоретическом дискурсе Бахтина роман и карнавал функционируют одинаково. Они впитывают в себя предшествующий исторический опыт и упраздняют жанры и культурные формы, которые не могут получить или обречены потерять свою независимость. И роман, и карнавал не только сохраняют черты прошлых форм на более высоком уровне; они также обретают способность охватывать, колонизировать предыдущие культурные формы (жанры), оставляя на них отпечаток своей собственной — и гораздо более гибкой — идентичности.

Обратив внимание на моменты сходства между карнавалом и романом, мы можем теперь перейти к рассмотрению аспектов их различия в книге Бахтина о Рабле. Для этого нам необходимо пересмотреть бахтинские критерии эпического в их отношении к концепции карнавала, сформулированной в этой книге.

Первый критерий, как мы уже видели, касается статуса героя как воплощения недоступности и объекта почитания. В работе «Формы времени и хронотопа в романе» Бахтин утверждает, что и Гомер, и Рабле строили свои миры на «сплошном единстве фольклорного времени», где пока еще «не обособились индивидуальные ряды жизни»⁴⁹. Развивая идею единства, воплощенного в фольклорном хронотопе Гомера и Рабле, Бахтин называет Гаргантюа и Пантагрюэля «в основе своей фольклорными королями и богатырями-гигантами». Он рассматривает их как сублимированную версию великих героев гомеровского эпоса, о которых Гегель в своих лекциях по эстетике говорит, что они были выбраны в качестве героев «вовсе не из чувства превосходства, а из совершенной свободы воли и творчества, кото-

⁴⁷ Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса // Он же. Собрание сочинений. Т. 4 (2). М., 2010. С. 235.

⁴⁸ Там же. С. 237.

⁴⁹ Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе // Он же. Собрание сочинений. Т. 3. Теория романа. С. 457–458.

рые реализованы в представлении княжения»⁵⁰. Таким образом, Бахтин отказывается от принципа превосходства и вытекающей из него необходимости почитания героя слушателями/читателями. Вместо этого он утверждает, что «великий человек» у Рабле — «глубоко демократичен» как «высшая степень человека» и притом «в нем нет ничего, непонятного и чуждого общечеловеческой природе, массе». Другими словами, Рабле представляет читателям обыденную версию эпического героя. Романное (принцип «глубоко демократической» природы героя, чей героизм облачен в повседневные одежды) и эпическое (сохранение идеи «высшей власти», которая подтверждает статус исключительности героя), кажется, объединяют таким образом свои силы и порождают противоречивый образ раблезианских героев: те не являются ни исключительно романскими, ни исключительно эпическими; они и то и другое одновременно и во все времена — это и есть тот желанный синтез принципов, которые сам Бахтин в эссе «Роман, как литературный жанр» рассматривал как непримиримо противоположные друг другу.

Второй критерий выдвигает на первый план тот факт, что эпос зависит от «национального предания», которое «безлично и священно»⁵¹. Но зависит от нее и карнавал, где формы опыта являются совершенно безличными и — в то же время — далекими от священного. Представление Бахтина о карнавале в книге о Рабле, таким образом, очерчивает контуры того же самого единства эпоса и романа, которое в его же статьях о романе остается неосуществимым. Субстрат этой новой формы опыта, которая синтезирует безличность (как в эпическом сказании) и непочтительность (как в романе), обнаруживается Бахтиным в «коллективном теле», будь то «народа» или человечества. В своем раннем трактате «Автор и герой» Бахтин проанализировал индивидуальное человеческое тело, тело некоего «я», а в 1930-е годы он обратился уже к другой идее человеческого тела. Он пришел к ней не без влияния современной физиологии и биологии, осуществлявшегося через лекции Ухтомского⁵² и дружбу с Иваном Канаевым⁵³. В «Творчестве Фран-

⁵⁰ Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе. С. 487 (курсив мой. — Г. Т.).

⁵¹ Он же. Собрание сочинений. Т. 3. Теория романа. С. 531 («Из предыстории романного слова»), 568, 585 («К вопросам теории романа»).

⁵² Об интересе Бахтина к биологии см.: Holquist M. Bakhtin and the Body // Diaz-Diocaretz M. (ed.). *The Bakhtin Circle Today*. Amsterdam; Atlanta, 1989. P. 19–42; о Бахтине и Ухтомском см.: Marcialis N. Michail Bachtin e Aleksej Uchtomskij // Corona F. (ed.). *Bakhtin, teorico del dialogo*. Milano, 1986. P. 79–91. Провокативную интерпретацию темы Бахтина, медицины и проблемы тела см. в: Hitchcock P. *The Grotesque of the Body Electric* // Bell M., Gardiner M. (eds). *Bakhtin and the Human Sciences*. L., 1998. P. 78–94; см. также Tihanov G. *The Body as a Cultural Value: Brief Notes on the History of the Idea and the Idea of History in Bakhtin's Writings* // *Dialogism*. 2001. No. 5–6. P. 111–121.

⁵³ О Канаеве см.: Taylor B. Kanaev, Vitalism and the Bakhtin Circle // Brandist C. et al. (eds). *The Bakhtin Circle: In the Master's Absence*. Manchester; N.Y., 2004. P. 150–166.

суа Рабле» Бахтин уже занимается анализом коллективного тела, чья идентичность образуется не путем прочерчивания границы между собой и другими, а рождается в опыте трансгрессивного, всепроникающего единения. Это коллективное тело отрицает ценность индивидуального присвоения мира. Его подавляющая коллективность опирается на «неклассическую» конституцию; оно гротескно в том смысле, что не знает ни начала, ни конца, ни внешнего, ни внутреннего, ни глубин, ни плоскостей. Все это делает гротескное тело невосприимчивым к великому, исторически непреходящему и однообразно «серьезному». Отсюда его отвращение к благочестивому складу ума и к актам коллективного почитания, воспроизводимыми в лоне «священной» традиции сообщества. Эта неприязнь парадоксальным образом связана с органическим недоверием к индивидуальным формам восприятия мира. Таким образом, мы видим Бахтина как мыслителя типично постромантического склада, который колеблется между подавляемой ностальгией по единению и признанием невозможности возрожденной общности, — точно так же, как и Ханс Фрайер понимал, что мир *Gemeinschaft*, мир без иерархии и принуждения, мир, где язык еще наслаждается целостным бытием, — этот мир навсегда ушел и не стоит оплакивания. Таким образом, в книге Бахтина о Рабле вопрос о личной свободе и традиции общности занимает центральное место. И ответ Бахтина на этот вопрос, как будет более обстоятельно показано в заключительной части данной статьи, остается амбивалентным.

Третья характеристика эпоса, в чем-то похожая на рассмотренную выше, — это подчеркнуто тесная связь эпоса с «коллективной памятью». Эта «коллективная память» способна работать на протяжении нескольких поколений; она не ограничивается одной человеческой жизнью и, в отличие от «индивидуальной» памяти романа, удерживает исключительно героические аспекты биографий своих персонажей. Можно было бы ожидать, что Бахтин будет рассматривать книгу Рабле как образец индивидуалистической и «дегероизирующей» памяти романа, которая выступает противоположностью коллективной культуры памяти. Однако в интерпретации Бахтина мы сталкиваемся с тем, что он называет памятью «родового тела человечества», прообраз которого следует искать в «Материи и памяти» Бергсона. Тело человечества — гегельянское расширение единого народного тела — показано у Бахтина как усиливающееся за счет подавления и вытеснения с помощью смеха собственной «темной памяти о космических переломах прошлого»⁵⁴. Такое свойство, как бездонная память, является отличительным атрибутом «родового тела»; эта память перерабатывает гроз-

⁵⁴ Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и проблема народной культуры Средневековья и Ренессанса (дополнения и изменения к редакции 1949–1950 гг.) // Он же. Собрание сочинений. Т. 4 (1). М., 2010. С. 595.

ные события самого глубокого прошлого в радостное празднование жизнестойкости и долговечности, без каких-либо отсылок к индивидуальному существованию. Таким образом, тело у Бахтина в книге о Рабле балансирует между процессом материализации (объективации) в самодостаточных актах весьма физического характера и состоянием абстрактной идентичности, которая демонстрирует способности высшего порядка: бездонную память и «отвагу» перед лицом природы и смерти, эпическое бессмертие и потенцию бесконечного самовозрождения. Таким образом, понятие тела у Бахтина оказывается наделено двумя разными значениями: первое из них репрезентирует его поддающееся верификации физическое естество; второе указывает на состояние коллективности, где телесное в конечном счете начинает репрезентировать духовное в образе всеобъемлющей памяти и неистребимой доблести. Бахтин опять стремится преодолеть противоречие между коллективным и индивидуальным модусами телесного существования, на этот раз по-гегелевски «снимая» эти два состояния в абстрактности все-человеческого способа бытия («родового тела человечества»).

И наконец, четвертый критерий эпичности говорит о том, что эпический сюжет не может вызывать интереса сам по себе. Эпос, основанный на повторе и на формульных рассказах о прошлом, остается в зоне знакомого и предсказуемого. В нем отсутствуют открытые перспективы, характерные для романа, где, как утверждает Бахтин (вслед за Фридрихом Шлегелем и Лукачем), все находится в процессе становления. Опять же, роман Рабле, как можно утверждать, создает образ карнавала, который, в прочтении Бахтина, представляет нам реабилитированную версию эпоса — возможно, в не сразу узнаваемой, но, тем не менее, различимой форме — и таким образом сохраняет некоторые черты последнего: в частности, он отдает предпочтение сюжету, который стремится опереться на повторяющееся и знакомое. Созерцателю карнавала не может быть глубинно интересно то, что происходит внутри карнавального шествия, ибо действия, совершаемые там, не касаются индивидуальной воли или судьбы — это события неразличимого коллективного опыта. То есть наш интерес к практикам карнавала, как он описан Бахтиным, — не интерес к сюжетности или новизне романа (чего можно было бы ожидать от книги Рабле), а скорее интерес к тому, что, как представляется, примиряет эпатажные проявления неординарности с господствующей рамкой ритуальной повторяемости. Эксцессы карнавала не позволяют подходить к нему со зрительской позиции, ибо карнавал, как и все прочие праздничные практики, проанализированные Бахтиным, стирает, по его утверждению, границу между зрителем и участником. Говоря о свадьбе как карнавальном событии, Бахтин утверждает: «[на свадебном пиру] нет разделения на участников (исполнителей) и зрителей, здесь все — участники»⁵⁵.

⁵⁵ Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле... С. 284–285.

Поэтому оказывается невозможным создавать и поддерживать интерес к «сюжету» и нарративную новизну карнавала, ибо это означало бы принятие такой точки зрения, которая предусматривает оценивающее отношение к нему с позиции вненаходимости, отстаиваемой Бахтиным в ранней статье «Автор и герой», но решительно отрицаемой в книге о Рабле.

В свете такого стирающегося контраста между эпосом и романом в книге Бахтина о творчестве Франсуа Рабле необходимо рассмотреть одну конкретную функцию человеческого тела и в то же время жизненно важный аспект культуры — смех: его рассмотрение позволит увидеть, как романские жизненные установки трансформируются у автора в эпическое отношение к миру. Бахтин наследует двум европейским традициям теоретического осмысления смеха: неокантианству, с одной стороны, и традиции витализма и философии жизни — с другой. Особое значение для него имели взгляды Анри Бергсона, который считал, что смех является «исправлением» всего косного, шаблонного и механического; он помогает обществу избавиться от ригидности, «получить от своих членов возможно большую гибкость и наивысшую степень общественности»⁵⁶. Кроме того, неявно апеллируя к Гоббсову пониманию смеха как средства достижения преимущества над оппонентом (соперником) в полемике, Бергсон приходит к выводу, близкому к идее Гоббса: функция смеха — «устрашать, унижая»⁵⁷. Бахтин позаимствовал у Бергсона понятие о смехе как об «общественном жесте»⁵⁸, который берет свое начало в групповых установках и реакциях. Сколь бы спонтанным ни казался смех, Бергсон подчеркивает, что «он всегда таит в себе мысль о соглашении, я сказал бы даже — почти заговоре — с другими смеющимися лицами, действительными или воображаемыми»⁵⁹. Бахтин радикализирует эту идею: он считает, что смех берет свое начало в столкновении групп, представляющих народную культуру, с официальной идеологией; но вскоре смех отбрасывает это исходное предназначение и становится социальным и коллективным феноменом — до такой степени, что преодолевает все межгрупповые границы. В книге о творчестве Рабле смех, как правило, рассматривается скорее как символ единого народного тела и обруч, связующий между собой различные слои общества, нежели как разделяющая практика. На карнавале смеются все — дабы осмеять стиль практической повседневной жизни, который обычно чересчур серьезен. Из группового явления, ко-

⁵⁶ Бергсон А. Смех. М., 1992. С. 21. О Бахтине, смехе и карнавале см.: *Emerson C. Coming to Terms with Bakhtin's Carnival: Ancient, Modern, sub Specie Aeternitatis* // Branham R. (ed.). *Bakhtin and the Classics*. Evanston, 2002. P. 5–26; *Shepherd D. Imia or Prozvishche? Bakhtin, Gogol and the History of Laughter* // *Essays in Poetics*. 2003. Vol. 28. P. 181–201.

⁵⁷ Бергсон А. Указ. соч. С. 122.

⁵⁸ Там же. С. 20.

⁵⁹ Там же. С. 13.

торое призвано указывать на недостатки иных групп и эти несообразности исправлять, смех у Бахтина превращается в коллективную силу, которая исходит от всего народного тела и распространяется по всей вселенной. Таким образом, мы видим, как вместо того, чтобы использоваться в качестве механизма конструирования групповых/классовых различий (которые составляют самую сердцевину романного повествования), смех в книге о Рабле переосмысливается как эпический инструмент, ликвидирующий индивидуальные или групповые несходства и становящийся опять-таки символом давно забытой социальной сплоченности. Едва ли приходится удивляться тому, что Бахтин, стирая разницу между эпосом и романом, упрекает Гюго за то, что тот «именно эпичности раблезианского смеха... не понимал»⁶⁰.

Теперь стало очевидно, что в книге Бахтина о творчестве Франсуа Рабле карнавал интерпретируется как смешение масштабных и «наивных» качеств эпоса (жизненно важной предпосылки для устройства карнавала) и неуловимой, колеблющейся, самоироничной и противоречивой природы романного жанра. Таким образом, даже в 1930-е годы эпос не исчезает из мыслительного мира Бахтина; он сублимируется в карнавале, смешивается в нем с жизненной силой романа и ею «оплодотворяется». Подобно эпосу, главное назначение карнавала — сохранение традиционных практик, но в открытой и благотельно «негарантированной» форме. Поэтому книга о Рабле, как мне представляется, и была той точкой, где Бахтин предложил свой способ решения безвыходной проблемы неслиянности и нераздельности — а значит, и свою собственную версию классического. И это случилось лишь после того, как он смог примирить культуру и жизнь, видя их единство в разнообразных проявлениях человеческого тела, после переработки и перекройки им границ культурных табу и утверждения симбиоза эпоса и романа. Только в диссертации о Рабле он нашел необходимый набор общих положений, которые — как и в известной работе Т.С. Элиота «Что такое классик»⁶¹ — позволили ему заново упорядочить всю предшествующую череду не только литературных произведений, но и явлений культуры в целом. Так или иначе, речь шла о новом понимании смысла традиции, которое было основано на вольных и «незастывших» творениях народной, основанной на общности, культуры. Не случайно то обстоятельство, что лишь после своей работы над Рабле Бахтин смог вписать Достоевского (которого в конце 1920-х годов еще рассматривал как одинокого гения) в более широкую, хотя довольно своеобразную, традицию карнавальной литературы и таким образом, на-

⁶⁰ Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле... С. 141.

⁶¹ См. рус. пер. этого эссе 1944 года: Элиот Т.С. Назначение поэзии. Статьи о литературе. Киев: AirLand, 1996.

конец, превратить его из сугубо русского художника слова в классика, чьи произведения принадлежат поистине всемирному контексту.

И наконец, я хотел бы вновь поставить вызывающий мучительные споры вопрос о политических коннотациях суждений Бахтина об эпосе и романе, о коллективной и индивидуальной культуре и об их искомом синтезе. В течение уже многих десятилетий ученые в России и на Западе ведут ожесточенные полемики по поводу трудов Бахтина, созданных в 1930-х годах: был ли он тогда сталинистом или антисталинистом, писал ли он за советскую власть или тайно *против*? Боюсь, что простого ответа на этот вопрос не существует. Бахтин был не мудрее своего времени, как бы нам ни хотелось обратного.

Например, можно доказать, что его интерес к Рабле возник в результате изменения советской трактовки классики, а эти перемены, в свою очередь, были связаны с форсированным утверждением в идеологической сфере второй половины 1930-х годов установок Народного фронта. Как раз тогда преимущественное внимание стало уделяться тем произведениям западной классики, которые, хотя бы внешне, отличались бы неким широко понятым духом «народности»⁶². В этом контексте труды Бахтина заключали в себе амбивалентное — и, вероятно, именно в силу этого богатое и исторически жизнеспособное — послание, утопическое и ностальгическое одновременно. Литературный канон, который он сам выстраивал, был, конечно, двучлен, и эта двусмысленность была в чем-то типична для реакции целого поколения постромантических мыслителей на новую эстетическую, герменевтическую и социологическую повестку дня. Ее формирование началось в ходе пересмотра отношения к модерну с приходом Первой мировой войны и ускорилось в последующие десятилетия. Бахтин, с одной стороны, приветствовал и искренне утверждал понимание романного жанра как средства модернизации, осовременивания, не признающего никаких священных догм или традиций и рассматривающего актуальную советскую действительность как всего лишь звено в цепи великих исторических событий, которые не могут быть остановлены или исчерпаны даже революцией⁶³. С другой стороны, восхваление Бахтиным эпоса в книге Рабле было откры-

⁶² Катерина Кларк, рассматривая творчество Бахтина в идеологическом контексте Народного фронта, справедливо подчеркивает, что «представляется надуманным утверждение, будто он [Бахтин] мобилизовал такую огромную литературную эрудицию и сосредоточил всю ее на сюжете, связанном с Рабле, лишь с целью замаскированной критики сталинизма» (Clark K. M. M. Bakhtin and 'World Literature' // *Journal of Narrative Theory*. 2002. Vol. 32. No. 3. P. 266–292, здесь p. 267). См. ее попытку масштабного анализа: *Eadem*. Moscow, the fourth Rome: Stalinism, cosmopolitanism, and the evolution of Soviet culture, 1931–1941. Cambridge, MA, 2011.

⁶³ Схожий ход мысли был свойствен и некоторым ученикам формалистов, например Григорию Гуковскому: Гуковский Г. А. К вопросу о стиле советского романа / публ. и примеч. Д. В. Устинова // *Новое литературное обозрение*. 1998. № 29. С. 84–124.

тым принятием и даже ностальгическим одобрением «прежних» или даже извечных практик, характерных для жизни в общности, призванных теперь уже прививать людям чувство традиции и смягчать последствия жестокой модернизации, которая бушевала в 1930-е годы и наиболее драматичным примером которой стала насильственная коллективизация сельского хозяйства. То, как восхвалял Бахтин силу народа, общности и коллектива, несомненно, вполне соответствовало официальной линии постепенной коллективизации всех важных аспектов жизни в Советской России (и не только в сельском хозяйстве). Таким образом, его представления о классическом, пусть и не высказанные тогда в полной мере, были плотью от плоти формировавшейся в то время официальной установки на масштабный «роман-эпопею». Этот гибридный жанр советская эстетика в 1930-е годы стремилась возродить и превратить — в частности, развивая наследие Льва Толстого, окончательно ставшее к тому времени классикой, — в важный компонент своего нового литературного канона. Постепенное сближение между романом и эпосом, и даже неизбежное снятие [в гегелевском смысле] романа в обновленном эпосе, было центральным аргументом и у Дьёрдя Лукача, и у Михаила Лифшица — двух самых ярких противников вульгарного социологизма в 1930-е годы — во время важной московской дискуссии о романе в конце 1934 — начале 1935 года. Бахтин за ней с большим интересом следил⁶⁴. Может быть, когда-нибудь покажется интересной мысль прочитать книгу Бахтина о Рабле, работа над которой началась в 1930-х годах и продолжалась до середины 1960-х годов, в сопоставлении с двумя бесспорно классическими произведениями советских времен — эпическими романами Шолохова «Поднятая целина» (1932–1960) и «Тихий Дон» (1928–1940): при этом заметнее станет, насколько бахтинская теория литературы и культуры уходит корнями в политику и эстетику формирования нового советского литературного канона⁶⁵. Но это задача выходит за рамки данной

⁶⁴ Об этой дискуссии и об идеологическом багаже понятия «эпический роман» см. *Белая Г.* «Фокусническое устранение реальности» (О понятии «роман-эпопея») // *Вопросы литературы*. 1998. № 3. С. 170–201, особенно с. 177–185; *Tihanov G.* The Master and the Slave. P. 113–128.

⁶⁵ Сближение эпического и романного жанров, за которое Бахтин скрыто, но энергично выступал в книге о Рабле, — это, конечно, тенденция, для объяснения которой недостаточно просто ссылки на советскую культуру; она проявлялась и в более широком европейском контексте, где особенно значительным воплощением ее стал «Улисс» Джойса (подробнее об этом см. в: *Tihanov G.* Bakhtin, Joyce, and carnival: Towards the synthesis of epic and novel in Rabelais // *Paragraph*. 2001. Vol. 24. No. 1. P. 66–83). Другим оригинальным и продуктивным вариантом развития эпических начал в межвоенном романе следует считать «Человека без свойств» Роберта Музиля, творчество которого было также разнопланово ориентировано в политических контекстах эпохи, включая и интерес к консервативной мысли и участие в промосковском антифашистском Конгрессе в защиту культуры в Париже (см.: *Tihanov G.* Robert Musil in the Garden of Conservatism // *A Companion to the Works of Robert Musil* / P. Payne, G. Bartram, G. Tihanov (eds). L., 2007. P. 117–148).

статьи. Пока достаточно будет того, если мне удалось продемонстрировать, что нельзя больше изучать работы Бахтина 1930-х годов (в самый продуктивный период его деятельности) без учета более широкого контекста и советских, и общеевропейских баталий по поводу смысла — равно как и всего процесса становления — традиции и классики. Всё, что Бахтин делал как теоретик культуры и литературы, он явно или неявно совершал именно в этом русле.

Авторизованный перевод Кирилла Левинсона

Александр Дмитриев

ВСТРЕЧИ ИСТОРИИ С СОЦИОЛОГИЕЙ В ТЕНИ «ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ»: ИМПЕРСКОЕ, НАЦИОНАЛЬНОЕ, ЕВРОПЕЙСКОЕ

Деятельность трех центральных персонажей нашей статьи — А.С. Лаппо-Данилевского, П.А. Сорокина и М.С. Грушевского — связана с одним важным сюжетом: модернизацией местного гуманитарного знания (в первую очередь — историографии) под знаком социологии и формированием нового образа научности. Этот образ невозможно отделить от западного — немецкого, французского и английского соответственно — «фона» и влияния¹. Выбор героев для рассказа о становлении *модернизированной* национальной традиции в российской (и украинской) науках о человеке 1910–1920-х годов может показаться достаточно произвольным. Каждому из трех ученых можно подобрать даже более яркого персонажа-двойника, в биографии которого характерное перекрещение науки, политики и «западного» контекста будет еще более показательным. В этом смысле фигуры Павла Милюкова², Максима Ковалевского³ и Владимира Вернадского⁴ (каждый из которых сыграл в жизни героев статьи важную роль) кажутся более представительными и, пожалуй,

¹ Ср. почти противоположные точки зрения по поводу успешности импорта институ-та науки в Россию: Старостин Б.А. Петербургская Академия наук в поисках национальной самоидентификации // Российская Академия наук: 275 лет служения России. М., 1999. С. 259–321; Романовский С.И. Притащенная наука. СПб., 2004. Общую постановку вопроса см.: Nationale Grenzen und internationaler Austausch / L. Jordan, B. Kortländer (Hrsg.). Tübingen, 1995; Danneberg L., Schönert J. Zur Transnationalität und Internationalisierung von Wissenschaft // Wie international ist die Literaturwissenschaft? / L. Danneberg, F. Vollhardt (Hrsg.). Stuttgart; Weimar, 1996, S. 7–85.

² Bohn T.M. Russische Geschichtswissenschaft von 1880 bis 1905. Pavel N. Miljukov und die Moskauer Schule. Köln: Böhlau Verlag, 1998.

³ См. материалы сборника: М.М. Ковалевский и российская общественная мысль. К 150-летию со дня рождения. СПб., 2003.

⁴ Грушевский и Вернадский столкнулись в деле организации Украинской Академии наук в Киеве при гетмане Скоропадском летом 1918 года. См. о Вернадском: Bailes K.E. Science and Russian Culture in an Age of Revolutions: V.I. Vernadsky and His Scientific School, 1863–1945. Bloomington; Indianapolis, 1990.

лучше изучены — но они как раз не образуют единого ряда. А связь Лаппо-Данилевского, Сорокина и Грушевского примечательна в смысле важного переломного момента 1914 — конца 1920-х годов, обусловившего специфическую встречу историографии и социологии в момент мобилизации науки в связи с Первой мировой войной. Кроме того, здесь нужно подчеркнуть и биографическую связь и преемственность Лаппо-Данилевского и Сорокина в смысле конституирования социологии в Петербурге-Петрограде (именно на базе исторического академического домена, а не, например, философского, педагогического или даже естественно-научного — как в других странах). Лаппо-Данилевский сочувствовал становлению самостоятельной украинской академической традиции (поддерживая А.А. Шахматова и Ф.Е. Корша в их хлопотах об отмене цензурных стеснений украинского языка), а Сорокин весьма внимательно относился к перспективам культурного развития разных народов Российской империи и после ее политического крушения. Он даже активно сотрудничал в самом начале своей эмиграции с украинскими исследовательскими учреждениями за границей, с которыми также был связан — хотя в конечном счете скорее спорами и политическим противостоянием — и Михаил Грушевский. Последний обратился к социологии в самом начале 1920-х годов (вплоть до организации специального Украинского социологического института). Поэтому война и распад империи, формирование национальных государств и классовые конфликты стали фоном сближения истории и социологии, переосмысления роли ценностей в социальном познании и прежнего автоматического разведения истории как идеографической, а социологии как номотетической науки (по Риккерт).

Для нас принципиально важно в плане поисков самоопределения российской науки, вычленения ее особенностей и характерных заимствований рассматривать не консерваторов или славянофилов, но именно ученых с вполне «западнической» репутацией и ориентацией; мы хотим показать, как специфически преломлялись в их интеллектуальной и организационной деятельности импортированные модели и собственные ориентиры⁵. С одной стороны, каждый из трех рассматриваемых нами персонажей был не просто известным ученым, но именно организатором науки, основоположником нового направления — с другой же, биографию любого из них можно представить и как историю этаблированного неудачника, которого к концу жизни ждал или упадок, или крушение большинства былых надежд. Много позже, с конца 1980-х годов наследие каждого переживает в той или иной мере свой «праздник возрождения» (Бахтин): их книги перепечатывают (и порой неоднократно), о них пишут статьи и монографии, защищают диссертации

⁵ См. ключевые для нашей постановки вопроса соображения В. Береловича: *Bérélowitch W. History in Russia Comes of Age: Institution-Building, Cosmopolitanism, and Theoretical Debates among Historians in Late Imperial Russia* // *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History*. Vol. 9. No. 1. P. 113–134.

и т.д. В 1990-е годы, после краха догматического марксизма, на новом витке импортирования западных научных подходов, обычно связанных с постмодернизмом (в предельно широком понимании), творчество Грушевского, Сорокина и даже Лаппо-Данилевского с разной степенью удачливости пытались канонизировать как образец «нашей» или «своей» науки, в противовес новомодным увлечениям. Они стали (хотя, скорей, ненадолго и для публики преимущественно широкой, а не профессиональной) символом «возвращения к истокам», воплощением насильственно прерванной традиции.

Патрик Серио в своей книге о евразийцах справедливо указал на немецкие (романтические) истоки идеологий российской самобытности⁶; мы же сосредоточимся не на импорте идей как таковых, но на продуктивном освоении, опробовании и «одомашнивании» западных (французских, немецких или польских и чешских) риторических механизмов и сопряженных с ними институциональных практик строительства национальной науки. В этом смысле большинство героев очерка были как раз сторонниками единства мирового научного движения и видели в своих академических проектах в первую очередь воплощение этого (интер)национального духа. Для них, применительно к своей стране, речь шла во многом о «науке на вырост» — будь то социология, которую нужно укоренять и развивать на новой почве, или же занятия переломными для России временами освоения западного пути (при Алексее Михайловиче и Петре Первом) или борьба за само существование и признание своего национального исторического «гранд-нарратива».

Деятельность Лаппо-Данилевского, Сорокина и Грушевского разворачивалась не просто «на фоне» современных им переломных политических трансформаций и катаклизмов, но была с этим политическим и социальным фоном весьма тесно сопряжена и во многом им детерминирована. В плане проблематики «наука и нация»⁷ их усилия принадлежали одновременно двум важнейшим типологическим и эпохальным срезам: романтической парадигме 1848 года (олицетворением которой можно считать Ганку в Чехии или Грановского в России) и этатистской парадигме 1914 года (воплощенной как в национально ориентированной Большой Науке, так и в идеологизированной советской науке образца Покровского и Комакадемии)⁸.

⁶ Sériot P. Structure et totalité. Les origines intellectuelles du structuralisme en Europe centrale et orientale. Paris, 1999.

⁷ См. попытку обобщающего анализа в материалах сборника: Wissenschaft und Nation in der europäischen Geschichte / R. Jessen, J. Vogel (Hrsg.). Frankfurt a. M.: Campus, 2003. Применительно к социальным наукам: Guilhot N., Heilbron J., Jeanpierre L. Toward a Transnational History of the Social Sciences // Journal of the History of the Behavioral Social Sciences. 2008. Vol. 44 (2). P. 146–160.

⁸ См.: Kojevnikov A.B. Stalin's Great Science: The Times and Adventures of Soviet Physicists. L., 2004 (Ch. 1) и недавний сборник: Intelligentsia science: The Russian century, 1860–1960 / M.D. Gordin et al. (eds). [Osiris, vol. 23]. Chicago, 2008.

Было бы слишком поспешно и схематично привязывать собственно историческую науку к модели 1848 года (как выражение роста национального самосознания), а социологию считать симптомом уже нового индустриального духа времени образца 1914 года. Однако стоит обратить внимание на то, как интернациональная (и часто воспринимаемая как чужая⁹) социология сама работает одновременно на модернизацию и на обеспечение самодостаточности тех или иных академических традиций. Трансфер в этом смысле не должен трактоваться как автоматическое обеспечение открытости того или иного сообщества, особенно в условиях усиливающейся международной конкуренции¹⁰. «Казус» Михаила Грушевского тем более важен и интересен, поскольку позволяет указать на многообразие историографических практик в Российской империи и расширяет представление о циркуляции идей за пределы только Западной Европы, включая также Восточную Европу и территории Австро-Венгерской империи. В случае Сорокина показательны и широта его ранних интернациональных интересов (с особой чувствительностью к несовпадению «великорусского» и «общероссийского»), и последующая эволюция в США в смысле нарастания идейной самодостаточности. Первая мировая война, с нашей точки зрения, оказалась и ключевым пунктом столкновения разных национальных сообществ, и периодом интенсивного роста самоосознания и — одновременно! — освоения чужих организационных систем и идейных постулатов, и моментом переформулирования важных исходных принципов понимания прошлого и современности — в социологическом ключе.

Вестернизация как традиция

Александр Сергеевич Лаппо-Данилевский (1863–1919) был среди своих современников одним из немногих законченных «русских европейцев», западником *без раздвоенности* и характерных мучительных поисков самоопределения. Уже с ранних студенческих лет он выделялся цельностью воззрений и ориентиров; немалую роль в его интеллектуальном становле-

⁹ Об академическом признании социологии см. давнюю книгу: Lepenies W. Die drei Kulturen: Soziologie zwischen Literatur und Wissenschaft. München, 1985; об исторически детерминированном «избирательном родстве» определенных национальных традиций и социологической рефлексивности: Karady V. Les Juifs dans les sciences sociales. Esquisse d'une problématique // Pour une histoire des sciences sociales: Hommage à Pierre Bourdieu. Paris, 2004. P. 159–180. Специфика российской науки об обществе рассмотрена в книге: Vucinich A. Social Thought in Tsarist. Russia: The Quest for a General Science of Society 1861–1917. Chicago, 1976.

¹⁰ См. общие соображения об использовании «чужой» традиции в новой историографии, с особенным вниманием к «незападным» академическим культурам: Fuchs E. Provincializing Europe: Historiography as a Transcultural Concept // Across Cultural Borders: Historiography in a Global Perspective / E. Fuchs, B. Stuchtey (eds). Boulder, 2002. P. 1–26.

нии и последующей карьере сыграла ранняя связь с «Приютинским братством» С. Ольденбурга, В. Вернадского и Д. Шаховского. Ученик Лаппо-Данилевского Александр Пресняков, пытавшийся в начале 1890-х годов содействовать сближению его с другим своим наставником — С.Ф. Платоновым, оставил в письме матери характеристику двух этих деятелей, чрезвычайно близкую тезисам Пьера Бурдьё о взаимосвязи социального хабитуса и позиции в рамках научного поля: если оппозиционность и известный демократизм взглядов Лаппо-Данилевского базировались на дворянском космополитизме и сознании своих неотъемлемых достоинств, то у Платонова и близких ему коллег искренняя преданность государству и консервативность мнений строились на лоялизме «человека снизу», для которого ученое поприще, помимо прочего, является еще и социальной карьерой, путем наверх¹¹. Соответственно разнятся их академические карьеры. Платонов играет ведущую роль на историко-филологическом факультете столичного Петербургского университета, где вокруг него складывается своя школа; его книга о Смутном времени и особенно учебный курс по русской истории чрезвычайно популярны в обществе (не стоит забывать и о его статусе преподавателя истории в императорской семье). На международную арену Платонов выйдет уже только во второй половине 1920-х годов, после смерти Лаппо-Данилевского, когда он сам станет академиком и ориентироваться будет главным образом на Германию (что будет особенно явно в ходе немецкой «недели историков» летом 1928 года; вскоре ему это припомнят власти в ходе «академического дела»)¹². Неформальная школа вокруг Лаппо-Данилевского сложилась гораздо позже, лишь в 1910-е годы; он очень долго оставался на факультете в положении приват-доцента (а сверхштатным профессором стал лишь за год до смерти) — отчасти в силу прямой конкуренции Платонову. Лаппо-Данилевский специализировался в разных отраслях, одновременно «выше» и «ниже» цехового мейнстрима: он был и выдающимся источниковедом (специалистом по археографии и дипломатике) и теоретиком, даже философом истории¹³; его неокантианская «Методология истории», связанная с одноименным университетским курсом, начала частями публиковаться с 1910 года.

¹¹ При этом он опирался на откровенные оценки самого Платонова. См. его письмо матери от 22 марта 1894 года: Александр Евгеньевич Пресняков. Письма и дневники. 1889–1927. СПб., 2005. С. 133.

¹² Колобков В.А. Сергей Платонов: год накануне ареста // Источниковедческое изучение памятников письменной культуры в собраниях и архивах ГПБ: История России XIX–XX веков. Л., 1991. С. 156–174; Брачев В.С. Русский историк Сергей Федорович Платонов. СПб., 1995. С. 265–267 (стоит, правда, ометить, что Брачев некритически использует материалы следственного дела против академика как прямое свидетельство воззрений Платонова).

¹³ Ростовцев Е.А. Лаппо-Данилевский и петербургская историческая школа. Рязань, 2004; Малинов А.В., Погодин С.Н. Александр Лаппо-Данилевский: историк и философ. СПб., 2001.

Однако внешне успешная карьера в Академии наук (он стал адъюнктом в 36 лет, а через пять лет избран ординарным академиком) стала источником настоящей интеллектуальной трагедии ученого: с присущей ему основательностью, соединенной с почти болезненной самокритикой, он с головой погрузился в рутину составления отзывов, заседания многочисленных комиссий, издания трудов покойных коллег и т.д. Очень многие его начинания так и оставались неоконченными, отчасти в силу колоссального объема, отчасти из-за перфекционизма историка: так, важнейший свод археографических принципов — правила издания сборника Коллегий экономики¹⁴ — вышел только после его смерти (а начата эта деятельность была в 1901 году); неоконченной осталась и работа над финальным текстом «Методологии истории». Но главным трудом его жизни должна была стать книга о духовной жизни русского образованного общества в XVIII веке; постепенно замысел охватил и допетровскую эпоху и XIX век, вплоть до Чернышевского и «нигилистов». Эта докторская диссертация должна была называться «История политических идей в России в XVIII веке в связи с развитием ее культуры и ходом ее политики». Работа растянулась на десятилетие с лишним; текст был вчерне закончен к 1907 году — но увидела свет его первая часть (по допетровской Руси) лишь в 1990 году!¹⁵ Иван Гревс, близко знавший историка со студенческих лет, с горечью отмечал вскоре после его смерти:

Если бы долголетний труд А.С. появился, он не только начертал бы великую новую страницу в русской историографии, но обнаружил бы много незамеченного, недооцененного и историками других стран.

Беда в том, что он не появился. И не появился он вследствие того же несчастья — добродетели, превратившейся в порок, — искания для человека недосягаемого совершенства. Труд был готов к выходу лет десять тому назад, но задача все осложнялась и запутывалась в уме автора, он разросся на два тома, раскрывались новые требования дополнительных исследований... Печатание все откладывалось, и автор унес свое детище нерожденным в могилу. <...> А.С. считал возможным выступать в печати по главным темам своей работы лишь тогда, когда собственное сознание говорило: да! дело закончено, истина найдена и получила должное (т.е. совершенное, полное) воплощение. Но сознание почти никогда этого ему не говорило. И труды оставались в папках, в рукописных листах, испещренных вставками и исправлениями¹⁶.

¹⁴ При этом сознательным ориентиром для него были принципы издания «*Monumenta Germaniae Historica*», схожие усилия итальянских и австрийских историков (см. его «План издания сборника частных и правительственных великорусских актов XVI–XVIII веков», одобренный на заседании АН в январе 1901 года).

¹⁵ Лаппо-Данилевский А.С. История русской общественной мысли и культуры XVII–XVIII вв. М., 1990.

¹⁶ Гревс И.М. Александр Сергеевич Лаппо-Данилевский (опыт истолкования души) // Русский исторический журнал. 1920. № 6. С. 65–66.

В итоге современное издание этой книги — замечательного памятника научной мысли — по словам готовившей текст Марины Сорокиной, действительно становится чем-то подобным археологической реконструкции древней драгоценной вазы по обломкам и фрагментам¹⁷. Основным сюжетом ненаписанного главного труда Лаппо-Данилевского и стала проблема трансфера, переноса западных юридических и политических идей в Россию, как некая развернутая предыстория формирования и собственной интеллектуальной позиции ученого и самосознания русской науки, а также образованного общества в целом.

Здесь напрашивается явная параллель работы Лаппо-Данилевского с «Очерками истории русской культуры» (1896–1903) Павла Милюкова, которые как раз начали печататься в изданиях легальных марксистов во второй половине 1890-х годов. Милюков, бывший оппонентом на магистерской защите Лаппо-Данилевского (и споривший с ним о деталях реконструкции налогового обложения в Московском государстве¹⁸), в принципиальных идеологических воззрениях как убежденный западник и как будущий кадет — в противоположность Платонову — вполне сходил с Лаппо-Данилевским. Но его «Очерки» наглядно демонстрируют разницу синтетического построения со скрупулезно-аналитическим подходом Лаппо-Данилевского (эту разницу исследовательских манер при некоторой генерализации можно также и представить в плане несхожести московской и санкт-петербургской исторической школ).

Как рисует образ «западного» Милюков? Он последовательно строит дихотомию *национального* (народного, традиционного) — и *общественного* (связанного с узким слоем передовой интеллигенции) принципов. Понятно, что «западное» будет связано исключительно с этим вторым полюсом¹⁹, — тогда как Лаппо-Данилевский, следуя юридической школе, не противопоставляет Россию Европе, но опосредует их взаимодействие идейными ориентирами и деятельными начинаниями *государства*. Он рассматривает государство и личность не как антагонистические начала (к такому пониманию близок Милюков), а в их последовательной связи, где важную роль играет принцип секуляризации власти и ее источника. Так, подробно анализируя в неопуб-

¹⁷ Лаппо-Данилевский А.С. История политических идей в России в XVIII веке в связи с общим ходом развития ее культуры и политики // подгот. текста М.Ю. Сорокиной при участии К.Ю. Лаппо-Данилевского. Köln; Weimar; Wien: Böhlau, 2005. S. XXXIV (Bausteine zur slavischen Philologie und Kulturgeschichte, Reihe A: Slavische Forschungen, Bd. 51); см. особенно: Сорокина М.Ю. Об историке и его книге: предисловие составителя. С. VII–XXXII (см. также: <<http://www.arran.ru/index.php?page=publications/lappo/clause1>>).

¹⁸ См. подробнее: Макушин А.В., Трибунский П.А. Павел Николаевич Милюков: труды и дни (1859–1904). Рязань, 2001.

¹⁹ На возникающие тут дилеммы почти сразу обратил внимание (на страницах «Известий» Императорской Академии наук) Пресняков: Пресняков А.Е. Первый опыт истории русского самосознания. СПб., 1901 (отд. оттиск).

ликованной «Истории политических идей...» характер польско-латинского влияния, он останавливается не на исходном содержании заимствуемых идей, а на самом процессе приживления, встречного или параллельного развития (даже раскольники выглядят у него не столько врагами этой рецепции, сколько искателями альтернатив этому процессу в рамках некоей общей интеллектуальной динамики²⁰).

Любопытно, что оба раза публиковать при жизни важные суммирующие работы «по мотивам» докторской диссертации Лаппо-Данилевскому приходилось в связи с «международными» вызовами. Вначале это был доклад «Идея государства и главнейшие моменты ее развития в России со времени Смуты и до эпох преобразований» на всемирном историческом конгрессе в Лондоне в 1913 году. В завершение этого доклада Лаппо-Данилевский обращал внимание не только на факторы внешнего заимствования, но и на начала самостоятельного развития (по его выражению, эпигенезиса) правовых идей в России:

Таким образом, припоминая историю государства в России за вышеуказанный период времени, можно придти к заключению, что она уже стала обнаруживать некоторое развитие.

В эпоху преобразований история этой идеи в России, правда, еще не получила характера непрерывной и прогрессивной эволюции: звенья этой цепи почти не входили друг в друга; каждое из них скорее зависело от общего и соответствующего движения европейских идей, чем от предшествующего ему звена, и лишь довольно слабо определяло следующее за ним звено. Эта эволюция была, значит, не непрерывной, а иногда даже довольно случайной, без достаточно ясно выраженного индивидуального характера; но все же она была развитием и даже своего рода прогрессом²¹.

На Лондонском конгрессе было решено провести следующий конгресс в Петербурге в 1918 году (одновременно там же предполагалось поставить и вопрос о признании русского языка как языка международного научно-общения)²²; А.С. Лаппо-Данилевский являлся одним из руководителей организационного комитета по его проведению. С началом Первой миро-

²⁰ Лаппо-Данилевский А.С. История русской общественной мысли... С. 206–207.

²¹ Он же. Идея государства и главнейшие моменты ее развития в России со времен Смуты до эпохи преобразований // Голос минувшего. 1914. № 12. С. 38. Примечательно, что Лаппо-Данилевский передал свой доклад для публикации на русском языке в недавно открытый леволиберальный журнал В.И. Семевского, с которым охотно сотрудничал, а не в более традиционные академические или министерские издания.

²² Erdmann K.D. Die Ökumene der Historiker. Geschichte der Internationalen Historikerkongresse und des Comité International des Sciences Historiques. Goettingen, 1987. S. 86–96. См. очерк профессора Киевского университета Св. Владимира: Ардашев П.Н. Третий международный исторический конгресс в Лондоне. СПб., 1913.

вой войны он еще теснее включился в международные дела. Сын академика Вернадского — историк Георгий Вернадский в конце жизни вспоминал, что Лаппо-Данилевского «в Европе... считали как бы представителем русской исторической науки. Когда, благодаря этому, кто-либо из иностранных историков приезжал для занятий в Петербург, он прежде всего обращался к Александру Сергеевичу, и тот налаживал для него знакомства с русскими коллегами и заведующими нужными ему архивами и библиотеками»²³. Вернадский упоминает в этой связи двух американских историков, много общавшихся с Лаппо-Данилевским: Роберта Лорда и Фрэнка Голдера²⁴.

И в состав представительной делегации русских политиков и общественных деятелей, отправляющихся в Великобританию в годы Первой мировой войны, летом 1916 года, помимо Милюкова, Петра Струве и руководителя польской группы в Думе Романа Дмовского также был включен и Лаппо-Данилевский²⁵. Позднее неприменный секретарь Академии наук Ольденбург, коллега и друг Лаппо-Данилевского со времен Приютинского братства, так цитировал своего рода исповедь историка накануне поездки:

Я много думал о своей теме... много перечел и пересмотрел, и мне показалось, что я ясно вижу, как через всю научную работу русских ученых, в какой бы области они ни работали, проходит одно настроение, одно чувство, одна мысль: их работа связывается с жизнью с тем, что мы в России зовем идеею; для русского ученого нет науки вне жизни и без жизни; конечно, есть отдельные исключения, но это те исключения, которые, как говорится, подтверждают правило. Припомним хорошенько русских историков и в XVIII и в XIX веках и в наши дни, и ты согласишься со мною. Вот это мне бы так хотелось сказать на западе, дать им понять, чем мы живем, что живет нашу работу. Не знаю, найду ли я только настоящие слова²⁶.

Поиск «настоящих слов» для лекции в Кембридже, где историк стал почетным доктором университета, был и в самом деле достаточно непросто — нужно было указывать на своеобразные черты русской науки, связанные с ее историей, но так чтобы это не было ни отстаиванием собственной уникальности (в духе славянофилов), ни просто указанием на частные проявления всеобщих тенденций²⁷. Отсылка к «идеям», которые оказываются тут

²³ Вернадский Г.В. Из воспоминаний // Новый журнал. 1970. № 100. С. 215.

²⁴ Голдер очень тепло отзывался в этой связи о Лаппо-Данилевском в дневниках: War, Revolution, and Peace in Russia: The Passages of Frank Golder, 1914–1927. Stanford: Hoover Institution Press, 1992. P. 12–13.

²⁵ Dmitriev A. La mobilisation intellectuelle: communote scientifique international et premiere Guerre Mondiale // Cahiers du Monde Russe, Sovietique et Post-Sovietique. 2002. No. 4. P. 633.

²⁶ Ольденбург С. Работа Александра Сергеевича Лаппо-Данилевского в Академии наук // Русский исторический журнал. 1920. № 6. С. 179–180.

²⁷ Об историко-научном толковании российской специфики см.: Сорокина М.Ю., Черная Л.А. Предисловие // Лаппо-Данилевский А.С. История русской общественной мысли...

срифмованы с «жизнью», не просто риторический и бессодержательный пассаж; но, на наш взгляд, тут можно говорить о некоторой самокоррекции исходного идеала научности у Лаппо-Данилевского, который обычно связывался с знанием самоцельным и внеутилитарным — а здесь уже явно признается правомочность исторической и, шире, социальной релевантности науки. Это однако, не означало еще какого-то шага в сторону социологии знания, а связывалось с работой культурного самосознания, во вполне идеалистическом или неокантианском ключе. Так, в большой англоязычной статье «Развитие науки и образование в России», подготовленной по итогам поездки, он отмечал:

До сих пор русская мысль в ее общих аспектах понималась вне связей с практической жизнью, при этом единство мысли, исследуемое как процесс самого этого единения, еще должно быть создано и выработано; такое реальное единство, тесная связь с практической жизнью, предполагает постоянную гармонию мысли и действия, и именно сознание... вырабатывает и тем самым придает нашей деятельности единство²⁸.

Само национальное сознание у Лаппо-Данилевского оказывается пробуждаемым внешним вызовом — и этот принцип реализовывался не только в его исторических трудах, но и в практико-организационной деятельности. Еще в 1911 году, когда зашла речь об организации в Европе по почину консервативного министра просвещения Кассо, ряда специальных институтов для подготовки за рубежом будущих российских профессоров, Лаппо-Данилевский был одним из инициатором протеста Академии наук против подобного возвращения во времена Годунова и «великого посольства» Петра²⁹. Либералы тогда получили замечательную возможность разыграть против министерства и консервативных публицистов (среди которых был и Василий Розанов) карту подлинно «национальной науки» и ее интересов³⁰.

Еще важнее был сдвиг времен Первой мировой войны, которая дала не только возможность союза с демократиями Запада (против немецкого авторитаризма). После 1914 года прогрессисты и умеренно левые могли за-

С. 7–8; Корзун В.П. Невостребованное наследие (Материалы по истории науки в архиве А.С. Лаппо-Данилевского) // Археографический ежегодник. 1994. С. 255–263.

²⁸ *Lappo-Danilevsky A.S. The development of science and learning in Russia // Russian Realities and Problems / J.D. Duff (ed.). Cambridge, 1917. P. 228.*

²⁹ См. Протоколы экстраординарного Общего собрания 20 мая 1911 г. См. гораздо более резкие и пространные наброски Лаппо-Данилевского: Санкт-Петербургский филиал архива Российской Академии наук (ПФА РАН). Ф. 113. Оп. 2. Д. 64. Л. 4–6.

³⁰ *Asper. Поехали // Русские ведомости. 1911. 30 апреля; см. также: Новое время. 1911. 2 февраля; 8 мая; Утро России. 1911. 7 мая. Наиболее проправительственная точка зрения: Бундлин Б. По поводу // Газета для всех. 1911. 11 мая.*

говорить на языке «национальных интересов» (например, о национальной школе — в поддержку либеральных реформ нового министра просвещения П.Н. Игнатьева)³¹. Война поставила вопрос о своеобразной академической мобилизации перед вызовом бывшего авторитета немецкой науки, ставшей теперь враждебной. Историк активно работал в специальной Комиссии по научному и культурному сближению с союзниками, созданной в 1916 году при участии министерства просвещения (работу курировал товарищ министра, член-корреспондент РАН зоолог Шевяков), в Русско-английском обществе и аналогичном Русско-французском комитете³². Именно Лаппо-Данилевский стал инициатором создания двух связанных между собой академических комиссий: по подготовке справочника «Наука в России» и по изданию фундаментального сборника «Русская наука» (объемом почти в 100 листов). Первый справочник, учитывая формат *bibliographie raisonnee* (и немецких указателей «*Minerva*»), должен был охватывать и фиксировать все поле научной продукции страны³³; вторая идея заключалась в сознательной оптимизации представительства русской науки перед лицом мировой. Образцом для второго начинания Лаппо-Данилевский выбрал солидное двухтомное издание «Французская наука», представленное на выставке в Сан-Франциско в 1915 году и подготовленное при непосредственном содействии французского министерства культуры (его авторами, среди прочих, были Бергсон, Дюркгейм, Лансон)³⁴. Замысел заключался в подготовке

³¹ См.: Рубинштейн М. Война и идеал воспитания (к вопросу о национализме в педагогике) // Вестник воспитания. 1916. № 3. С. 32–72; Кареев Н. Мысли о русской науке по поводу теперешней войны // Чего ждет Россия от войны. Пг., 1915.

³² Комиссия по вопросу об установлении более деятельных отношений с Англией работала с осени 1916 года. См.: ПФА РАН. Ф. 2. Оп. 1-1915. Д. 36. Л. 91–93, 192 и сл.; Российский государственный исторический архив (далее — РГИА). Ф. 733. Оп. 156. Д. 764 (здесь хранятся предложения университетских советов по оптимизации форм научного сотрудничества); протоколы ряда заседаний — в личном фонде Шевякова (РГИА. Ф. 1129. Оп. 1. Д. 46). См. также: ПФА РАН. Ф. 113. Оп. 2. Д. 86 (Русско-английское общество), 88 (Русско-французский комитет). В сравнительном контексте см.: Kollegen — Kommilitonen — Kämpfer. Europäische Universitäten im Ersten Weltkrieg / M. Trude (Hrsg.). Stuttgart, 2006; Наука, техника и общество России и Германии во время Первой мировой войны / под ред. Э.И. Колчинского, Д. Байрау, Ю.А. Лайуса. М., 2007.

³³ Решение общего собрания АН о такой подготовке принято 3 декабря 1916 года (ПФА РАН. Ф. 2. Оп. 1-1916. Д. 44. Л. 53). Будущий справочник «Наука и ее работники», первый выпуск вышел в 1920 году в Петрограде под редакцией С. Ольденбурга. См. также: Fuchs E. The “International Catalogue of Scientific Literature” as a Mode of Intellectual Transfer: Promise and Pitfalls of International Scientific Co-operation before 1914 // Transnational Intellectual Network. Forms of Academic Knowledge and the Search for Cultural Identities / C. Charle, J. Schriewer, P. Wagner (eds). Frankfurt a. M.; N.Y., 2004. P. 165–193.

³⁴ См. «контрпропагандистские» работы во Франции: Duhem P. La Science Allemande. Paris, 1915; Picard E. L'Histoire des Sciences et les Préentions de la Science Allemande. Paris, 1916 и др. См. новейшие обобщающие исследования: Rasmussen A. Mobiliser, remobiliser, démobi-

фундаментального сборника очерков об истории и актуальном состоянии отечественной науки, которые совместно, по скоординированному плану, написали бы ведущие представители соответствующих областей знания; активная работа по параллельной подготовке русского и французского изданий развернулась уже в 1917–1918 годах³⁵. Из этой идеи (так в итоге и не реализовавшейся из-за революции и смерти историка, в форме одной книги) институционально выросла практически вся историография науки в России в XX веке как особая субдисциплина³⁶ (Комиссия по истории знаний во главе с В. Вернадским в 1920-е годы и Институт истории науки и техники в последующее десятилетие).

Сотрудничество с союзниками и обширные планы по реорганизации архивного дела в масштабах всей страны остались из-за революционного кризиса неосуществленными — приход к власти большевиков Лаппо-Данилевский наверняка рассматривал как катастрофу, выхода из которой в ближайшем будущем он не видел. Именно Питирим Сорокин в мемуарах оставил очень теплые воспоминания о последних днях смертельно больного историка, который намеревался приняться (за полтора десятка лет до Александра Кожева) за внимательное прочтение полузабытой тогда «Феноменологии духа» Гегеля³⁷.

Универсализм и самоизоляция

Питирим Александрович Сорокин (1889–1968) был хорошо знаком с Лаппо-Данилевским по Петроградскому университету и по социологической секции исторического общества при университете, в которой активно работал и сам Сорокин. Еще в 1915 году в журнале исторического общества теоретической программе Лаппо-Данилевского посвятил специальную статью его ученик Николай Кондратьев, друг и единомышленник Сорокина еще со студенческой скамьи³⁸. Лаппо-Данилевский был также руководителем спе-

liser: les formes d'investissement scientifique en France dans la Grande Guerre // 14–18 Aujourd'hui. Today. Heute. 2003. No. 6. P. 49–59; *Eadem*. La "science française" dans la guerre des manifestes, 1914–1918 // Mots. Les langages du politique. 2004. Vol. 76. P. 9–23.

³⁵ См. подробнее: *Тункина И.В.* К истории сборника «Русская наука» // Комиссия по истории знаний. 1921–1932 гг. Из истории организации историко-научных исследований в Академии наук. СПб., 2003. С. 637–659; *Беленький И.Л.* О контекстах проекта сборника «Русская наука» // Россия и современный мир. 2009. № 2. С. 151–161.

³⁶ Некоторые подготовленные статьи были напечатаны уже в 1920-е годы; см.: *Ростовцев Е.А.* А.С. Лаппо-Данилевский и петербургская историческая школа. С. 219, примеч. 447.

³⁷ *Сорокин П.* Долгий путь / пер. с англ. Сыктывкар, 1991. С. 145.

³⁸ *Кондратьев Н.* Теория истории А.С. Лаппо-Данилевского (К двадцатипятилетию его научно-литературной деятельности) // Историческое обозрение. 1915. Т. 20. С. 105–124.

циального Социологического общества имени Ковалевского, созданного в 1916 году еще при жизни и ближайшем участии этого выдающегося русского историка и правоведа (его секретарем и ближайшим сотрудником в последние годы был именно Сорокин). Ковалевский сам был воплощением ранней отечественной социологии, который связывал в своем творчестве пореформенную эпоху с 1910-ми годами³⁹; при этом его всеевропейские связи и известность только подчеркивали объективно «импортированный» характер этой науки для российской гуманитаристики. Дело было, конечно, не только в биографии Ковалевского, но и в «подозрительном» статусе социологии с правительственной точки зрения (некоторая косность академического цеха была при этом фактором скорее приводящим). В первом же сборнике серии «Новые идеи в социологии» (аналогичные альманахи в области философии, правоведения и психологии тоже сознательно почти наполовину комплектовались из переводных статей или рефератов и рецензий зарубежных работ) Ковалевский отмечал трудности институционализации этой науки на фоне успешного признания ее на Западе:

У нас существует всего-навсего одна кафедра на всю империю в 160 миллионов жителей и то в частном университете, в Психоневрологическом институте, получившем свой устав непосредственно от монарха, минуя Министерство народного просвещения...

Нужно ли говорить, что в <Академии> казенной ничто не напоминает даже о существовании целой иерархии конкретных наук об обществе, завершаемой абстрактной, так называемой чистой социологией. Все они сведены к одной — к финансовому праву. Меня менее поразило бы известие, что в Нанкине или Пекине создана кафедра социологии, чем слух о том, что г. Кассо [тогдашний министр просвещения. — А. Д.] затевает такую реформу в Москве или в Петербурге⁴⁰.

Сорокин преподавал социологию в упомянутом Психоневрологическом институте, много работал и переводил для сборника «Новые идеи в социологии»⁴¹; в годы войны специально писал о влиянии новейших собы-

Опубликованная переписка свидетельствует о постоянных контактах Лаппо-Данилевского и Кондратьева и после 1917 года; последний также хлопотал в 1918–1919 годах об издании «главной книги» историка о политических идеях в России в близком эсерам издательском товариществе «Задруга»; см.: Кондратьев Н.Д. Рынок хлебов и его регулирование во время войны и революции. М., 1991. С. 474–478.

³⁹ См. его книгу: Ковалевский М. Современные социологи. СПб., 1905 и статью: Он же. Современные французские социологи // Вестник Европы. 1913. № 7. С. 339–363.

⁴⁰ Ковалевский М.М. Социология на Западе и в России // Новые идеи в социологии. Сб. 1. Социология. Ее предмет и современное состояние. СПб., 1913. С. 3–4.

⁴¹ См. о раннем этапе его биографии: Голосенко И.А. Социология Питирима Сорокина (русский период деятельности). Самара, 1992; и особенно детально: Дойков Ю.В. Пити-

тий на развитие сознания и научной мысли страны⁴². Он предпочел занятия социологией сравнительному правоведению, социальной психологии или всеобщей истории, выбрав именно дисциплину наиболее открытую и интернационально ориентированную, весьма многообещающую на фоне коренных социальных сдвигов. В одном из текстов памяти Ковалевского он специально остановился на его постоянных связях с разными западными социологами, преимущественно английскими и французскими (при том Тарду и Вормсу тот явно отдавал предпочтение перед Дюркгеймом)⁴³. Эту «иностранность» в упрек и Ковалевскому, а позднее и Сорокину — как автору двухтомной «Системы социологии» — ставил маститый историк и автор немалого числа работ по социологии Николай Кареев (глава Исторического общества при Петербургском университете)⁴⁴. По сути, исключал Ковалевского из числа русских социологов и автор специальной американской работы Юлиус Геккер (она не случайно вышла в военном 1915 году)⁴⁵, который главное внимание уделял как раз народнической социологии Лаврова, Михайловского и др.

Здесь следует напомнить, что Ковалевский стоял у истоков первого российского учебного заведения, положившего социологию в основу преподавания; и очень показательно, что этот институт был создан и работал за границей. Речь идет о Русской высшей школе общественных наук в Париже, которая была открыта — по образцу европейских *ecoles libres* — в 1901 году при участии Ковалевского, Гамбарова и помощи ведущих французских обществоведов и историков (она была закрыта после начала русской революции по причине растущих расхождений и бурных столкновений между сторонниками разных левых партий среди слушателей)⁴⁶. Изменившие-

рим Сорокин: Человек вне сезона. Т. 1. Архангельск, 2008 (доступна на сайте: <http://www.doykov.1mcg.ru/data/books/Booklet_Sorokina.pdf>). Об общем контексте развития социологической науки в России: Novikov N. Die Soziologie in Russland. Berlin; Wiesbaden, 1988; Голоценко И.А., Козловский В.В. История русской социологии XIX–XX вв. М., 1995.

⁴² Сорокин П. На распутье трех дорог (Война и отношение к ней русской общественной мысли) // Ежемесячный журнал. 1915. № 9–10. С. 488–508.

⁴³ Сорокин П.А. М.М. Ковалевский и его западные друзья (Ф. де Куланж, Гексли, Тард, Дюркгейм, Вормс, де Грееф, Бергсон, Эсман, Ферри, Спенсер, Тэйлор, Маркс, Вандервельд, Верхарн и др.) // Он же. Общедоступный учебник социологии. Статьи разных лет. М., 1994. С. 267–273 (впервые опубликовано в «Биржевых ведомостях» в 1916 году).

⁴⁴ См.: Кареев Н.И. Основы русской социологии. СПб., 1996.

⁴⁵ Сочувственную рецензию на нее написал Кареев: Кареев Н.И. Американская книга о «русской» социологии // Русские записки. 1916. № 6. С. 295–303. Именно Кареев (несмотря на прохладные отношения с Лаппо-Данилевским) должен был писать статью о социологии для сборника «Русская наука»: Тункина И.В. К истории сборника «Русская наука». С. 653.

⁴⁶ Помимо основательной работы Д. Гутнова о парижской Высшей школе (Гутнов Д.А. Русская высшая школа общественных наук в Париже (1901–1906 гг.). М., 2004), укажем также

ся политические условия с февраля 1917 года позволили осуществлять институционализацию социологии в самой России с широким размахом. И одним из первых, кто поддержал эту идею в рамках Академии наук, был Лаппо-Данилевский. Он поставил вопрос об организации специального исследовательского Института социальных наук (на базе закрывшегося Александровского лицея в Царском Селе) — в качестве примера он указывал Институт Карнеги в США, лейпцигский институт К. Лампрехта и Социологический институт в Брюсселе⁴⁷. Однако экспертное заключение Наркомпроса весной 1918 года было отрицательным, в том числе из-за параллельной организации Социалистической (позднее — Коммунистической) академии общественных наук. Более удачливым оказался в условиях Гражданской войны и академической разрегулированности окольный путь, выбранный Сорокиным (который тогда отошел от активной деятельности в эсеровской партии) — через работу образовательного Социобиблиологического института, тоже по примеру схожих учреждений в Брюсселе и в Берлине⁴⁸. Активная работа Сорокина в начале 1920-х годов в полусвободной публицистике и новосозданных образовательных структурах (в том числе на факультете общественных наук в Петроградском университете) стала одной из причин его высылки из Советской России в начале 1920-х годов. Социология на протяжении 1920-х годов в Советской России последовательно стала заменяться специальными дисциплинами идеологического порядка⁴⁹.

После недолгого пребывания в Европе Сорокин переехал в Соединенные Штаты и с 1928 года возглавил департамент социологии в Гарвардском университете, которому предстояло перехватить инициативу по развитию этой дисциплины у Чикаго⁵⁰. Его сводную книгу «Современные социоло-

статья: *Гергулов Р.Е.* Российская социология в Германии (конец XIX — начало XX вв.) // Социологические исследования. 2007. № 5. С. 114–120.

⁴⁷ Лаппо-Данилевский не только представил на заседании общего собрания Академии наук 5 (18) июня 1918 года проект создания этого института, но и написал специальную статью «Назревшая потребность» (которую послал А.Л. Вольинскому) о необходимости создания такого института для открытых под другим названием «Биржевых ведомостей»: ПФА РАН. Ф. 113. Оп. 3. Д. 68. Л. 4, 5, 8. См.: *Трибунский П.А.* Эпистолярные материалы А.С. Лаппо-Данилевского в Российском государственном архиве литературы и искусства // Историческая наука и методология истории в России XX века: к 140-летию со дня рождения акад. А.С. Лаппо-Данилевского. СПб., 2003. С. 322–323.

⁴⁸ Социологический институт // Наука и ее работники. 1920. Вып. 1. С. 24.

⁴⁹ См.: *Finkel S.* On the Ideological Front: The Russian Intelligentsia and the Making of the Soviet Public Sphere. New Haven, 2007.

⁵⁰ *Camie C.* Three Departments in Search of a Discipline: Localism and Interdisciplinary Interaction in American Sociology, 1890–1940 // *Social Research*. 1995. Vol. 62. P. 1003–1033; *Nichols L.T.* The Establishment of Sociology at Harvard: A Case of Organizational Ambivalence

гические теории» (1928), которая была построена по «предметному», а не национальному принципу и надолго стала стандартным университетским учебником социологии, хорошо дополняет статья о русской социологии, помещенная годом ранее в «*American Sociological Review*». В ней Сорокин подчеркивает оригинальный и самостоятельный вклад в мировую науку отечественной социологии, развитие которой обозначено переходом от социально-философских доктрин к менее спекулятивным методам исследований (особенно выделял он поворот к «психологии» и наследие своего учителя — правоведа Петражицкого)⁵¹. Однако уже во второй половине 1930-х годов Сорокин (оставаясь в зените своей славы и институциональной власти) явно теряет влияние на следующее поколение социологов в самом Гарварде: в первую очередь это касается Роберта Мертон и особенно Толкотта Парсонса. Крупнейший труд Сорокина «Социальная и культурная динамика» (1937–1941), описывающий с социопсихологической точки зрения — вдохновляющих импульсов поведения — все страны и эпохи всемирной истории, в противовес работам прежнего десятилетия по социальной мобильности, не встретил столь же единодушного одобрительного приема. Критики, близкие кругу молодого Парсонса, даже печатно называли эту попытку синтеза «социоастрологией»⁵² (в работе 1941 года «Кризис нашего времени» публицистические мотивы в духе Бердяева становятся у Сорокина все заметней). Показательно, что эта «главная книга» Сорокина оказалась жестко раскритикована именно историком — это, помимо внутри-университетских коллизий, свидетельствовало и о том, что время широких историко-социологических синтезов в духе Лампрехта или Ковалевского прошло безвозвратно⁵³.

and Scientific Vulnerability // *Science at Harvard University: Historical perspectives* / C.A. Elliott, M.W. Rossiter (eds). Harvard, 1992. P. 191–222.

⁵¹ Сорокин П.А. О русской общественной мысли. СПб.: Алетейя, 2000. С. 29–38.

⁵² Именно так озаглавил в 1937 году свой очерк о книге Сорокина на страницах влиятельного журнала «*The Southern Review*» молодой историк Французской революции Крейн Бринтон (1898–1968), ровесник и союзник Парсонса по гарвардским кружкам и сообществам (резкий ответ Сорокина, «Историоника», оказался втуне). Дело было, однако, не только в личных нападках на Сорокина, но и в недовольстве Бринтона всей тогдашней социологией и ее аналитическими средствами. См.: *Gerhardt U. Talcott Parsons: An Intellectual Biography*, Cambridge. UK; N.Y., 2002. P. 53–58.

⁵³ Кстати, в России начала XX века практически не услышанной осталась полемика Си-миана и Сеньобоса, историков и социологов во Франции (хотя спор вокруг идей Лампрехта имел достаточный резонанс) — вероятно, в силу слабой дифференциации научного поля социология еще не воспринималась как действительно конкурирующая дисциплина для историков. См.: *Lutz R. Lamprecht-Streit und französischer Methodenstreit der Jahrhundertwende in vergleichender Perspektive* // *Historische Zeitschrift*. 1990. Bd. 251. S. 325–363; *Ростиславлева Н.В.* Рецепция творчества К. Лампрехта в Германии и России // *Диалог со временем*. Вып. 14. М., 2005. С. 177–189.

Начиная с середины 1930-х годов в деятельности Сорокина прежний пафос институционального строительства, с широким обращением к интернационально-научному контексту, явно сменился автономными попытками «просчитать» и обосновать социологически, в том числе и на историческом материале, принципы моралистического и социально-философского проповедничества, который он ранее сам осуждал у Франка и русских неоиdealистов (характерны в этой связи его послевоенные исследования по созидательному альтруизму в Гарварде, которым он отдал много лет, после того как во главе департамента оказался Парсонс)⁵⁴. Его проигрыш структурным функционалистам, долгая «закатная» карьера и попытка наладить контакты с советской оттепельной социологией в конце жизни⁵⁵ едва ли могут быть объяснены некоей непреодоленной внутренней ностальгией, возвращением к истокам и т.д. — напротив, в 1930-е и 1940-е годы он последовательно действовал как вполне американский ученый⁵⁶. В случае Сорокина интенсивный «ввоз» западных теорий в молодости не обернулся позднейшими попытками экспорта русской духовности в Америке. В то же время небезосновательно указывают на то, что «интегрализм» позднего Сорокина может трактоваться и как «своеобразная светская модификация русской идеи всеединства» от Соловьева до ее истоков у Достоевского и славянофилов⁵⁷. То, что принято считать российской интеллектуальной традицией (примат этики, религии и «сущностного», онтологического мировоззрения), если и дало о себе тут знать, то весьма опосредованно: скорее, особые черты его подхода действительно вполне вписываются в эту гипотетическую модель новой метанауки об обществе. Позднему Сорокину становилось тесно в рамках конвенциональной социологии, пусть и самой интернациональной. Русское происхождение, слишком «размашистый» для глубокой целенаправленной работы интерес к историко-культурным примерам и аналогиям, а также чуждость элитарному университету, скорее, сильнее подчеркивали теоретическую старомодность бихевиоризма Сорокина образца 1910–1920-х годов и его персональную неспособность к командной работе⁵⁸, — на фоне комплексной социологии но-

⁵⁴ Nichols L. Deviance and Social Science: The Instructive Historical Case of Pitirim Sorokin // Journal of the History of the Behavioral Sciences. 1989. Vol. 25. P. 335–355.

⁵⁵ Кривонос Ю.И. Несбывшаяся надежда Питирима Сорокина // Возвращение Питирима Сорокина. М., 2000. С. 111–118.

⁵⁶ С 1923 года Сорокин вообще перестает печататься по-русски (кроме нескольких публикаций середины 1940-х годов); о трудностях его адаптации в новом окружении: Некрасов А.А. Питирим Сорокин в США // Вопросы истории. 2004. № 2. С. 148–157.

⁵⁷ Сапов В.В. «Магический кристалл» социологии // Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика. СПб., 2000. С. 1031.

⁵⁸ В 1950-е годы отношения Парсонса и Сорокина испортились окончательно, когда Сорокин обвинил младшего и более удачливого коллегу фактически в плагиате его собствен-

вого типа, которая строилась на базе теории деятельности и многоплановом совмещении парадигм Дюркгейма и Вебера. Немецкий междисциплинарный импорт (прежде «экономических» работ Зомбарта и Вебера) на американскую почву, осуществленный Парсонсом в 1920–1930-е годы, оказался плодотворней и перспективней всемирного культурно-исторического «интегралистского» синтеза с сильной долей бихевиоризма и строительства развернутых всеобъяснительных схем в духе Шпенглера или Тойнби⁵⁹.

Жажда дисциплиностроительства и открытость к внешним заимствованиям, характерные для российского периода творчества Сорокина, в «самой передовой» в плане возможностей и перспектив Америке (после завершения фазы собирания гарвардского социологического департамента) обернулись скороспелыми синтезами, моралистической социософией и самоизоляцией. В смысле европейской «пары» для случая Сорокина можно рассматривать творчество его коллеги и приятеля Жоржа (Георгия) Гурвича, для которого философский и правоведческий дебют дореволюционных лет и эмигрантские работы 1920-х годов стали предисторией успеха уже в качестве сутуго французского философа и социолога, ценой схожей потери «индивидуально»-российской идентичности⁶⁰. Созвучие «пророчеств» Сорокина и критических идей бунтарской социологии 1960-х или позднейшим кризисным оценкам (включая его глорификацию в постсоветской России, озабоченной поисками коллективных ценностей и культурной идентичности) вряд ли скорректируют его в итоге сложившуюся репутацию как социолога, принадлежащего прошлому науки и интересному лишь с этой исторической стороны.

Народное, национальное, социальное

Короткий чехословацкий эпизод в биографии Сорокина (1922–1923) отмечен написанием заметного труда «Социология революции» — ближайшее

ных работ. См. весьма благожелательные к Сорокину труды: *Johnston B. Sorokin and Parsons at Harvard: Institutional Conflict and the Rise of a Hegemonic Tradition // Journal of the History of the Behavioral Sciences*. 1986. Vol. 22. P. 107–127; *Zafirovski M. Parsons and Sorokin: A Comparison of the Founding of American Sociological Theory Schools // Journal of Classical Sociology*. 2001. Vol. 2. P. 227–256. См. обобщающие биографические труды: *Johnston B. Pitirim A. Sorokin: An Intellectual Biography*. Lawrence, 1995; *Sorokin and Civilization: A Centennial Assessment*. New Brunswick, NJ: Transaction, 1996.

⁵⁹ О специфике работы молодого Парсонса с немецким наследием — в специфическом гарвардском окружении: *Camie C. Talcott Parsons before the Structure of Social Action; Talcott Parsons: The Early Essays*. Chicago, 1991. P. IX–LXIV; *Camie C. From Amherst to Heidelberg: On the Origins of Parsons's Conception of Culture // After Parsons: A Theory of Action for the Twenty-First Century / R.C. Fox, V.M. Lidz, H.J. Bershady (eds)*. N.Y., 2005. P. 240–263.

⁶⁰ См.: *Голосенко И.А., Гергилов Р.Е. Георгий (Жорж) Гурвич как социолог // Журнал социологии и социальной антропологии*. 2000. Т. 3. № 1. С. 17–33.

участие в этом принял видный украинский социолог и политический деятель Никита Ефимович Шаповал (1882–1932)⁶¹. Как и Сорокин, Шаповал был выходцем из крестьянских низов и очень быстро (будучи давним эсеровским активистом, журналистом и специалистом по лесоводству) делал политическую карьеру с весны 1917 года; в начале 1919 года он недолгое время занимал пост министра земельных дел Украинской народной республики⁶². Первые письма в Прагу Сорокин писал ему еще из Петрограда, рассчитывая наладить сотрудничество с заграницей; особенно в плане обмена литературой по обществоведению, крайне недостаточно поступающей в Россию после 1914 года. С 1924 года и до самой смерти Шаповал возглавлял пражский Украинский институт обществознания, членом-корреспондентом которого был и Сорокин. Самым важным пунктом их расхождения оказались не теоретические проблемы социологии, а национальный вопрос. В марте 1926 года Сорокин писал своему корреспонденту:

Вы знаете, что я абсолютно ничего не имею против украинского возрождения и желаю ему всяческого успеха. Единственно, что я считал бы вредным и для дела возрождения, и для всего общероссийского дела, — это разжигание антагонизма против России или «Московии». Здесь я тверд и всякое подобное дело считаю вредным для возрождения самого [украинства] и для всей российской культуры. Хотим ли мы этого или нет, но Киев, и Москва, и Иркутск связаны неразрывно. И пади эта связь — конечно все на долгое время и для Москвы, и Киева, и Иркутска. С другой стороны, существование связи не мешает и Киеву, и Москве, и Верхнеудинску развиваться по-своему и иметь свою физиономию. Здесь, я так сказать «линкольнианец»; и как он — даже путем войны — помешал распадению Америки на Северную и Южную — так же нужно сделать все, чтобы помешать разрыву России на части. Это было бы великим несчастьем⁶³.

Дело не только в том, что бывший российский эсер Сорокин доказывал оставшемуся в политике эсеру украинскому пользу бывшего общегосударственного единства. В деле интернационализации своей науки оба социолога были вполне едины; разница тут восходит еще к дореволюционным годам. Здесь стоит отметить, что сам Сорокин был по происхождению коми

⁶¹ Книга вышла в 1925 году на английском языке. Ее русский перевод, обнаруженный в архивном фонде Шаповала в Киеве (перемещенном из Праги в 1945–1946 годах), появился только в 2005 году.

⁶² О Шаповале см.: *Волович В., Юренко О.* Видатний політичний діяч України, фундатор вітчизняної соціології Микита Юхимович Шаповал // Шаповал М. Загальна соціологія [1929]. Київ, 1996. С. 4–18; о его отношениях с Сорокиным: *Юренко О.П.* Микита Шаповал і Питирим Сорокін: взаєморозуміння, співпраця, протистояння // Там же. С. 356–365. Письма Сорокина Шаповалу опубликованы в конце 1990-х годов (см.: *Дойков Ю.В.* Питирим Сорокин и Никита Шаповал // Социологический журнал. 1999. № 3–4. С. 215–227) и в недавнем русском издании «Социологии революции».

⁶³ *Сорокин П.А.* Социология революции. М., 2005. С. 568.

и, как он сам пишет в своих мемуарах «Дальняя дорога», в детстве и отрочестве говорил, как и большинство соседей, на двух языках в равной мере — на русском и зырянском. Его первые опубликованные статьи и книжки начала 1910-х годов представляли собой этнографические очерки и заметки о народе коми и обновлении этого края⁶⁴. Но никакого широкого национального движения, ни планов воссоединения народа (как у украинцев, точнее тогдашних малороссов и «русинов»), ни исторической государственной традиции — ничего этого у коми не было. Деятельность имперского государства (или общества, поскольку в данном случае их различие неважно) по отношению к подобным народам вполне вписывалась в идею цивилизаторской, а не порабощающей миссии центра⁶⁵.

Расхождения не мешали довольно близким отношениям двух социологов; упомянутая выше статья Сорокина о русской социологии была напечатана и в журнале Института обществознания «Суспільство» [«Общество»]. Как Сорокин, Шаповал ориентировался на перенесение бихевиористских подходов и моделей в социологию (с большим акцентом на национальную проблематику). Украинская специфика не препятствовала широкому кругу интересов и европейских ангажементов института; в «Суспільстве» также выходили на украинском языке публикации Масарика, шведского государствоведа Рудольфа Челлена, а также лидера немецкой формальной социологии Леопольда фон Визе (из Кельнского института социальных исследований)⁶⁶.

В деле институционализации украинской науки за рубежом у института обществознания (громадознавства) Шаповала был прямой предшественник — Украинский социологический институт в Вене и Праге (1919–1923), созданный стараниями выдающегося украинского историка и политика Михаила Сергеевича Грушевского (1866–1934). Это случилось осенью 1919 года, через несколько месяцев после того, как он предпочел оставить Украину — там к власти пришли его оппоненты из следующей когорты радикальных украинских политиков (Винниченко, Петлюра), которых уже к осени 1920 года окончательно победили большевики. Грушевский принадлежал к поколению Лаппо-Данилевского, а не Шаповала или Сорокина —

⁶⁴ В конце 1990-х годов они даже были собраны под одну обложку и опубликованы в Сыктывкаре: Сорокин П. Этнографические этюды. Сыктывкар, 1999. О среде становления Сорокина: Гуркина Н.К. Интеллигенция Европейского Севера России в конце XIX — начале XX веков. СПб., 1998.

⁶⁵ См. попытки Сорокина примирить государственную целостность и принцип самостоятельного развития национальностей в брошюре 1917 года «Автономия национальностей и единство государства».

⁶⁶ Ріпецький С. Український соціологічний інститут у Відні та Український інститут громадознавства в Празі // Українці в американському та канадському суспільствах: Соціологічний збірник. Джерзі Сіті, 1976. С. 303–307. Благодарю Степана Захаркина (Киев) за указание на этот источник.

он закончил Киевский университет (где учился у Владимира Антоновича) и после сдачи магистерских испытаний был избран в 1894 году профессором Львовского университета, где до начала Первой мировой войны преподавал историю Украины и руководил деятельностью Научного общества имени Шевченко. Первый том его фундаментального труда «История Украины-Руси» вышел уже в 1898 году; через шесть лет в Петербурге на украинском языке (фактически запрещенном в Малороссии как письменный язык с Эмского указа 1876 года) в академическом сборнике по славяноведению вышла его короткая программная работа «Обычная схема русской истории и дело ее рационального изложения»⁶⁷. В ней он критически ревизовал принцип «естественного» и непрерывного развития (общерусской истории из Киева через Владимир в Москву, отчасти продолжая «федералистские» трактовки истории русских земель и народностей у Афанасия Шапова или Николая Костомарова⁶⁸. Важной чертой украинского научного проекта Грушевского был его программно интернациональный и отчасти экстерриториальный характер, поскольку этот проект принципиально перешагивал границы Австро-Венгерской и Российской империй. Его многолетняя работа во Львове вовсе не означала, как полагали многие политически ангажированные недоброжелатели (включая киевских и одесских коллег-историков), выбора в пользу одной империи против другой⁶⁹. Он стремился уже к концу XIX века конституировать Научное общество имени Шевченко как национальную академию под общим патронатом имперского правительства в Вене — по примеру польской *Akademia Umiejętności* в Кракове (1873) или чешской *Böhmische Kaiser-Franz-Joseph-Akademie der Wissenschaften, Literatur und Kunst* в Праге (1890)⁷⁰, не теряя при этом первостепенной ори-

⁶⁷ Грушевский М. Звичайна схема рускої історії й справа раціонального укладу історії східного слов'янства // Статті по славяноведенню / под ред. орд. академіка В.И. Ламанського. СПб., 1904. Вип. 1. С. 298–304.

⁶⁸ Plokhy S. *Unmaking Imperial Russia: Mykhailo Hrushevsky and the Writing of Ukrainian History*. Toronto, 2005; важные очерки о «национальных» историографиях в Российской империи: *Historiography of Imperial Russia: The Profession and Writing of History in a Multinational State* / T. Sanders (ed.). Armonk, NY, 1999.

⁶⁹ О дилеммах самосознания галицких интеллектуалов см.: Himka J.P. *The Construction of Nationality in Galician Rus': Icarian Flights in Almost All Directions* // *Intellectuals and the Articulation of the Nation*. Ann Arbor, 2001. P. 109–164.

⁷⁰ О развитии науки в разных центрах Австро-Венгерской империи: *Wegenetz europäischen Geistes. Wissenschaftszentren und geistige Wechselbeziehungen zwischen Mittel- und Südosteuropa vom Ende des 18 // Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg* / R.G. Plaschka, K.H. Mack (Hrsg.). Wien, 1983. Специально о Грушевском: Тельвак В. Постать Михайла Грушевського в польській історіографії (кінець XIX–XX ст.) // Український історичний журнал. 2006. № 5. С. 65–82; Он же. Чеська грушевськіана першої третини XX століття // Історіографічні дослідження в Україні. Київ, 2008. Вип. 19. С. 240–258.

ентации на Приднепровскую Украину. Когда после 1905 года ситуация в Российской империи для национальных инициатив улучшилась и прежние цензурные запреты были отменены, Грушевский и его соратники развернули деятельность Украинского научного товарищества в Киеве. Оценивая перспективы этого общества, Грушевский в одной из статей ссылаясь именно на пример польской науки и созданного в 1907 году в Варшаве польского «Towarzystwo Naukowe Warszawskie»:

Я думаю, в теперешних обстоятельствах украинская общественность России (я имею в виду сознательную ее часть) должна придерживаться тактики поляков в то недавнее время, когда их, не запрещая польского слова, вытеснили со своим польским словом из всех публичных, официальных сфер жизни, сколько позволяли запретительные мероприятия государства... Профессора-поляки не стремились обогнать российских коллег в заполнении своими трудами русских издательств, не старались блеснуть на общероссийских съездах, а отдавали свой труд местным польским культурным и научным предприятиям, гораздо более скромным — но своим, предназначенным для своего, обделенного казенным режимом сообщества. И общественность эта твердо придерживалась принципа «ліпше своє латане, як чуже хапане» [«лучше свое заплатаемое, чем чужое краденое»] и изо всей силы старалось поддерживать свои издательства, свои культурные институты и начинания, как бы скромно и убого они не смотрелись бы в сравнении с тогдашним расцветом официальной и неофициальной российской культуры⁷¹.

Между тем Грушевский был связан с российскими научными институтами довольно тесно, и отнюдь не только с официальными. Весной 1903 года он читал небольшой курс по истории Украины слушателям уже упомянутой Высшей школы общественных наук в Париже (в 1904 году он издал эти лекции в виде «Очерка истории украинского народа», первого «внеимперского» масштабного сочинения по украинской истории на русском языке⁷²). Инициатором приглашения Грушевского был один из организаторов школы антрополог Хведір Вовк (Федор Волков), активный деятель украинского движения и соратник Михаила Драгоманова еще с 1870-х годов⁷³. И Вовк, и

⁷¹ Грушевський М. Не пора [1908] // Он же. Твори: у 50 т. Львів, 2005. С. 79.

⁷² Тельвак В. Творча спадщина Михайла Грушевського в оцінках сучасників (кінець ХІХ — 30-ті роки ХХ століття). Київ; Дрогобич, 2008. С. 63–64. Эта книга — одно из самых детальных описаний рецепции трудов историка.

⁷³ Вовк большую часть научной жизни провел за границей и как ученый был связан именно с французской антропологией. См.: Франко О. Федір Вовк — вчений і громадський діяч. Київ, 2000. С. 92–94 (о Русской высшей школе в Париже), 314–315 (о подготовке украинской энциклопедии). О деятельности Вовка (Волкова) в Петербурге в 1905–1918 годах: Могильнер М. Homo imperii: История физической антропологии в России (конец ХІХ — начало ХХ в.). М., 2008 (гл. 1). Вовк должен был написать очерки об антропологии и доисториче-

Грушевский были ведущими авторами «Украинской энциклопедии», коллектив для написания которой стал формироваться с начала 1910-х годов (явным примером тут была русскоязычная многотомная «Еврейская энциклопедия»). Начавшаяся Первая мировая война, с одной стороны, привела к новым затруднениям в работе украинских организаций в Российской империи, с другой — подхлестнула интерес к завоеванной в 1915–1916 годах Западной Украине — Галиции и Буковине⁷⁴. В итоге энциклопедия появилась в 1916 году как двухтомный труд «Украинский народ в его прошлом и настоящем»; ее редакторами были академики Императорской Академии наук Алексей Шахматов и Федор Корш⁷⁵. Примечательно, что самыми горячими сторонниками украинской науки (но не государственной самостоятельности!) были в российской академии скорее филологи, чем историки; хотя Лаппо-Данилевский как последовательный либерал в 1904–1905 годах активно поддерживал отмену цензурных ограничений выпуска книг и периодики на украинском языке⁷⁶.

Импорт иностранных моделей Грушевским не ограничивался только организационными принципами: современные исследователи обсуждают, в частности, связь его историографической концепции с социально-психологическими и культурно-национальными ориентирами такого плодovitого и спорного автора, как Карл Лампрехт, который был директором исследовательского исторического института в Лейпциге⁷⁷. Как и Лампрехт, Грушевский обращался к таким дисциплинарным подходам, которые большинству коллег казались слишком схематичными и «нивелирующими», — в первую очередь к социологии.

Таким образом, интерес Грушевского к социологии в начале 1920-х годов отнюдь не был эксцентричной случайностью, а был подготовлен его предшествующей деятельностью историка и ученого-организатора. Осенью 1919 года в проекте Украинского социологического института он очерчивал его программу так:

ской археологии (совместно с Д.Н. Анучиным) для сборника «Русская наука»: Тункина И.В. К истории сборника «Русская наука». С. 645.

⁷⁴ К Украине резко возрос интерес в Германии в годы Первой мировой войны — в смысле ослабления противника сепаратистской угрозой. Деятели проавстрийского «Союза освобождения Украины» в Галиции активно использовали исторические работы Грушевского в своей пропаганде: Патер І. Союз визволення України. Проблеми державності і соборності. Львів, 2000.

⁷⁵ См. подробнее: Дмитриев А. Украинская наука и ее имперские контексты (XIX — начало XX века) // *Ab Imperio*. 2007. № 4. С. 121–174.

⁷⁶ Ростовцев Е.А. А.С. Лаппо-Данилевский и петербургская историческая школа. С. 199.

⁷⁷ Chickering R. Karl Lamprecht: A German Academic Life (1856–1915). Atlantic Highlands, 1993. См.: Зайцева З. Український науковий рух: інституціональні аспекти розвитку (кінець XIX — початок XX ст.). Київ, 2006.

А. Следить за социальным движением мировым и за социологическими опытами и популяризовать их результаты в украинском обществе.

Б. Устанавливать (поддерживать) связи с интернациональными и национальными организациями, которые выражают собой современное социальное движение и представляют в них украинскую национальность.

С. Информировать их о социальном Украинском движении и украинской литературе⁷⁸.

Задумываемый первоначально Грушевским в Женеве институт должен был выступать и как учреждение культурной и академической дипломатии — уже не столько для импорта чужой, сколько для презентации и экспорта своей науки вовне⁷⁹ (также важная черта начинаний Лампрехта, подчеркнуто озабоченного интернациональным престижем германской науки⁸⁰). Социология как ориентир для развития института — а не более традиционные и привычные история или филология, например, — была выбрана Грушевским, во-первых, в связи с ростом внимания к «социальному вопросу», социалистическому движению (к которому он сам принадлежал), во-вторых, в силу прямых связей и коннотаций с современностью, актуальной политикой и т.д. Украинофилы активно работали с европейской публикой еще с начала 1910-х годов (в журнале «*Les Annales des nationalités*»), а в 1919–1920 годах при ближайшем содействии Грушевского выходил журнал «*L'Europe Orientale*» для представительства интересов новых государств, появившихся на территории бывшей Российской империи⁸¹. Занятия украинской историей в Праге, центре украинской эмиграции в 1920-е годы, оказались с самого начала в руках оппонента Грушевского — Дмитрия Дорошенко (и сторонников гетмана Скоропадского, свергнувшего Центральную Раду во главе с Грушевским в конце апреля 1918 года). В отличие от Львова или Киева, пражской школы украинской истории Грушевский не создал —

⁷⁸ Цит. по: Ульяновский В.И. Проекты Украинского социологического института М.С. Грушевского // *Философская и социологическая мысль*. 1992. № 7. С. 116–117. О деятельности института: Матяш І. Український Соціологічний Інститут М.С. Грушевського: основні напрями та етапи діяльності // *Український історик*. 2000. № 4. С. 44–56; Жуковський А. Політична і публіцистична діяльність М.С. Грушевського на еміграції 1919–1924 рр. // *Український історичний журнал*. 2002. № 1. С. 96–125.

⁷⁹ О французской ангажированности в украинском вопросе см.: *Gasquet S. de. La France et les mouvements nationaux ukrainiens // Recherches sur la France et le problème des Nationalités pendant la Première Guerre mondiale (Pologne, Lithuanie, Ukraine)*. Paris, 1995. P. 105–208.

⁸⁰ См.: *Bruch R. vom. Wissenschaftspolitik, Kulturpolitik, Weltpolitik. Hochschule und Forschungsinstitute auf dem Deutschen Hochschullehrertag in Dresden 1911 // Transformation des Historismus. Wissenschaftsorganisation und Bildungspolitik vor dem Ersten Weltkrieg / H.W. Blanke (Hrsg.). München, 1994. S. 32–63.*

⁸¹ Жуковський А. Політична і публіцистична діяльність М.С. Грушевського... С. 120.

для Дорошенко и его единомышленников он был выдающимся историком в прошлом и слишком левым и даже просоветским политиком в настоящем⁸². Эта левизна Грушевского развела его в конце концов с товарищами по партии и коллегами по украинским социологическим и гражданским инициативам, вроде Шаповала. Тот в эмиграции оставался непримиримым врагом большевизма, и его группа в украинской партии социалистов-революционеров с середины 1921 года резко враждовала с Грушевским (как лидером Зарубежной делегации партии)⁸³. Под эгидой Социологического института (УСИ) в Вене вышли больше дюжины книг по истории недавней украинской революции, по истории украинской литературы и истории кружка Драгоманова в Женеве; часть из них — на французском языке. Самым крупным явлением была книга Грушевского «Истоки общества» (*Les Origines de la Société*) (1921), подготовленная на основе лекций, прочитанных в Социологическом институте.

Подзаголовок «генетическая социология» (вслед за Ковалевским⁸⁴) довольно точно отражает специфику понимания этой науки историком и «будителем нации» Грушевским — речь на лекциях шла о тех исходных формах примитивной общественной жизни и самоорганизации, которые затем обнаруживали себя на более развитых стадиях общества (потому для него первостепенно важны такие авторы, как Морган, Энгельс — в качестве автора «Происхождения семьи...», а также Фрэзер и особенно Вундт как поборник *Völkerpsychologie*)⁸⁵. В заключительной главе книги (с. 301–315) Грушевский специально анализировал украинские штудии конца XIX века в плане генетической социологии, от Николая Зиберы до этнографов и фольклористов, вроде Вовка или харьковского профессора Николая Сумцова⁸⁶. Любопытно, что если для его исторической работы рубежа веков существенным был телеологический подход, когда в давнем прошлом ученый обнаруживал истоки нынешней, все еще становящейся украинской нации (на *государство* Лаппо-Данилевского или *общественность* Милюкова опереться он не мог),

⁸² Ульяновський В. Чому не було створено «празьку історичну школу» Грушевського // Український історик. 2002. № 1–4. С. 209–256.

⁸³ Пискун В. Політичний вибір української еміграції (20-ті роки XX століття). Київ, 2006. С. 346–350, 498–499 (автор також детально аналізується на радянських маніпуляціях українським «сменовеховством»).

⁸⁴ См. подзаголовок второго тома итогового труда ученого: Ковалевский М. Социология. Т. 2: Генетическая и психическая деятельность. СПб., 1905. Генетической социологии был посвящен и последний, четвертый выпуск сборника «Новые идеи в социологии», опубликованный в 1914 году (Сорокин поместил там обзор работ Дюркгейма о теории религии).

⁸⁵ Грушевський М. Початки громадянства (генетична соціологія). Б.м., 1921. С. 6–9, 26–33.

⁸⁶ Сумцов написал весьма благожелательную рецензию на эту книгу Грушевского, опубликованную уже посмертно: Україна. 1925. Кн. 3. С. 153–155.

то в генетической социологии 1920-х годов он акцентирует как раз устойчивые основания народного общежития, которые проявляют себя на всех исторических этапах существования нации и остаются по отвлеченной своей природе неизменными даже в революционную новейшую эпоху. Этот весьма своеобразный социологический поворот после Первой мировой войны из ведущих историков старшего поколения пережил отнюдь не только он один — когда в Германии начала 1920-х годов покинувший большевистскую Россию Симон Дубнов принял за многотомную «Всемирную историю еврейского народа», он предпослал ей предисловие о «социологическом видении еврейской истории», в противовес традиционно-религиозному или спиритуальному пониманию эволюции еврейского народа⁸⁷.

Социология как «импортированная» наука оказывалась для Грушевского своего рода философией истории, важным способом обращения к непосредственным истокам народной (= национальной) жизни. После возвращения в начале 1924 года в Украинскую ССР Грушевский всерьез рассчитывал включить свой Социологический институт в структуру учреждений Всеукраинской Академии наук в Киеве; но тут его, как и Лаппо-Данилевского в 1918-м или Сорокина в 1922 году, ждало жесткое разочарование — никакой другой социологии и теории истории, кроме «исторического материализма» новая власть в принципе поддерживать не собиралась. Единственным важным направлением, где «генетическая социология» Грушевского имела продолжение, была деятельность Кабинета примитивной культуры при научно-исследовательской кафедре истории Украины, которую ученый возглавил в рамках ВУАН. Руководителем Кабинета и журнала «Первобытное общество» (1926–1929) была дочь историка — Катерина Грушевская, которая в 1920-е годы, еще в рамках УСИ, активно сотрудничала с учеными Швейцарии, Чехословакии и Франции и других стран (Любомиром Нидерле, Полем Риве); на страницах журнала печатались развернутые рецензии на труды Хальбвакса, Мосса, Боаса. Изучение первобытной культуры было не тождественно этнографии, археологии, фольклористике, но по образцу новейших американских и европейских открытий синтезировало эти подходы скорее в антропологическом, чем социологическом ключе⁸⁸. Сам же Грушевский сосредоточился в Киеве на завершении своих фундаментальных работ по истории Украины и украинской литературы. Его усилия по

⁸⁷ См. английский перевод этого вступления: *The Sociological View of Jewish History, Ideas of Jewish History* / M. Mayer (ed.). N.Y., 1974. P. 259–269. За подобные либерально-модернистские иллюзии Дубнова критиковал на страницах журнала «Der Jude» совсем юный Лео Штраус, будущий известный политический философ: *Strauss L. Soziologische Geshichtschreibung?* (1924) // Idem. *Gesammelte Schriften*. Bd. 2. Stuttgart, 1996. S. 333–337.

⁸⁸ См. подробнее: *Матяш І. Катерина Грушевська: життя і діяльність*. К., 2004. С. 52–67, 98–118.

строительству национальной науки в рамках политики «украинизации» — как продолжение планов и устремлений времен Научного общества имени Шевченко — не пережили конца нэпа и резкого обострения ситуации на идеологическом фронте в самом начале 1930-х годов, когда он и его ученики оказались привлечены в качестве обвиняемых при подготовке очередных показательных процессов. С тех пор в СССР строительство *своей* науки стало подразумевать сосредоточение на общесоветском круге идей и тем, вне прямой и синхронной связи с европейским контекстом развития; а национальные особенности оказались надолго сведены к перспективе локальных и региональных проявлений этого единого советско-имперского инварианта, в том числе и спроецированного в далекое прошлое⁸⁹.

Заключение

Финальную неудачу всех трех проектов строительства национальной гуманитарной науки (и социологизации исторического нарратива) можно объяснить неблагоприятным воздействием ключевого негативного фактора — переворота 1917 года, который утвердил принципы новой идеологической автаркии и закрытости. Тем самым оказались перекрытыми возможности нормального и «окончательного» конституирования модернизированных (благодаря психологии и социологии) наук о человеке в Российской империи, которые учитывали бы также ее локальное культурное и национальное своеобразие и многообразие — имея в виду украинский, грузинский, польский и прочие национальные горизонты. Но здесь к «незапланированной» победе большевиков следует добавить и влияние Первой мировой войны, когда оказались сокрушены представления и принципы романтического национализма 1848 года, в том числе и представления о науке как о специфическом органе народного и национального самопознания. В треугольнике «государство — общество — личность» примат первого начала, национального государства, был обусловлен не только спецификой русского исторического пути (как его описывал в том числе Лаппо-Данилевский): возрастание роли государства было еще и императивом целой эпохи позднего Модерна, особенно ввиду потрясений первой трети XX столетия. «Связь с жизнью», на которой так настаивал Лаппо-Данилевский, олицетворяла не только российскую интеллектуальную традицию примата непосредственно-«бытийного» над отвлеченно-«интеллектуальным», но и отсылала к кризису базовых форм общенаучной методологии конца XIX века — неопо-

⁸⁹ *Yekelchik S.* Stalin's Empire of Memory: Russian-Ukrainian Relations in the Soviet Historical Imagination. Toronto, 2004; *Laruelle M.* The Concept of Ethnogenesis in Central Asia: Political Context and Institutional Mediators (1940–1950) // *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History*. 2008. Vol. 9. No. 1. Winter. P. 169–188.

зитивизма и неокантианства; для историка этот постулат оставался еще несоотнесенным с мыслящим сознанием, с наукой, интернациональной по содержанию и национальной по форме. Но все же это был шаг в сторону признания «бытийной связанности» и *содержательного* проникновения социологии в гуманитарное и историческое мышление, о чем в 1920-е годы немало писал Карл Мангейм⁹⁰. В связи с Первой мировой войной национальное государство становится и организующей силой развития общества, и ключевым фактором эволюции наук не только социальных или гуманитарных, но также и естественных. И потому «национализация» как форма интернационального академического развития и спрос на социологию в рамках наук о человеке оказались в нашем исследовании соединены не случайно.

Социология как *Scientia Nova* одновременно и размыкала горизонт национально-ограниченного гуманитарного знания, и сама становилась способом переопределения этой обособленности, даже если не трактовать эту специфичность в сугубо органическо-консервативном ключе. Следует особо подчеркнуть, что рассмотренные нами ученые были социологами весьма своеобразного плана: для Лаппо-Данилевского социология оставалась все-таки некоей разновидностью методологии истории⁹¹, у Сорокина построение социокультурных схем заменило типизацию с должным учетом индивидуальности общественных фактов, у Грушевского примат генетического подхода в конечном счете сделал социологию «вместоантропологией». Особенно характерна в смысле «ухода от социальности», подстановки культур-теоретических построений на место социологической рефлексии фигура философа, основателя международного журнала «Логос» Федора Степуна, работающего в Дрездене с 1920-х годов именно на *социологической кафедре*⁹².

Отказываясь от подходов XIX века — примата истории государства или социальной философии, эти ученые обращались к первую очередь к истории культуры (или психологическому подходу), но не к истории *общества*⁹³. Это отсутствие тематизации социального, разумеется, не было следствием

⁹⁰ Laube R. Karl Mannheim und die Krise des Historismus. Göttingen, 2004.

⁹¹ Малинов А.В., Погодин С.Н. Социология в творчестве А.С. Лаппо-Данилевского // Журнал социологии и социальной антропологии. 1999. Т. 2. № 4. С. 33–47.

⁹² О Степуне как социологе: Rehberg K.-S. “Seelentum und Technik” in zerrissener Zeit. Der Exilrusse Fedor Stepun als Schriftsteller, “Theologe” und früher Fachvertreter der Soziologie // Auf dem Weg zur Universität. Kulturwissenschaften in Dresden 1871–1945 / J. Rohbeck, H.-U. Wöhler (Hrsg.). Dresden, 2001. S. 330–356; Гергель Р.Е. Социология массы Федора Степуна // Журнал социологии и социальной антропологии. 1998. Т. 1. № 3. С. 33–42. Подробнее об эмиграции как плавильном тигле национально-научного проекта: Дмитриев А. Национализация науки и фактор эмиграции: русские гуманитарии в Германии 1920–1930-х гг. // Ab Imperio. 2003. № 2. С. 317–349.

⁹³ Ср. в Германии: Lichtblau K. Kulturkrise und Soziologie um die Jahrhundertwende. Zur Genealogie der Kultursociologie in Deutschland. Frankfurt a. M., 1996.

некой болезни времени или родовой черты русской мысли как таковой, но отражением особого, «обществообразующего» характера русского государства и специфики государства советского⁹⁴. И сама эта местная специфика могла осознаться и ощущаться и современниками, и последующими толкователями только на непременном фоне интернационального развития. Русские ученые не были какими-то изгнанниками с пира мирового духа — кризис самосознания и бытования западной общественной мысли тоже получил адекватный язык описания и рефлексии, синтеза социологии, истории и антропологии только со становлением развернутой системы социальной политики, *welfare-state* 1950–1960-х годов⁹⁵.

Частью этого процесса была и модернизация социальных наук, новый способ увязки эмпирических данных и общетеоретических схем, философских подходов и индивидуальных закономерностей — в отличие от ставших уже «классическими» представлений конца XIX века. Новый характер интернационализма и междисциплинарных обменов соответственно уже перестроил прежние модели взаимосвязи локального и всеобщего горизонтов в науке о человеке. Российской науке, как в эмиграции, так и особенно внутри СССР, этого шанса относительно свободного, а не (полу)закрытого развития отпущено не было — возможно, потому первые десятилетия XX века постоянно оказываются важны и для новейшего, постсоветского российского общественнознания. Слишком велик реактуализующий соблазн видеть в текстах героев статьи некий почти единый источник забытых и все еще действенных смыслов, а не сложно устроенное и подчас агональное пространство возможностей — потенциально богатых, но ныне представляющихся исторически обреченными.

⁹⁴ О специфике российского общества и примате государства в Российской истории применительно к позднимперскому периоду см.: *Rieber A.J. The Sedimentary Society // Between Tsar and People / E.W. Clowes et al. (eds). Princeton, 1991. P. 343–366*; об интернациональном фоне раннего советского времени: *Holquist P. Making War, Forging Revolution: Russia's Continuum of Crisis, 1914–1921. Harvard, 2002.*

⁹⁵ *Wagner P. Sozialwissenschaften und Staat. Frankreich, Italien, Deutschland 1870–1980. Frankfurt a. M., 1990; Social Sciences and Modern States: National Experiences and Theoretical Crossroads / P. Wagner, H. Wollmann, B. Wittrock (eds). Cambridge, 1991.*

ЭКОНОМИКА КОНВЕНЦИЙ: КАК И ДЛЯ ЧЕГО ВЕРНУТЬ ИСТОРИЮ В ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ?

Непреодолимый раскол между двумя группами теорий в экономической науке на протяжении последних полутора веков может быть рассмотрен по отношению к статусу и роли истории в исследовании социально-экономических явлений¹. Знаменитый «спор о методе» конца XIX века между представителями немецкой исторической школы и австрийцами стал первой инкарнацией этого противоречия между анализом, подчеркивающим историческое своеобразие хозяйственных форм и практик, и стремлением к построению абстрактной теории, обладающей *некоторой* степенью эмпирической валидности. Если институционализм оставался влиятельным течением экономической мысли в первой трети XX века, в последние десятилетия лицо этой науки стала определять неоклассическая теория, построившая свой проект на полностью а-исторических основаниях². В подражание настоящей науке (высоким образцом которой служила теоретическая физика), экономика стала стремиться к описанию экономических явлений при помощи математического языка, редко задаваясь вопросом об отношении формальных моделей к реальности³. Различные «гетеродоксные» теории, включая институционализм, с тех пор не переставали критиковать неоклассику за ирреализм предпосылок и моделей, иллюзию точности и бедность ее онтологии, сводящей все многообразие человеческих мотивов к оптимизирующему расчету.

¹ Исследование выполнено в рамках Программы фундаментальных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и с использованием средств субсидии на государственную поддержку ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров, выделенной НИУ ВШЭ. Данный текст представляет собой переработанную и дополненную версию публикации: Кирчик О. Экономика конвенций, экономическая гетеродоксия и социальная онтология // Вопросы экономики. 2010. № 7. С. 4–11.

² См.: Hodgson G.M. *How Economics Forgot History: The Problem of Historical Specificity in Social Science (Economics as Social Theory)*. Routledge, 2001; Yonay Y.P. *The Struggle Over the Soul of Economics*. Princeton University Press, 1998.

³ Хороший образец методологической дискуссии среди экономистов-неоклассиков можно найти в: Wong S. The 'F-Twist' and the Methodology of Paul Samuelson // *The American Economic Review*. 1973. Vol. 63 (3). P. 312–325.

Данное методологическое противоречие представляется непреодолимым. В конечном счете в его основе лежат фундаментальные вопросы об онтологии мира в его биологической и социальной данности: могут ли свойства этого мира быть полностью описаны на языке математики? Если математический язык — язык симметрии и инвариантности — обладает поразительной эффективностью для описания физических явлений, создавая постоянный соблазн для представителей других дисциплин, то почему эта эффективность ставится под сомнение при всякой попытке описания явлений культуры, в широком смысле этого слова? Если, по выражению Бернара Шазеля⁴, биология есть физика плюс история (а в случае культуры — еще и *разделяемые смыслы*), то *история* есть то, что разрушает безупречную симметрию и порождает бесконечную вариативность (биологических и культурных) форм. Иначе говоря, можно предположить, что биологические и общественные системы обладают реальностью *особого рода*, требующей иного языка описания, не сводимого к игре математических символов. *Теория конвенций* является одной из недавних попыток плотной социально-исторической концептуализации хозяйственной жизни, сознательно противопоставившей свой подход формализму неоклассики.

В этом тексте я сначала скажу несколько слов о месте экономики конвенций в современном поле социальных наук во Франции; затем охарактеризую основные понятия конвенционалистского анализа, такие как конвенция и институт, и отношения между ними; наконец, я попытаюсь рассмотреть роль исторической аргументации в теоретических построениях и эмпирических обобщениях, которые можно найти в работах авторов-конвенционалистов.

Зарождение программы ЭК: междисциплинарность против неоклассики

«Экономика конвенций» (далее — ЭК) может рассматриваться не столько в качестве одной из школ внутри экономической науки, сколько как часть более общего интеллектуального движения, в рамках которого ведется диалог между экономистами, социологами, историками и которое было бы удобнее называть «теорией конвенций»⁵. Основатели экономики конвенций, в числе которых Андре Орлеан, Робер Сале, Лоран Тевено, Оливье Фавро и Франсуа Эмар-Дюверне, акцентируют междисциплинарный характер своей исследовательской программы, ставшей на сегодняшний день одной из

⁴ Chazelle B. L'algorithme et les sciences. Leçon inaugurale prononcée le jeudi 18 octobre 2012. Режим доступа: <<http://www.openedition.org/6540>>.

⁵ Batifoulier P. Théorie des conventions. Paris: Economica, 2001.

влиятельных парадигм в пространстве французских социальных наук⁶. При этом, во избежание недоразумений, необходимо пояснить, что такая установка является не столько призывом упразднить междисциплинарные границы, сколько признанием необходимости глубокого обновления самой экономической теории. Решение фундаментальных проблем экономической науки, связанных с ценностями, координацией и рациональностью, по мнению конвенционалистов, невозможно без дискуссии, без заимствований между общественно-научными дисциплинами, прежде всего — экономикой и социологией, что в конечном счете должно привести к существенным трансформациям каждой из них.

Нелишне отметить, что междисциплинарность ЭК — не дань интеллектуальной моде, но особенность новой конфигурации социальных наук во Франции⁷. Если и не снятие границ, то начало диалога стало возможным в связи с серией эпистемологических сдвигов в социальных науках, которые имели место с середины 1960-х годов и были позднее концептуализированы в терминах «культурного», «прагматического» и «исторического» поворотов. Экономика конвенций, без сомнения, является продуктом и органичной частью этой новой конфигурации социальных наук, контуры которой оформились в период с середины 1960-х по середину 1980-х годов.

Программные установки «экономики конвенций» прозвучали во введении⁸ к специальному номеру «*Revue économique*», вышедшему в марте 1989 года, который можно считать манифестом конвенционалистов. Прежде всего речь идет об отказе от базовых допущений неоклассической экономики, таких как наличие точки рыночного равновесия, предполагающей оптимальное распределение ресурсов и образование цен в условиях идеального рынка, и эгоистического индивида, оптимизирующего свои действия в целях извлечения максимальной выгоды. Иными словами, критике было подвергнуто представление об автономии «экономического» относительно социальных, культурных, политических и прочих факторов.

ЭК представляет собой не вполне однородное интеллектуальное движение (так, Фавро и Бесси разделяют принцип методологического индивидуа-

⁶ См.: Thévenot L., Eymard-Duvernay F., Favereau O., Orléan A., Salais R. Valeurs, coordination et rationalité. L'économie des conventions ou le temps de la réunification dans les sciences sociales // *Problèmes économiques*. 2004. No. 2838. P. 1–8 (рус. пер. см.: Тевено Л. и др. (в соавт. с Ф. Эймар-Дюверне, А. Орлеаном, Р. Салэ и О. Фавро). Ценности, координация и рациональность: экономика соглашений, или Эпоха сближения экономических, социальных и политических наук / Олейник А. (ред.). Институциональная экономика. М.: ИНФРА-М, 2005); Orléan A. La sociologie économique et la question de l'unité des sciences sociales // *L'Année sociologique*. 2005. Vol. 55. No. 2. P. 279–305.

⁷ Dauce F. L'empire du sens. L'humanisation des sciences humaines. Paris: La Découverte, 1995.

⁸ Dupuy J.-P., Eymard-Duvernay F., Favereau O., Orléan A., Salais R., Thévenot L. Introduction // *Revue économique*. 1989. Vol. 40. No. 2. P. 141–146.

лизма, в то время как другие его представители критикуют этот принцип), вобравшее элементы институционального анализа и прагматической социологии⁹. Тем не менее исследователи, причисляющие себя к конвенционалистскому направлению, разделяют ряд базовых ориентаций. Во-первых, постулирование множественности принципов координации социальной и экономической жизни (в отличие от неоклассической теории, признающей рыночную конкуренцию в качестве единственного принципа). Во-вторых, акцент на *интерпретативной* рациональности, в которую вовлечены одновременно ценности и критическая способность акторов (в отличие от калькулирующей или чисто инструментальной рациональности стандартной экономической теории). В-третьих, внимание к проблемам возникновения и изменения норм и правил (конвенций), служащих необходимым условием экономического действия, или признание важности исторических траекторий. В данной перспективе гипотеза об «ограниченной рациональности», которая в конечном счете была интегрирована стандартным экономическим анализом, представляется недостаточной. Новые подходы к человеческому познанию дают дополнительные аргументы в пользу множественности и контекстуальности форм рациональности¹⁰.

При этом историческое измерение общественной жизни, хотя и не всегда эксплицитным образом, оказывается в сердце конвенционалистского подхода и одновременно служит основой для критики стандартной неоклассической и неоинституциональной теорий, игнорирующих проблему исторического развития и вариативности норм и институтов. Формализму абстрактной теории многочисленные кейс-стади, инспирированные теорией конвенций, противопоставляют воссоздание исторической глубины и плотности социальной ткани, в которую вплетены явления хозяйственной жизни.

В первую очередь стоит отметить исследования Андре Орлеана и его молодых коллег в области финансов. Они затрагивают широкий круг тем, включая такие разные предметы, как корпоративное управление¹¹ или история пенсионных фондов в Америке¹². Множественность конвенций качества товаров и услуг задает аналитическую рамку для исследования

⁹ Данный термин относится к ряду направлений в современной французской социологии, опирающихся на идеи американской прагматической философии и эпистемологии (Дьюи, Пирс, Джеймс).

¹⁰ Eymard-Duvernay F. Introduction // Eymard-Duvernay F. (dir.). *L'économie des conventions: methods et résultats*. Vol. 1: Débats. Paris: La Découverte, 2006. P. 14.

¹¹ Rebérioux A. The influence of stock market listing on human resource management: evidence for France and Britain // *British Journal of Industrial Relations*. 2008. Vol. 46. No. 4.

¹² Montagne S. *Les Fonds de pension. Entre protection sociale et spéculation financière*. Paris: Odile Jacob, 2006.

конструирования рынков — «моделей производства» (Эмар-Дюверне), «производственных миров» (Сале и Стоппер) — в различных секторах, начиная рынком телекоммуникаций и заканчивая домами отдыха. Кроме того, появляются новые работы, посвященные такой традиционной для ЭК теме, как занятость, включая вопросы дискриминации при приеме на работу, стандартизации требований и оценки качества труда¹³. Продолжают оставаться в фокусе внимания вопросы социальной политики, в частности политики в области здравоохранения¹⁴. Наконец, эмпирическая программа ЭК в последние годы уделяет немалое внимание вопросам трансформации государственного управления. В связи со строительством общеевропейского пространства особую актуальность приобретает критика технократизации власти, механизмов управления при помощи норм и стандартов¹⁵. Критическому анализу подвергаются бюрократические практики управления при помощи цифр и универсальных индикаторов (*benchmarking*): в частности, инструменты оценки в сфере образования¹⁶, в сфере политики занятости¹⁷.

В русскоязычное интеллектуальное пространство словосочетание «экономика конвенций» было введено во второй половине 1990-х¹⁸. За этой первой публикацией в 2000-е годы последовала целая серия переводов работ авторов-конвенционалистов в журналах по социальным и гуманитарным наукам¹⁹. Наконец, на русский язык были переведены основополагающие книги Люка Болтански и Лорана Тевено по социологии критической способности²⁰.

¹³ Salais R., Villeneuve R. (eds). *Europe and the politics of capabilities*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

¹⁴ Eymard-Duvernay F., Batifoulier P., Favereau O. *Etat social et assurance maladie. Une approche par l'économie des conventions* // *Economie Appliquée*. 2007. No. 1.

¹⁵ Thévenot L. *Governing Life by Standards. A View from Engagements* // *Social Studies of Sciences*. 2009. Vol. 39. No. 5.

¹⁶ Normand R. *The measurement of school: From statistics tradition to econometrics modernity* // *Education & Sociétés*. 2005. No. 16.

¹⁷ Salais R. *Du bon (et du mauvais) usage des indicateurs dans l'action publique* // *Semaine sociale Lamy, Supplément "Protection sociale et travail décent. Nouvelles perspectives pour les normes internationales du travail"*. 2006. No. 1272.

¹⁸ Имеется в виду серия статей в: *Вопросы экономики*. 1997. № 10.

¹⁹ См. *Журнал социологии и социальной антропологии*. 2000. № 3 (3); *Неприкосновенный запас*. 2004. № 3 (35); *Социологический журнал*. 2006. № 1–2; *Экономическая социология*. № 2009. № 10 (1); *Новое литературное обозрение*. 2006. № 77; 2009. № 100.

²⁰ Речь идет о совместной книге Люка Болтански и Лорана Тевено: *Критика и обоснование справедливости: Очерки социологии градов* / пер. с фр. О.В. Ковеневой под науч. ред. Н.Е. Копосова. М.: Новое литературное обозрение, 2013 (*Boltanski L., Thévenot L. De la justi-*

Теория: институты и конвенции

Специфическая трактовка понятий института и конвенции отличает теорию конвенций от других представителей старого и нового институционализма. Одной из наиболее значимых попыток прояснить соотношение этих понятий, а также место институтов в конвенционалистском анализе, является статья Оливье Фавро и Кристиана Бесси²¹. Обозначая основные вехи в карьере понятия «институт», эти авторы отмечают, что для него не находилось места в обеих ортодоксиях экономического анализа, фиксирующих внимание на координации (неоклассика) или же на воспроизводстве (марксизм) экономического порядка. Напротив, начиная с середины 1970-х годов²² институты оказываются в центре экономического анализа (причем не только в рамках экономической гетеродоксии, но, как упомянуто выше, и в рамках других социальных наук). Однако парадоксальным образом в первых конвенционалистских работах «институты» практически не упоминаются. Основную причину того, что «институциональный момент» в ЭК был отложен до конца 1990-х годов, авторы видят в ее специфической трактовке роли правил. Отправной точкой для ЭК послужило представление о неполноте правил, которую следует понимать в том смысле, что координирующую функцию выполняют не столько сами правила, сколько их интерпретации, соглашения и взаимные ожидания акторов. Стремясь подчеркнуть важность интерпретативной деятельности экономических агентов, конвенционалисты поместили в центр своего анализа понятие конвенции, понимаемой как схема интерпретации правил, вместо по сути а-исторического понятия института, который обычно вслед за Нормом определяют как «правило игры».

Однако со временем институты начинают занимать все более важное место в конвенционалистском анализе. Соответственно, становится труднее игнорировать вопрос о соотношении понятий института, конвенции и организации, которому Фавро и Бесси предлагают свое, не лишенное изящества, решение. Авторы определяют конвенции как межсубъективные

fication. Les économies de la grandeur. Paris: Gallimard, 1991) и Люка Болтански и Ив Кьяпелло: Новый дух капитализма / пер. с фр. под общ. ред. С. Фокина. М.: Новое литературное обозрение, 2011.

²¹ Бесси К., Фавро О. Институты и экономическая теория конвенций // Вопросы экономики. 2010. № 7. С. 12–38.

²² Любопытно, что данный всплеск интереса к институтам в середине 1970-х годов имел место одновременно с началом «неолиберального поворота» в экономической политике на глобальном уровне. И именно относительная неудача реформ, нацеленных на экономическую либерализацию, дала богатый материал и аргументы в пользу институционального анализа. Эта ситуация может также служить хорошей иллюстрацией к теории «двойного движения» (double movement) Карла Полаanyi.

«схемы интерпретации», представляющие чем-то вроде рефлексивной части институтов. По их выражению, конвенции «активируют», или «вдыхают жизнь» в институты, которые в свою очередь дают им форму. Процесс выработки новых конвенций лежит в основе интерпретации, применения, пересмотра совокупностей формальных и неформальных правил (институтов). Организации в свою очередь задействуют те и другие в качестве ресурсов для своей деятельности.

Впрочем, такое понимание конвенций как схем интерпретации, при котором подчеркивается их «произвольное» измерение, разделяется не всеми основателями ЭК. Оно оказывается ближе к экономическому видению конвенций как решения проблемы координации в условиях неопределенности. Так, Лоран Тевено, предложивший первую модель «конвенциональных форм», ставит акцент не на ситуативности конвенций, но скорее на их связи с соответствующим оснащением (equipment), являющимся результатом «инвестирования в форму»²³. В этом случае конвенции предстают коллективно установленными культурными формами координации и оценивания. Помимо этого, наличие конвенций необязательно обеспечивает успешную координацию. В ситуации конфликта, т.е. сбоем в координации, акторы способны мобилизовать конкурирующие конвенции, апеллирующие к различным порядкам обоснования ценности — рыночному, но также индустриальному, семейному, гражданскому и др.²⁴ В этом случае конвенции могут быть поняты скорее как порядки оправдания (orders of justification).

Данные разночтения показывают сложность понятия конвенции, отсылающего не только к проблеме координации, но также имеющего когнитивное измерение. При этом основатели ЭК сходятся в том, что нельзя сводить «конвенцию» ни к привычке или обычаю, нарушение которых ведет к санкциям со стороны сообщества (Вебер); ни к произвольному соглашению между индивидами (логическая модель Дэвида Льюиса).

²³ *Thevenot L. Rules and implements: Investment in forms // Social Science Information. 1984. Vol. 23. No. 1. P. 1–45.*

²⁴ Стремясь выявить процедуры, посредством которых акторы обосновывают свои действия в повседневной жизни (к примеру, при решении трудовых споров), Болтански и Тевено приходят к выводу о существовании шести разных миров или «градов», каждый из которых обладает собственной логикой оправдания и специфическим типом аргументации. Так, например, для рыночного града характерна апелляция к экономической эффективности, в то время как центральной для домашнего мира является ценность взаимного уважения и заботы. Наряду с названными выше авторы выделяют гражданский, промышленный, артистический грады, а также мир мнения, характеризующиеся принципиально различными порядками оправдания. Из множественности миров или «градов» выводится множественность принципов координации. Более подробно о теории «градов» см.: *Хархордин О.В. Прагматический поворот: социология Л. Болтански и Л. Тевено // Социологические исследования. 2007. № 1. С. 32–42; Ковенева О. Французская прагматическая социология: от модели «градов» к теории «множественных режимов вовлеченности» // Социологический журнал. 2008. № 1. С. 5–21.*

Двойственный характер конвенции становится очевидным при ее сопоставлении с концептом института. С одной стороны, конвенции могут рассматриваться как институты в той мере, в какой они способны координировать взаимодействия. С другой стороны, они не могут быть отождествлены с институтами в их неоинституциональном понимании в терминах «правил», «контракта» или «транзакционных издержек», накладывающих ограничения на действие рынка как эксклюзивного принципа координации. Оригинальность ЭК состоит, во-первых, в утверждении, что в основе эмпирического разнообразия экономических и неэкономических институтов, между которыми не проводится жесткого различия, лежит множественность форм координации и логик оправдания. Иначе говоря, реальные рынки, реальные организации и сети акторов координируются при помощи сложного набора конвенций разной природы (включая договоры, сертификаты, нормы права, представления об общем благе и т.д.).

И во-вторых, конвенционалисты отказываются от видения институтов, при котором они служат исключительно снижению «транзакционных издержек», а их «эффективность» оценивается по их способности к минимизации затрат (Коуз). Напротив, институты формируют плотную социальную ткань, среду (*milieu*), вне которой не может быть помыслена деятельность экономического агента. Иными словами, для ЭК институты являются не простым аксессуаром действий и взаимодействий, но их объективной предпосылкой и ресурсом. В данном случае речь идет не о простом смещении акцентов, но о настоящем сдвиге перспективы, что позволяет рассматривать междисциплинарную теорию конвенций как отдельную парадигму анализа институтов.

Оригинальный вклад Бесси и Фавро в ЭК состоит в их теории «матричных институтов», которые составляют минимально необходимое оснащение всякого экономического действия и которые включают Язык, Деньги и Право. Выбор этих трех метainститутов (или метаконвенций²⁵), от которых являются производными все остальные институты, требует дополнительного пояснения. Не вызывает сомнения, что язык имеет наиболее фундаментальное значение для конвенционалистского анализа, помещающего в фокус своего внимания критическую способность акторов к суждению и к интерпретации. Лингвистический или прагматический поворот, в котором берет начало теория конвенций, реабилитирует понятие межсубъектности (интерсубъективности), которое игнорировалось объективистскими и позитивистскими подходами. Тем самым в социально-научный анализ было

²⁵ В случае Языка вновь проступает двойственность использования терминов институт/конвенция. Как напоминает Оливье Фавро, Дэвид Льюис предложил модель языка в терминах конвенций (хотя его понимание конвенции принципиально отличается от трактовки данного понятия представителями ЭК).

возвращено понятие здравого смысла, являющегося результатом «встречи между субъектами» (Рорти). «Общий мир», к которому апеллируют конвенционалисты, представляет собой совокупность коллективных смыслов, не существующих вне языковой формы. Два других матричных института, Деньги и Право, соотносятся с основополагающими для ЭК работами Аглиетты/Орлеана²⁶ и Болтански/Тевено²⁷, исследующими соответственно социально-исторический генезис денег и грамматик оправдания, опирающихся на различные теории общего блага и справедливости.

Если набор матричных институтов, предложенный Фавро и Бесси, может показаться произвольным, не менее очевидно, что институциональная матрица общества имеет исторически изменчивый характер. Триада Язык — Деньги — Право должна характеризовать современные западные либеральные демократии, где универсальным эквивалентом обмена выступают Деньги и где в случае возникновения конфликта акторы прибегают к кодифицированным процедурам, основанным на рациональной аргументации. Иными словами, конвенция возникает из некоторых конфликтующих моделей (или «гипотез» о социальном мире) и кристаллизуется в консенсус на основании демократических и правовых процедур. Уместно задаться вопросом, в какой мере конвенционалистская схема анализа переносима на общества, характеризующиеся традиционными или переходными структурами, где источником смены конвенций, как правило, выступают элиты, где правовая система не выполняет координирующей функции при преобладании неформальных отношений и где слабы, либо отсутствуют вовсе, демократические процедуры выработки общности (*généralité*) на основе конкуренции между различными ценностями и представлениями.

«Минималистская концепция» интерсубъективности, признающая некоторое значение взаимодействий и проблему рациональности акторов, присутствует уже в неоинституциональном анализе, не предполагающем радикального разрыва с мейнстримной экономикой. Однако задача инкорпорирования в анализ «полновесной» концепции соглашений не может быть разрешена без отказа от принципа методологического индивидуализма. Если для последнего конечной инстанцией анализа является рациональность индивидуальных агентов, то конвенции (во всяком случае, в понимании большинства представителей ЭК) являются социальными сущностями, не сводимыми к фактам индивидуального сознания. Они также не являются чем-то вроде договора, заключаемого всякий раз здесь-и-сейчас между полностью рациональными и автономными агентами, реализующими стратегический выбор. Заинтересованный рациональный расчет, в свою очередь, представ-

²⁶ Aglietta M., Orléan A. *La Monnaie entre violence et confiance*. Paris: Odile Jacob, 2002. Первая версия этой работы (*La violence de la monnaie*) была опубликована в 1982 году.

²⁷ Boltanski L., Thévenot L. *De la justification...*

ляет собой не универсальную форму действия, но результат конструирования рыночных отношений. В этом смысле институты не являются препятствием для рационального расчета, но его необходимым условием. Иначе говоря, не отрицая возможности рационального расчета и стратегического экономического поведения, конвенционалисты подчеркивают вновь и вновь множественность способов координации и логик оправдания действия.

Остается прояснить значение парадигмального поворота к интерсубъективности, осуществляемого конвенционалистами²⁸, для экономической онтологии и методологии. Утверждение центральной роли конвенций для поддержания социального, а значит экономического, порядка предполагает онтологический сдвиг внутри экономической науки, выражающийся в отказе от представления о самоподдерживающемся рыночном равновесии. Это, в свою очередь, имеет важнейшие методологические последствия. Как указывает Фулбрук, поскольку категории и восприятие акторов находятся в состоянии постоянного изменения, то дедуктивное моделирование, к которому экономисты прибегают несравнимо чаще, чем представители других социальных наук, оказывается под угрозой²⁹.

Кейс-стади: историческая динамика

Вопросы, связанные с динамикой институтов (конвенций), являются центральными для ЭК, как и для «старой» институционалистской программы³⁰: как возникают и как трансформируются институты (конвенции)? Какова их роль в становлении рынков и хозяйственных практик? Подобно тому, как Макс Вебер предложил реконструкцию многовекового исторического процесса с целью объяснить особые черты западного капитализма (в частности, в связи с развитием протестантизма), конвенционалисты стремятся проследить, как сложились определенные конвенции и институты, почему они получили именно такую форму, а не иную. В теоретическом плане такого рода работа служит денатурализации явлений хозяйственной жизни и их социологизации в той мере, в какой они предстают в данной перспективе результатом социального/политического конструирования со стороны различных акторов, сетей и институций.

²⁸ Хотя сами конвенционалисты до последнего времени нечасто использовали это понятие, ряд комментаторов характеризуют ЭК как «интерсубъективную» школу (*Latsis J. Convention and Intersubjectivity: New Developments in French Economics // Journal for the Theory of Social Behaviour. 2006. Vol. 36. No. 3. P. 263*).

²⁹ *Fullbrook E. Introduction: Why Intersubjectivity? // Intersubjectivity in Economics: Agents and Structures / E. Fullbrook (ed.). L.; N.Y.: Routledge, 2002. P. 1–10.*

³⁰ *Eymard-Duvernay F. (ed.). L'économie des conventions, méthodes et résultats. Vol. 1: Débats. P. 19–20.*

Можно сказать, что экономика конвенций возвращает историческую глубину двумерному миру хозяйственных явлений неоклассической теории, для которой рынок всегда как бы предсуществует и регулируется вневременными принципами. Универсум неоклассической теории статичен, даже когда речь идет о динамике: так, в динамических моделях равновесия траектория мыслится как серия переходов из одного статического состояния в другое. В макроэкономических моделях изменение во времени имеет вид кривой, представляющей динамические связи между двумя (или несколькими) переменными, а форма этой кривой задается математической функцией или серией уравнений. При этом математическое моделирование макроэкономических процессов полностью абстрагируется от специфических характеристик контекста и его исторической изменчивости. Значение истории для исследовательской программы ЭК состоит, напротив, в том, что она позволяет увидеть подвижность и вариативность хозяйственных форм. Конвенции (нормы, ценности, представления об общем благе и проч.) имеют историю, изменяются в зависимости от времени и места и не соотносятся с универсальными, атемпоральными принципами. Они находятся в процессе постоянного столкновения, изменения, исчезновения и замены новыми.

В отличие от неоинституционализма, для которого аналитическая и эвристическая значимость исторической траектории в основном сводится к тезису о «зависимости от предшествующего пути развития» (*path dependency*), в ЭК историческая аргументация служит решению более широкого репертуара исследовательских задач. Конвенционалисты в равной мере далеки от историцистской установки на рассмотрение уникальных, исключительных исторических явлений, которая предписывает описательный или интерпретативный подход к исследованию. В ЭК история выступает, в первую очередь, в качестве *каузального фактора*, служащего объяснению формы тех или иных хозяйственных явлений специфическими обстоятельствами, связанными с контекстом их возникновения и развития. Иными словами, для конвенционалистов история часто выступает ресурсом для построения экономической теории. Ниже мы рассмотрим некоторые примеры мобилизации истории при анализе роли конвенций в исследованиях, проводимых с отсылкой к программе ЭК³¹.

В первую очередь история как *генеалогия* позволяет определить условия возникновения рынков и их успешного функционирования. Как уже было сказано выше, рынок для конвенционалистов не является универсальной

³¹ В 2006 году под редакцией Франсуа Эмара-Дюверне вышел двухтомник, в который был включен широкий круг работ, отражающих результаты как теоретической рефлексии, так и эмпирических исследований, ведущихся в рамках ЭК (*Eymard-Duvernay F. (ed.). L'économie des conventions, méthodes et résultats. Vol. 1: Débats; Vol. 2: Développements. Paris: La Découverte, 2006*).

и стабильной формой координации, но продуктом социального конструирования, осуществляемого во времени и в пространстве. Исторический анализ оказывается необходим, чтобы выделить основные компоненты и факторы социального конструирования рынков и, в частности, высветить роль конвенций (общих когнитивных рамок) в этом процессе. Воссоздание *генеалогии* хозяйственных явлений (к примеру, таких как чрезмерная власть акционеров мультинациональных компаний или кризис стабильных форм занятости, которые мы наблюдаем в наши дни) позволяет преодолеть аналитическую беспомощность стандартной теории в этих и многих других вопросах, требующих для своего рассмотрения длительной исторической перспективы.

Возьмем для примера исследование Натали Муро и Доминик Саго-Дювору, в котором анализируется возникновение интернационального рынка художественной фотографии в 70-е и 80-е годы XX века³². Данный кейс можно рассматривать в качестве мини-лаборатории, позволившей этим авторам выделить социальные факторы, способствующие созданию совершенно нового, не существовавшего прежде, рынка. Так, конститутивным для данного рынка стало создание разделяемой всеми его участниками (кураторами галерей, арт-критиками, коллекционерами и т.д.) конвенции о фотографии как объекте искусства. Без подобного соглашения данный рынок не мог бы существовать. Фотография — объект искусства особого рода, отличающийся от других художественных объектов (живопись, скульптура) способностью к бесконечной репликации. Поэтому потребовалась выработка особых правил, позволивших адаптировать «конвенцию оригинальности», действующую на рынке искусства, для этого нового рынка. Авторы описывают длительный процесс достижения согласия, который в конечном счете привел к стабилизации критериев «качества» или «ценности» той или иной фотографии (репутация художника, редкость снимка, его история и проч.). Данная конвенция позволила также отграничить рынок художественной фотографии от фотографий другого типа (документальной, любительской и проч.).

Иными словами, функционирование любого рынка требует создания общих когнитивных рамок и регулятивных правил. Эти конвенции и правила возникают в результате деятельности отдельных индивидов, организаций и проч. и закрепляются на институциональном уровне, включая законы, писанные и неписанные правила, официальные дискурсы, репутации и иерархии и т.д. Таким образом, в исторической перспективе рынок с необходимостью предстает как социальный процесс.

³² Moureau N., Sagot-Duvauroux D. La construction sociale d'un marché: le cas du marché des tirages photographiques // Eymard-Duvernay F. (ed.). *L'économie des conventions, méthodes et résultats*. Vol. 2: *Développements*. P. 45–60.

Неслучайно многие эмпирические исследования в рамках ЭК помещают в фокус рассмотрения роль права в исторической динамике экономических явлений. Конвенции часто предшествуют законодательной и правоприменительной практике, посредством которой они закрепляются в форме норм, правил, стандартов. Целое направление исследований в рамках ЭК (послужившее отправной точкой для множества работ по экономической социологии) посвящено становлению *конвенций качества*, включая практики обязательной сертификации, использование товарных знаков и стандартов качества для той или иной продукции, прежде всего в агропромышленном секторе³³. Базовая идея, объединяющая работы этого направления, состоит в множественности возможных способов определения качества (*qualification*), а значит, недостаточности цены как показателя качества продукта. Авторы-конвенционалисты показывают, что возникновение стандартов, знаков качества, географических наименований и прочих характеристик продуктов исторически было связано с необходимостью снижения уровня неопределенности на рынках.

Так, в противовес стандартному экономическому анализу, оперирующему абстрактными формализованными ситуациями, Алессандро Станзиани настаивает на необходимости тщательно изучать процесс создания и применения правовых норм с целью показать, каким образом последние вписываются в историческую динамику экономики и в определенной мере задают ее рамку³⁴. Он предлагает историко-экономический анализ становления конвенций качества вина во Франции начиная с XIX столетия. Данный рынок важен по причине того, что впоследствии послужил образцом для формирования других конвенций качества на европейском континенте. Его анализ демонстрирует, что юридическое закрепление системы географических наименований вин (АОС) в первой трети XX века стало результатом разрушения прежних конвенций качества на рубеже веков, запустившего длительный процесс достижения согласия по поводу критериев отнесения вин к той или иной категории среди большинства производителей. В результате принятия системы АОС был обеспечен контроль над рынком вина благодаря более строгому определению характеристик вина и защите производителей определенных регионов. Во многих случаях это также способствовало изобретению традиции, связанной с местом производства того или иного наименования (*стори-теллинг*).

³³ См., например: *Allaire G., Boyer R. (eds). La Grande Transformation de l'agriculture: lectures conventionnalistes et régulationnistes. Paris: INRA-Economica, 1995; Eymard-Duvernay F. Convention de qualité et forme de coordination // Revue économique. 1989. No. 2. P. 329–359; Sylvander B. Origine géographique et qualité des produits // Revue de droit rural. 1995. No. 237.*

³⁴ *Stanziani A. Qualité des produits et règles de droit dans une perspective historique // Eymard-Duvernay F. (ed.). L'économie des conventions, méthodes et résultats. Vol. 2: Développements. P. 61–74.*

Итак, в отличие от неоклассической экономики, принимающей предпосылку гомогенности продуктов, исторический анализ становления конвенций качества на рынке вина и соответствующих регулятивных норм показывает всю сложность данной операции. Длительность оказывается необходима, чтобы проследить возникновение общей нормативной рамки для различных конвенций качества. Подход авторов-конвенционалистов отличается от традиционного анализа «правил» в рамках *law and economics* и теории игр еще и тем, что, историзируя нормы права, они демонстрируют произвольность и разнообразие норм и конвенций, возникающих в конкретном экономическом, социальном, политическом, когнитивном контексте.

Наконец, история может служить ресурсом для критики существующих экономических практик. Возьмем для примера конвенционалистское прочтение истории отношений найма во Франции Элоиз Пети и Дамьена Соза³⁵. Эти исследователи предложили исторический анализ правового оформления трудовых договоров на протяжении двух веков, выделив три периода: с середины XIX века по Первую мировую войну, середина XX века, с 1970-х годов по настоящее время. В частности, они рассмотрели, каким образом в каждый из этих периодов понимались и распределялись экономические риски, связанные с производством и реализацией товаров. Согласно их схеме, в каждый момент времени отношения найма отражают конкретную структуру распределения рисков и неопределенности: они могут перекладываться преимущественно на плечи наемных работников, государства или распределяться между предприятиями. Например, в период после Второй мировой войны в Западной Европе сложилась конвенция страхования по безработице (*chômage*), которая служила защите социальных прав наемных работников и ограждала их от колебаний экономической конъюнктуры. Современный же период, в который данная конвенция стала все больше восприниматься как устаревшая и не адекватная новому глобальному экономико-политическому контексту, оказывается в большей степени похожим на ситуацию середины XIX века, когда трудовые отношения регулировались индивидуальным договором между нанимателем и работником. В рамках этой рыночной конвенции экономическая неопределенность снижается для предпринимателя благодаря тому, что трудовой договор с наемным работником может быть расторгнут, а вознаграждение пересмотрено. В последние 30 лет оформилась тенденция перенесения рисков вновь с предпринимателя на наемных работников. Исторический анализ выявляет в данном случае схожие структуры отношений за мнимой новизной риторики инновационной экономики, увеличивающей разрыв между

³⁵ *Petit H., Sauze D. Une lecture historique de la relation salariale comme structure de repartition d'aléas: en partant du travail de Salais // Eymard-Duvernay F. (ed.). L'économie des conventions, méthodes et résultats. Vol. 2: Développements. P. 303–316.*

теми, кто может извлечь выгоду из ситуаций неопределенности и риска, и теми, кто вынужден их терпеть или становится их жертвой.

Иными словами, история служит ресурсом для критики не только современной экономической теории, но и новейших трендов мировой экономики, разрушающих социальный консенсус «зрелого капитализма» и тем самым возвращающих нас к экономическим отношениям эпохи, предшествовавшей распространению практик и структур государства всеобщего благосостояния.

Актуальность экономики конвенций как критического инструмента в кризисный и посткризисный периоды невольно стала красной нитью, проходившей сквозь обсуждения на юбилейной конференции ЭК, состоявшейся в сентябре 2009 года³⁶. Конференция была приурочена к 20-летию выхода специального номера «Revue Économique», начиная с которого принято отсчитывать историю ЭК, и объединила исследователей и аспирантов, так или иначе использующих в работе ее концепты и методы. Понятия интерсубъективности и нормативности были предложены в качестве отправной точки для размышления по двум основным направлениям. Каким образом они позволяют обогатить диалог со смежными исследовательскими программами, такими как экономическая социология и экономика права? Какова эвристическая ценность этих аналитических инструментов для понимания нынешнего экономического кризиса? Если интеллектуальная амбиция основателей ЭК состоит в том, чтобы показать, что существенная часть кризиса, как и экономических процессов в целом, не может быть понята без учета роли конвенций, сам кризис становится чем-то вроде теста, проверяющего экономическую теорию на отношение к реальности.

³⁶ “Conventions: l’intersubjectif et le normatif”. Colloque dirigé par Olivier Favereau, du 1er au 8 septembre 2009. («Конвенции: интерсубъективность и нормативность», 1–8 сентября 2009 года. Организатор — Оливье Фавро.)

«В ЧЕРТОГАХ
ЗАБВЕНИЯ»:
ИНСТИТУТЫ
И ПОЛИТИКИ
ПРОШЛОГО



Кира Ильина

ФРИДРИХ ФАТЕР И КАРЛ ГОФМАН: ФИЛОЛОГИ-КЛАССИКИ ИЗ НЕМЕЦКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ В РОССИИ В СЕРЕДИНЕ XIX ВЕКА

Первую половину XIX века исследователи определяют как время рождения «русского антиковедения» и его превращения в научную дисциплину¹. Это произошло благодаря археологическим открытиям на юге империи, а также трансферу в Россию приемов и методов немецкой классической филологии и философии².

В начале XIX века классическая филология в Германии профессионализируется. Этот процесс сопровождался жаркими диспутами о том, чем должны заниматься представители этой науки. В итоге сложилось два направления изучения классической филологии: критико-грамматическое и историческое («филология слов» и «филология вещей»). Ведущую роль в спорах играли университетские специалисты Фридрих Вольф в Галле, Август Бёк в Берлине, Карл Мюллер в Геттингене, Готфрид Герман в Лейпциге. Одним из способов подготовки филологов стали исследовательские семинары. В 1810 году Бёк организовал в новом Берлинском университете первый семинар для филологов, по модели которого впоследствии проводились занятия в других германских университетах. А выработка профессиональных норм шла посредством и на страницах рецензий. Профессора Карл Лахман, Август Бёк, Карл Отфрид Мюллер, Готфрид Герман «постоянно выступали как критики, рецензенты и охранители филологических стандартов»³. В ре-

¹ Исследование выполнено в рамках Программы фундаментальных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и с использованием средств субсидии на государственную поддержку ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров, выделенной НИУ ВШЭ.

² Фролов Э.Д. Русская наука об античности. СПб.: Изд-во СПбУ, 1999. С. 112; Юдин А.В. «Историографические эпохи» в истории изучения античности // Диалог со временем. 2009. № 28. С. 240–262; Вейсман А.Д. Успехи греческого языка и литературы в России за последнее двадцатипятилетие // Русский вестник. 1880. № 4. С. 434–466.

³ Тернер Р.С. Историзм, критический метод и прусская профессура с 1740 по 1840 год // НЛЮ. 2006. № 82. <<http://magazines.russ.ru/nlo/2006/82/te3.html>>. Об истории классической филологии см. также: Графтон Э. От полигистора к филологу (как преобразилась немецкая наука об античности в 1780–1850-е годы) // НЛЮ. 2006. № 82. <<http://magazines.russ.ru/>

зультате, по мнению историка науки Роя Стивена Тернера, классическая филология «была “переприсвоена” представителями профессионального авангарда и их учениками, которые вытеснили из нее тех, кто не захотел или не сумел приспособиться к новым критериям компетентности»⁴.

Увлеченность российских интеллектуалов античностью, которая дала о себе знать в начале XIX века, проявилась в изобразительном искусстве и художественной литературе, в многочисленных публикациях переводов античных памятников на русский язык и в дискуссиях о способах перевода древних эпических поэтов⁵. Превращение же любительского интереса в научное направление и университетскую дисциплину исследователи относят к началу 1830-х годов. Эту перемену историки науки и образования связывают с именем президента Академии наук и министра народного просвещения С.С. Уварова. Он был достаточно известным эллинистом, печатался на русском и французском языках, поддерживал контакты с европейскими учеными. По аналогии с европейской традицией среднего образования, основанной на изучении классических дисциплин, Уваров создал систему общего образования в России и неустанно заботился о развитии науки об античности⁶.

В 1843 году в докладе «Десятилетие Министерства народного просвещения» Уваров объяснил свои пристрастия. «Опыты многих веков и примеры просвещеннейших народов, — уверял он, — единогласно признают классическое учение самым превосходнейшим и действительным способом к такому (т.е. общему. — К. И.) умственному развитию. До того в заведениях Министерства народного просвещения, при преобразовании учебного плана, усилено, сколько того требовала и позволяла общая соразмерность, преподавание классических языков. Стараясь привлечь к изучению греческого языка и словесности, министерство руководствовалось не только убеждением в дознанном превосходстве этого способа к умственному усовершенствованию, но и в необходимости основать новейшее русское образование тверже и глубже на древней образованности той нации, от которой Россия получила и святое учение веры и первые начатки своего просвещения»⁷.

nlo/2006/82/gr4.html»; *Моск Г. Век столкновений: как немецкие антиковеды XIX столетия упорядочивали свои дебаты* // НЛО. 2009. № 96. <<http://magazines.russ.ru/nlo/2009/96/gl5.html>>; *Тротман-Валлер С. Филология вещей или филология слов? История одного спора и его сегодняшние продолжения* // НЛО. 2009. № 96. <<http://magazines.russ.ru/nlo/2009/96/se6.html>>.

⁴ Тернер Р.С. Историзм, критический метод и прусская профессура с 1740 по 1840 год.

⁵ Фролов Э.Д. Указ. соч. С. 112–125.

⁶ Виттекер Ц.Х. Граф Сергей Семенович Уваров и его время. СПб.: Гуманитарное агентство «Академический проект», 1999. С. 167–168; Фролов Э.Д. Граф Сергей Семенович Уваров и академический классицизм // Петербургская академия наук в истории академий мира: к 275-летию Академии наук. Материалы международной конференции. Т. II. СПб., 1999. С. 275–285.

⁷ Уваров С.С. Избранные труды. М.: РОССПЭН, 2009. С. 359.

В 1828 году начальные и средние учебные заведения были реформированы. В гимназиях наряду с латинским языком стали преподавать и греческий, а в университетах было укреплено и расширено преподавание греческой и римской словесности и древней истории.

После кадровой реформы конца 1830-х годов⁸ целый ряд «античных» кафедр заняли молодые филологи и историки, выпускники первого и второго наборов Дерптского профессорского института (В.С. Печерин и Д.Л. Крюков в Московском университете, А.О. Валицкий и М.М. Лунин в Харьковском, М.С. Куторга в Санкт-Петербургском)⁹, Главного педагогического института (А.И. Меншиков, С.С. Лукьянович) и отдельные стипендиаты (И.Я. Нейкирх, Т.Н. Грановский). Все они прошли двух- или трехлетнюю стажировку в университетах Германии, главным образом в Берлине, слушали лекции и занимались у ведущих немецких филологов-классиков.

Кроме того, в Петербургский университет был переведен выпускник Дерптского университета и профессор Одесского Ришельевского лицея Ф.К. Фрейтаг. А в конце 1830-х годов в Московском и Казанском университетах кафедры греческой словесности и древностей заняли приглашенные профессора из Германии — Карл Гофман и Фридрих Фатер. Эти два профессора были единственными вызванными из-за границы университетскими преподавателями.

Однако если роль и деятельность вернувшихся после стажировки русских антиковедов попала в поле зрения исследователей и стала предметом гордости в отечественной науке, то влияние на развитие классической филологии приглашенных немецких ученых осталось без внимания. Между тем, через преподавание, рецензирование докторских и магистерских диссертаций они перенесли в Россию дисциплинарные нормы и соглашения, достигнутые германскими филологами-классиками.

Пожалуй, одной из самых ярких и незаслуженно забытых фигур является профессор греческой словесности и древностей Казанского университета Фридрих Фатер¹⁰ (1810–1866). Он был сыном кёнигсбергского профессора

⁸ Подробнее см.: Костина Т.В. Профессора «старые» и «новые»: «антиколлегияльная форма» С.С. Уварова // Сословие русских профессоров. Создатели статусов и смыслов / под ред. Е.А. Вишленковой, И.М. Савельевой. М.: Изд. дом ВШЭ, 2013. С. 212–238.

⁹ О значении выпускников Профессорского института при Дерптском университете для развития антиковедения в России см.: Фролов Э.Д. Указ. соч. С. 149–174; Виттекер Ц.Х. Указ. соч. С. 189–190; Петров Ф.А. Формирование системы университетского образования в России. Т. 4. Российские университеты и люди 1840-х годов. Ч. 1. Профессура. М.: Изд-во Московского ун-та, 2003. С. 144–153; Историко-филологический факультет Харьковско-го университета за первые 100 лет его существования (1805–1905). Харьков: Типография Адольфа Дарре, 1908. С. 175–183.

¹⁰ Sandys J.E. A History of Classical Scholarship. Vol. 3. The Eighteenth Century in Germany, and the Nineteenth Century in Europe and the United States of America. Cambridge: The University Press, 1908. P. 389.

философии Иоганна Северина Фатера, получил образование в Берлинском университете, где изучал классическую филологию.

Интересна история приглашения Фридриха Фатера в Казань, которая обнажает механизмы замещения университетских вакансий в Российской империи в середине николаевского царствования. В начале лета 1839 года ушел в отставку профессор греческой словесности и древностей Сергиус Мистаки, назначенный на эту кафедру еще в 1823 году попечителем округа М.Л. Магницким. Тогда это делалось без учета мнения совета университета¹¹. Учеников Мистаки не имел и преемников не оставил. На запрос попечителя М.Н. Мусина-Пушкина министр народного просвещения С.С. Уваров 29 июня 1839 года сообщил, что также «не имеет в настоящее время в виду ученого, который мог бы занять эту кафедру, а предписывает объявить на нее конкурс»¹².

Профессора словесного отделения и совета университета, согласовав требования к кандидату, дали в периодические издания объявления о конкурсе. До 1 апреля 1840 года претенденты должны были представить научные сочинения, а также специально подготовленные очерки по греческим древностям и истории греческой литературы¹³.

21 февраля 1840 года попечитель Казанского учебного округа сообщил совету профессоров, что занять данную кафедру хотел бы немецкий филолог Фридрих Фатер. В письме к попечителю претендент сообщал, что в 1833 году выдержал испытание «*pro venia docendi*», т.е. получил право преподавать древние языки и литературу. Молодой ученый (Фатеру было на тот момент 30 лет) перечислил научные труды, среди которых были издания античных памятников, статьи и рецензии, а также рассказал о мотивации. Единственная загвоздка состояла в том, что у Фатера не было необходимой по уставу 1835 года для занятия должности профессора степени доктора наук. Ее отсутствие ученый объяснял «недостаточным состоянием его, которое не позволяло ему сделать необходимых для этого издержек, но что, если это звание нужно, он надеется его беспрепятственно удостоиться»¹⁴.

Попечитель поручил прочитать одну из статей Фатера экстраординарному профессору русской истории Н.А. Иванову (выпускнику словесного отделения Казанского университета, в 1839 году защитившему в Дерптском университете докторскую диссертацию), а другую — доктору философии Виттенбергского университета (1813), ординарному профессору римской

¹¹ Иностранные профессора российских университетов (вторая половина XVIII — первая треть XIX века): биографический словарь. М.: РОССПЭН, 2011. С. 113; ОРРК НБ КГУ. Ед. хр. 4777. Л. 42 об.

¹² НА РГ. Ф. 977. Оп. Совет. Д. 2299. Л. 1.

¹³ Там же. Л. 2 об.

¹⁴ Там же. Л. 15.

словесности и древностей Августу Шарбе. Получив от них похвальные отзывы¹⁵, Мусин-Пушкин поторопил Фатера со сдачей докторского экзамена и просил прислать другие его работы.

Вскоре после этого попечитель получил письмо министра народного просвещения Уварова, который настойчиво рекомендовал на кафедру греческой словесности и древностей «берлинского ученого» и сына «известного Кёнигсбергского профессора» Фридриха Фатера¹⁶. Перечисляя научные труды соискателя, попечитель упоминал о рекомендациях, данных Фатеру профессором Августом Бёком и бароном Александром фон Гумбольдтом. Основываясь на этих рекомендациях, Уваров считал назначение Фатера «полезным приобретением» для Казанского университета¹⁷.

Письмо министра и рекомендации Бёка убедили попечителя в правильности выбранной им ранее стратегии, и он предписал совету Казанского университета отсрочить закрытие конкурса на кафедру до 1 июня 1840 года с тем, чтобы Фатер успел прислать необходимые документы¹⁸.

18 апреля 1840 года попечитель передал совету присланные Фатером тексты, а также рекомендательное письмо барона Александра фон Гумбольдта, в котором «рекомендуя его (Фатера. — К. И.) вновь со стороны отличной, как по знаниям, так и по нравственным качествам, присовокупляет, что он без всякого сомнения, получит степень доктора философии, когда это нужно»¹⁹. Через неделю отделение сообщило в совет, что профессор арабского и персидского языков Франц Эрдман и профессор римской словесности и древностей Август Шарбе признали труды Фатера удовлетворительными²⁰. А через месяц Мусин-Пушкин сообщил, что немецкий ученый получил степень доктора в Галльском университете, и предложил провести баллотирование²¹. Фатер был утвержден в должности ординарного профессора 26 июля 1840 года.

Следует отметить, что Фатер не был единственным претендентом на вакантную кафедру. 1 марта в совете было получено прошение «берлинского ученого» Бернгарда Кольбе. Словесному отделению было поручено рассмотреть его сочинения. 25 апреля отделение доносило совету, что пред-

¹⁵ Например, историк Н.А. Иванов отмечал: «Соединяя с обширною начитанностью в классических писателях основательное знание новейших исследований, Г[осподин] Фатер успел сделать труд свой вполне достойным внимания ученых» (НА РГ. Ф. 977. Оп. Совет. Д. 2299. Л. 15 об).

¹⁶ Там же. Л. 14.

¹⁷ Там же. Л. 14 об.

¹⁸ Там же. Л. 16.

¹⁹ Там же. Л. 23.

²⁰ Там же. Л. 25 об.; НА РГ. Ф. 977. Оп. Историко-филологический факультет. Д. 348. Л. 9.

²¹ НА РГ. Ф. 977. Оп. Совет. Д. 2299. Л. 31.

ставленные сочинения Кольбе и его рассуждение на латинском языке, рассмотренные профессорами Эрдманом и Шарбе, «недостаточны для приобретения звания профессора греческой литературы»²². Впрочем, рецензенты добавляли, что соискатель, если докажет знание русского языка, способен занять должность старшего учителя в гимназии. Позднее выяснилось, что русского языка Кольбе не знал²³. В середине мая в совете Казанского университета поступило еще два прошения на должность профессора по вакантной кафедре: Александра Деллена, магистра философии адъюнкта из Университета Св. Владимира от 26 февраля 1840 года и Ивана Синайского, учителя Саратовской духовной семинарии и Саратовской гимназии по греческому языку от 24 марта 1840 года²⁴. Обоим было отказано по причине окончания срока конкурса²⁵.

Приехав в Казань, Фатер пропагандировал и внедрял достижения немецкой классической филологии: он «энергично принялся за дело поднятия уровня преподавания своего предмета в университете» и озаботился «признанием своего предмета за самостоятельный и обязательный в кругу факультетского преподавания»²⁶. Профессор проработал в Казанском университете 14 лет. За исключением полугодовой научной командировки в Германию в 1851–1852 годах, он был постоянным членом испытательного комитета для приема в студенты²⁷. В 1842/43 и с 1844/45 по 1850/51 учебные годы читал лекции, а с 1843 года (после отставки Августа Шарбе) руководил также и занятиями по классической филологии в Педагогическом институте при Казанском университете²⁸. У него учились К.С. Тхоржевский, Н.Н. Булич и А.О. Угянский.

В воспоминаниях студентов-медиков ученый предстает строгим преподавателем²⁹. Студенты историко-филологического факультета 1850-х годов писали: «Нам приходилось учиться истории не у наших профессоров исто-

²² НА РТ. Ф. 977. Оп. Совет. Д. 2299. Л. 20 об.; НА РТ. Ф. 977. Оп. Историко-филологический факультет. Д. 348. Л. 19.

²³ НА РТ. Ф. 977. Оп. Совет. Д. 2299. Л. 21, 41.

²⁴ Там же. Л. 27, 29.

²⁵ Там же. Л. 28, 30.

²⁶ Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского университета (1804–1904). Ч. 1. Казань, 1904. С. 180–182.

²⁷ НА РТ. Ф. 977. Оп. Совет. Д. 3744 «Формулярные списки чиновников Совета университета», 1854. Л. 34 об.–35.

²⁸ НА РТ. Ф. 977. Оп. Совет. Д. 3738 «Об увольнении Ординарного профессора Фатера от службы в Казанском университете по прошению и об открытии конкурса на кафедру греческой словесности и древностей», 1854–1859. Л. 19 об.

²⁹ Ильинский А.И. За полстолетия. 1841–1892. Воспоминания о пережитом // Русская старина. 1894. Т. 81. № 3. С. 57–60.

рии, — сообщал Николай Овсянников, — а у филологов: Фатера, Тхоржевского, Григоровича»³⁰. В памяти мемуариста ученый остался «строгим», «талантливым», «справедливым и милым» профессором³¹. Он читал лекции на латыни, а со студентами общался на латинском или немецком (по-русски не говорил)³². Ученики восхищались его лекциями и считали главной заслугой профессора то, «что он был ученый вполне самостоятельный. Что он читал нам, это было его собственное мнение. <...> Он был искренне убежден в том, что говорил, и это убеждение передавалось его слушателям. <...> у Фатера же (в отличие от Струве. — К. И.) все было свое и все в высшей степени оригинальное. Это был такой ученый, какого мы всегда желали иметь»³³.

Коллеги также почитали немецкого ученого: «Фатер, как филолог, пользовался европейской известностью и его имя всегда произносил с уважением достойный вечной памяти наш даровитый и поэтический Тхоржевский»³⁴.

Результатом педагогического таланта Фатера был резкий рост защищенных по греческой словесности магистерских и докторских диссертаций. Почти на все он писал критические рецензии (разборы), которые сохранились в документах историко-филологического факультета Казанского университета.

Рецензии Фатера — это небольшие тексты, максимум на одну-две страницы, написанные на латинском или на русском языке. В 1844–1850 годах профессор составил отзывы на магистерскую (в 1844 году) и докторскую диссертацию своего ученика К.С. Тхоржевского (в 1847–1848 годах) и определенного в Казанский университет столичного выпускника, стажировавшегося три года в Лейпцигском и Гейдельбергском университетах Н.М. Благовещенского (в 1847 и 1850 годах соответственно), на магистерские диссертации Алкуина и Раймунда Шарбе (сыновей профессора Казанского университета по кафедре римской словесности и древностей Августа Шарбе), а также А.О. Угянского (в 1845, 1847 и 1850 годах), на докторскую диссертацию Алкуина Шарбе (в 1850 году)³⁵. На докторскую диссертацию

³⁰ Овсянников Н.Н. Записки студента Казанского университета (1851–1855) // Русский архив. 1909. Кн. 3. № 12. С. 493, 516.

³¹ Там же. С. 476, 511, 512.

³² Там же. С. 504.

³³ Там же. С. 506.

³⁴ Это мнение математика профессора П. Котельникова. НА РТ. Ф. 977. Оп. Совет. Д. 3738. Л. 107 об.

³⁵ См.: НА РТ. Ф. 977. Оп. Историко-филологический факультет. Д. 459. Л. 21–22 об.; Там же. Д. 508. Л. 8–9; Там же. Д. 511. Л. 6–6 об., 15; Там же. Д. 512. Л. 23–24; Там же. Д. 570. Л. 32; Там же. Д. 569. Л. 7–7 об.; Там же. Д. 598 б. Л. 11–11 об. К сожалению, отзыв на магистерскую диссертацию Тхоржевского, несмотря на упоминание в протоколах, обнаружить не удалось ни в делах Совета (НА РТ. Ф. 977. Оп. Совет. Д. 2683), ни в делах канцелярии попечителя (НА РТ. Ф. 92. Оп. 1. Д. 5600).

Раймунда Шарбе в конце 1853 года отзыв писал уже профессор римской словесности и древностей Ф.А. Струве³⁶, так как Фатер в это время страдал от обострения психического расстройства (он страдал манией преследования и в 1853 году уничтожил³⁷ (разорвал, а потом приказал утопить в реке Казанке³⁸) свою библиотеку.

Главными критериями оценивания исследований для Фатера были «самостоятельность» и «основательное знание» темы, которые включали знакомство с источниками и литературой, оригинальные открытия. Кроме того, рецензент анализировал структуру работы, логику изложения и владение научной терминологией, краткость, внятность и точность выводов³⁹.

Фатер был уволен от должности 7 декабря 1854 года. В конце июня он уехал в отпуск в Санкт-Петербург, откуда 25 августа 1854 года отправил попечителю прошение об отставке. Ученый жаловался на отказавшие ноги⁴⁰ и рекомендации врачей не возвращаться в Казань, а также просил выплатить ему годовое жалованье и выслать все необходимые документы⁴¹.

В конце октября попечитель В.П. Молоствов получил письмо министра народного просвещения А.С. Норова, который, торопя его с увольнением Фатера, отмечал: «При настоящем случае я не могу умолчать о бывших неудачных примерах определения профессоров греческой словесности из иностранцев, которые наполняли лекции свои, без всякой пользы для слушателей, сухими сличениями вариантов и непонятным разбором разных иностранных ученых, вместо того как следовало бы раскрывая свойства и совершенства греческого языка показывать сродство оного с русским языком, дабы таким образом возбуждать в слушателях любовь и стремление к основательнейшему изучению обоих языков. Обязываюсь обратить на сии обстоятельства особенное внимание <...> с тою целью, чтобы на открывающуюся ныне в Казанском университете вакансию по кафедре греческой словесности избран был достойнейший кандидат из русских ученых»⁴².

³⁶ См. НА РТ. Ф. 977. Оп. Историко-филологический факультет. Д. 703. Л. 2-2 об., 27.

³⁷ Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского университета. Ч. 1. С. 185.

³⁸ Овсянников Н.Н. Записки студента Казанского университета (1851–1855). С. 511.

³⁹ НА РТ. Ф. 977. Оп. Историко-филологический факультет. Д. 508. Л. 3; Там же. Д. 512 «Об испытании на степень магистра г. Шарбе», 1846–1847. Л. 13; Там же. Д. 570 «Дело об испытании г. кандидата Угянского на степень магистра греческой словесности», 1849–1850. Л. 32.

⁴⁰ Проблемы с ногами отмечали и студенты Фатера: «ноги были не в порядке» (Овсянников Н.Н. Записки студента Казанского университета (1851–1855). С. 504).

⁴¹ НА РТ. Ф. 92. Оп. 1. Д. 6947 «Об увольнении от службы ординарного профессора Казанского университета Фатера», 1854. Л. 1–2.

⁴² НА РТ. Ф. 92. Оп. 1. Д. 6947. Л. 9 об.

Поводом и непосредственным источником вдохновения для такого резкого высказывания министра народного просвещения послужило пересланное ему за неделю до этого заведующим отделением книг на восточных языках Публичной библиотеки санскритологом Каэтаном Коссовичем частное письмо исправляющего должность адъюнкта в Казанском университете Б.И. Ордынского.

24 сентября 1854 года Ордынский, недавно защитивший диссертацию на степень магистра греческой словесности, писал однокашнику по Московскому университету в Санкт-Петербург: «Вы, конечно, согласитесь, что классическая филология должна принять у нас свой характер и что Западная Европа не всё сделала для древнего мира. <...> Грустно видеть, <...> что прекрасный греческий язык теперь здесь вовсе не преподают. Да и прежде, можете догадаться, как преподавался немцем: студенты вместо того, чтобы следить за сродством греческого языка с русским и таким образом приучаться любить наш язык, это сокровище, которым мы имеем полное право гордиться передо всеми европейцами, — слушали сухие сличения вариантов, ошибочные объяснения разных иностранных ученых, которых значение было для них совершенно закрыто»⁴³.

Министр не только принял к сведению слова молодого филолога о силе «немецкой партии» и ущемлении интересов русских ученых в Казани, о неудачной методике преподавания греческого языка немецкими профессорами и о необходимости на занятиях со студентами проводить сравнительный анализ русского языка с греческим⁴⁴, но и транслировал это мнение в качестве собственных рекомендаций.

Говоря о вредном влиянии профессоров греческой словесности, Норов также имел в виду вполне конкретные события, произошедшие в 1848 году и связанные с именем профессора греческой словесности и древностей Московского университета Карла Гофмана.

Карл Гофман — выпускник Кассельской гимназии, Геттингенского и Марбургского университетов, доктор философии Марбургского университета. В 1835 году он получил свидетельство на звание домашнего учителя от Санкт-Петербургского университета. В Московский университет ученый был определен С.С. Уваровым в 1837 году по ходатайству попечителя С.Г. Строганова и рекомендации Ф.Б. Грефе⁴⁵. Тогда московский попечитель

⁴³ РГИА. Ф. 733. Оп. 46. Д. 186. Л. 13–13 об.

⁴⁴ Там же. Л. 11–13 об.

⁴⁵ ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 7. Д. 109; Петров Ф.А. Указ. соч. С. 152; Биографический словарь профессоров и преподавателей императорского Московского университета за истекшее столетие со дня учреждения января 12-го 1755 года по день столетнего юбилея января 12-го 1855 года, составленный трудами профессоров и преподавателей, занимавших кафедры в 1854 году, и расположенный по азбучному порядку. Ч. 1. М.: Унив. тип., 1855. С. 262–263.

(после скандального увольнения В.С. Печерина) искал нового преподавателя греческой словесности. Четыре года Гофман преподавал этот предмет без платы, пока в 1841 году не получил звание экстраординарного профессора⁴⁶. В 1842 году замещал уехавшего за границу Д.Л. Крюкова и преподавал без вознаграждения латинскую словесность⁴⁷. В 1847 году совет университета двадцатью голосами против трех избрал его ординарным профессором, однако министр отказался утвердить его из-за отсутствия степени доктора⁴⁸.

Ф.И. Буслаев вспоминал о нем: «выписанный из Германии немецкий ученый <...> еще молодой человек, высокий, дебелый и румяный, с длинными русыми волосами, ниспадавшими на плечи, милый чудак с замашками наивного бурша. По-русски он не говорил ни слова и переводил с нами греческих классиков на латинский язык»⁴⁹. Языковой барьер помешал наладить отношения со студентами и принести им пользу. «Это был человек не без дарования, могший с пользою преподавать греческий язык, <...> — отмечал С.М. Соловьев, — но немец не понимал своего положения в русском университете»⁵⁰.

Скандальное увольнение Гофмана было связано с реакцией власти на европейские революции 1848 года. В Московском университете все произошло внезапно. «Однажды во время смены явился к нам в профессорскую комнату генерал-губернатор Закревский с своим адъютантом, — вспоминал Федор Буслаев. — <...> Закревский что-то сказал инспектору. Инспектор направился к стоявшему между нас профессору греческой литературы Гофману и пригласил его следовать за генерал-губернатором, который желает прослушать его лекцию. Когда они вышли за дверь, мы уже совсем потеряли голову: не то смеяться, не то горевать. Гофман по-русски говорить не умел, а студентам читал по-латыни и переводил с греческого языка на латинский. Что же будет слушать Закревский на его лекции, не понимая ни слова на этих языках? Вечером я узнал, что Гофман арестован, а через день был выслан под стражею за границу. Полицейские сыщики перехватили его письмо к брату, который состоял тогда членом германского Конгресса агитаторов во Франкфурте-на-Майне. Таким образом, наш товарищ был обвинен, как соумышленник западных мятежников»⁵¹.

⁴⁶ ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 10. Д. 48. Л. 1–1 об.

⁴⁷ ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 13. Д. 77. Л. 1–3.

⁴⁸ ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 15. Д. 300. Л. 2, 3.

⁴⁹ Буслаев Ф.И. Мои воспоминания. <http://az.lib.ru/b/buslaew_f_i/text_1892_moi_vospominania.shtml>.

⁵⁰ Соловьев С.М. Мои записки для детей моих, а если можно, и для других. <http://az.lib.ru/s/solowxew_sergerj_mihajlowich/text_0410.shtml>.

⁵¹ Буслаев Ф.И. Указ. соч.

Судя по всему, эта акция была инициирована именно политической полицией. 3 ноября 1848 года Уваров получил письмо от главного начальника III отделения и шефа жандармов графа А.Ф. Орлова о необходимости «Гофмана уволить в отставку и объявить ему, чтобы он выехал из России за границу, обязав его в том подпискою»⁵².

Пассаж о родстве греческого и русского языков фиксирует очередной поворот в спорах о произношении древнегреческого языка. Дело в том, что исторически в России утвердилось византийско-новогреческое произношение. До начала XIX века в духовных учебных заведениях и в Московском университете греческий язык преподавался в соответствии с этими нормами. В Европе же было распространено реформированное произношение, обоснованное Эразмом Роттердамским в XVI веке. Немецкие профессора, приглашенные в начале XIX века в российские университеты (главным образом Ф.Б. Грефе в Санкт-Петербурге и Эрнст Маурер в Харькове) вводили эразмовское произношение. Это порождало сопротивление, а оно стимулировало научное обоснование византийского произношения и родство греческого языка со старославянским.

Насаждение классического обучения и изучения греческого языка при Уварове прервалось революцией 1848 года. Правительственные круги Германии и России считали, что одной из причин революции является классическое образование, которое вредно влияет на молодежь, неся демократические идеи. Преподавание греческого языка было решено сократить и оставить только в университетах и некоторых гимназиях. В 1852 году П.А. Ширинский-Шихматов, сменивший Уварова на посту министра народного просвещения, добился запрета в высших и средних учебных заведениях эразмовского произношения и вернул принятое в православных духовных академиях и семинариях рейхлиновское произношение⁵³. А.С. Норов, преемник Ширинского-Шихматова на посту министра народного просвещения, действовал в заданном предшественником направлении.

Пожелание министра Норова о выборе «русского» кандидата осложнилось для Казанского университета отсутствием таковых. С конца 1840-х годов достойным преемником Фатеру виделся молодой и талантливый Клеотильд Тхоржевский, но он умер в марте 1854 года⁵⁴. Единственным претендентом, подавшим документы на конкурс на кафедру греческой словес-

⁵² РГИА. Ф. 733. Оп. 34. Д. 10. Л. 1.

⁵³ Подробнее о спорах о произношении см.: Тронский И.М. Из истории классической филологии в России. Споры о школьном произношении древнегреческого языка // Двойной портрет IV. Константы русской культуры: Классический греческий язык и эллинский мир. Эллинисты: Языковеды и педагоги. М.: Филоматис, 2014. С. 119–125.

⁵⁴ Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского университета. Ч. 1. С. 179.

ности и древностей, стал другой ученик Фатера — Алкуин Шарбе. Однако его «дело» стало ярким примером того, что присуждение степени и признание знаний соискателя достаточными для степени доктора отнюдь не гарантировало потом признание их удовлетворительными для занятия должности профессора. В многолетнюю дискуссию были втянуты профессора не только историко-филологического факультета, но и других факультетов. Профессора обсуждали тонкости научных сочинений и различия между стандартами в исторических и филологических научных сочинениях, а магистры в это время читали лекции студентам. В итоге «противоположности мнений» «конкуренту» было отказано в месте, а конкурс на кафедру открыт заново. По результатам следующего конкурса в ноябре 1858 года кафедру (правда, ненадолго) занял брат Алкуина Шарбе — Раймунд⁵⁵.

Таким образом, реконструкция научных биографий ученых-классиков Фридриха Фатера и Карла Гофмана позволяет зафиксировать изменение политики Министерства народного просвещения 1830–1850-х годов в отношении найма немецких профессоров для преподавания классических дисциплин, а также обнаружить зависимость методов преподавания и исследовательских практик классической филологии от политических событий.

⁵⁵ НА РГ. Ф. 977. Оп. Совет. Д. 3738. Л. 23–160.

Михаил Давыдов,
Елена Вишленкова

«ГЕРОИ ДВЕНАДЦАТОГО ГОДА» И МЕХАНИЗМЫ КУЛЬТУРНОЙ ПАМЯТИ

В наши дни все народы имеют героические нарративы и символы национальной идентичности¹. Большинство из них были созданы в XIX веке на пике веры в мобилизационную силу славного прошлого. Именно тогда французы обрели историю Французской революции², а британцы — повествования о Трафальгаре и Ватерлоо, о героических деяниях Нельсона и Веллингтона³. Тогда же в России были написаны эпические произведения о Бородине и подвигах русского народа⁴.

Сегодня для историков и их читателей описание войны 1812 года служит фундаментом в конструкции героической национальной истории. Для многих же современников война была драматическим событием их личной жизни. В их памяти прошлое навсегда разделилось на периоды «до» и «после француза». Оно было наполнено противоречивыми подробностями. Естественно, что у политических элит и рядовых подданных были разные представления о случившемся: «своя война», свое понимание причин победы, свое видение роли сословий и людей, имена «своих» героев. Из этой какофонии было трудно организовать полифонию. На это были направлены усилия правительства и «официальных историографов», взявших за создание непротиворечивого рассказа о великой победе. Сопоставление индивидуальных воспомина-

¹ Первоначальный вариант этого текста был опубликован на немецком языке: *Daviddov M.A., Vishlenkova E.A. Einhundert Jahre Streit um die Helden von 1812: Vom "Vaterländischen" Krieg zum Ersten "Weltkrieg" // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 2015. Bd. 63. H. 4. S. 545–572.* Текст переработан и дополнен. Исследование выполнено в рамках Программы фундаментальных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и с использованием средств субсидии на государственную поддержку ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров, выделенной НИУ ВШЭ.

² *Уваров П.Ю. История, историки и историческая память во Франции // Он же. Между «ежами» и «лисами»: Заметки об историках. М.: Новое литературное обозрение, 2015. С. 34–35.*

³ *Liven D. Russia against Napoleon. The True Story of War and Peace. Penguin Books, 2009. P. 4.*

⁴ См. об этом: *Sdvizkov D. Unbequemes Gedachtnis Borodino und Leipzig // Osteuropa. 2013. H. 1. S. 75–83.*

ний с такого рода текстами позволяет обнаружить противоречия и конфликты памяти. Особенно остро они проявляются в споре о «героях двенадцатого года», т.е. о том, кто был творцом победы над Наполеоном и его армией.

Не только верховная власть и ангажированные ею писатели творили метанарратив войны 1812 года. Осмысление ее событий и сути подвига происходило в ходе работы нескольких поколений российских интеллектуалов над национальным проектом. Следствием их усилий по воспитанию соответствующего воображения у соотечественников стали проекты декабристов о построении национального государства, дебаты славянофилов и западников об отличиях России и Европы, «русские» костюмированные балы второй половины XIX века, понятия «русская наука», «русское искусство» и «русское прошлое». Во всей этой продукции неизменно присутствовали «герои и злодеи двенадцатого года».

Многие проблемы культурной истории войны с Наполеоном (в том числе организация пропаганды, понимание патриотизма и групповой идентичности) основательно были проработаны исследователями в 2000-е годы⁵. Опираясь на их результаты, мы анализируем изобретенные политиками и писателями-историками XIX века механизмы героизации, т.е. способы обоснования гражданского и национального подвига. Для этого мы сопоставили разновременные проекты коммеморации, появившиеся в России с 1812 по 1914 год. Из всего комплекса визуальных и вербальных текстов были взяты произведения, которые меняли направление дискурса. Их мы выделяли по размерам тиражей, а также по открытому и скрытому цитированию. Для достижения цели использовались методы визуальных исследований, которые помогли обнаружить «материал» изготовления героических образов (например, реплики в гравюрах костюмного жанра) и понять технологию их переработки (перекодирования смыслов). Для анализа произведений художественной литературы использовались методы генетической критики, посредством которых зафиксированы расхождения в незавершенных черновиках и в опубликованных текстах.

⁵ Westing M. W. *Napoleon in Russian cultural mythology*. N.Y.: P. Lang, 2001; Figs O. *Natasha's dance: A cultural history of Russia*. N.Y.: Metropolitan Books, 2002; Hartley J. *Russia and Napoleon: State, society and the nation // Collaboration and resistance in Napoleonic Europe: State formation in an age of upheaval, c. 1800–1815* / M. Rowe (ed.). Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan, 2003. P. 186–202; Jahn H.F. *Us': Russians on Russianness // National identity in Russian culture: An introduction* / S. Simon Franklin, E. Widdis (eds). Cambridge; N.Y.: Cambridge University Press, 2004. P. 53–73; Hartley J. *The patriotism of the Russian army in the 'patriotic' or 'fatherland' war of 1812 // Popular resistance in the French wars: Patriots, partisans and land pirates* / Ch.J. Esdaile (ed.). Basingstoke, UK: Palgrave, 2005. P. 181–200; Martin A.M. *Russia and the legacy of 1812 // Cambridge history of Russia. Vol. 2: Imperial Russia, 1689–1917* / D. Lieven (ed.). Cambridge, 2006. P. 145–161; Norris S.M. *A war of images: Russian popular prints, wartime culture, and national identity, 1812–1945*. DeKalb: Northern Illinois university press, 2006; Pollocks. *'As one Russian to another': Prince Petr Ivanovich Bagration's assimilation of Russian ways // Ab Imperio*. 2010. No. 4. P. 113–142.

Опираясь на теории социального конструктивизма и исторической памяти⁶, мы рассматриваем героев войны 1812 года как продукты социальных конвенций о нации, этносе, Отечестве и культуре⁷. Такой подход вдохновил изучать исторические свидетельства и способы их интерпретации, выявлять моменты появления замыслов и варианты их реализации. Двигаясь по этому пути, мы деконструировали Вальхаллу «героев двенадцатого года» — упорядоченный фрагмент национальной памяти — и сделали это не ради ревизионистского пафоса, а ради открытого отношения к своему прошлому.

Воспоминания

В отличие от пиренейских походов английской армии, военные действия 1812 года по целому ряду причин не имели однозначно и всеми признанного героя. На тот момент в русской армии не было лидера, равного Наполеону, чья слава военного гения, репутация непревзойденного мастера генеральных сражений действовала магически и парализовывала боевой дух противников.

Уже кампании 1805–1807 годов убедили россиян в преимуществах французской армии. Генерал Алексей Ермолов вспоминал, что тогда русским офицерам во французах «всё казалось удивительным и чудесным»⁸. Его свидетельство подтвердил другой генерал — поэт и герой партизанского движения Денис Давыдов. Он напомнил соотечественникам, что после битвы под Фридландом русские солдаты и офицеры уверовали в непобедимость неприятеля⁹. И еще один участник событий — военный историк и генерал Александр Михайловский-Данилевский — тоже уверял: «Настоящее поколение не может иметь понятия о впечатлении, какое производило на противников Наполеона известие о появлении его на поле сражения!.. Кто не жил во время Наполеона, — писал он, — тот не может вообразить себе степени его нравственного могущества, действовавшего на умы современников. Имя его было известно каждому и заключало в себе какое-то безотчетное понятие о силе безо всяких границ»¹⁰.

⁶ Пример плодотворного использования этой теории см.: Forrest A., Francois E., Hagemann K. Introduction // War memories: The Revolutionary and Napoleonic Wars in modern European culture / A. Forrest, E. Francois, K. Hagemann (eds). Houndmills; Basingstoke; Hampshire; N.Y.: Palgrave Macmillan, 2012. P. 1–37.

⁷ Подобный подход к анализу исторической культуры использован в статье: Vishlenkova E. Picturing the Russian National Past in the Early 19th Century // *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas*. 2012. Bd. 60. H. 4. S. 489–509.

⁸ [Ермолов А.] Записки Алексея Петровича Ермолова. М., 1863. С. 240.

⁹ Давыдов Д., Дурова Н. Сочинения. М.: Правда, 1987. С. 163.

¹⁰ Михайловский-Данилевский А.И. Описание второй войны императора Александра с Наполеоном в 1806 и 1807 годах. СПб., 1846. С. 178; Он же. Описание Отечественной войны в 1812 году. СПб., 1839. С. 55.

После смерти генералиссимуса Александра Суворова в штабе русской армии установилась атмосфера недоверия и интриг. Она создавалась так называемой «русской партией», подогревалась конфликтом между командующими Михаилом Барклаем-де-Толли и Петром Багратионом, следствием которого стал так называемый «генеральский заговор» (определение историка Андрея Тартаковского¹¹). Родившийся в Риге сын шведки и наследника старинного остзейского рода, Барклай-де-Толли воспринимался при дворе Александра I «немцем». Благодаря смелости и стратегическому мышлению, а также частым войнам России он сделал стремительную военную карьеру, поднявшись от корнета до министра. Однако ни репутация талантливого полководца, ни заслуги и звания не защитили его от ксенофобских обвинений. Отстранение в августе 1812 года Барклая-де-Толли от командования и назначение вместо него Михаила Кутузова сняло одни проблемы, но породило новые. Уж очень привык Кутузов побеждать при дворе с помощью интриг. О психологически неблагоприятной атмосфере в русской армии современники узнали благодаря скандалу между офицерами Семеновского полка и их командиром Карлом Криднером, который вспыхнул в разгар смоленских боев¹².

Зная ситуацию в штабе и расклад боевых сил, российская военная элита считала счастливый исход войны Чудом. Непобедимая прежде 640-тысячная Великая армия Наполеона растворилась, не испытав ни одного разгрома на полях сражений¹³. Историкам предстояло объяснить этот феномен, т.е. рационализировать победу и... найти ее творца(ов). В качестве такового многие современники называли «русский народ». Но кто это такой и кто к нему относится — знали немногие.

Созданные военными журналистами и карикатуристами для пропагандистских и мобилизационных целей образы русских народных героев были слишком сказочно-фольклорными и не соответствовали послевоенному намерению российского правительства — стать примирителем и идейным лидером Европы. Визуальные образы сражающихся женщин, детей и крестьян в карикатурах И. Теребенева, Е. Корнеева, А. Венецианова, И. Шифляра, М. Богучарова, И. Тупылева, И. Иванова, а также в журнальных анекдотах были составной частью концепции войны как бандитского нападения европейцев на мирных россиян. Она хорошо оправдывала и объясняла военную тактику Барклая-де-Толли, по которой мирное население

¹¹ Тартаковский А.Г. Неразгаданный Барклай: легенды и быль 1812 года. М.: Археографический центр, 1996. С. 79–93.

¹² Давыдов М.А. Оппозиция Его Величества. Дворянство и реформы в начале XIX в. Göttingen, 1994. С. 136–137.

¹³ Этот феномен анализирует Доминик Ливен: *Liven D. Op. cit.* P. 4.

вынуждено было защищать армию. Для обоснования собственного лидерства в «Священном союзе» император Александр нуждался в иных героях, нежели социальные низы, в репрезентации России в качестве сильного партнера, а не обиженного родственника. Подходящую версию монарху предложил митрополит Филарет, обыгравший в ряде своих проповедей метафору Божественного суда, свершившегося в пользу праведного политического устройства¹⁴. Отечественная война была временем борьбы «священного закона нравственности», носителем которого являются русские, против «ложного закона просвещения», олицетворенного французами, Наполеоном и Великой армией¹⁵.

Официальная политика памяти

Признавая необходимость для социальной стабильности империи единой, т.е. «правильно организованной» памяти, имперская власть стремилась регулировать коммеморативные инициативы современников. Именно поэтому в 1815 году в России была запрещена продажа карикатур. К тому времени не только для власти, но и для празднующих победу интеллектуалов социальное послание карикатуристов перестало быть актуальным. Мысль о вооруженном крестьянине была, как минимум, неприятна. Она вызывала такие же чувства, как мысль о вооруженном ребенке. В принципе, крестьяне не могли быть солдатами, поскольку их работа должна обеспечивать функционирование армии. Даже для сторонников гражданских прав воюющий мужик был ненастоящим крестьянином, так как у него была двойная идентичность. И это создало ограничения для репрезентации «русского народа» в качестве героя и гражданской нации.

В Манифесте 25 декабря 1812 года император объяснил подданным, что Божественный суд в пользу России свершило само Провидение. Мы решили включить в текст статьи обширную цитату из этого документа, поскольку она имеет характер наставления и тиражировалась во многих изданиях того времени. «Каковой пример храбрости, мужества, благочестия, терпения и твердости показала Россия!.. Казалось, с пролитием крови ее умножался в ней дух мужества, с пожарами градов ее воспалялась любовь к Отечеству, с разрушением и поруганием храмов Божиих утверждалась в ней вера и возникало непримиримое мщение. Войско, вельможи, дворянство, духовенство, купечество, народ, словом: все государственные чины и состояния, не щадя ни имуществ своих, ни жизни, составили единую душу, душу вместе

¹⁴ См. об этом: Вишленкова Е.А. Утраченная версия войны и мира: символика Александровской эпохи // *Ab Imperio*. 2004. № 2. С. 171–210; Парсамов В.С. Библийский нарратив войны 1812–1814 годов // *История и повествование: сб. ст. М., 2006. С. 100–121.*

¹⁵ Сын Отечества. 1813. № 33. С. 10–11.

мужественную и благочестивую, толико же пылающую любовью к Отечеству, колико любовью к Богу. От сего всеобщего согласия и усердия вскоре произошли следствия едва ли имоверные, едва ли когда слыханные.

Да представляют себе собранные с двадцати царств и народов, под единое знамя соединенные ужасные силы, с какими властолюбивый, надменный победами, свирепый неприятель вошел в нашу землю. Полмиллиона пеших и конных воинов и около полутора тысяч пушек следовали за ним. С сим толико огромным ополчением проникает он в самую средину России, распространяется и начинает повсюду разливать огонь и опустошение. Но едва проходит шесть месяцев от вступления его в Наши пределы, и где он? ...Где войска его, подобные туче нагнанных ветрами черных облаков? Рассыпались, как дождь... Зрелище погибели войск его невероятно! Едва можно собственным глазам своим поверить. Кто мог сие сделать? Не отнимая достойной славы ни у главнокомандующего войсками нашими знаменитого полководца, принесшего бессмертные отечеству заслуги, ни у других искусных и мужественных вождей и военачальников, ознаменовавших себя рвением и усердием, ни вообще у всего храброго нашего воинства, можем сказать, что содеянное ими есть превыше сил человеческих. Итак, да познаем в великом деле сем Промысел Божий. Повергнемся пред святым его престолом»¹⁶.

Итак, монарх уверял подданных, что вторжение inferнальных сил Запада отражено Святой Россией и ее Священным войском. Благодаря вере россияне спаслись сами и спасли мир. В героической риторике русский народ предстал единым социальным телом без этнических и социальных делений. История символических репрезентаций военных героев и войны с Наполеоном позволяет заподозрить, что Александр I не видел необходимости в опоре на государственную нацию и тем более на простонародье, в признании в нем субъекта истории. У него была другая историософия собственной жизни и правления. Волевым решением он пресек графическую репрезентацию гражданской нации ради утверждения в качестве официальной идеологии амбициозной метафоры «Россия — империя славянской нации». Это позволяло работать не с фольклорными, а с историческими аллюзиями.

Божий промысел, император в качестве его орудия, «единение сословий», «народная война»¹⁷ — ключевые концепты, на которых строилась послевоенная политика памяти. Сам Александр I давал примеры скромности и усмирения гордыни. В благодарность за победу он начал строительство в Москве храма Христа Спасителя на Воробьевых горах, на колоннах которого должны были быть высечены имена всех участников столкновения. Кро-

¹⁶ Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1-е. СПб., 1830. Т. 32. № 25295. С. 486–487.

¹⁷ О создании концепта «народная война»: *Parsamov V. Mythos und Ideologie 1812 und die Idee des 'Volkskriegs' // Osteuropa. 2013. Н. 1. S. 15–29.*

ме того, император заказал английскому художнику Джорджу Доу галерею с портретами всех русских генералов и создал из них военный иконостас мучеников¹⁸.

Примеру монарха следовали его подданные. Чувство колоссального облегчения от того, что ожидавшийся апокалипсис не состоялся, от того, что враг уничтожен, ощущается в публикациях панегирического жанра. Свыше 150 изданий, вышедших в 1812–1815 годах, посвящены рассказам о вторжении Наполеона в Россию¹⁹. Такая литературная активность не была типичной. В этих изданиях, а также в статьях журналов «Сын Отечества», «Русский Вестник», «Вестник Европы», «Военный Журнал» читателю предлагались противоречащие друг другу версии войны, но уже тогда среди них доминировали сакральные интерпретации. Вслед за монархом и церковными проповедниками военный аналитик Петр Чуйкевич представлял читателям войну как «священную брань», порожденную «ненасытным властолюбием» Наполеона. «Правительство твое пребыло твердым и сохранило свое достоинство среди ужасной бури, — писал он. — Воинство и все сословия граждан показали себя героями и достойными тебя сынами. В священной брани сей, все стремилось к одной цели, все сливалось к одной мысли: спасти Отечество. ...Великие примеры отечественной истории оставили вам, россияне, драгоценный залог поддержать достоинство имени русского. Пусть потомство скажет: во дни Александра они были первым народом Вселенной»²⁰.

Ощущение себя как «первого народа» — одно из главных приобретений, сделанных россиянами в 1812 году. Выражалось оно по-разному в социальных кругах, но всегда подразумевало чувство культурного превосходства над Францией и над абстрактным Западом в целом.

Некоторые авторы шли в мистических пророчествах дальше церковной и политической власти и утверждали богоизбранность русского народа. Так, масон Александр Лабзин писал: «Когда Всемогущий избирает в орудия свои какой-либо народ, то без сомнения, для какой-нибудь важной цели. Когда Он прославляет его так, как прославил Россию... то, без сомнения, имеет намерение произвести что-либо великое чрез сей народ во всех концах мира»²¹.

Судя по этим текстам, болезненная для просвещенных россиян оппозиция «отсталая Россия — передовой Запад» (два полюса культуры) обрела после 1812 года позитивный смысл. Не отсталость, а культурная инаковость обеспечила Российской империи победу. Строители русского национализ-

¹⁸ Отечественная война 1812 г. Энциклопедия. М.: РОССПЭН, 2004. С. 763, 133.

¹⁹ Шеин И. А. Война 1812 года в отечественной историографии. М.: Научно-политическая книга, 2013. С. 79.

²⁰ Чуйкевич П. А. Рассуждение о войне 1812 года. СПб.: Сенатская типография, 1813. С. I–II.

²¹ Сын Отечества. 1814. № 3. С. 120–121.

ма апеллировали к этому аргументу в течение всего XIX века, независимо от того, были ли они сторонниками проекта культурной нации или исповедовали шовинизм (например, во время польских восстаний 1830–1831 и 1863–1864 годов).

«У победы много отцов, поражение — всегда сирота»

В александровскую эпоху официальная риторика не заглушала голосов инакомыслящих и не стремилась стереть воспоминания современников. В отличие от проповедей и манифестов, в мемуарных изданиях и рукописных записях (в значительной части до сих пор неопубликованных), в произведениях художественной литературы и искусства звучали не абстрактные понятия, а имена вполне реальных людей. В 1813–1815 годах вышло сразу шесть жизнеописаний Михаила Кутузова, три биографии Михаила Милорадовича и столько же Якова Кульнева, по две — Петра Витгенштейна и Матвея Платова, а также книги и статьи об Александре Кутайсове, Петре Коновницине, Петре Багратионе, Иване Дорохове, Дмитрие Дохтурове. Среди упомянутых нашлось место даже адмиралу Павлу Чичагову, который выпустил из России Наполеона и часть его войска, а также генерал-губернатору Москвы Федору Ростопчину, на которого возлагали ответственность за пожары.

Возведение пантеона героев осуществлялось коллективными усилиями в ходе споров, согласований, пересмотров. Фундамент для него был заложен произведением молодого поэта-романтика Василия Жуковского «Певец во стане русских воинов». В нем была та же коммеморативная идея, что и в Военной галерее Зимнего дворца — назвать/показать героев. В последнем варианте «Певца» (1815) их перечень был следующим: Александр I, М.И. Кутузов, А.П. Ермолов, Н.Н. Раевский, М.А. Милорадович, М.И. Платов, Л.Л. Бенигсен, М.С. Воронцов, П.П. Коновницын, А.П. Тормасов, П.Х. Витгенштейн, Н.П. Кудашев, П.С. Кайсаров, П.П. Пален, П.А. Строганов, А.И. Остерман-Толстой, А.Г. Щербатов, Д.С. Дохтуров, А.И. Чернышев, В.В. Орлов-Денисов, а также погибшие Я.П. Кульнев, А.И. Кутайсов, П.И. Багратион и К.Ф. Багговут. Поэт назвал имена почти всех корпусных и дивизионных командиров, а также некоторых офицеров более низкого ранга. При этом он «забыл» имена Чичагова и Барклая-де-Толли.

Жуковскому вторили прочие поэты. Ни в одном из 500 прославленных стихотворений, опубликованных с 1812 по 1815 год, нет имени Михаила Барклая-де-Толли²². Конечно, маловероятно, чтобы Барклая-де-Толли, смещенный в августе 1812 года, мог быть признан творцом победы в войне,

²² Тартаковский А.Г. Неразгаданный Барклай... С. 191–193.

получившей тогда наименование «Отечественная». Он на это и не претендовал. Но генерала обижала неблагодарность россиян, забвение его усилий по сохранению армии от превосходящего по численности противника и успеха его тактики ослабления Великой армии.

Видимо, молчание певцов было результатом негласного соглашения о принципах героизации. Поскольку в острый период войны Александр I армией не руководил, то приписать ему победу было трудно. Поэтому вплоть до середины XIX столетия монарха славили в качестве символа России, а военные победы приписывали Михаилу Кутузову. И это несмотря на то что боевые офицеры обвиняли Кутузова в военных просчетах (сдал Москву, в московском и смоленском пожарах погибли русские раненые, французская армия захватила склады с оружием).

Официальная политика памяти порождала протесты у осведомленных читателей и задетых лиц. Например, в силу близости к штабу Петр Чуйкевич знал, что Кутузов обвинял Барклая-де-Толли в трагедии Москвы из-за разработанной им военной тактики²³. Оскорбленный генерал написал объяснение и просил императора опубликовать его. Но Александр I не дал на это согласия. После войны Чуйкевич совершил акт личного мужества и защитил честь своего покровителя. Он издал за свой счет брошюру «Рассуждение о войне 1812 года», в которой доказал эффективность замысла Барклая-де-Толли²⁴. И хотя имя опального генерала в тексте не упоминается, читателям было понятно, о ком рассказывает автор. Поступок Чуйкевича навлек на него нападки бдительных писателей. Например, Дмитрий Бутурлин отрицал наличие у Барклая какого-либо плана и уверял, что «слава, приобретенная Россиею, не имеет надобности в пособии хитрости и лжи»²⁵.

Дух романтизма подталкивал писателей к использованию сильных метафор для его прославления, поэтому Михаил Кутузов обрел литературный титул «спасителя Отечества».

Эпоха коммемораций

В правление Николая I усилилась тенденция к романтизации и эстетизации выигранной войны. С годами герои 1812 года начали утрачивать индивидуальные черты и лишаться человеческих слабостей, всё больше превращаясь в безупречные символы храбрости и победы.

²³ Там же. С. 156–161.

²⁴ Чуйкевич П.А. Указ. соч.

²⁵ Бутурлин Д.П. История Нашествия императора Наполеона на Россию в 1812 году. СПб., 1837. Ч. 2. С. 330.

В 1830-е годы произошел всплеск интереса к Отечественной войне, хорошо описанный в историографии²⁶. Стимулом к нему послужило Польское восстание 1830–1831 годов. Национальные чувства широких кругов русской общественности, в первую очередь дворянства, были оскорблены сепаратистскими настроениями польской шляхты и студенчества. И когда появились слухи о том, что страны Запада намерены помочь революционерам, многие российские интеллектуалы поверили этому. Например, Александр Пушкин написал «шинельные стихи», подорвавшие его авторитет в глазах соотечественников, критически настроенных по отношению к правительству.

Польское восстание стало первой пробой мобилизационных возможностей рассказов о войне 1812 года. Поскольку эта тактика оказалась успешной, то в последующие годы каждая угроза национальной независимости или патриотические переживания порождали всплеск воспоминаний и ассоциации с французским нашествием. Постепенно такая зависимость превратилась в привычный рефлекс российских элит.

Поддержанию актуальной памяти о войне с Наполеоном содействовала коммеморативная политика Николая I. В 1837 году россияне широко отмечали 25-летие победы. К этому событию было приурочено возведение целой серии монументов. В частности, в 1832 году возобновилось строительство храма Христа Спасителя, который царь приказал возводить напротив Кремля, что автоматически сделало его государственным символом²⁷. В 1834 году на Дворцовой площади в Петербурге была установлена Александровская колонна («Александровский столп»)²⁸. В том же году в обеих столицах были возведены Триумфальные арки²⁹. В 1837 году были открыты памятники Кутузову и Барклаю-де-Толли перед Казанским собором в Санкт-Петербурге³⁰.

Во всех этих празднествах Александр I почитался главным героем, освободителем России и Европы. И дело было не столько в прославлении его личности, сколько в стремлении утвердить победу российской государственности над политическим устройством Франции, считавшейся передовой страной того времени. Такой аргумент в пользу правильного устройства империи служил не столько прошлому, сколько настоящему и будущему Российской империи. Разумеется, простая мысль о преимуществах российского способа социального устройства высказывалась и раньше (еще при Алек-

²⁶ Тартаковский А. 1812 год и русская мемуаристика. М.: Наука, 1980. С. 186–202.

²⁷ Отечественная война 1812 г. Энциклопедия. С. 763–764.

²⁸ Шильдер Н. Император Николай I: его жизнь и царствование. М.: Алгоритм, 1997. Кн. II. С. 553–557.

²⁹ Отечественная война 1812 г. Энциклопедия. С. 721–722.

³⁰ Там же. С. 545.

сандр I), однако в новой концепции власти она обрела новое звучание. Полицейское государство Николая I строилось на научных основаниях. Оно обосновывало свои действия историческими аргументами. Почти каждый императорский указ и министерское распоряжение обосновывали историческую преемственность в управлении. В отличие от Наполеона Александр I не был героем сам по себе. Он был носителем функции и частью национальной традиции.

Создание дидактического рассказа о войне и ее участниках потребовало купюр и ретуши. Это приводило к расширению зон умолчания, к появлению рассказов об обезличенных военных походах и кампаниях, о произвольно действующих армиях и полковых частях, о самосоздающихся партизанских отрядах, а также к «ошибкам» в именах участников сражений.

Конфликты памяти

Создаваемая политической элитой и приближенной к ней группой художников и писателей официальная память имела слабые шансы стать единственной, пока были живы участники войны 1812 года. Их споры и возражения нарушали дискурсивную конвенцию. Так, в 1833 году Ксенофонт Полевой в рецензии на книгу Вальтера Скотта «Жизнь Наполеона Бонапарта» поднял значение Барклая-де-Толли значительно выше, чем это допускал официальный дискурс. «Александр был и остался героем, — уверял Полевой, — достойным сыном и царем России. Барклай де Толли, который умел спасти армию и затруднил, изумил Наполеона своею системою медления вследствие глубокого расчета, был другим хранителем России. К сожалению, обстоятельства не позволили ему самому довершить своего великого подвига, который от того и оценивается многими не так, как бы надлежало. Но история будет справедливее современников: она отдает каждому законный участок славы»³¹. Итак, право определять героев было изъято из прерогативы современников и отдано потомкам.

В 1836–1837 годах спор о творцах победы вновь вспыхнул после появления стихотворения Александра Пушкина «Полководец». Не упоминая имени генерала, опальный поэт винился перед портретом Барклая-де-Толли за неблагодарность россиян: «О вождь несчастливый! / Суров был жребий твой: / Всё в жертву ты принес земле тебе чужой»³². И вновь среди писателей нашелся защитник официальной версии прошлого. Ангажированный Фаддей Булгарин объявил мнение Пушкина ошибочным. «Великие мужи, — уверял он, — могут совершать великие подвиги только при вели-

³¹ Московский телеграф. 1833. № 9. С. 139.

³² Пушкин А.С. Полководец («У русского царя в чертогах есть палата...»).

ких государях». И если пользоваться «правильной» шкалой ценностей, то все герои обретут свои истинные размеры: «земные спасители России суть: император Александр и верный ему народ русский. Кутузов и Барклай-де-Толли велики величием царя и русского народа; они первые сыны России, знаменитые полководцы, но не спасители России. Россия спасла сама себя упованием на бога, верностью и доверенностью к своему царю»³³.

Утверждение Булгарина соответствовало правилам, но с точки зрения Николая I было плохо аргументированным. В 1839 году генерал А.И. Михайловский-Данилевский опубликовал выполненную по заказу и под редакцией монарха³⁴ научно обоснованную (т.е. с обильным цитированием документов) версию войны 1812 года. Она потребовала от автора огромной поисковой работы и помощи учреждений по сбору источников³⁵. Александр I предстал символом и спасителем России, Кутузов — «любимым вождем», сокрушившим «непобедимого дотоле Наполеона»³⁶.

Впрочем, у верховной власти и тогда не было монополии на формирование памяти. Даже в условиях цензуры читатели упрекали официального историка в пристрастности и желании «угодить сильным мира сего» (например, И.Ф. Паскевичу и А.И. Чернышеву), в забвении неудобных (таких как А.П. Ермолов и К.Ф. Толь). Особенно страдали читатели, у кого была альтернативная, живая память о тех событиях и людях. Они ждали случая высказаться.

Особое место среди мемуаров о 1812 годе занимают «Записки» А.П. Ермолова, который был начальником штаба 1-й Западной армии и воевал под руководством Барклая-де-Толли. По мнению историка А.Г. Тартаковского, Ермолов был автором самой популярной рукописи об Отечественной войне. До 1860-х годов (времени публикации) переписанные вручную тексты его воспоминаний передавались из рук в руки в столичной среде³⁷.

Влиятельный в российском обществе генерал стал критиком Михайловского-Данилевского и предложенного им исторического нарратива. Его рассказ об удручающем состоянии командного состава русской армии настолько противоречил панегирическим повествованиям, что не мог быть опубликован в условиях николаевского контроля за мыслью и словом. По мнению Ермолова, неудачи русской армии были следствием архаичной си-

³³ Булгарин Ф. Правда о 1812-м годе, служащая к исправлению ошибки, вкравшейся в мнение современников // Северная пчела. 1837. № 7. 11 янв. С. 27–28.

³⁴ Шильдер Н. Россия в ее отношениях к Европе в царствование императора Александра I // Русский архив. 1889. Вып. 1. С. 20.

³⁵ Михайловский-Данилевский А.И. Описание Отечественной войны 1812 года. СПб., 1839. Ч. I–IV.

³⁶ Там же. Ч. IV. С. 345, 348.

³⁷ А.Г. Тартаковский сообщил об этом автору данных строк в 1986 году.

стемы протекционизма, продвигавшей на вершину власти людей неспособных и некомпетентных, отличившихся не на поле боя, а в муштре солдат. Негативно на отношениях сказывалось засилье титулованной знати, влияние придворных и членов императорской свиты, а также иностранцев, которых он называл «немцами»³⁸.

Различие между нарративом Михайловского-Данилевского и мемуарными «Записками» Ермолова можно сравнить с различием между батальным полотном заказного художника и фронтовой фотографией участника. Ермолов изображал не парадную реальность, а показывал изнанку войны. В его картине некомпетентность генералов обесценивала храбрость солдат и офицеров. На протяжении всего рассказа Ермолов уличал Михайловского-Данилевского (не называя его имени) в предвзятости, неточностях, в умолчаниях. Так, Михайловский-Данилевский сделал удачным сражение при Голишине (1806) и смягчил поражение у селения Гоф (1806), а Ермолов оценивал оба события как провал³⁹. Михайловский-Данилевский умолчал о том, что генерала Ф.К. Корфа, любителя спиртного, французы взяли в плен в нетрезвом состоянии⁴⁰, Ермолов сказал об этом. Описывая приезд Александра I в армию, Михайловский-Данилевский утверждал, что император «нашел армию в отличном состоянии»⁴¹. Ермолов же объяснил читателям, что в данном случае имела место показуха: «Перестроив единообразно шалаши, дали мы им опрятную наружность и лагерю вид стройности. Выбрав в полках людей менее голых, пополнили с других одежду и показали их под ружьем. Обнаженных спрятали в лесу и расположили на одной отдаленной высоте в виде аванпоста. Тут увидел я удобный способ представлять войска и как уверяют государя, что они ни в чем не имеют недостатка»⁴².

Но больше всего мемуариста раздражали способы героизации, которыми пользовался его оппонент. Героями стали те, кому были безразличны интересы России и русской нации. Так, у Михайловского-Данилевского героем Смоленского сражения был генерал Н.Н. Раевский⁴³. Ермолов же объяснил причину его задержки в городе весьма прозаическим стечением обстоятельств. Раевский не смог отступить из-за несогласованности действий

³⁸ Давыдов М.А. Современники глазами А.П. Ермолова // Число и мысль. № 9. М.: Знание. 1986. С. 156–163.

³⁹ Михайловский-Данилевский А.И. Описание второй войны императора Александра... С. 117–122, 179–182; Записки А.П. Ермолова. 1798–1826. М.: Высшая школа, 1991. С. 65, 79–80.

⁴⁰ Записки А.П. Ермолова. 1798–1826. С. 91–92.

⁴¹ Михайловский-Данилевский А.И. Описание второй войны императора Александра... С. 254

⁴² Записки А.П. Ермолова. 1798–1826. С. 93.

⁴³ Михайловский-Данилевский А.И. Описание Отечественной войны... Ч. II. С. 95–96.

руководства русской армии. «Дивизиею начальствовал генерал-лейтенант принц Карл Мекленбургский. Накануне он, проведя вечер с приятелями, был пьян, проспался на другой день очень поздно и тогда только мог дать приказ о выступлении дивизии»⁴⁴. Ермолов дегероизировал Кутузова. Он показал его пассивность во время Бородинской битвы, неумение регулировать движение в сражении при Красном. Он обличал стремление Кутузова избегать решительных столкновений с французами, его тактику, приведшую к тому, что значительным частям неприятеля удалось вернуться во Францию, и они составили ядро наполеоновской армии в 1813 году. В то же время мемуарист оправдал Чичагова, поведав читателю, как ненавидел его Кутузов, не захотевший помочь соратнику во время операции при Березине⁴⁵. Таким образом, благодаря широкому распространению рукописей Ермолова, современники обрели альтернативную версию рассказа о славной войне и основания для пересмотра официального «сонма героев».

В 1840–1850-е годы тексты памяти о войне 1812 года читали люди, для многих из которых она перестала быть личным прошлым, а ее герои — современниками. Кутузовы, Барклаи, Давыдовы обрели символический статус исторических персонажей и маркеров того или иного поведения. К тому же революционные события в Европе перехватили внимание современников.

В 1854 году россияне вновь заговорили об Отечественной войне. Николай I не любил Наполеона III, и тот платил ему взаимностью. Тот факт, что французский император апеллировал к дядиной славе и утверждал преемственность Второй империи от Первой, трактовался в России как потенциальная угроза. Она стала реальной после того, как в марте 1854 года в войну вступила коалиция держав. Тогда Ф.И. Тютчев писал: «Происходящее теперь только возобновление 12-го года; это вторая Пуническая война Запада против нас»⁴⁶.

Такие ассоциации подталкивали россиян к странным поступкам. Например, дворянство семи губерний, включая Московскую и Петербургскую, демонстративно выбрало начальником ополчения престарелого А.П. Ермолова. И этот акт был аналогичен действиям столичного дворянства, потребовавшего в 1812 году от Александра I призвания нелюбимого им Кутузова. Проигранная Крымская война уронила авторитет правящей власти в разных социальных группах. А тяжелый Парижский мир 1856 года задел патриотические чувства не меньше, чем в свое время Аустерлиц, Фридланд и Тильзит. В правление Александра II образованные современники писали

⁴⁴ Записки А.П. Ермолова. 1798–1826. С. 160.

⁴⁵ Там же. С. 249–259.

⁴⁶ Русский архив. 1899. Кн. 1. С. 518.

об этом с досадой и горечью. Требование правды и гласности, родившееся во время обороны Севастополя, стало распространяться не только на настоящее, но и на историю. Раздраженные пропагандистским обманом официальных изданий, читатели проявляли интерес к рассказам о негероическом, не глянцево́м прошлом. Благодаря этому в коллективную память вернулись имена опальных участников войны 1812 года.

В течение всего царствования Николая I имя Алексея Ермолова служило олицетворением фронды, а в последние годы жизни (в правление Александра II) он почувствовал объятия славы. О нем выходили заметки, статьи, мемуары, научные исследования, биографии. В 1862–1863 годах появились публикации его «Записок», в том числе и за границей⁴⁷. Смерть императора Николая лишила статуса неприкосновенности труды Михайловского-Данилевского. Современники обвинили его в волюнтаристской интерпретации прошлого: возвеличивании Кутузова и занижении Барклая-де-Толли.

Между тем сам Александр II, благоговейно относившийся к войне 1812 года⁴⁸, противодействовал ревизии ее нарратива и демократизации памяти о ней. Подобно отцу, он инициировал создание нового героического рассказа об Отечественной войне. В 1856–1860 годах генерал Михаил Богданович выпустил фундаментальный труд, который содержал обновленную и обогащенную версию истории 1812 года⁴⁹. В нем было использовано несравненно больше исторических документов и свидетельств, чем в книге Михайловского-Данилевского, при этом концепция осталась прежней: вина Наполеона за войну, сплочение сословий и социальных групп вокруг престола во имя Царя, Веры и Отечества. Ведущая роль в организации сопротивления отводилась дворянству. Император Александр оставался «главным руководителем»⁵⁰ одаренного особой духовностью русского народа. Отвечая на запросы современников, автор отдал дань заслугам Барклая-де-Толли, однако спасителем России провозгласил Кутузова. В отличие от своих предшественников, Богданович сделал главного героя человеком

⁴⁷ [Ермолов А.] Записки Алексея Петровича Ермолова // Материалы для истории войны 1812 года. М., 1863; ЧОИДР, 1863. Кн. III; Записки А.П. Ермолова о войне 1812 года: *Memoires du general Jermolow sur la campagne de 1812*. Londres: S. Tchorzewski, 1863; ЧОИДР, 1864. Кн. IV; Записки А.П. Ермолова с приложениями. М., 1865. Ч. 1–2; *Le general Yermoloff*. Paris, 1862; Погдин М.П. А.П. Ермолов: Материалы для его биографии. М., 1864.

⁴⁸ Особенно он чтит битву при Бородине. К 26 августа он приурочил свою коронацию и открытие памятника «Тысячелетие России» в Новгороде.

⁴⁹ Богданович М.И. История Отечественной войны 1812 г. по достоверным источникам. Составлена по Высочайшему повелению. СПб.: Тип. Торгового дома Струговщика, Г. Похионова и Н. Водова, 1860. Т. I–III.

⁵⁰ Там же. Т. III. С. 145–146.

с ошибками и слабостями⁵¹. Такая тактика позволяла смягчить контраст между литературным Героем и его реальным прототипом.

Полувековой юбилей Отечественной войны отмечался в России намного скромнее, чем в 1830-е годы. Казалось бы, прошлое осталось позади, но по иронии судьбы новое польское восстание 1863–1864 годов, поддержанное не только общественным мнением Запада, но и демаршами правительств Англии, Франции и Австрии, актуализировало память о 1812 годе, сделало ее частью настоящего. По уже отработанной схеме осложнение отношений с западными странами интерпретировалось с использованием исторических метафор. Герои 1812 года незримо присутствовали в качестве укора, свидетелей и предсказателей будущего.

Идолоборчество Толстого

Роман-эпопея Льва Толстого «Война и мир» (1863–1869) внес огромный вклад в национальную память о войне 1812 года. Доминик Ливен справедливо считает, что роман «оказал воздействие на восприятие в народном сознании поражения Наполеона более сильное, чем все исторические исследования вместе взятые»⁵².

Конечно, писатель не ставил перед собой задачи научной реконструкции и создавал довольно вольную, утопическую версию прошлого. Современному историку оспаривать великого романиста бессмысленно, поскольку перед ним не стояла задача верификации и достоверности. Толстой создавал новые значения и означивал новых, актуальных для его современников героев. Исторические свидетельства служили материалом для творения литературной реальности. Сам Толстой называл свой рассказ не «историей, а сказкой, возбуждающей народное чувство»⁵³.

Вероятно, читательский успех этого произведения был порожден не только литературным талантом автора, но и совпадением его исторической (исследовательской) культуры с психологией читательского восприятия исторического нарратива. Современники Толстого нуждались в позитивных эмоциях (гордости за страну, помогающей преодолеть трагедию Крымской войны) и в средствах национальной солидарности. Их потомки тоже с удовольствием читали повествование о «дубине народной войны» и горделивые слова о «народе, не отдавшем шпаги». И читателям не было дела, что партизанское движение в 1814 году было не только в России, но и во Фран-

⁵¹ Богданович М.И. Указ. соч. Т. II. С. 14–15.

⁵² Liven D. Op. cit. P. 525.

⁵³ Эйхенбаум Б.М. Лев Толстой. München; Allach: Wilhelm Fink Verlag, 1968. Ч. 2. С. 236.

ции⁵⁴. Они испытывали восхищение и гордость за героизм предков. Толстовский «русский народ» выстоял против объединившихся под руководством Наполеона бездушных западных народов и спас духовность мира.

К моменту начала работы над романом взгляды писателя на то, как устроен мир и как делается история, были вполне сформированы. Сопоставление текста публикации и сохранившихся рукописных набросков позволяет показать, почему именно так писатель прочитывал и объяснял исторические свидетельства, как трансформировался его замысел. В результате такого сопоставления мы пришли к выводу, что Толстой осуществил ревизию сложившихся тогда соглашений о героях войны 1812 года и сделал это с позиций славянофильства, для идеологии которого характерно противопоставление духовной России бездушному и враждебному Западу.

Знатоки политической и военной истории упрекали Толстого в плохом знании реалий описываемой эпохи⁵⁵. Издатель «Русского архива» Петр Бартнев даже заявил, что «граф Толстой вовсе не изучал историю великой эпохи: как и вообще он не давал себе труда усидчивой постоянной работы: можно сказать, что он постоянно захлебывался воображением»⁵⁶. Защищая роман от нападок, историк литературы Павел Анненков напоминал читателям о праве писателя отказаться от «научнообразной истории». Достоинство романа он видел в смещении акцента с выдающегося на типичное. «До тех пор общество очень хорошо удовлетворяется официальной, условно-учебной и легендарной историей, — писал он, — но с первыми проблесками критической мысли, желающей проверить настоящее время прошлым временем, услуги “маленькой” истории не оценены и принимаются с великой, вполне заслуженной благодарностью. Она помогает низводить политических деятелей с тех туманных высот, где они невозмутимо жили дотоле, как боги Олимпа, в ряды человечества и делает еще более. Устраняя ореолы и лучи, приданные им суеверием или политическим расчетом, она помогает различать их настоящую физиономию и находить в ней черты, общие людям их века»⁵⁷.

Толстой разорвал традицию классицистского (античного) понимания героя и подвига. Его персонажи обретали славу не благодаря особым врожденным качествам и выдающимся поступкам, а тем, что чувствовали себя

⁵⁴ Шкловский В.Б. Матерьял и стиль в романе «Война и мир». М.: Федерация, 1928. С. 69.

⁵⁵ Норов А.С. Война и мир (1805–1812) с исторической точки зрения и по воспоминаниям современника. СПб., 1868; Витмер А. 1812 год в «Войне и мире». СПб., 1869; Вяземский П.А. Воспоминания о 1812 году // Русский архив. 1869. № 1. Стлб. 185–192/01; см. также Эйхенбаум Б.М. Указ. соч. С. 386–396.

⁵⁶ Русский архив. 1911. Т. 3. С. 385.

⁵⁷ Анненков П.В. Исторические и эстетические вопросы в романе гр. Л.Н. Толстого «Война и мир» // Критика 1860-х годов / сост., преамбулы и примеч. Л.И. Соболева. М.: ООО «Изд-во Астрель», 2003.

частью целого и действовали в согласии с ним. Такой целостностью был для Толстого русский народ — этническая общность с едиными культурными ценностями. Действуя в соответствии с ее интересами, личность обретала статус национального героя. Таким образом Толстой воскресил национальный проект журнала «Сын Отечества»⁵⁸. В 1812–1813 годах его редакторы творили и показывали войну как столкновение культур — западной и российской. Взяв такую установку, Толстому пришлось прочертить иные, чем в юбилейных историях, линии разделения на «своих» и «чужих»: между правителями и подданными, а также между «русскими» и «нерусскими».

В романе «Война и мир» прежние герои были свергнуты с пьедесталов. Александр I — «молодой, любезный, красивый монарх», который «решил устроить судьбы Европы»⁵⁹. Представлять его откровенным злодеем Толстой не стал, но всякий раз подчеркивал, что очаровательная внешность императора контрастировала с его непривлекательными поступками. В одной из сцен Александр I приезжает в Вишу, встречает раненого солдата и плачет, увидав его страдания. Этот солдат, «грубый и нечистый», на которого «грациозно» взирал через лорнет император⁶⁰, — первый из десятков тысяч, которые будут убиты и искалечены на поле Аустерлица из-за амбиций «прекрасного государя». И слезы сострадания не мешают чувствительному царю отвергнуть мирные предложения Наполеона и отправить на смерть свою армию. Разбитый французским императором, он снова заплачет.

Насколько простые люди беззащитны перед «творцами истории», и в какой степени их героизм отвратителен Толстому, раскрыто в пацифистских размышлениях Николая Ростова. Николай был поражен, увидев в Тильзите, что император Александр теперь любит и уважает «самодовольного Бонапарте... который был теперь император», а раньше был узурпатор и Антихрист: «Для чего же оторванные руки, ноги, убитые люди?»⁶¹. Последний вопрос — чрезвычайно важен в системе ценностей Толстого. Это — один из источников толстовского «анархизма», его неприятия государства.

Толстой дегероизировал Александра I посредством иронии. Он создал сцену с бисквитами, которые император в трагические дни разбрасывал с балкона приветствовавшим его москвичам. В другой сцене, узнав о сдаче Москвы, Александр I заявил на французском языке, что скорее будет есть картофель

⁵⁸ Вишленкова Е.А. Визуальное народоведение Российской империи, или Увидеть русского дано не каждому. М.: НЛО, 2011. С. 159–208.

⁵⁹ Возможно, истоки негативного отношения Толстого к Александру I лежат в семейной истории. После окончания войны отец писателя вышел в отставку по идейным соображениям.

⁶⁰ Толстой Л.Н. Война и мир // Он же. Полное собрание сочинений: в 90 т. Т. 9–16. М.: Гос. изд-во худож. лит-ры, 1937–1955. Т. 9. С. 312.

⁶¹ Там же. Т. 10. С. 150.

с крестьянами, чем пойдет на мир с Бонапартом⁶². Вероятно, современники улынулись бы этим словам: картофеля тогда не было в рационе питания крестьян. Одновременно с этим писатель показал, сколь негативно отразилось на армии тотальное недоверие монарха к людям. Видимо, Толстой выразил то, что думали об Александре I многие состарившиеся участники войны.

Французский император в романе Толстого — обреченный выскочка, «маленький человечек, в сереньком сертучке... с орлиным носом, коротенькими ножками, маленькими белыми ручками и умными глазами, воображал себе, что он делает историю, тогда как он был только самый покорный и забитый раб ее». Писатель уподобил Бонапарта ребенку, которому «старый кучер» (судьба) дал подержаться за вожжи. По остроумному замечанию Марка Алданова, писатель «отводил себе душу на императоре французов. Он, вероятно, уничтожил бы его даже в том случае, если бы исторический фатализм этого не требовал»⁶³. Оба императора верят, что творят историю, а между тем навстречу каждому из них идет судьба — «всё тот же старый, старый старик, везущий по-своему и правящий миром со времен Алкивиадов и кесарей»⁶⁴.

Злодеи

На авторской работе с персонажами сильно сказались националистические настроения Толстого. Все участники романа делятся на «своих» (русских) и «чужих» (немцев, поляков и французов). Этническими стереотипами буквально пропитана ткань повествования. «Пфуль, — пишет, например, Толстой, — был один из тех безнадежно, неизменно, до мученичества самоуверенных людей, которыми только бывают немцы, и потому именно, что только немцы бывают самоуверенными на основании отвлеченной идеи — науки, т.е. мнимого знания совершенной истины. Француз бывает самоуверен потому, что он почитает себя лично, как умом так и телом, непреодолимо-обворожительным как для мужчин, так и для женщин. Англичанин самоуверен на том основании, что он есть гражданин благоустроеннейшего государства в мире и потому, как англичанин, знает всегда, что ему делать нужно, и знает что всё, что он делает как англичанин, несомненно хорошо. Итальянец самоуверен потому, что он взволнован и забывает легко и себя и других. Русский самоуверен именно потому, что он ничего не знает и знать не хочет, потому что не верит, чтобы можно было вполне знать что-нибудь».

Понятие «немцы» под пером Толстого обрело собирательное значение. Оно объединяет всех немецко-говорящих персонажей: австрийцев, прусса-

⁶² Там же. Т. 12. С. 10–13.

⁶³ Алданов М. Загадка Толстого // Ульмская ночь. Собрание сочинений: в 6 кн. М.: Новости, 1996. Кн. 6. С. 40–41.

⁶⁴ Толстой Л.Н. Указ. соч. Т. 13. С. 71–72.

ков, русских немцев из Остзейского края, переселенцев. Для писателя они все — универсальные, отторгаемые «чужие». Стремление Толстого вывести их за пределы человеческой культуры и общности сопоставимо со стремлением А.С. Шишкова разоблачить французов и галломанию русских дворян. Своей ответственности автору полонофобство было частью его антизападничества, усиленного пропагандой периода Польского восстания. Известно, что в 1863 году он даже подумывал о возвращении на военную службу для участия в его подавлении. Польские персонажи в романе, как правило, сатиричны. Те, что пришли в Россию в составе Великой армии — марионетки, нелепые даже в минуты храбрости. Французы для Толстого — вынужденный объект ксенофобии, они те, с кем воюет Россия. При этом в изображении простых французских солдат и офицеров Толстой иногда демонстрировал понимание и чуткость. А вот маршалов он не щадил, описывал с презрением аристократа к парвеню.

Ксенофобия Толстого была очевидна для современников. Во время франко-прусской войны 1870–1871 годов И.С. Тургенев, сочувствовавший немцам, писал И.П. Борисову: «Я очень хорошо понимаю, почему Толстой держит сторону французов. Французская фраза ему противна, но он еще более ненавидит рассудительность, систему, науку, одним словом, немцев. Весь его последний роман построен на этой вражде к уму, знанию и сознанию, и вдруг ученые немцы бьют невежд французов!»⁶⁵.

Герои

Роман «Война и мир» внес новые аргументы в дискуссию современников о героях войны 1812 года. Поскольку Толстой делал персонажей героями не за мысли, намерения или действия, а за принадлежность к русской нации, то Кутузов стал героем⁶⁶, а Барклай — нет. Барклай — «непопулярный немец», которого в черновиках Толстой назвал «ничтожным»⁶⁷. В романе о нем презрительно отзывается князь Андрей в разговоре с Пьером⁶⁸. И раз приговор предопределен, то свидетельства отважного поведения Барклая в битве при Бородине в глазах Толстого выглядели сомнительными.

Писатель разделил войну с Наполеоном на два этапа: в 1805–1807 годах удовлетворялись амбиции Александра I, а в 1812 году — защищалось Отечество. Это деление важно для темы героизма. Дело в том, что все героические — в бытовом смысле слова — сцены в романе относятся к кампа-

⁶⁵ Русский архив. 1910. Кн. 4. С. 617.

⁶⁶ «А главное», думал князь Андрей, «почему веришь ему, это то, что он русский» (Т. 11. С. 175).

⁶⁷ Толстой Л.Н. Указ. соч. Т. 14. С. 62.

⁶⁸ Там же. Т. 11. С. 206–207.

нии 1805 года и в первую очередь — к Шенграбенскому сражению. Писатель воссоздавал их по «Запискам» Ермолова и «Описанию» Михайловского-Данилевского. Но между их свидетельствами было явное противоречие, и у Толстого был выбор. Ермолов уверял, что это сражение спас командир 2-го батальона Киевского гренадерского полка майор Экономов⁶⁹. У Толстого положение спасают Тушин, который зажег Шенграбен (это взято у Михайловского-Данилевского⁷⁰), и Тимохин⁷¹. По всей видимости, писатель не захотел отдать героической роли офицеру с сомнительной и не вполне русской фамилией «Экономов».

Черновики позволяют увидеть многослойную работу писателя над героическими образами. В первых записях капитан Тушин — богатый помещик, который возит с собой запас спиртного и книги, ведет философские разговоры о бессмертии души и Гердере⁷². В окончательной редакции все эти детали исчезли. Видимо, они не соответствовали намерению писателя сделать героями войны простых армейских офицеров.

В романе Багратион ведет в атаку солдат во время Шенграбенского сражения. Эту сцену Толстой полностью выдумал. В документальных свидетельствах и мемуарах нет упоминаний о таком эпизоде. Однако создателю романа оказалось важным, чтобы в критический момент любимец Суворова проявил отвагу и героизм. Об этой атаке автор вспомнит еще раз, когда в честь Багратиона будет дан обед в Английском клубе в Москве. «Багратион... шел, не зная, куда девать руки, — сообщал Толстой читателю, — застенчиво и неловко, по паркету приемной: ему привычнее и легче было ходить под пулями по вспаханному полю, как он шел перед Курским полком в Шенграбене»⁷³. Между тем, реальный Багратион не был новичком при дворе⁷⁴. Да и Курского полка в том бою не было. Толстой лепил своих героических персонажей, опрощая их в социальном отношении, побуждал читателей признать их за «своих».

В черновиках есть примечательное рассуждение романиста о ключевом событии войны 1812 года, о битве у села Бородино. «Неразумное сознание того, что мы хотим [должны] и потому должны победить, лежало в душе кн. Андрея, ополченца и многих людей русского войска. Сознание это было преимущественно у людей, сражавшихся в рядах войска, а не у штабных,

⁶⁹ Записки А.П. Ермолова. 1798–1826. С. 49.

⁷⁰ Михайловский-Данилевский А.И. Описание первой войны императора Александра с Наполеоном в 1805 году. СПб., 1846. С. 128–129.

⁷¹ Толстой Л.Н. Указ. соч. Т. 9. С. 232.

⁷² Там же. Т. 13. С. 367–368, 376–377.

⁷³ Там же. Т. 10. С. 18.

⁷⁴ Анисимов Е. Багратион. М.: Молодая гвардия, 2009. С. 327–353.

лишенных прямого участия, и исключительно у русских людей, а не у людей других национальностей, в особенности немцев, бывших в русском войске [курсив Л. Толстого]». Одинаковые мысли и общие эмоции (т.е. тип культуры) — это то, что по мысли Толстого, объединяет русских людей, и то, что отличает их от иных людей. «Люди, имевшие это глупое, неразумное сознание о том, что сражение выиграно, несмотря на то, что мы отступили, сообщали его друг другу... Дряхлый, слепой, развратный, неспособный Кутузов, как нам любят изображать его, в этот день 26 августа был в высшей степени одержим этим неразумным сознанием того, что мы победили, несмотря на то, что бы ни говорили ему. ...Неразумное сознание того, что мы победили, хотя разбиты, усвоилось всей армией, и Бородинское сражение осталось навеки беспримерной победой, потому что в понятие победы включается бегство неприятеля и французы не бежали и это от нас не зависело, а лучшим военным, беспримерным в истории, подвигом»⁷⁵. И если есть специфика национальной памяти, то есть и специфически русские подвиги.

Толстой не создал батальных сцен, которые во все времена и во всех культурах признавались бы героическими. Сражения, атаки, инициативы лета и осени 1812 года он показывал как военный быт и рутину. Соответственно, победители — не есть герои, а лишь исполнители. Пример тому — описание действий Николая Ростова при Островне, за что тот получил Георгиевский крест. Так же писатель девальвировал подвиг Раевского при селе Салтановка. Нет ничего героического в действиях Ермолова и Барклая-де-Толли во время Бородинского сражения. И раз нет выдающихся, то героями становятся рядовые. Вместе с Кутузовым Толстой упоминает героизм Дохтурова и Коновницына. При этом они — лишь «шестеренки», обеспечивающие работу всей машины и не более того⁷⁶.

Видимо, подвиги в том значении, которое имел в виду Й. Хейзинга⁷⁷, возможны были для Толстого лишь на «чужих» войнах. А в «своей», Отечественной войне нужен был не героизм, а тяжелая повседневная работа по выполнению долга. В ней все русские объединены для защиты родного дома от захватчиков, врагов, бандитов. И вклад каждого в это посилен и равен. Княжна Марья, уехавшая из имения; московская барыня, уехавшая из Москвы; Ростовы, бросившие свое имущество и погрузившие на телеги раненых — герои. В версии Толстого, народная война — это феномен русской национальной истории (Испании и борьбы испанцев против Наполеона Толстой не замечает. Испания упоминается лишь однажды в разговоре

⁷⁵ Толстой Л.Н. Указ. соч. Т. 14. С. 220–224.

⁷⁶ Там же. Т. 12. С. 107, 110.

⁷⁷ Хейзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. М.: Изд. группа «Прогресс», «Прогресс-Академия», 1992. С. 321–323.

Наполеона с Балашевым). В ней все русские содействуют по предопределенному ходу вещей.

Однако в отличие от творцов русскости начала XIX века, Толстой объединял понятием «русский народ» не просто культурно близких людей, но людей единого биологического вида с особыми рецептивными свойствами. Именно поэтому только *русские по крови* участники Бородинской битвы смогли почувствовать ее истинный смысл. Немцам, воевавшим в составе русской армии, тому же Барклаю-де-Толли, под которым было убито пять лошадей, проникновение в суть происходящего было недоступно. Подобно неославянофилам и почвенникам, романист увязал сверхспособности русских с почти феминной иррациональностью. Гендерное кодирование позволило наделить русский народ — главного героя войны — амбивалентной ролью. Он страдал от нападения, но побеждал в силу врожденной способности чувствовать свою судьбу. Не Божественный промысел, а национальный дух привел войска к победе. И хотя в опубликованной версии романа этих строк нет, тем не менее мысль о физиологической русскости в ней присутствует.

Нельзя сказать, что Толстой идеализировал реальных соотечественников. Он довольно резок в описаниях русских персонажей. Однако требовательность творца к любимому произведению говорит о его стремлении добиться совершенства. Многими примерами писатель уверял, что жизнь по вере, а не по «ведению» (т.е. знанию) — единственно правильная. Действия героев он неоднократно сопровождал фразой: «он не знал, зачем это делает, но делал». И именно такие иррациональные поступки парадоксальным образом приводили русских героев к победе и успеху. Поэтому в толстовской версии все интеллектуалы, все рационально мыслящие интеллигенты несчастны. Несчастлива семья Болконских и счастлива семья Ростовых, «людей чувства». Княжна Марья обретает счастье семейной жизни, поскольку перестает быть Болконской. Ей это дано только после перерождения из русской европейки в «природную» русскую, т.е. после того как из Болконской она становится Ростовой.

Это утверждение автор обыграл не только в пространстве частной жизни. Так, описывая приезд Кутузова в армию, Толстой дважды на одной странице повторяет: «Очевидно было, что Кутузов презирал знание и ум и знал что-то другое, что должно было решить дело»; «очевидно было, что Кутузов презирал ум и знание и даже патриотическое чувство, которое выказывал Денисов, но презирал не умом, не чувством, не знанием (потому что он и не старался выказывать их), а он презирал их чем-то другим»⁷⁸. Таким образом, этнические стереотипы в отношении к русскому народу перестают

⁷⁸ Толстой Л.Н. Указ. соч. Т. 11. С. 170.

восприниматься как иронические. Автор представляет их в качестве особенности, дающей «природно русским» витальные преимущества.

Дробление и объединение

Несмотря на критику профессиональных историков, роман Толстого запустил процесс пересмотра в самой исторической науке официальной трактовки войны 1812 года и принципов ее создания. Ревизия привела к появлению сразу нескольких версий данной темы. Так, совместный труд 60 российских историков «Отечественная война и русское общество» представил читателям войну с Наполеоном как военный, культурный, социальный феномен с множеством субъектов⁷⁹. Осуществленная коллективными усилиями представителей исторической профессии демократизация войны не подразумевала ее героизации. В то же время обострение отношений Российской империи с объединенной Германией и Австро-Венгрией спровоцировало реанимацию славянофильских утверждений. В трудах сторонников неославянофильства война 1812 года предстала столкновением абстрактного «германо-романского, католическо-протестантского начала Европы Западной с славяно-русским, восточно-православным началом Европы Восточной»⁸⁰. В духе времени дева-Россия описывалась как «смирненно-верующая», миролюбивая страна, которая защищала себя от агрессии Наполеона, исповедовавшего «принцип насилия и личного произвола».

В целом к столетию войны было опубликовано свыше 600 новых книг и брошюр⁸¹. Эта издательская компания продемонстрировала наличие нескольких противоречивых версий славного прошлого. Впрочем, конфликтующими они считались до тех пор, пока не нашелся писатель, способный их примирить. Когда совет Императорского русского военно-исторического общества (ИРВИО) провел конкурс на лучшую популярную брошюру по истории 1812 года, в нем победила рукопись «1812 год» Павла Андрианова. Финансовая поддержка позволила автору издать рукопись неслыханным для тогдашней России тиражом в 1,5 млн экземпляров⁸². Брошюра предназначалась для учащихся и военнослужащих, т.е. претендовала на роль учебника, своего рода нормативного текста.

⁷⁹ Отечественная война и русское общество. 1812–1912 / ред. А.К. Джигелегов, С.П. Мельгунов, В.И. Пичета. Т. 1–7. М., 1911–1912.

⁸⁰ Шейн И.А. Указ. соч. С. 143.

⁸¹ Там же. С. 141; Rapp K. Der 'Vaterlandische Krieg': Das Jubiläum 1912 // Osteuropa. 2013. Н. 1. S. 103–118.

⁸² Шейн И.А. Указ. соч. С. 142.

Сюжет повествования в ней построен вокруг столкновения Наполеона и русского народа. Европа выступает сразу в трех ролях — как объект захватнических устремлений Наполеона, как субъект, порабощающий Россию, и, наконец, как объект освободительной миссии России. В небольшом по объему тексте имя Александра Суворова упоминается одиннадцать раз. Такая повторяемость обеспечивает эффект преемственности подвигов русской армии XVIII и начала XIX веков, создает континуитет ее побед. По своему составу пантеон героев Андрианова совпадает с тем, который создал Василий Жуковский в стихотворении «Певец в стане русских воинов». Однако в ключевых сюжетах (Бородинская битва, Москва при французах, народная война) есть прямые — вплоть до литературных оборотов — заимствования из «Войны и мира» Толстого.

Десятки раз в той или иной форме в брошюре подчеркивается единство русского народа — от императора до крестьянина: «вспомним единогодушный благородный порыв и порыв всех слоев населения великой нашей родины»; «в единогодушии народа и армии наш Государь находил утешение перед великой борьбой»; «вся страна разделяла настроение армии». Постоянно фигурируют обороты «несокрушимая сила», «грозная сила» русской земли и русского народа. Финальная фраза книги объясняла читателю значение всего предприятия: «Век тому назад Россия, совершив великое дело, сплотившись воедино вокруг престола своего царя, возносила молитвы к престолу Господа Сил за дарованную победу, за избавление от нашествия врагов. Пусть же и ныне, в славную юбилейную годину, великий русский народ, потомок героев 1812 года, сплотившись в одну могучую тесную семью вокруг престола возлюбленного своего царя, вознесет благодарственную молитву Господу Богу, защитнику и покровителю нашему, и в умилении сердечном воскликнет: “Кто Бог велий, яко Бог наш, Ты еси Бог, творяй чудеса!”»⁸³.

Такие незатейливые результаты дала попытка объединить все созданные за столетие версии войны 1812 года и ее героев. Автор почти механически соединил в одном нарративе утверждения с разной научной генеалогией. Он одновременно заверял, что до Бородина русская армия придерживалась «скифского плана», тут же воздавал должное заслугам Баркляя-де-Толли и превозносил Кутузова. Учитывая новейшую историографию, он писал о противоречиях между Францией и Россией, а безусловным виновником войны считал Наполеона.

Итак, война 1812 года оказалась открытым для широкого спектра интерпретаций сюжетом благодаря ее относительной краткости, слабой за-

⁸³ Андрианов П.М. 1812 год. Отечественная война. СПб., 1912. С. 80; брошюра выходила также под названием «Великая Отечественная война. 1812–1912» и печаталась в других городах.

документированности событий и большого онтологического значения для осмысления русского прошлого. За сто лет в спорах о героях 1812 года участвовали проповедники, художники, журналисты, представители верховной власти, военные-мемуаристы, гражданские и военные историки, писатели и публицисты. Личные воспоминания были встроены в «большие нарративы» военной истории, что повлекло за собой купирование, умалчивание или примирение противоречий в свидетельствах. Эти споры впитали появившиеся в XIX веке концепции нации, этноса, прогресса, социального. Механизмы героизации в конкретном повествовании зависели от выбранной автором теории истории. Так, национализация прошлого сначала выразилась в десакрализации личности Александра I и замене Провидения русским духом, а затем в деперсонализации войны в романе Толстого и его последователей. Социологизация исторического письма усилила процесс обезличивания военно-исторического нарратива, переход к представлению войны как столкновения абстрактных интересов, процессов и групп, где имена героев стали аксессуарами «большой» истории. Каждая новая версия прошлого и соответствующей ей пантеон героев становились выражением новой идентичности России, Российской империи и русского народа. С точки зрения социального заказа и рецепции эти версии дрейфовали от репрезентаций имперской власти, затем империи, далее нации и наконец — русского народа как гетерогенного сообщества (пример тому — многотомник «Отечественная война и русское общество»).

Вадим Парсамов

ЖУРНАЛЬНЫЕ РЕЦЕНЗИИ КАК ФОРМА «КЛАССОВОЙ БОРЬБЫ» В СОВЕТСКОЙ РОССИИ НАЧАЛА 1920-Х ГОДОВ

В наших журналах можно только «подрывать»
авторитеты ученых без партбилетов.

Ю.Г. Оксман, 1929

Октябрьский переворот 1917 года, резко сместивший всю ценностную систему российского общества, затронул, разумеется, и академический мир¹. Жесткое противопоставление «марксистской» и «немарксистской» науки, советских и буржуазных ученых, повлекло собой полный пересмотр установившихся в дореволюционной России подходов к оцениванию общественных наук, необходимость которых новыми властями вообще была поставлена под сомнение. О различных экспериментах в этой сфере и способах большевистского руководства общественными науками существует огромная литература, количество которой постоянно возрастает. Почти по всем отраслям гуманитарного знания существуют специальные исследования: по истории², философии³ по славяноведению⁴, по языкознанию⁵, лите-

¹ Исследование выполнено в рамках Программы фундаментальных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и с использованием средств субсидии на государственную поддержку ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров, выделенной НИУ ВШЭ.

² Литвин А.Л. Без права на мысль. Историки в эпоху Большого террора. Очерки судеб. Казань, 1994; Он же. Запрет на жизнь. Казань, 1943; Чернобаев А.А. «Историк с пикой», или Три жизни историка М.Н. Покровского. М., 1992; Юрганов А.Л. Русское национальное государство. Жизненный мир историков эпохи сталинизма. М., 2011; Соколов В.Ю. История и политика. Томск, 1990; Любутин К.Н., Мошкин С.В. Российские версии марксизма: Иосиф Сталин. Екатеринбург, 2011; Enteen G. The Soviet Scholar-Bureaucrat: M.N. Pokrovskii and Society of Marxist Historians. Pennsylvania, 1978; Barber J. Soviet Historians in Crisis. 1928–1932. L., 1981.

³ Главацкий М.Е. «Философский пароход». Год 1922-й. Екатеринбург, 2002; Сойфер В.Н. Сталин и мошенники в науке. М., 2012.

⁴ Робинсон М.А. Судьбы академической элиты: отечественное славяноведение (1917 — начало 1930-х гг.). М., 2004.

⁵ Илизаров Б.С. Почетный академик Сталин и академик Марр. М., 2012; Он же. К истории дискуссии по вопросам языкознания 1950 года // Новая и новейшая история. 2004. № 5.

ратуроведению⁶. В центре большинства исследований — судьбы ученых и судьбы науки, история высших учебных заведений и т.д. Значительно меньше внимания уделяется непосредственно формам выработки критериев для оценивания университетских профессоров, в частности «рецензированию» их трудов в советской печати. В статье я остановлюсь на трех эпизодах журнальной борьбы представителей «новой науки» против ученых, чьи имена уже до революции получили широкое признание в отечестве, а после революции это признание приобрело мировой характер.

Спор о «материализме» и «идеализме»

16 ноября 1920 года профессор московского университета Р.Ю. Виппер начал читать курс лекций «Международная и политическая история новейшего времени». Вступительную лекцию к этому курсу в следующем году выпустила тиражом 3000 экз. «Ассоциация для изучения общественных наук при высших учебных заведениях г. Казани». Название брошюры «Кризис исторической науки»⁷, возможно, было дано самими издателями. Во всяком случае, термин «кризис» непосредственно в тексте лекции не упоминается, а сама лекция имеет авторское название: «Состояние и события, массы и личности, интересы и идеи». В основе лекции Виппера лежат две фундаментальные идеи: во-первых, понимание самой истории как сложного взаимодействия прошлого и настоящего, во-вторых, противопоставление материалистического и идеалистического подходов к изучению истории.

Он же. Ответ Сталина на вопросы студента Холопова в ходе языковедческой дискуссии 1950 года // Новая и новейшая история. 2009. № 5.

⁶ Хализев В.Е. Отечественное литературоведение в эпоху господства марксизма-ленинизма // Памяти Анны Ивановны Журавлевой: сб. ст. М., 2010. С. 108–138; Азатовский К.М., Егоров Б.Ф. О низкопоклонстве и космополитизме. 1948–1949 // Звезда. 1989. № 6; Они же. «Космополиты» // Новое литературное обозрение. 1999. № 36; Корниенко Н.В. «Нэповская оттепель». Становление института литературной критики. М.: ИМЛИ РАН, 2010; В тисках идеологии: Антология литературно-политических документов. 1917–1927. М., 1997.

⁷ Виппер Р.Ю. Кризис исторической науки. Казань, 1921. О месте этой брошюры в научном творчестве Р.Ю. Виппера см.: Мягков Г. Наставница в роли ученицы. Теоретические исследования Р.Ю. Виппера в координатах науки и идеологии // Рубеж. Вып. 5. С. 59–87; По-вилайтис В.И. Роберт Виппер о философских основаниях истории и исторической науки // Вестник РГУ им. И. Канта. 2008. Вып. 6. Гуманитарные науки. С. 52–58; Костомясова А.В. Философия истории Р.Ю. Виппера. <<http://philosophy.spbu.ru/userfiles/rusphil/Veches%20%E2%84%9621-16.pdf>>; Володихин Д.М. Очень старый академик. Оригинальная философия истории Р.Ю. Виппера. М., 1997; Ковальчук С. Историк и его история: Роберт Юрьевич Виппер // Альманах общества Seminarium hortus humanitatis. Русский мир и Латвия. Рига, 2011. Вып. 25. С. 201–210; Новилов М.В., Перфилов Т.Б. Теоретико-методологические взгляды Р.Ю. Виппера // Ярославский педагогический вестник. 2007. № 2; Они же. Р.Ю. Виппер и историческое образование: вопросы дидактики. <http://vestnik.yspu.org/releases/istoriya/36_1/>.

Согласно первой идее, взгляд из современности определяет характер понимания исторического прошлого: «Жизнь учит толковать историю»⁸ Речь, разумеется, идет не о конъюнктурном конструировании прошлого в угоду политическим запросам современности, а о важнейшей гносеологической проблеме отношения личности историка к изучаемому им материалу. По мнению Виппера, в 1870–1880-е годы в социальных науках материализм «сменил идеалистические представления романтиков»⁹. Причины этой смены заключались в относительной стабилизации, наступившей в Европе: «В европейском мире было сравнительно тихо»¹⁰. Историк, видящий перед собой неподвижный мир, при обращении к истории стремился выявить повторяющиеся процессы, характеризующие общественное развитие. Следствием этого стало бурное развитие *социальной истории*, изучающей не события, а состояния, не исторические личности, а народные массы, и не идеи, а интересы людей. Такой историк вольно или невольно экстраполировал свои представления на прошлое, принимая их за подлинно научное объяснение истории. Но войны и революции, взорвавшие ситуацию, кардинальным образом сменили картину мира и представили не только настоящее, но и прошлое в новом освещении. Теперь снова в центре внимания оказались исторические события, а также личности с их идеями и интересами.

Наиболее разительным примером в этом отношении для Виппера являются большевики: «А вот перед нашими глазами изумительный факт: количественно небольшая группа овладевает колоссальным государством, становится властью над громадной массой и перестраивает всю культурную и социальную жизнь сверху донизу. Согласно чему? — Своей идейной системе, своей абстракции, своей утопии земного рая, жившей до тех пор лишь в умах немногих экзальтированных романистов. Это ли не господство теории над миром человеческих отношений?».

Таким образом победа большевиков опровергает представления социальной истории о закономерном и поступательном характере общественных отношений. Волонтаризм оказывается реальностью, а закономерность исторического процесса — иллюзией. Но самое любопытное, с точки зрения Виппера, заключается в том, что эти волонтаристы, начитавшиеся «экзальтированных романистов», объявили себя сторонниками материалистического понимания общественных законов. Это породило бросающийся в глаза контраст между поступками и убеждениями большевистских лидеров: «Они очень любили выставять себя материалистами, смеяться над всяки-

⁸ Виппер РЮ. Указ. соч. С. 3.

⁹ Там же. С. 14.

¹⁰ Там же. С. 5.

ми идеологиями. Ведь не кто иной, как именно они считали политические теории, философские системы и т.п. надстройкой, декорацией, тогда как все дело в фундаменте классовых интересов. А вот теперь они-то и отдаются увлечению своими идеями, они-то и не хотят считаться с реальными интересами, с вековыми привычками, стремясь дать место полету своего воображения, упиваясь блеском и стройностью своих мысленных чертежей. Своим примером они только показывают, как мы все вместе с ними заблуждались прежде, когда считали идею, теорию чем-то производным, кабинетным, оранжерейным, когда сомневались в способности теорий действовать на вооружение, когда думали, что идеи не способны управлять людьми»¹¹.

Маятник качнулся в другую сторону. Крайний материализм сменился крайним идеализмом. Между тем Виппер то ли сознательно рассчитывал на эпатаж большевистской общественности, то ли не очень еще разобрался в извивах новой идеологии, но обвинять большевиков в идеализме в то время было примерно то же самое, что обвинять попов в атеизме. Разумеется, реакция не замедлила последовать.

Рецензировал Виппера сам глава российских марксистов-историков М.Н. Покровский. Начал он с иронического утверждения о существовании в Советской России академических свобод и свободных ассоциаций ученых. Аргументом для столь оптимистического утверждения и послужила брошюра Виппера и сам факт ее издания казанской «Ассоциацией для изучения общественных наук при высших учебных заведениях»: «После этого всякого, осмеливающегося в той или другой Европе кричать, что в Р.С.Ф.С.Р. нет академической свободы, надо просто-напросто тащить в суд, как обыкновенного клеветника, а на суде предъявить брошюру проф. Виппера: обвинительный приговор за клевету можно считать заранее обеспеченным»¹². Вообще, брошюра Виппера, по утверждению Покровского, «поднимает настроение каждого доброго коммуниста. Ее содержание усугубляет, учетверяет это впечатление»¹³.

Что же так развеселило марксистского идеолога? Саморазоблачение, с которым «буржуазный» историк Виппер якобы пишет о собственном идеализме: «Вот это поистине — “меткое слово вовремя!”. Когда лет побольше двадцати, мы твердили, что буржуазная историография есть идеалистическая историография, что она во всем противоположна материалистическому, т.е. научному пониманию истории — многие из людей, нам сочувствующих, даже многие из тех, кто сам себя считает материалистом, пожимали плечами»¹⁴.

¹¹ Виппер Р.Ю. Указ. соч. С. 11–12.

¹² Покровский М.Н. Профессор Р. Виппер о кризисе исторической истории // Под знаменем марксизма. 1922. № 3. С. 33.

¹³ Там же.

¹⁴ Там же.

Здесь, как в других местах, Покровский, «ради красного словца», явно передергивает. Даже если закрыть глаза на то, что Виппер вообще не употребляет термин «буржуазная историография», то все равно из его лекции следует, что именно та историография, которая у Покровского числится «буржуазной», у него именуется «материалистической», и наоборот, еще не сложившаяся окончательно «большевицкая» историография трактуется им как «идеалистическая». Однако это мало смущает Покровского, и он, сгущая краски, пытается показать научное «падение» Виппера с высот марксистского понимания истории в пропасть идеализма: «Проф. Виппер кричит так о своем идеализме¹⁵ может быть потому, что он в этой области неопит: еще лет десять тому назад можно было встретить его статьи в марксистских журналах. Оттого ему, кажется, что “кризис исторической науки”, — т.е. поворот буржуазной историографии к идеализму — есть явление новое, чуть ли не современное империалистической войне и ею вызванное»¹⁶.

Между тем Виппер не пишет об историческом идеализме как о чем-то принципиально новом. Напротив, он подчеркивает, что аналогичное понимание истории уже имело место в эпоху романтизма: «Материализм победоносно утвердился в социальных науках в 70-х и 80-х годах XIX в. Он сменил идеалистические взгляды романтиков, сложившиеся в свою очередь под впечатлением бурной эпохи войн начала XIX в. Вы легко заметите, какое видное место в рассуждениях людей первой половины XIX в. занимает Наполеон, как спорят о роли Робеспьера, как возвеличивают идеи жирондистов. Насколько не похожи на эти суждения формулы последователей Маркса, для которых существует только неумолимый железный закон диалектики, смена одного массового строя его противоположностью»¹⁷.

Разумеется, большевицкого историка особенно задел пассаж Виппера о «небольшой группе людей», захвативших власть в огромном государстве. В ответ Покровский, пытаясь доказать материалистическую обусловленность большевизма, приводит примеры политической непоследовательности большевицкого руководства, якобы являющейся следствием глубокого понимания протекающих процессов: «В чем заключался бы “полет воображения” зимой 1917–1918 годов, когда “группа” стала у власти? В том, чтобы превратить бессмысленную бойню русских и немцев в войну про-

¹⁵ Виппер отнюдь не кричит о своем «идеализме», он, скорее, сожалеет об односторонности как материалистического, так и идеалистического понимания истории: «И материалистический взгляд и идеалистический, каждый в отдельности взятый, неполны, недостаточны, односторонни. Очень хорошо было бы, если бы в науке одновременно и согласно действовали тем и другим методом, смотрели бы с той и другой точки зрения. Но так никогда не бывает, все мы отличаемся односторонностью, никто не бывает одновременно материалистом и идеалистом» (Виппер Р.Ю. Указ. соч. С. 13).

¹⁶ Покровский М.Н. Указ. соч. С. 34.

¹⁷ Виппер Р.Ю. Указ. соч. С. 14.

тив империализма. В том, чтобы превратить империалистическую войну в революционную. А что сделали? Стали на колени перед германским империализмом. Почему? Потому что народные массы России требовали мира, были против войны какой бы то ни было, империалистической, революционной — все равно. Что дало нам силу перенести унижение? Глубокая вера в то, что материальные, объективные причины скоро поставят на колени германский империализм. Ноябрь 1918 года ответил на это с точностью предсказанного лунного затмения»¹⁸.

Здесь Покровский демонстрирует не зависимость большевистской политики от объективного хода истории, как ему это представляется, а типично большевистскую демагогию, направленную на то, чтобы прикрыть ошибки и преступления советского правительства. Прекращение войны с Германией накануне ее полного поражения подается как знание дальнейшего хода истории, движущейся к мировой революции. При этом ни слова не говорится о гражданской войне, в которую оказалась втянутой страна в результате октябрьской авантюры. Он восхваляет переход к нэпу, ни слова, разумеется, не говоря о массовом голоде, в который погрузила страну политика военного коммунизма и т.д. Переворачивая всё с ног на голову, Покровский неизбежно впадает в противоречия. С одной стороны, он утверждает, что «не идеология создавала порядки, а наоборот, порядки поддерживали идеологию», с другой стороны, он пишет: «Барьеры военного коммунизма падают один за другим — несмотря на то, что в теории мы остаемся теми же коммунистами». Итак, коммунистические «порядки» падают, а коммунистическая идеология остается. Чем же в таком случае она поддерживается?

Далее Покровский и Виппер, подобно Гамлету и Лаэрту, обмениваются шпагами. Виппер показывает «идеализм» большевистских «материалистов», а Покровский разоблачает «материализм» буржуазных «идеалистов»: «И замечательная вещь — чем больше отрешивается от материализма буржуазная теория, тем все более и более материалистической становится буржуазная практика <...>. Все споры вертятся около того — будет или не будет платить Германия, будет или не будет платить Россия? Отойдет ли силезский уголь к Польше или останется у немцев? Вернет ли русское правительство национализированные фабрики их иностранным владельцам или нет? О том, что это правительство состоит из коммунистов, никто не вспоминает: это такой же безразличный факт, как если бы Ленин был буддист или исповедовал религию Конфуция. Зеленый стол дипломатии сменился банковским прилавком. Платишь? Получи!»¹⁹.

Спор Покровского с Виппером обнаружил еще одну любопытную черту. Для Виппера происходящие события ставят вопрос о пересмотре тради-

¹⁸ Покровский М.Н. Указ. соч. С. 35.

¹⁹ Там же. С. 36.

ционных исторических схем, ибо они в них явно не укладываются. Наивно было бы утверждать вслед за Покровским, что незнание марксизма лишило профессора возможности правильно понять суть происходящих событий. В отличие от большевиков, выдавших октябрьский переворот за пролетарскую революцию, он увидел лишь то, что видели и не могли до конца понять многие люди того времени: насильственный захват власти небольшой группой людей. Но это непонимание носило продуктивный характер. История, творящаяся на глазах, не умещалась ни в какие привычные объяснения и схемы. В умах русских профессоров это породило методологический кризис и необходимость поиска новых путей. Сам Виппер стал искать эти пути для России в эпохе Ивана Грозного, что через два десятилетия, в условиях «победившего социализма», обеспечит ему возвращение на родину, высокий пост в советской науке и звание академика.

Мифология или наука?

Другим путем шел С.Л. Франк. В 1917 году он был назначен деканом вновь созданного историко-филологического факультета Саратовского университета, где среди прочих философских курсов читал цикл лекций по методологии общественных наук. В 1922 году эти лекции были изданы московским издательством «Берег». Современные события заставили Франка пересмотреть традиционные подходы к изучению общества. В основу лекционного курса было положено критическое переосмысление многих социологических схем, таких как «историзм», «этический идеализм», «рационализм», «натурализм», «психологизм» и т.д. В первой части курса студентам предлагалось изложение этих теорий с разбором как сильных, так и слабых сторон. Во второй части речь шла об актуальных методологических проблемах в изучении общественных отношений.

Главный недостаток всех существующих подходов к изучению общества, по мнению Франка, сводится к двум крайним направлениям, к которым в той или иной степени тяготеют социологические исследования. В то время как одни ученые ищут единую формулу, способную вместить всю сложность общественных отношений, другие отказываются от любых общих построений и призывают изучать лишь конкретные случаи. При этом и те и другие ищут объяснения общественных явлений не в самом феномене общества, а за его пределами, причем не только в гуманитарных науках — истории, психологии, этики, но и в естественных. Следствием этого становится непонимание природы общества как специфической формы взаимодействия людей, что в свою очередь препятствует правильному пониманию причинно-следственных отношений, возникающих в процессе общественного развития. Традиционный спор идеалистов и материалистов о том, является ли само общество отражением сознательной деятельности

людей, или оно есть следствие экономических отношений, представляется Франку не существенным. Полностью отрицая экономическое объяснение, Франк называет все содержащее его учения «лишь догмами веры своих авторов и их партийных приверженцев»²⁰. Идеалистические же концепции общества вызывают у него возражения в основном понятийного характера. «Если мы <...> должны искать объяснения <...> общества в какой-то “идеальности” общественного бытия, то эту идеальность мы не вправе отождествлять с чистым бытием идеи, как таковым, и вообще мы не вправе исходить из готового понятия идеальности, заимствованного на какой-либо иной области, а должны уяснить этот момент через посредство непредвзятого феноменологического анализа общественного бытия»²¹.

Специфический смысл самой идеи общества Франк определяет через противопоставление ее так называемым «чистым идеям», к которым относятся, например, логические силлогизмы и числа. «Чистые идеи» существуют вне времени и пространства и вне зависимости от того, осознаем мы их или нет. Что же касается общества, то оно тоже может существовать независимо от индивидуального сознания, но оно не может существовать вне сознания вообще. Кроме того оно *практически* воздействует на людей, и в этом смысле оно вполне реально. Таким образом, общество в интерпретации Франка, имеет двойственный «идеал-реальный характер».

Этому соответствуют два возможных подхода к причинно-следственным отношениям, определяющим общественное развитие, — *телеологический* и *каузальный*. Согласно первому, общество управляется целенаправленными волевыми действиями составляющих его людей. Согласно второму, общество определяется действием внеположных ему факторов, например, экономикой, политикой и т.д. Франк считает, что только телеологически действующая воля людей, соотносящая свои волевые стремления с конечной целью, определяет нормальное развитие общества. Каузальности он отводит лишь подчиненное значение. Ее выдвижение на первый план свидетельствует о серьезных отклонениях в общественной жизни: «В этих случаях (которые, правда, представляют наибольший интерес для теоретического обществоведения и познание которых практически наиболее плодотворно) мы имеем характерную *слепую* или *роковую необходимость*, когда, независимо ни от чьей сознательной воли, роковым образом один комплекс явлений влечет за собою другой определенный комплекс»²².

Эти мысли явно питались современностью. Победившая идеология экономического материализма была наиболее ярким выражением каузально-

²⁰ Франк С.Л. Очерки методологии общественных наук. М., 1922. С. 90.

²¹ Там же. С. 75.

²² Там же. С. 87.

го подхода к общественному развитию. Революция, война, разруха, голод давали обильный материал для социологических размышлений Франка. Все обрушившиеся на страну тяготы, усиливающиеся политическим преследованием, Франк, отец многодетного семейства, переносил не просто со стоическим мужеством, но и с научным интересом. Думается, что именно распад русского общества вызвал у него интерес к проблеме общественного устройства. Норма лучше всего ощущается в моменты ее нарушения. В своих лекциях он говорил о «слепых инстинктах и страстях», преобладание которых над «идеальными началами» приводит к сильным разрушениям и анархии и никогда не производит «никакого общественного порядка»: «Голод или экономическая зависть не создают экономического строя»²³.

Общественный идеал Франк призывал искать не в абстрактных нормах этических учений, являющихся к тому же внешними по отношению к обществоведению, а в самой структуре общественного организма. В этом обществовед, с точки зрения Франка, уподобляется биологу или врачу, который, изучая патологические проявления больного организма, получает представление о здоровье как норме. Точно так же переживаемая Франком и его современниками социальная катастрофа давала ученому материал для размышлений о природе социальной нормы. Мертвому буквализму марксизма он противопоставляет «живое знание» общества как идеально-духовного образования. Такое знание достигается «живым погружением субъекта в объект и с сочувственным переживанием объекта»²⁴.

Франк не просто констатировал отклонения от норм общественной жизни, но и призывал своих слушателей направить их «общественную волю к мероприятиям, противодействующим этим отклонениям». Речь шла, конечно, не о политическом противостоянии большевистскому режиму. В этом плане у Франка не было иллюзий. Белое движение вызвало у него не больше симпатий, чем действия большевиков. Выход он видел на путях возвращения к культурному единству как важнейшей телеологической интерпретации действительности. Главный методологический порок большинства социальных теорий, и в первую очередь марксизма, он видит в «представлении (по большей части неосознанном) об обособленности и раздельном бытии и действии разных сторон или областей общественной жизни. Какая бы сила или область общественной жизни ни полагалась при этом, как главенствующая и определяющая, всегда представляется, что эта сила или область бытия мыслима независимо от остальных и именно потому может полагаться, как их причина»²⁵. Иными словами, как только исследователь

²³ Там же. С. 92–93.

²⁴ Там же. С. 102.

²⁵ Там же. С. 90.

погружается в мир отдельных предметов и явлений, он произвольно начинает выстраивать между ними причинно-следственные отношения. Наиболее ярко это проявляется в поисках начальной точки какого-нибудь процесса, и каждый раз, когда такая точка находится, выстраивается порочный каузальный ряд, лишаящий целостное по своей сути бытие внутреннего смысла.

Казенное мирозерцание, конечно же, не могло пройти мимо такого яркого явления, как Франк. Брошюра с его саратовскими лекциями стала предметом большевистских рецензий. Некто Ст. Кривцов на страницах журнала «Под знаменем марксизма» с высокомерием невежды разоблачал «контрреволюционный» пафос книги, не забыв напомнить читателю, что это курс лекций «в государственном университете»²⁶. Рецензия строится на издевательском передергивании и доведении до абсурда мыслей Франка. Вырванные из контекста цитаты сопровождаются ремарками типа: «доходит дело до смешного», «читатель будет в недоумении», «мы отираем прохвативший было нас холодный пот и зело радуемся», «дальше еще страшнее», «мы смело вступаем в старую обитель старичка Платона», «сказано было нам в посрамлении», «я не я и лошадь не моя» и т.д. За ёрническим стилем рецензент пытается скрыть собственное непонимание рецензируемой книги и одновременно внушить читателю примитивную мысль, что «такое обществоведение прямехоньким путем приводит к господину богу с седой бородой»²⁷. Франк много занимался вопросами богословия и религии, но данная его книга посвящена совсем другому предмету. Поэтому образ седобородого божества способен вызвать удивление. Между тем объясняется все предельно просто. То ли сам рецензент по невежеству перепутал, то ли наборщики подвели, но только почему-то в цитате из Франка, открывающей рецензию, вместе телеологии речь идет о теологии. Франк говорит о «телеологически предуказанном» устройстве общества²⁸, а рецензенту видится «телеологически предуказанное»²⁹. В любом случае идейный арсенал, который Ст. Кривцов способен противопоставить социологии Франка, более чем скромнен. Он рекомендует молодым марксистам сравнить книгу Франка с книгой Бухарина «Теория исторического материализма».

Несколько более обстоятельной, хотя и не более внятной, является рецензия известного большевистского деятеля, историка и философа В.В. Адоратского. Впрочем, и здесь мы сталкиваемся с той же, хотя и не столь оче-

²⁶ Кривцов Ст. «Методология общественных наук» гражд. С. Франка // Под знаменем марксизма. 1922. № 3. С. 43.

²⁷ Там же.

²⁸ Франк С.Л. Указ. соч. С. 109.

²⁹ Кривцов Ст. Указ. соч. с. 37.

видной путаницей понятий «теология» и «телеология». С первых строк автор стремится вывести читателя из «заблуждения» и объяснить ему, что он имеет дело не с наукой, как сказано в заглавии, а с «мифологией», причем с мифологией христианской, «которая учила, например, так: прежде всего имеется *Бог* (курсив в оригинале) — это дух, являющийся началом и причиной всего. Во-вторых, имеется *видимый мир* (курсив в оригинале) — бездушный и погрязший в грехе. Наконец, в-третьих, имеются *люди* (курсив в оригинале), обладающие, кроме грешного тела еще душой, по сущности своей являющейся частицей бога, подобной ему»³⁰. Обнаружив таким образом «примерные» познания в области христианства, рецензент спешит растолковать читателю, что «еще в те далекие времена, когда буржуазия была революционной», философы-материалисты старались разрушить эту «мифологию» и «основательно в этом успели». Далее рассказывается о Фейербахе, Марксе и Энгельсе, о том, как они еще больше преуспели в насаждении безбожества, словом, о всем том, к чему книга Франка не имеет никакого отношения. Делается это для того, чтобы донести до читателя мысль, что буржуазные ученые, к числу которых, разумеется, относится и Франк, «не могут разобраться в самых основных вопросах, которые уже давно вполне удовлетворительно разрешены»³¹.

Для того чтобы доказать «невежество» Франка, которому якобы неведомы были произведения немецких философов, включая Маркса и Энгельса³², Адоратский выдергивает из контекста цитату из Франка и приписывает ему мысль, которую тот приводит как пример невозможного: «Если представить себе до конца осуществленным установление законов общественного развития, т.е. разъяснение необходимых соотношений всего механизма общественной жизни, то для свободной и разумной общественной деятельности людей не останется больше места». Эта мысль не Франка, как старается доказать рецензент, а доведенная философом до логического завершения идея социального натурализма, которая опровергается среди прочих традиционных теорий общества. Еще более курьезным является стремление рецензента приписать Франку «вывод, что никакой необходимости в действиях людей нет»³³. У Франка всё строго наоборот, признавая за обществом первичную по отношению к отдельным индивидам структуру, он как раз и показывает, как действия людей с *необходимостью* определяются их общественной природой: «Механизм столкновения и взаимодействия лю-

³⁰ Адоратский В.В. С.Л. Франк. Очерк методологии общественных наук. Книгоиздательство «Берег» Москва 1922. Стр. 124 // Печать и революция. 1922. № 6. С. 238.

³¹ Там же. С. 239.

³² Здесь речь, вероятно, идет о понимании свободы как осознанной необходимости.

³³ Адоратский В. В. Указ. соч. С. 239.

дей подчинен каким-то *общим* силам, которые через его посредство дают и определенный *общий результат* (курсив мой. — В. П.)»³⁴.

Вообще для рецензии Адоратского характерно, как и для большинства рецензий подобного рода, наложение оценочной дихотомии «идеализма — материализма» на изучаемый объект. Дело даже не в том, что сама оценочность препятствует объективному пониманию, а в том, что она никак не соприкасается с тем, что оценивается. Сказать о том, что Франк идеалист, это не сказать ровным счетом ничего. Его теория общества исходит из живого, т.е. органического понимания идеи как того, что *реально* переживается людьми и оказывает на них постоянное воздействие. Пытаясь доказать это очевидное для Франка положение, Адоратский приводит массу цитат, но не для того, чтобы пояснить мысль автора, а для того, чтобы приписать ему совершенно бессмысленное утверждение о том, что идеи у Франка — «это тот же бог, лишь под другим названием». Не говоря уже о том, что сами идеи Франк понимает по-разному (абстрактные идеи и идеи общественные — это разные вещи), для него совершенно не было никакой необходимости маскировать Божье имя. Но для Адоратского важна не истина. Ему необходимо наклеить на Франка все те ярлыки, которыми большевистская пресса щедро увещивала свободно мыслящих людей: «Господа буржуазные ученые желают сохранить во что бы то ни стало мифологию: самостоятельность и объективность духа, как особой отдельной, отличной от материи субстанции. Им это нужно для того, чтобы дать могучую идейную поддержку господству эксплуататорского меньшинства. Им выгодно увековечивать путаницу, не допустить правильного понимания. Если в обществе решающую роль играет сознание, тогда для того, чтобы переделать общество, не надо производить материальных революций, надо лишь переделывать идеи»³⁵. Пожалуй, это единственная мысль во всей рецензии, отражающая подлинное понимание Франком и общества, и того положения, в котором оно оказалось в результате большевистской революции. Франк действительно неоднократно, в том числе и в лекциях, говорил о разрушительной природе революционных сил, о невозможности на зависти и насилии — главных мотивах, управляющих этими силами, — построить нормальное общество.

Но в рецензии Адоратского есть одна по-своему интересная мысль. Она писалась в то время, когда каноны советского марксизма еще окончательно не устоялись и Маркса и Энгельса можно еще было цитировать без оглядки на официальную доктрину. Среди традиционных обвинений, брошенных Франку большевистским критиком, есть слово «идеолог». В начале рецензии автор приводит мысль Маркса и Энгельса об идеологии как «ложном

³⁴ Франк С.Л. Указ. соч. С. 62.

³⁵ Адоратский В.В. Указ. соч. С. 240.

сознании»: «На известной ступени общественного развития в головах людей складывались своеобразные представления, извращенно отражавшие действительность — эти представления Маркс и Энгельс называли идеологией». Далее Адоратский приводит известную цитату из Энгельса: «Что материальные условия жизни людей, в головах которых совершается данный (т.е. религиозный) процесс мышления, определяют его собою, этого, конечно, не сознают эти люди, потому что иначе пришел бы конец всякой идеологии». Иными словами, в царстве пролетариата, где нет эксплуатации человека человеком, нет и не может быть никакой идеологии. Таким образом, клеймо «идеолог», которое Адоратский стремился поставить на Франка, должно было указывать на «эксплуататорскую сущность» его лекций. Однако в дальнейшем слово «идеолог» не получило в большевистском языковом сознании негативной окраски и стало вполне сочетаться со словами «пролетарская», «советская», «наша» и т.д. В этом смысле прав оказался Р.Ю. Виппер, проныцательно отметивший идеализм пролетарской политики.

«Ученый мракобес»

Если Адоратскому для «разоблачения» религиозной сущности лекций Франка пришлось, искажая их смысл, «вчитывать» в них имя Божье, то петербургский профессор Л.П. Карсавин в это же время помимо учебных занятий вел активную проповедническую деятельность. В этом случае большевистским рецензентам «материал», что называется, сам шел в руки. В апреле 1918 года Карсавин был избран экстраординарным профессором Петроградского университета, где приступил к чтению лекции и ведению семинаров по истории религии и средневековой культуре. В это же время в печати появляются его первые богословские и философские труды. В 1920 году он становится профессором Богословского института, вновь созданного вместо закрытой Духовной академии.

Интерес профессора Карсавина к философии и религии, разумеется, не остался вне внимания большевистских рецензентов. Уже в первом номере журнала «Под знаменем марксизма» за 1922 год появилась рецензия В.А. Тер-Ваганяна на книгу Карсавина «Введение в историю»³⁶ с оксюморонным заголовком «Ученый мракобес». Историческая концепция Карсавина дала Ваганяну повод для критики русской интеллигенции вообще: «Что касается до нашей российской интеллигенции — то единственное занятие, в чем она особенно успевала — это пересмотр своих воззрений. Ни у одной интеллигенции нет такой солидной традиции «ревизионизма» (в широком смысле слова), ни одна интеллигенция не страдала так долговременно лихорадкой «пересмот-

³⁶ Карсавин Л.П. Введение в историю (теория истории). Пг., 1920.

ров” — как наша»³⁷. Рецензент выстраивает идейную траекторию русской интеллигенции «от марксизма к идеализму, к мистицизму, к “вехам”, к “Великой России”, к барабанному патриотизму, к саботажу, к реакции»³⁸. Для объяснения этого феномена Ваганян использует троцкистскую схему «комбинированного» развития России: «Страна с самой дикой смесью крепостнически-помещичьих отношений с нарождающимися ростовщически-капиталистическими, Россия в весьма короткий срок развилась в страну промышленного капитализма с сравнительно большим пролетариатом, быстро организовавшимся в класс. Это совершенно исключительное сочетание сохранилось до революции 1905 г., и оно же обусловило в значительной мере, если не преимущественно, идейное лицо российской интеллигенции капиталистической эпохи. Оно сформировалось при постоянной боязни быстро усиливающегося рабочего класса, — отсюда неизменное и почти непрерывное ее стремление вправо. Идеологически это выразилось в развитии от марксизма — откуда начали свой танец идеологи буржуазии (разрядка оригинала), — к самому отчаянному мистицизму, чаще всего граничащему с мракобесием и поповщиной»³⁹. Трудности революционной эпохи («революция развивается крайне медленно и трудно»), по мнению Ваганяна, сыграли на руку интеллигенции, и «российский интеллигент ожил. Он уже тянется за модным философским мировоззрением, он готовится к ревизии»⁴⁰.

Одним из этих «оживших интеллигентов» и является для Ваганяна Карсавин. Пафос разоблачения, а рецензия, как и положено большевистской рецензии, написана в разоблачительных тонах, направлен на историософию Карсавина. Ваганяну во чтобы то ни стало надо доказать ее контрреволюционную сущность, поэтому он начинает прямо с утверждения, что историческая теория Карсавина «является ничем иным, как сколком его теологии»⁴¹. Доказательству этого тезиса и посвящена рецензия Ваганяна. Начинается она с критики идеи непрерывного социального развития человечества. В этом рецензент усматривает отрицание Красавиным роли революций в истории, что уже само по себе является контрреволюционным. Называя Карсавина «мошенником», Ваганян пытается повернуть против него гегельянскую схему смены в истории моментов скачков и эволюции. «Задача истории, — по его мнению, — и заключается в первую очередь уразуметь и понять те законы, которые управляют этими сочетаниями эволюции и скачков»⁴².

³⁷ Ваганян В.А. Ученый мракобес // Под знаменем марксизма. 1922. № 1–2. С. 44.

³⁸ Там же.

³⁹ Там же. С. 45.

⁴⁰ Там же.

⁴¹ Там же.

⁴² Там же. С. 47.

Следующим пунктом атаки Ваганяна становится карсавинская идея всеединства: «Несомненно Карсавин смотрит на мир как на единство, и для нас, материалистов, мир есть единое целое». Здесь уже в ход идет Энгельс, утверждавший, что «действительное единство мира состоит в его материальности». Но у Карсавина, конечно же, всё наоборот. Ваганян приводит цитаты, не оставляющие, по его мнению, «никакого сомнения в том, что Карсавин видит единство мира... в боге»⁴³.

Из этого уже сама собой для Ваганяна вытекает ненаучность идей не только Карсавина, но и всей буржуазии, и, как следствие, ее «мракобесие». «Доказав» таким образом антинаучность карсавинских идей, рецензент не без гордости замечает: «Главная наша задача по существу разрешена — нам кажется мы доказали с несомненностью, что его теория истории — это богословие, изложенное более или менее туманно, более или менее прилично»⁴⁴. Здесь бы и остановиться. Однако нет. Ваганяну еще необходимо подвести марксистскую базу под сам феномен Карсавина и русской интеллигенции вообще, показать материалистическую природу ее идеализма. И если его предыдущие «разоблачения» имели вполне схоластический характер и ограничивались цитатами из классиков, то теперь они оборачиваются открытым оскорблением: «А потребность в средствах сохранения жизни — хлеб, одежда, топливо и т.д. из-за которого г. Карсавин, будучи на службе у хозяина капиталиста, сознательно или бессознательно приспособливал науку к интересам хозяйского кошелька, а в дни “большевистского варварства” — силится отравить сознание народных масс юродивыми религиозными проповедями, эти потребности называются уже совершенно определенно “материей”»⁴⁵. Весьма показательно, что большевистский критик именно в этом аспекте видит последнее достижение науки, которая «за последние десятилетия больше, чем когда бы то ни было накопила материал, доказывающий прямую и непосредственную зависимость духа от презренной материи».

Когда рецензия Ваганяна была уже набрана, вышла очередная книга Карсавина «Noctes Petropolitanae». Она лишь укрепила большевистского критика в правильности его дефиниций. Но уверенность в том, что «тысяча нумерованных экземпляров “Noctes Petropolitanae” к рабочим не попадут, а если и попадут, то рабочий их не прочтет», избавила Ваганяна от необходимости продолжить разговор о Карсавине-«мракобесе».

Примерно в таком духе написаны рецензии В. Невского в журнале «Под знаменем марксизма» и А. Юрлова в «Красной нови». Они, не касаясь сути

⁴³ Там же. С. 48.

⁴⁴ Там же. С. 49.

⁴⁵ Там же. С. 50.

воззрений Карсавина, продолжают твердить о его «мракобесии», «эротизме» и т.д.⁴⁶ Более обстоятельно написана рецензия П.Ф. Преображенского⁴⁷, посвященная разбору сразу трех книг Карсавина⁴⁸.

Рецензент останавливается на двух проблемах философии Карсавина — на идее всеединства и метафизике любви. В первом отношении автор рецензии вписывает Карсавина в философскую традицию, представленную именами Платона, Плотина, Николая Кузанского, Бёме, Шеллинга, Владимира Соловьева. Рецензия Преображенского написана хоть и в разоблачительном духе, все же рецензент старается выдержать спокойный академический тон. Предметом разоблачения у него является не только «онтология» Карсавина, в которой он усматривает «самое неприкровенное богословие», но и вся европейская философия XIX века (разумеется, немарксистская), которая под видом гносеологии пыталась «отмежеваться от всякого богословия, а если возможно, то и от всякой метафизики»⁴⁹. Однако, «распростившись с богословием, философия все же решила оставить у себя “власть ключей”, право иметь истины столь же обязательные и значимые вне времени и пространства, какими были все откровенные истины богословия»⁵⁰.

Любопытно, как в дискурсе марксистского критика неожиданно вкрапляются религиозные сентенции: «Смерть начинается с поклонения мертвому идолу вместо живого Бога»⁵¹. Под «мертвым идолом» здесь понимается религиозный объект карсавинской философии, а под «живым Богом» явно подразумеваются грезы большевиков о новом мире. Выходец из духовной среды, Преображенский, вероятно, вопреки собственным новым материалистическим взглядам обвиняет Карсавина одновременно в богословии и в ереси: «Во всех философских рассуждениях Л.П. Карсавина есть какое-то озорство и даже некоторая фривольность, которая иногда наводит на совсем еретическую мысль, что это идея абсолютного бытия или Бога заключает в себе тоже что-то весьма фривольное для своего паладина»⁵².

⁴⁶ Невский В. Нострадамусы XX-го века // Под знаменем марксизма. 1922. № 4 (апрель). С. 95–100; Юрлов А. Кафедральная эротика // Красная новь. 1922. Кн. 3 (май-июнь). С. 273–275.

⁴⁷ Преображенский П.Ф. Философия, как служанка богословия // Печать и революция. 1922. Кн. 6 (3). Июль–август. 1922. С. 64–73.

⁴⁸ Карсавин Л.П. *Saligia* или весьма краткое и душеполезное размышление о Боге, мире, человеке, эле и семи смертных грехах. Пб., 1918; *Он же*. Введение в историю...; *Он же*. *Noctes Petropolitanae*. Пг., 1922.

⁴⁹ Преображенский П.Ф. Указ. соч. С. 64.

⁵⁰ Там же.

⁵¹ Там же. С. 65.

⁵² Там же. С. 66.

Главный объект критики Преображенского — представления Карсавина, исходящего из идеи всеединства, о возможности прогнозировать будущее. Иронизируя над этими представлениями, Преображенский стремится представить их в духе примитивного абсурда: «Посадить бы пару Нострадамов, а за их отсутствием двух проповедников Всеединства в Совнарком, — и все бы пошло как по маслу. Жаль только, что истолковывать Нострадамов, приходится *post factum* — никак не истолкуешь в самый момент появления пророчества»⁵³.

В полемике с идеями Карсавина Преображенский стремится повернуть против него его же оружие. Он считает, что богословию Карсавина не хватает «благообразия», о котором писал Достоевский в романе «Подросток»⁵⁴. Причем отсутствие этого «благообразия» рецензент стремится объяснить объективными причинами — сменой старого мировоззрения новым. К старому мировоззрению рецензент относит религию и философию. Последняя объявляется служанкой первой, так как традиционное гносеологическое обоснование онтологии неизбежно упирается «в богословский тупик». А поскольку религия себя уже изжила, то эротизм Карсавина является, с точки зрения Преображенского, «целебным впрыскиванием» для ее оживления. В результате религия утрачивает присущие ей таинственность и неизреченность: «Теперь все неизреченное выговаривается, да еще на мотив камаринского»⁵⁵.

Разбор идей Карсавина приводит рецензента к оптимистическому выводу: «Мы присутствуем при грандиозном зрелище — похоронах буржуазной культуры XIX века, — рушатся составлявшее ее ценности, которые не могут уже никого удовлетворить, над этими ценностями произносятся надгробные речи, иногда дышащие искренним пафосом и трагизмом. Возводится какое-то новое здание, в котором будет жить человечество. И, казалось бы, в этот момент культурного перелома нужно освободиться от гнета умерших ценностей, вековых традиций, в рабстве у которых мы томились. Если не освободимся в этот момент, не освободимся никогда»⁵⁶.

Большевистские рецензии на философские и научные работы тех, кого потом станут называть представителями русского религиозно-философского возрождения, строятся по очень простой схеме. Автору за-

⁵³ Там же. С. 68.

⁵⁴ Имеется в виду высказывание главного героя Аркадия Долгорукова о том, что в лицах старцев, окружающих Макара Ивановича, нет никакого благообразия.

⁵⁵ Преображенский П.Ф. Указ. соч. С. 69.

⁵⁶ Там же. С. 72.

ранее приписывается комплекс идей, представляющих собой вывернутый наизнанку примитивно понятый марксизм. Спор становится невозможным уже в силу того, что полемические удары наносятся мимо цели. Их авторы обнаруживают не только явное непонимание рецензируемых изданий, но и отсутствие малейшего желания их понять. Сама структура рецензии не предполагает диалога. Рецензент не полемизирует с рецензируемым автором, а разоблачает его. Цель состоит не в поиске истины, а в выявлении контрреволюционной природы научных воззрений. При помощи «самой передовой» и «всепобеждающей» науки рецензент клеймит классово чуждого автора, в котором видит не коллегу, а классового врага, подлежащего уничтожению.

Не случайно большевистский историк С.Н. Быковский призывал по отношению к тем, кто «марксистски мыслить не может», применять «методы более сильные, чем разъяснение и убеждение»⁵⁷. Впрочем, это был не столько призыв, сколько констатация многочисленных фактов. «Новая наука», утверждаемая в такого рода рецензиях, понималась не как новый этап бесконечного пути познания, а как обретение ключей, открывающих все двери. В распоряжении рецензентов была полная уверенность в постигнутой ими раз и навсегда абсолютной истине. Поскольку сами они в этой истине ни на секунду не сомневались, то все сомневающиеся автоматически записывались в «мракобесы» и «лжеученые». Логическим продолжением этих рецензий были практические меры по удалению этих «мракобесов» и «мошенников» из научной и педагогической сферы. Таким образом, большевистские журналы с самого начала своего существования стали ареной «классовой борьбы», об усилении которой говорил Сталин.

⁵⁷ Быковский С.Н. Какие цели преследуются некоторыми археологическими исследованиями? // Сообщения Гос. академии истории материальной культуры: Проблемы истории материальной культуры. 1931. № 4/5. С. 21.

СОВЕТСКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ПЕРИОДИКА В 1950–1960-е ГОДЫ: РАМКИ И ПРЕДЕЛЫ МОДЕРНИЗАЦИИ

Изучение советской исторической периодики в послевоенный период остается пока достаточно маргинальным сюжетом как для внутридисциплинарной историографической рефлексии, так и для истории советской науки¹. В советское время наиболее интересные и профессионально значимые исследования исторических журналов были связаны с периодическими изданиями XIX века. Труды, посвященные советской периодике, касались преимущественно ее развития в первые послереволюционные десятилетия². Будучи сосредоточенными на анализе процесса советизации научной периодики, их авторы либо вообще не задавались вопросом об автономии науки, либо были весьма ограничены в возможностях постановки такого рода проблем. Мемориальные и исследовательские тексты, появившиеся в постсоветский период, были посвящены почти исключительно истории отдельных изданий³ и рассматривали их в первую очередь в контексте взаимоотношений науки и власти. Лишь в последние годы историки обращаются к изучению журналов в контексте проблематики профессиональной культуры (репрезентации исторического знания, характера дискуссий и

¹ Исследование выполнено в рамках Программы фундаментальных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и с использованием средств субсидии на государственную поддержку ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров, выделенной НИУ ВШЭ.

Первоначальный вариант этого текста был опубликован на английском языке: *Stepanov B. The Soviet system of historical periodicals in the postwar period: Structural transformation and strategies of communication // Russian Journal of Communication. 2014. Vol. 6. No. 1. P. 67–81.* Текст переработан и дополнен.

² См., например: *Алаторцева А.И. Советская историческая периодика. 1917 — середина 1930-х годов. М.: Наука, 1989; Седельников В.О. Журнал «Исторический архив» и возникновение советской архивной периодики. 1918–1921 гг. // Археографический ежегодник за 1979 год. М.: Наука, 1981. С. 106–120.*

³ См., например: *Картюк С.Г. ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑ. Бонгардовское двадцатилетие (1988–2008) в истории «Вестника древней истории» // Вестник древней истории. 2010. № 1. С. 170–179; Шмидт С.О. Н.А. Горская и начало журнала «История СССР» // Образы аграрной России IX–XVIII вв.: памяти Натальи Александровны Горской. М.: Индрик, 2013. С. 27–36.*

стратегий рецензирования и т.д.⁴). Тем не менее изучение функционирования исторической периодики как системы до сих пор не было определено в качестве исследовательской задачи. Между тем реализация такого рода исследования важна не только для понимания коммуникативных механизмов советской науки, но и для осмысления того, как организована историческая наука сегодня.

Первый опыт систематической характеристики советской исторической периодики появился еще в советский период. В пионерском обзоре А.И. Алаторцевой, опубликованном в пятитомнике «Очерки истории исторической науки», были зафиксированы некоторые важные тенденции в развитии корпуса исторической периодики. В его эволюции Алаторцева выделяет выделяет четыре этапа. Историческая периодика конца 1930-х характеризуется растущей специализацией, переносом внимания от истории революционной борьбы к истории стран и периодов, включением в обсуждение учебных пособий и обобщающих трудов по всемирной истории. Годы войны были отмечены сокращением корпуса изданий и их тиражей, тематической переориентацией журналов в связи с идеологическими запросами военного времени. В 1945–1955 годах происходит возрождение ряда довоенных изданий и создание новых. При этом доминируют здесь издания научно-учебных и исследовательских центров («Труды», «Записки» и т.д.), в то время как единственным журналом, публикующим результаты исследований по всем отраслям исторического знания, остается журнал «Вопросы истории». В характеристике этого этапа особенно заметны трудности, с которыми сталкивается Алаторцева в своих попытках построить картину прогрессивного развития описываемой системы. С одной стороны, она усматривает здесь продолжение тенденции укрепления академических рамок истории, связанной с переходом от истории классово-борьбы к исследованию истории стран и периодов. С другой стороны, Алаторцева утверждает позитивное значение послевоенных «проработочных» компаний, которые она связывает с борьбой «против выхолащивания классового содержания явлений», «ухода от решения теоретических проблем в область локальных исследований и “коллекционирования фактов”». При этом главное достижение этого периода Алаторцева видит в «накоплении конкретно-исторических исследований, публикации источников, что позволило в дальнейшем перейти к широким обобщениям и разработке актуальных теоретических проблем»⁵. Наконец, последний период — с середины 1950-х до конца 1960-х годов — характери-

⁴ См. статьи Н.А. Кныш и Д.М. Колеватова в сборнике «Трансформация образа советской исторической науки в первое послевоенное десятилетие: вторая половина 1940-х — середина 1950-х гг.» (М.: РОССПЭН, 2011); Крих С.Б., Метель О.В. Советская историография древности в контексте мировой историографической мысли. М.: URSS, 2014, и др.

⁵ Алаторцева А.И. Историческая периодика // Очерки истории исторической науки в СССР. Т. 5. М.: Наука, 1985. С. 99–103.

зуется утверждением журнала как наиболее мобильной формы научной коммуникации, обращением к новым темам (таким, например, как методология истории или история Африки), возрастающим значением критики буржуазной историографии и междисциплинарных дискуссий. Несмотря на все ограничения, связанные с воспроизводством идеологических рамок советской историографии, текст Алаторцевой в определенном смысле сохраняет свое значение в качестве первого опыта характеристики эволюции системы исторической периодики. Однако с высоты сегодняшнего дня очевидно, что недостатки подхода Алаторцевой связаны не только с его идеологической ангажированностью, но и с ограниченностью корпуса источников, в который практически не входят региональные издания, и с отсутствием развернутого анализа форм и функций изданий, принципов рубрикации и т.д.⁶ Вопросы о соотношении развития научной периодики с развитием советской печати она вообще не ставит.

С точки зрения компенсации этих недостатков для исследования советской исторической периодики необходимо привлечь работы, посвященные характеристике советской прессы в целом. Приходится признать, что наиболее содержательным исследованием здесь по-прежнему остается цикл статей Л.Д. Гудкова и Б.В. Дубина, написанных на рубеже 1980–1990-х годов. Их подход по ряду оснований был противоположен описанному выше узкоисториографическому подходу Алаторцевой: задача диагностики советской журнальной системы и оценки ее функциональности предполагала выработку представления о специфике журнала как формы коммуникации. Подводя итоги своему анализу, Л.Д. Гудков и Б.В. Дубин констатировали: «Сложившаяся сеть журналов не в полной мере отвечает задачам социально-экономического, научно-технического и культурного развития»⁷. Об этом, по мнению исследователей, свидетельствуют не только количественные характеристики, по которым СССР отставал не только от ведущих западных стран, но даже от отечественных показателей 1920-х годов. Существенны в этом отношении и темпы обновления корпуса изданий, которые в 1980-е годы стали крайне низкими, а также направленность этого обновления, происходившего главным образом «за счет ведомственно-отраслевых информационно-реферативных изданий»⁸. Корень проблем Гудков и Ду-

⁶ Это делает некоторые выводы автора внутренне противоречивыми. Так, например, в характеристике периодики конца 1930-х годов публикации, посвященные историческим юбилеям, не упоминаются; между тем, описывая издания военной поры, Алаторцева пишет: «Традиционно отмечались юбилейные даты» (Там же. С. 98).

⁷ Гудков Л., Дубин Б. Журнальная структура и социальные процессы // Они же. Литература как социальный институт. М.: Новое литературное обозрение, 1994. С. 339.

⁸ Там же. С. 295. Наряду с этим параметрами авторы анализируют также и другие параметры — средние тиражи журналов, соотношение журнальной, книжной и газетной продукции и т.д.

бин усматривали в противоречии между бюрократизированной и негибкой системой управления этой отраслью и запросами растущей и дифференцирующейся массы образованного населения. Предпринятый авторами анализ конкретных изданий обнаруживал противоречивость публикационных стратегий с точки зрения специфических культурных функций журналов, связанных с задачами «обеспечения межгрупповой коммуникации» и «оперативного представления литературного, научного и культурного процесса», с обозначением «движущейся точки современности»⁹. Таким образом, сформулированные Гудковым и Дубиным наблюдения дают ценную отправную точку и для понимания журнала как социокультурной формы, и для характеристики советской системы периодики в целом. Ограниченность этого подхода связана с презентистскими установками, диагностическими задачами и обобщенным характером этого анализа. Апробация выводов этого исследования на материале исторической периодики, которого Гудков и Дубин касаются лишь вскользь, представляет собой самостоятельную задачу, которая может быть реализована в перспективе современной социальной и культурной истории науки.

В методологическом плане разворачивание подобного научного проекта должно быть связано, во-первых, с изучением архивных материалов, которое дало бы возможность соотнести деятельность журналов с эволюцией научных институций, и в частности описать характер участия в этом процессе различных агентов¹⁰. Во-вторых, необходимым представляется привлечение данных библиометрических исследований, которые позволяют включить в горизонт анализа весь массив изданий, обслуживающих ту или иную область знания, описать тенденции воспроизводства связанного с ней научного сообщества¹¹. В-третьих, необходима разработка более дифференцированной модели описания периодических изданий, позволяющей построить типологию и более конкретно описать совокупность коммуникативных ресурсов, характер формирования образа дисциплины и структурирования публикационного потока¹². Наконец, в-четвертых, необходи-

⁹ Гудков Л., Дубин Б. Указ. соч. С. 302.

¹⁰ Имеющиеся на сегодняшний день исследовательские и архивные публикации связаны главным образом с документами, отражающими деятельность официальных инстанций — Политбюро ЦК КПСС, Отдела науки ЦК КПСС, Президиума АН СССР и т.д., в то время как материалы, представляющие деятельность редакций, освоены крайне слабо.

¹¹ См. об этом: *Кожевников А.В., Петросова А.Г.* Научная периодика в СССР в 1917–1949 годах. Количественный анализ // Вопросы истории естествознания и техники. 1991. № 4. С. 44–50; *Kouprianov A.* Beyond the humanities: A comparison of two bibliometric crises in the domain of Soviet biological periodicals (1917–1950) // *Russian Journal of Communication*. 2014. Vol. 6. No. 1. P. 52–66.

¹² *Hérubel J.-P.V.M.* Historical Scholarship, Periodization, Themes, and Specialization: Implications for Research and Publication // *Journal of Scholarly Publishing*. 2008. Vol. 39. No. 2. P. 144–

мо введение сравнительной перспективы, которая позволит рассматривать эволюцию советской исторической периодики в сопоставлении с другими национальными и дисциплинарными традициями¹³.

В этой статье я представляю предварительные итоги реализации такого рода проекта, которые в дальнейшем могут быть проверены и уточнены в ходе анализа содержательной, организационной и коммуникативной специфики отдельных изданий и особенностей их эволюции. Обращаясь в данной статье к анализу корпуса советской исторической периодики, я вписываю его функционирование в контекст развития академии, с одной стороны, и системы печати — с другой. Мои задачи — во-первых, описать произошедшую на рубеже 1950–1960-х годов трансформацию структуры этого корпуса и, во-вторых, зафиксировать изменения в системе оценки деятельности изданий, повлиявшие на некоторые коммуникативные характеристики последних. Помимо корпуса изданий и публикаций, посвященных обсуждению их функционирования, я опираюсь в своем анализе на данные «Летописи периодических изданий» и стенограммы обсуждений работы редколлегий.

Трансформация системы исторической периодики в 1950–1960-е годы

Изучение исторической периодики в работах историков советской послевоенной историографии носит весьма избирательный характер. Безусловным лидером в рейтинге исследовательского интереса оказывается журнал «Вопросы истории» в период редакторства А.М. Панкратовой (1953–1957)¹⁴.

155; Свешников А.В., Степанов Б.Е. Исторические альманахи «Одиссей», «Казус», «Диалог со временем»: поиски моделей научной коммуникации // Гуманитарные исследования (ИГИТИ ГУ ВШЭ). 2008. Вып. 2 (32). Режим доступа: <https://www.hse.ru/data/2010/05/05/1216432187/WP6_2008_02.pdf> etc. Разумеется, возможны и более традиционные направления исследований, связанные с анализом содержания публикаций, принципами формирования научной повестки дня и т.д.

¹³ Ср. в этом отношении классическое исследование: Stieg M.F. The origin and development of scholarly historical periodicals. Tuscaloosa: The University of Alabama Press, 1986.

¹⁴ Сидорова Л.А. Оттепель в исторической науке: Советская историография первого послесталинского десятилетия. М.: Памятники исторической мысли, 1997; Савельев А.В. Номенклатурная борьба вокруг журнала «Вопросы истории» в 1954–1957 годах // Отечественная история. 2003. № 5. С. 148–162; Кан А.С. Анна Панкратова и «Вопросы истории». Новаторский и критический исторический журнал в Советском Союзе в 1950-е годы // Историк и время. 20–50-е годы XX века. А.М. Панкратова. М.: Изд-во РУДН, 2000. С. 85–100. См. также: Кныш Н.А. Журнал «Вопросы истории» как транслятор образа советской исторической науки и историка // Трансформация образа советской исторической науки в первое послевоенное десятилетие: вторая половина 1940-х — середина 1950-х гг. / под ред. В.П. Корзун. М.: РОССПЭН, 2011. С. 248–287; Markwick R.D. Rewriting History in Soviet Russia: The Politics

Деятельность этого журнала рассматривается как одно из наиболее ярких проявлений курса на десталинизацию исторической науки как в содержательном плане (пересмотр господствующей версии истории и, в частности, доминировавшей интерпретации роли различных политических партий в революционном движении начала XX века), так и в организационном плане (попытка перестройки научной коммуникации, организации публичных дискуссий и т.д.). В целом этот курс пользовался поддержкой партийного руководства и лично Н.С. Хрущева, однако в связи с изменением внутри- и внешнеполитической обстановки и в ходе возникшего противостояния деятельность журнала была осуждена постановлением ЦК «О журнале «Вопросы истории»» от 9 марта 1957 года¹⁵, а созданная А. Панкратовой редколлегия расформирована.

По мнению Л.А. Сидоровой, «дело» «Вопросов истории» стало, безусловно, знаковым для эпохи оттепели. Оно проявило границы «санкционированной свободы» науки в условиях лишь частично ослабленного партийного контроля, а разгром редколлегии журнала и последовавшая вслед за этим смерть Панкратовой символизируют надлом оттепельных веяний¹⁶. Справедливость этой точки зрения подтверждается вызванным этими событиями резонансом. В сознании некоторых историков того времени они ассоциировались с другим знаковым конфликтом того времени: конфликтом вокруг литературного журнала «Новый мир»¹⁷. Впрочем, как показывает А.В. Савельев, конфликт вокруг «Вопросов истории» не следует рассматривать только лишь как противостояние ученых и власти. Его развязка стала итогом борьбы, происходившей как внутри научного сообщества, так и внутри партийных структур¹⁸.

of Revisionist Historiography, 1956–1974. Basingstoke, UK; N.Y.: Palgrave, 2001; Zelnik R.E. Perils of Pankratova Some Stories from the Annals of Soviet Historiography University of Washington Press, 2005. Другим объектом, привлекающим внимание исследователей, является закрытый в 1962 году журнал «Исторический архив». См.: Есаков В.Д. О закрытии журнала «Исторический архив» в 1962 г. // Отечественные архивы. 1992. № 4. С. 32–42; Крылов В.В., Чернобаев А.А. «Исторический архив»: прошлое и настоящее // «Исторический архив»: 1919–2001 гг. Указатель опубликованных материалов. М., 2002. С. 5–16.

¹⁵ Этому постановлению предшествовало упоминание статей журнала в письме ЦК «Об усилении политической работы партийных организаций в массах и пресечении вылазок антисоветских враждебных элементов». Об этом письме как реакции на венгерские события 1956 года см., например: Зубкова Е.Ю. Общество и реформы. 1945–1964. М.: Россия молодая, 1993. С. 154–155.

¹⁶ Сидорова Л.А. Оттепель в исторической науке: Советская историография первого постсталинского десятилетия. М.: Памятники исторической мысли, 1997. С. 162.

¹⁷ Дмитриев С.С. Из дневников Сергея Сергеевича Дмитриева // Отечественная история. 2000. № 3. С. 52; Кан А.С. Указ. соч. С. 99.

¹⁸ Савельев А.В. Указ. соч. С. 148–162.

Однако значение этого момента для истории советской исторической периодики не исчерпывается событиями, связанными с «Вопросами истории». Практически одновременно происходит радикальное преобразование системы исторической периодики, которое, в определенном смысле, можно считать началом нового этапа существования советской историографии и организации воспроизводства исторического знания в Советском Союзе. Для характеристики произошедших изменений необходимо рассматривать их в связи с эволюцией организации советской науки вообще и исторической науки в частности. В центре этой эволюции находится Академия наук, процесс советизации которой в 1930–1940-е годы превращал ее во все более значимый элемент советской системы¹⁹. Итогом победы во Второй мировой войне стало складывание федеративной структуры, завершившее формирование имперского облика СССР²⁰. Одной из составляющих этого процесса было создание университетов, академий, и в частности, академических институтов истории, литературы и языка в советских республиках. Этот процесс завершился к началу 1960-х годов²¹. Весьма важным для функционирования АН СССР в этот период был и внешнеполитический контекст, связанный с распадом колониального мира, возникновением новых международных альянсов, началом холодной войны, а затем «потеплением» в международных отношениях в 1950–1960-е годы. Для академических институций в сфере социальных наук это означало необходимость осуществлять не только мониторинг ситуации в усложнившемся мире, но и посредничество в отношениях как со старыми, так и с новыми участниками международного сообщества: странами народной демократии, рабочими партиями, и т.д.

В послевоенный период происходит достаточно интенсивный рост образованного сообщества, количества академических структур и университетов. 1950–1960-е годы, как пишут А.А. Фурсенко и В.Ю. Афиани, были отмечены поиском новых методов модернизации науки²². Повышается ста-

¹⁹ Вместе с тем важным элементом продолжавшейся советизации социальных наук стало развитие системы партийной историографии. В 1946 году была создана Академия общественных наук при ЦК ВКП(б), которая, как пишет А.С. Барсенков, была призвана стать «высшим звеном в подготовке теоретических кадров партии, способных вести борьбу на любом участке идеологического фронта». В 1949 году был создан Институт повышения квалификации преподавателей основ марксизма-ленинизма. Барсенков А.С. Советская историческая наука в послевоенные годы. М.: Изд-во МГУ, 1988. С. 38–39.

²⁰ Неветайлов Г.А. Центр-периферийные отношения и трансформация постсоветской науки // Социологические исследования. 1995. № 7. С. 26–40.

²¹ Эти институты создаются как в рамках филиалов АН СССР (например, Институт языка истории и литературы в рамках Казанского филиала АН СССР), так и при правительствах (например, Научно-исследовательский институт при Совете министров Чувашской АССР).

²² Фурсенко А.А., Афиани В.Ю. Академия наук СССР и ЦК КПСС в 1950–1960-е годы // Академия наук в решениях Политбюро ЦК РКП(б)–ВКП(б)–КПСС. 1922–1991/1952–1958.

тус науки в советском обществе, и сама она формируется как дифференцированное пространство знания и усложняющаяся система институций. Вместе с тем продолжается идущий с середины 1930-х годов процесс формирования советской номенклатуры научных специальностей, системы воспроизводства научных кадров и регламентации получения научной степени через защиту диссертации, оформляется институт аспирантуры. Важной составляющей процесса модернизации науки стало также развитие системы научной информации и научного книгоиздания, пик которого падает на 1950–1960-е годы. Все эти процессы находили специфическое отражение в институциональных трансформациях и формировании новых когнитивных горизонтов советской исторической науки. Производимое ею знание о прошлом должно было соответствовать усложнившейся структуре современности.

Как известно, поворотным пунктом в развитии советской историографии (и одновременно — в возвращении к дореволюционной структуре университетского образования) стало известное постановление 1934 года о преподавании гражданской истории, которое реабилитировало историю как область знания и преподавания. Институционализация советской академической историографии, важным моментом которой стало создание в 1936 году Института истории АН СССР, выходит на новый виток в 1940–1960-е годы, что выражается в создании нескольких новых научных учреждений: институтов славяноведения, востоковедения, китаеведения, Африки, Института США и Канады и др.

В 1950-е годы в номенклатуре научных специальностей история представлена уже как внутренне дифференцированная дисциплина, включающая специализации, связанные с отдельными субдисциплинами (археология, этнография) и субполями: тематическими (история науки и техники, история искусства и т.д.) и когнитивно-информационными (историография и источниковедение)²³. Расширяется система исторического образования: если в 1939 году исторические факультеты были в 15 университетах, то в 1967 году они уже были в 41 университете²⁴. Наряду с университетами к 1960-м годам подготовку студентов-историков вели уже около 100 педагогических институтов и университетов²⁵. Еще одним важнейшим процес-

М.: РОССПЕН, 2010. С. 22; см. также: *Артемьев Е.Т.* Научно-техническая политика в советской модели позднейиндустриальной модернизации. М.: РОССПЕН, 2006. С. 7.

²³ *Ягудева И.А.* Эволюция специальностей научных работников по историческим наукам в России (1819–2001 гг.) // *Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена*. 2008. № 61. С. 321–325.

²⁴ *Бутягин А.С., Салтанов Ю.А.* Университетское образование в СССР. М.: Изд-во МГУ, 1957. С. 58–59; *Ременников Б.М., Ушаков Г.И.* Университетское образование в СССР (экономико-статистический обзор). М.: ВИНТИ, 1960. С. 48.

²⁵ *Городецкий Е.Н., Махнова Г.П.* Историческое образование в высшей школе // *Очерки истории исторической науки в СССР*. Т. 5. М.: Наука, 1985. С. 90.

сом стало преобразование системы информационного обеспечения исторической науки, важнейшим аспектом которого было реформирование архивной отрасли: передача архивов из ведения НКВД в ведение Совета Министров, включение их в число научных учреждений, либерализация практики использования и публикации архивных документов²⁶.

Одним из наиболее знаменательных — особенно на фоне происходивших в других областях знания — процессов стало формирование корпуса исторической периодики, функцией которой должна была стать координация этой дифференцированной системы научных учреждений. Ему предшествовало начавшееся в первые послевоенные годы возрождение изданий, выпуск которых был прекращен во время войны. Вслед за созданием в 1945 году на базе «Исторического журнала» журнала «Вопросы истории» в 1946 году были возрождены «Вестник древней истории», «Советская этнография», «Ученые записки МГУ»²⁷. Кроме того, был создан журнал «Преподавание истории в школе», дополнив корпус методических изданий по другим предметам школьного курса, большинство из которых было создано еще до войны. Тем не менее на протяжении 10 послевоенных лет «Вопросы истории» оставались практически ведущим и привилегированным изданием, которое обладало монопольным правом репрезентировать советскую историческую науку. В годы «проработочных кампаний» это могло ставить журнал под удар партийной критики²⁸. Однако постановление, принятое после смерти Сталина, только закрепило этот привилегированный статус: по указанию ЦК КПСС в 1953 году тираж журнала, который печатался в издательстве «Правда», был поднят до 50 000 экз.²⁹, а анонсы его номеров и реклама подписки публиковались на страницах главной партийной газеты.

Формирование системы исторических журналов в том виде, в каком мы ее знаем сегодня, началось уже после смерти Сталина. В 1955 году сборник «Исторический архив» был преобразован в одноименный журнал, а в

²⁶ Батаева Т.В., Степанский А.Д. Архивная периодика и развитие советского архивоведения // Вопросы истории. 1983. № 9. С. 57–67.

²⁷ С 1944 по 1952 год выпускалась также историко-филологическая серия «Известий академии наук». Кроме того, было возрождено и несколько периодических сборников: «Исторические записки» (с 1945 года), «Советская археология» (с 1945 года) «Советское востоковедение» (с 1945 года), «Труды МГИИ» (с 1946 года), «Исторический архив» (с 1949 года), а также «Византийский временник», издание которого прекратилось еще в 1928 году.

²⁸ См. об этом: Книш Н.А. Указ. соч.

²⁹ Кроме того, были улучшены и условия работы сотрудников редакции. См.: Постановление Секретариата ЦК КПСС «О мерах улучшения журнала “Вопросы истории”» // Академия наук в решениях Политбюро... С. 65–66. С точки зрения привилегированного статуса издания показательно и то, что он выходил ежемесячно — в отличие от «Вопросов философии», до 1957 года выходивших 6 раз в год.

1956-м был создан бюллетень «Вопросы архивоведения», который через 10 лет будет превращен в журнал «Советские архивы». Аналогичным образом в 1955 году журнал был преобразован в сборник «Советское востоковедение», который в течение ближайших шести лет претерпел несколько трансформаций: в 1959 году он был объединен с созданным в 1958 году журналом «Советское китаеведение» и получил новое название «Проблемы востоковедения», а затем с 1961 года стал выходить под названием «Народы Азии и Африки». Заданный таким образом региональный принцип станет доминирующим на следующем этапе. Так будут созданы журналы «Советское славяноведение» (с 1965 года), «Латинская Америка» (с 1969 года), «США: экономика, идеология, политика» (с 1970 года), «Проблемы Дальнего Востока» (с 1972 года)³⁰. Наконец, в 1957 году возникают академические издания, образовавшие наряду с уже существовавшими на тот момент журналами костяк советской академической периодики: «История СССР», «Новая и новейшая история», «Советская археология», созданная на базе одноименного сборника, а также «Вестник истории мировой культуры».

Наряду с формированием системы журналов, издаваемых Академией наук, в организацию системы исторической периодики начинают включаться другие институты. В 1957 году создается специализированный историко-партийный журнал «Вопросы истории КПСС», ставший органом Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. В 1958 году Министерство высшего и среднего специального образования начнет выпускать журнал «Научные доклады высшей школы», в рамках которого будет создана историческая серия. В 1959 году воссоздается закрытое до войны издание Министерства обороны — «Военно-исторический журнал».

Как свидетельствует приведенный список изданий, в системе научных коммуникаций была зафиксирована новая структура организации исторического знания, не только в большей степени соответствующая дифференцированному характеру номенклатуры исторических специальностей, но и закреплявшая в журнальном пространстве рубрикацию по странам и периодам, об утверждении которой в 1930-е годы писала А.И. Алаторцева. В это же время в журнальном пространстве происходит институционализация и других гуманитарных дисциплин — примерами могут служить создание «Вопросов психологии», возникновение семейства литературоведческих журналов во главе с «Вопросами литературы». Однако по масштабу она несопоставима с тем, что происходило в исторической науке. Это подтверждается документами, отразившими процесс принятия решения о

³⁰ Журналы «Латинская Америка» и «США: экономика, идеология, политика» согласно «Летописи...» не имели статуса исторических изданий, однако включались в число последних исследователями. См.: Панфилова А.М. Советская периодическая печать как исторический источник. М.: Изд-во МГУ, 1975. С. 58.

создании журналов «История СССР» и «Новая и новейшая история». Они были указаны в числе 11 журналов, с идеей создания которых в 1956 году руководство АН СССР обратилось в ЦК КПСС. Однако, «ввиду возникших затруднений с полиграфической базой АН СССР», в конечном итоге было принято решение издавать только эти два журнала³¹.

Статус созданных журналов был ниже, чем у «Вопросов истории»: в отличие от флагмана советской исторической периодики, они выходили с периодичностью 4 или 6 выпусков в год, и эта периодичность так и осталась неизменной, несмотря на многократные предложения редколлегий и руководства академических институтов о ее увеличении³². Тем не менее новая ситуация осмыслялась как ситуация конкуренции, уничтожившая вредную для науки монополию³³. Коллапс конца 1950-х годов болезненно сказался на тираже «Вопросов истории»: в 1958 году он падает до 35 000, в 1960-м — до 21 000, а в 1963 году опускается до 13 000 экз. В лидеры в плане тиражей в этот период вырываются другие издания: с одной стороны, «Вопросы истории КПСС», тираж которых достигает в отдельные годы 100 000 экз., а с другой стороны, журнал «Преподавание истории в школе», который, начав с 25 000 экз., к середине 1960-х годов приблизился к тиражу в 150 000 экз.³⁴

Показательно также и то, что параллельно с созданием этих журналов были закрыты многие «Труды», «Краткие сообщения и доклады», которые выпускались академическими институтами³⁵. При этом одной из функций новых изданий становится освещение деятельности разрастающегося научного сообщества, многочисленных университетов и кафедр. Выражением этого стало формирование структурированной системы мониторинга научной жизни, которая могла включать в себя не только традиционные жанры рецензий, обзоров, хроникальных заметок и некрологов, но также

³¹ Постановление Секретариата ЦК КПСС «Об издании журналов «История СССР» и «Новая и новейшая история» // Академия наук в решениях Политбюро... С. 615–619.

³² Стенограмма заседания Ученого Совета ИИ АН ССР от 2 октября 1958 г. // Архив РАН. Ф. 1577. Оп. 2. Д. 579. Л. 4–7; Стенограмма заседания Ученого Совета ИИ АН СССР от 28 апреля 1960 г. // Архив РАН. Ф. 1577. Оп. 2. Д. 451. Л. 74–102. Исключение составил только журнал «Вопросы истории КПСС», периодичность которого была в 1962 году увеличена с 6 до 12 выпусков в год.

³³ См., например, выступление главного редактора «Вопросов истории» В.Г. Трухановского на Всесоюзном совещании историков: Всесоюзное совещание историков. I. Пленарные заседания 18–19 декабря // Вопросы истории. 1963. № 2. С. 21–22.

³⁴ При этом надо отметить, что составители «Летописи» помещают этот журнал в рубрику «Культурное строительство. Педагогика». По-видимому, к новым массовым изданиям можно было бы причислить и «Военно-исторический журнал», однако данные о его тиражах не публиковались.

³⁵ Алаторцева А.И. Указ. соч. С. 101–102.

информацию о книжных новинках, содержании отечественных и зарубежных журналов, отчеты о научной работе исторических кафедр.

Кроме того, новым изданиям предписывалось выступать в качестве посредников в коммуникации с новыми международными партнерами СССР. Помимо привлечения ученых и политиков этих стран к участию в журналах (это нередко предполагало отдельную статью расходов в финансировании последних), практиковались также рассылки за границу довольно большой части тиража, выпуск изданий на нескольких языках, публикация аннотаций к статьям на одном или нескольких иностранных языках. Создание «Вестника истории мировой культуры» было связано с включением советских ученых в проект ЮНЕСКО по созданию многотомной Истории научного и культурного развития человечества³⁶. В 1957 году только что организованное Издательство восточной литературы начинает издавать научно-популярный журнал «Современный Восток», имевший двоякую задачу — знакомства советских людей с жизнью стран Востока и пропаганды опыта социалистического строительства в советских республиках. В соответствии с первоначальным замыслом журнал должен был выходить еще на трех языках — арабском, хинди и индонезийском³⁷. На рубеже 1950–1960-х годов ведущими советскими историками выдвигались проекты издания журналов на иностранных языках для представления достижений советской науки за рубежом³⁸. Кроме того, функцией журналов становилось обеспечение периодических изданий, организуемых в странах третьего мира. Так, например, при непосредственном участии редколлегии журнала «Новая и новейшая история» на Кубе издавался журнал «Современные социальные науки», в Мексике — журнал «История и общество»³⁹.

Академические издания по истории и отдельным субдисциплинам, образовавшие костяк системы профессиональной периодики, были сосредоточены в столице. В регионах самостоятельных исторических изда-

³⁶ См. *Ryzhkovskiy V. Making of the Soviet Culturology and UNESCO's Project "The History of Scientific and Cultural Development of Mankind (1954–1964)"* (в печати). Приношу благодарность автору за возможность ознакомиться с текстом.

³⁷ Постановление журнала ЦК КПСС об издании журнала «Современный Восток». *Афиани В.Ю., Есаков В.Д.* (сост.). Академия наук в решениях Политбюро ЦК РКП(б)–ВКП(б)–КПСС. 1922–1991/1952–1958. С. 665–668. С 1961 года журнал выходит под названием «Азия и Африка сегодня». Впоследствии на иностранных языках выпускались журналы «Проблемы Дальнего Востока» (публиковался на английском, испанском и японском языках), «Латинская Америка» (выходил с 1969 года на русском и испанском языках) и др.

³⁸ См., например: Итоги исследовательской работы историков за 1963 г. // *Новая и новейшая история*. 1964. №3. С. 182–184.

³⁹ Стенограмма заседания Ученого Совета ИИ АН СССР г. по докладу А.Л. Нарочницкого о работе журнала «Новая и новейшая история» от 21 октября 1965 г. Архив РАН. Ф. 1577. Оп. 2. Д. 548. Л. 12–15.

ний по данным «Летописи периодических изданий» насчитывалось всего два: «Украинский исторический журнал» (создан в 1957 году) и армянский «Историко-филологический журнал» (создан в 1958 году). Оставшуюся часть корпуса исторических журналов составляли республиканские и региональные издания. Издания союзных республик в большинстве случаев были представлены гуманитарными сериями «Известий» и «Трудов» соответствующих республиканских академий наук и университетов. «Известия» представляли собой в большинстве своем двуязычные издания, выходившие ежеквартально тиражом 1000–2000 экз. Показательно, что в то время как согласно «Летописи 1950–1954 годов» ни одно из этих изданий не имеет статуса журнала, во второй половине 1960-х годов в категорию журналов входят уже 9 таких изданий⁴⁰. Кроме того, к числу журналов с этого времени относятся и несколько университетских изданий. Эти издания уже именовались «Вестниками»: «Вестник Московского университета» (создан в 1946 году, с 1950 года включал серию общественных наук, с 1956 года — серию историко-филологических наук, с 1960 года — серию исторических наук, с 1970 года — серию востоковедения), «Вестник Ленинградского университета» (создан в 1955 году, с 1956-го включает серии истории, языка и литературы), «Вестник Белорусского государственного университета» (включал серию «История»)⁴¹.

Еще одной составляющей корпуса исторической периодики — наиболее массовой, с одной стороны, и наименее устойчивой, с другой, — были «Труды» и «Ученые записки», выходившие тиражами от 500 до 2000 экз. Эта категория изданий переживает существенный рост во второй половине 1950-х годов, сменяющийся затем некоторым спадом⁴². Особенно заметно внутри этого корпуса изданий растет число университетских изданий. В то время как согласно «Летописи 1950–1954 годов» число изданий региональных академических центров и институтов истории языка и литературы автономных республик в 1,5 раза превышает число университетских изданий (19 против 12), в 1955–1960-х годах университетские издания уже

⁴⁰ Впрочем, специализированная историческая серия присутствовала в этих изданиях далеко не всегда.

⁴¹ При этом другие подобные университетские издания, в том числе и «Вестник Киевского университета» (в рамках которого издавались серии «Исторические науки» (с 1958 года) и «Актуальные вопросы истории КПСС» (с 1967 года)) не имели не только статуса журнала по истории, но и вообще статуса журнала. Однако именно вестники сформируют тот образец, которому будет следовать постсоветская университетская периодика. См.: Степанов Б.Е. «Натуральное хозяйство»: формы университетской солидарности и научных коммуникаций в постсоветский период // Сословие русских профессоров. Создатели статусов и смыслов / под ред. И.М. Савельевой, Е.А. Вишленковой. М.: Изд. дом ВШЭ, 2013. С. 169–188.

⁴² Таким образом, вопреки мнению А.И. Алаторцевой именно этот период можно, скорее, назвать временем расцвета такого рода изданий.

превышают по своему количеству издания академические (56 изданий против 52)⁴³. Корпус университетских изданий не только увеличивался, но и дифференцировался: в этот период в их число входят не только вузовские и межвузовские сборники университетов, но также издания факультетов, отдельных кафедр и даже аспирантские сборники. Более заметным в корпусе «Трудов» и «Ученых записок» становится также присутствие изданий музеев и региональных институтов марксизма-ленинизма.

Наконец, в это же время начинает формироваться корпус вспомогательных изданий, обеспечивавших профессиональные потребности историков: бюллетеней, освещавших деятельность архивных учреждений, а со второй половины 1960-х годов — и организаций, занятых охраной исторического наследия. Однако в целом бюллетени не были характерным для исторической периодики типом изданий.

Академические журналы: статус изданий и коммуникативные стратегии

Формирование системы советской исторической периодики во второй половине 1950-х — начале 1960-х годов было частью масштабной реформы советской печати. Ее результатом стал рост количества периодических изданий. Количество журналов выросло почти вдвое⁴⁴. Вместе с тем было сокращено довольно большое количество бесплатных и убыточных изданий, создана более гибкая, дифференцированная система организации издания печатной продукции, направленная на более полное удовлетворение спроса населения и повышение рентабельности печати, а также более эффективная система распространения⁴⁵. Соответственно менялась система легитимации и оценки деятельности периодических изданий. Важнейшим

⁴³ Здесь при подсчете университетских изданий учитывались только те, которые имели специализированные исторические серии. С учетом изданий, имевших серии «общественные науки», их число будет существенно большим. Кроме того, количество станет еще больше, если учесть издания из рубрики «журналы универсального содержания», в которую преимущественно входили «Вестники» и «Ученые записки университетов». Некоторые из них имели одну или несколько специализированных исторических серий.

⁴⁴ Если в 1955 году в СССР по официальным данным выпускалось 547 журналов (5978 номеров в год, общий тираж 278,2 млн экз.), то в 1961 году количество издаваемых журналов выросло до 923 (10 076 номеров в год, общий тираж 577,0 млн экз.). См.: Советская печать в документах. М.: Госполитиздат, 1961. С. 30.

⁴⁵ Там же. С. 301–306, 309–310, 313–318; см. также: Голомб Э.Г., Фингерит Е.М. Распространение печати в дореволюционной России и в Советском Союзе М.: Связь, 1967. С. 120–132. Применительно к литературным журналам эволюция системы распространения описана в книге Д. Козлова. См.: Kozlov D. The Readers of “Novyi Mir”: Coming to Terms with the Stalinist Past. Cambridge: Harvard University Press, 2013. P. 24–37.

критерием, наряду с идеологической выдержанностью издания, становится также его эффективность — как пропагандистская, так и экономическая. С этим же связан вопрос о функциях и профиле каждого конкретного издания. Решение этого вопроса соотносится с необходимостью упорядочивания и внутренней координации разрастающейся системы периодики⁴⁶.

Научные издания начинают занимать в этом пространстве довольно существенное место. Наиболее ярким выражением этого можно считать появление успешных проектов научно-популярных изданий⁴⁷, известных ученых-публицистов и популяризаторов науки (В.И. Орлова, Я.В. Голованова, Д.С. Данина и др.). Проблема научной коммуникации получает общественный и научный резонанс: на протяжении 1960–1970-х годов она неоднократно обсуждается и в центральных партийных изданиях⁴⁸, и в специализированных науковедческих и документоведческих работах⁴⁹. И в том и в другом случае речь идет о попытках оценить значение журнала как формы научной коммуникации, определить стратегии работы изданий в ситуации роста интенсивности информационных потоков. Задачами оптимизации научной периодики будет впоследствии обосновываться сокращение ведомственных изданий — «Ученых записок», «Трудов» и т.д.⁵⁰

Как свидетельствует выступление куратора исторической науки секретаря ЦК КПСС академика Б.Н. Пономарева на Всесоюзном совещании историков в 1962 году, партийное руководство придает работе исторических журналов особое значение. Одним из ключевых в этом выступлении был подхваченный многими участниками совещания тезис о том, что «в правильной организации и координации научных исследований, в определении их важнейших направлений весьма существенная роль принадлежит историческим журналам»⁵¹.

⁴⁶ Волковский Н.Л. Отечественная журналистика. 1950–2000: учеб. пособие. В 2 ч. Ч. 1. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2006. С. 202–203.

⁴⁷ Примером здесь может служить журнал «Наука и жизнь», тираж которого на протяжении 1960-х годов увеличился более чем в 15 раз, с 206 тыс. до 3106 тыс. экземпляров. В отсутствие популярного журнала по истории общенаучные журналы играли важную роль в популяризации исторической науки.

⁴⁸ Каргин В. Океан знаний и научная печать // Правда. 12.07.1966. С. 2; Гольдманский В. Научный журнал. Каким ему быть // Известия. 08.01.1968. С. 2; Научные журналы и пятилетка // Правда. 31.03.1973. С. 1.

⁴⁹ Глинков А.А., Моздор С.В. Состояние и перспективы развития научной периодики. Б.м.; Б.и., 1975.

⁵⁰ Лихтенштейн Е.С. Роль академии наук в становлении отечественного книгоиздания. Тезисы доклада на Второй всесоюзной научной конференции по проблемам книговедения. М.: Б.и., 1974. С. 15.

⁵¹ Пономарев Б.Н. Задачи исторической науки и подготовка научно-педагогических кадров в области истории // Вопросы истории. 1963. № 1. С. 24–25; см. также: Алаторцева А.И. Указ. соч. С. 104.

Наряду с этим утверждается новая система легитимации и оценки журнальной работы, в которой идеологическая выдержанность издания перестает быть единственным критерием. Постановление «О журнале “Вопросы истории”» можно рассматривать как последнее в череде «проработочных» указов, объектом которых становились исторические журналы. С позиций сегодняшнего дня оно видится как один из последних всплесков сталинского стиля руководства исторической наукой. В отличие от других связанных с журналом постановлений оно, безусловно, оставило травматический след в профессиональном сознании. Время от времени это постановление ритуально упоминалось в журнальных передовицах (в частности, в юбилейной статье «Журнал и историческая наука», посвященной 40-летию работы журнала) как пример реализации принципа партийности в руководстве массовой печатью⁵². Но, как считает А.В. Савельев, оно не оказало большого влияния на дальнейшее развитие политики КПСС в области пропаганды⁵³.

Последующие решения такого рода — постановление 1962 года о журнале «Вопросы истории КПСС» и закрытие журнала «Исторический архив» — носили уже несколько иной характер. В первом случае постановление не только было совершенно иным по идеологическому пафосу (речь в нем шла о недостаточной степени преодоления сталинских традиций в деятельности журнала), но и завершалось решением об увеличении количества выпускаемых номеров с 6 до 12⁵⁴. Что же касается «Исторического архива», то он был закрыт в административном порядке, причем закрытие его сопровождалось обсуждениями деятельности и судьбы издания и попытками не только ученых, но и представителей творческой интеллигенции отстоять журнал⁵⁵. Показателен в этом смысле комментарий того же Б.Н. Пономарева на Всесоюзном совещании историков: «Ссылаются на закрытие журнала “Исторический архив” и изображают дело так, будто существует какое-то стремление закрывать и закрывать журналы. Думаю, что правы те товарищи, которые поставили в связи с этим вопрос о качестве журналов. От качества журналов зависят их тиражи и распространяемость,

⁵² Журнал и историческая наука // Вопросы истории. 1966. № 1. С. 7. Ср. также: От редакции // Отечественная история. 1957. № 3. С. 4. В профессиональных дискуссиях, как свидетельствует Сидорова, об этом событии стремились не вспоминать. См.: Сидорова Л.А. Указ. соч. С. 162.

⁵³ Савельев А.В. Указ. соч. С. 158. Противоположную оценку роли этого постановления дает А.В. Пыжиков. См.: Пыжиков А.В. Хрущёвская «оттепель» 1953–1964. М.: ОЛМА-Пресс, 2002. С. 83–84.

⁵⁴ Постановление ЦК КПСС «О журнале “Вопросы истории КПСС”» (изложение) // Справочник партийного работника. Вып. 4. М.: Изд-во политической литературы, 1963. С. 454–457.

⁵⁵ См.: Есаков В.Д. Указ. соч.

а следовательно, и их способность освобождать государство от ненужных расходов из-за печатания таких материалов, которые никем не читаются и никакой пользы не приносят»⁵⁶.

О внутренне противоречивом характере оценки партийными руководителями состояния и перспектив реформирования системы исторической периодики свидетельствует следующая цитата из выступления другого партийного куратора гуманитарных наук, академика П.Н. Федосеева. Развивая тезис Пономарева о значении журналов, он отмечал следующее: «Что касается журналов, то мы серьезно отстаем здесь от ряда зарубежных стран. Если по тиражу и количеству названий книг мы перегнали США в 5 раз, то иная картина будет для периодики. В СССР историки могут практически печатать свои работы в 81 периодическом издании, в ФРГ — в 437, в США — в 542. Ясно, что рост числа журналов нам необходим; но сначала нужно улучшить работу уже существующих. Многотиражные журналы успешно выполняют свои задачи на идеологическом фронте и дают государству доход. Однако у нас имеются исторические журналы с числом подписчиков менее тысячи человек. Именно такие журналы, мало дающие широкому читателю, приносят финансовый убыток. Не может наше государство содержать камерные издания и еще приплачивать им за то, что они оторвались от читателей! Бич таких журналов — это мелкотемье, им недостает большой науки. Отсюда их замкнутость, келейность. Поэтому они и не являются настольным пособием для каждого преподавателя, для каждого историка. Пока специальные журналы не станут массовыми, нельзя говорить о том, что они действительно активно участвуют в формировании общественного коммунистического сознания»⁵⁷.

Как и в случае литературных журналов, исторические издания стали описывать при помощи понятия «профиль издания». Особенно актуальным это было для старых изданий, в частности, для «Вопросов истории», которые оказались в кризисе после разгона панкратовской редакции. Задача определения «профиля» была поставлена перед участниками прошедшего в апреле 1960 года заседания Ученого Совета, посвященного дискуссии о дальнейшей судьбе журнала. По мнению участников заседания, среди которых были многие влиятельные историки того времени — М.В. Нечкина, А.Л. Сидоров, В.М. Хвостов и др., — задачи журнала в новой ситуации должны быть определены не только тематически (освещение «комплексных», «всемирно-исторических» проблем, «элементы историографичности, проблемности, теории исторического процесса»), но и функционально

⁵⁶ Всесоюзное совещание историков. Заключительное слово академика Б.Н. Пономарева // Вопросы истории. 1963. № 2. С. 63–64.

⁵⁷ Всесоюзное совещание историков. I. Пленарные заседания 18–19 декабря... С. 21.

(«журнал журналов»)⁵⁸. С точки зрения определения профиля показательны произошедшие в дальнейшем изменения в составе его учредителей: с 1957 года журнал был превращен в орган Отделения исторических наук АН СССР, а в 1962 году его соучредителем стало Министерство высшего и среднего специального образования. В связи с этим журналу предписывалось взять на себя координирующие и публикационные функции, которые была призвана выполнять историческая серия закрытого незадолго перед этим журнала «Научные доклады высшей школы»⁵⁹.

Функциональность академических журналов была связана не только с определением их места в системе научной периодики, но также и с их экономической эффективностью и способностью привлечь массовую аудиторию. С организационной точки зрения движение навстречу читателю означало необходимость встраиваться в новую реформируемую систему книгораспространения, в которой тиражи в гораздо большей степени определялись при участии книготорговых организаций⁶⁰. В 1960 году руководство Академии наук обращается к редакциям журналов с требованием представить свои предложения о мерах по повышению эффективности работы журналов и улучшению системы их распространения. В составленных в ответ на это обращение записках редакторы журналов отмечали, что этому препятствуют рамки системы академического книгоиздания, связанные как с высокой себестоимостью производства журналов и нежеланием РИСО увеличивать тиражи, так и с ограниченными возможностями системы распространения академических журналов⁶¹.

Обращение к массовой аудитории неоднократно обсуждалось на заседаниях, посвященных работе журналов. Примером может служить характеристика программы работы журнала «История СССР», намеченная его главным редактором Ю.А. Поляковым: «Для того, чтобы журнал был интересен, достиг таких успехов, как журнал “Наука и жизнь”, который в

⁵⁸ Стенограмма заседания Ученого Совета ИИ АН СССР от 28 апреля 1960 г. // Архив РАН. Ф. 1577. Оп. 2. Д. 451. Л. 74–102. Это нашло свое отражение в установочной публикации редколлегии: О профиле и структуре журнала «Вопросы истории» // Вопросы истории. 1960. № 8. С. 19–21.

⁵⁹ Другой пример обсуждения профиля журнала дает состоявшаяся в том же году дискуссия о судьбе альманаха «Исторические записки»: Стенограмма заседания Ученого Совета, ИИ АН СССР. О работе журнала «Исторические записки» от 27 октября 1960 г. // Архив РАН. Ф. 1577. Оп. 2. Д. 458.

⁶⁰ Богданов Н.Г., Вяземский Б.А. Справочник журналиста. Л.: Лениздат, 1971. С. 128–129.

⁶¹ Переписка с президиумом, РИСО и учреждениями АН СССР о работе журналов отделения // Архив РАН. Ф. 457. Оп. 1. Д. 330. Л. 22–43. См. также: Осипян Г.С. О работе издательства АН СССР по выпуску исторической литературы // Вопросы истории. 1960. № 6. С. 191–196.

свое время влачил жалкое существование, а сейчас имеет тираж 3 миллиона, больше чем “Огонек”, журнал должен отдать себе ясный отчет, для кого он издается. Он, очевидно, должен издаваться не только для ученых, но и для преподавателей и для профессуры вузов, и для широкой общественности, интересующейся историей. Что журнал дает для этих отдельных групп? Очень мало. В свое время существовал журнал Политуправления Красной армией, который достиг очень большого тиража, потому что там печатались лекции Минца по истории гражданской войны»⁶².

Поиски решения этой проблемы достаточно сильно повлияли на форму журналов, которая становится более «открытой» по отношению к потенциальному читателю. Содержание номеров зачастую выносится на обложку, внутри журналов публикуются анонсы будущих номеров и обращения к читателю. Примером может служить текст, опубликованный на обложке самого первого номера журнала «Советские архивы»: «Дорогие товарищи! Вы закрыли последнюю страницу журнала... Что Вам понравилось и что нет? Какие темы и материалы представляют для вас наибольший интерес? По каким вопросам желали бы выступить в последующих номерах журнала? Ваши предложения и пожелания журналу?»⁶³.

Меняются и публикационные стратегии журналов, что сказывается прежде всего в увеличении доли беллетризованных публикаций (очерки, мемуары, биографии и т.д.). Свидетельством может служить выдержка из анонса одного из номеров журнала «Новая и новейшая история»: «Наряду с историческими исследованиями “Новая и новейшая история” публикует научно-популярные статьи, очерки, мемуары государственных и военных деятелей СССР и зарубежных стран. Особое внимание уделяется нерешенным проблемам истории Второй мировой войны, а также движению сопротивления против фашистских захватчиков. Среди авторов публикуемых материалов — видные военачальники, политические и общественные деятели, дипломаты. Многочисленные эпизоды, привлекающие остротой, драматичностью и не-

⁶² Стенограмма заседания Ученого Совета по обсуждению доклада Ю.А. Полякова «О работе журнала История СССР» от 15 декабря 1966 г. // Архив РАН. Ф. 1577. Оп. 2. Д. 579. Л. 64. С точки зрения попыток выхода на массовую аудиторию показателна описываемая Ю.А. Поляковым история с публикацией мемуаров В.В. Шульгина. См.: Поляков Ю.А. Историческая наука: люди и проблемы. М.: РОССПЭН, 1999. С. 347–360. Примечательно, что следующий редактор журнала И.Д. Ковальченко обозначал программу работы издания совершенно иначе: «Наш журнал относится к числу специализированных, в отличие от “Коммуниста”, “Вопросов истории”, “Вопросов истории КПСС”. Благодаря этим журналам мы можем больше внимания уделять проблемам собственно научным...». См.: Стенографический отчет Выездного заседания бюро отделения истории АН СССР от 27 февраля 1974 г. // Архив РАН. Ф. 457. Оп. 1. Д. 611. Л. 146.

⁶³ Дорогие товарищи // Советские архивы. 1966. № 1. Показательно, что обложки журналов иногда отдаются под рекламную информацию, не связанную с деятельностью научных издательств.

вероятностью ситуаций лежат в основе работы А.М. Некрича “В лабиринтах тайной войны”. <...> Интерес читателя вызовет статья “Терроризм в политической жизни США (от убийства Линкольна до убийства Кеннеди)”. Очерки “Фавориты фортуны (к социологии авантюризма в XVIII в.” — яркий рассказ о нравах минувшей эпохи. В журнале введен раздел “Из зарубежной книги”. В нем читатель найдет отрывки из наиболее интересных работ иностранных историков». Можно предположить, что эта стратегия дала свои результаты — ко второй половине 1960-х годов тираж издания вырос до 17 000 экз., в то время как тиражи большинства его собратьев по корпусу академических изданий оставались на уровне 2000–3000 экз.⁶⁴

Описываемые изменения оказали существенное влияние на рубрификацию исторических изданий. Как известно, функционально рубрикация научного журнала принципиально не обладает большим разнообразием и должна фиксировать разграничение в пространстве журнала типов публикуемых научных материалов (статьи, доклады, сообщения, публикации) и определять место тех текстов, которые призваны структурировать массивы научной продукции и течение научной жизни (критика, библиография, хроника). Однако, как показывает М. Стиг на основе сопоставления трех ведущих национальных журналов — «Revue Historique», «English Historical Review» и «American Historical Review», — даже эта базовая модель до некоторой степени варьируется в зависимости от специфики национальной организации науки и профессиональной культуры, а также от типа и функций издания⁶⁵.

В рубрикации советских исторических журналов можно выделить несколько более или менее характерных форм «научно-популярного поворота»: 1) апелляция к насыщенности современной информационной среды: «Факты, события, люди» («Вопросы истории»), «Факты, события, люди» (варианты — «Документы, факты, находки», «События, факты, документы», «Факты, события, находки») («Новая и новейшая история»); 2) отсылки к важнейшему для газетно-журнальной культуры 1950–1960-х годов жанру очерка: «Исторические очерки» («Вопросы истории»), «Документальные очерки» («Вопросы истории», «Новая и новейшая история»); 3) актуализация значения занимательности: «Загадки истории» («Вопросы истории»), «Загадки Второй мировой войны», «Занимательные страницы истории» («Новая и новейшая история»); 4) обращение к биографическому жанру: «Исторические портреты» («Вопросы истории», «Народы Азии и Африки»)⁶⁶; 5) пуб-

⁶⁴ Тираж журнала «История СССР» к началу 1960-х годов устойчиво держался в районе 8000–10 000 экз.

⁶⁵ Stieg M.F. Op. cit. P. 61–62.

⁶⁶ Как отмечает Б.В. Дубин, «биографический жанр выполняет функции популяризации, перевода ценностей науки или художественной культуры на языки других групп и суб-

ликация страноведческих материалов: «В помощь преподавателю» («Новая и новейшая история»), «История и современность», «У исторической карты народов мира» («Вопросы истории»), «Народы мира. Информационные материалы» («Советская этнография»), «Новые индустриальные страны» («Народы Азии и Африки») и т.д.⁶⁷ Некоторые из этих рубрик и сегодня воспроизводятся в академических исторических журналах.

Заключение

В заключении я хотел бы обозначить не столько выводы, сколько вопросы, которые позволяет сформулировать предложенная выше характеристика поворотного периода в развитии советской исторической периодики. Случай «Вопросов истории», как показывает корпус посвященных ему исследований, свидетельствует о том, каким образом исторический журнал оказался на переднем крае борьбы за либерализацию интеллектуального климата и испытывал границы существующей идеологии. Однако, как было показано выше, не менее судьбоносным становится происходящее в этот период в исторической науке формирование современной системы научной периодики, имевшее беспрецедентный для дисциплинарного ландшафта того времени характер и происходившее в контексте реорганизации системы печати и, шире, массовых коммуникаций. Этот вывод позволяет, в свою очередь, поставить вопрос о том, насколько масштаб описанных трансформаций связан с идеологическим статусом истории как дисциплины, в какой мере осознание значения журнала как формы научной коммуникации происходит в других дисциплинарных контекстах.

В данном тексте я попытался наметить связь между переменами в системе организации науки и изменениями журнального ландшафта. Последние явным образом указывают на меняющиеся отношения между академической наукой и высшей школой, столичными и региональными сегментами академии, профессионалами и широкой публикой, а также свидетельствуют о новой системе взаимоотношений с мировой наукой. Соответственно заслуживает дальнейшего исследования вопрос об изменениях функций журнала и его соотношения с другими типами исторической и, шире, научной периодики, а также о динамике изменения различных сегментов кор-

культур». См.: Дубин Б.В. Биография — репутация — анкета (о формах интеграции опыта в письменной культуре) // Он же. Слово — письмо — литература: Очерки по социологии современной культуры. М., 2001. С. 103. Биографические материалы печатались и в рубрике «Очерки». Вот несколько характерных, выбранных наугад заглавий подобных материалов: «Томас Ромай — кубинский Ломоносов», «Вальтер Ратенау — монополист, политик, идеолог буржуазии», «Людвиг Ренн — солдат антифашистского фронта».

⁶⁷ Одним из манифестов «научно-популярного поворота» стала упомянутая выше юбилейная статья в «Вопросах истории». См.: Журнал и историческая наука... С. 11–13.

пула периодических изданий. Особый интерес здесь представляет вопрос о международном горизонте существования журналов и их роли в модернизации повестки дня исторической науки и разворачивании осмысления недавнего прошлого и современности, которое становится одним из ориентиров для историографии этого периода. В результате проведенных на рубеже 1950–1960-х годов реформ была сформирована система изданий, в большей степени соответствующая публикационным потребностям научного сообщества и задачам представления и координации деятельности центральных и периферийных исследовательских организаций, растущему динамизму и дифференцированному характеру научного знания и новым репрезентационным и идеологическим функциям последнего. При этом возникшая система по-прежнему оставалась партийно-администрируемой и воспроизводила сверхцентрализованный характер советской науки.

В последующие десятилетия сформировавшаяся на рубеже 1950–1960-х годов система периодики оказалась в значительной мере законсервированной — до эпохи перестройки, когда устойчивость этой системы была нарушена, с разрушением системы идеологического контроля и утратой культурного авторитета академической науки, историческим бумом в средствах массовой информации и появлением альтернативных по отношению к этой системе сообществ и каналов коммуникации, таких как альманахи «Одиссей» или журнал «Родина». Одним из наиболее ярких проявлений этой консервации можно считать то, что до конца 1980-х годов так и не был создан научно-популярный исторический журнал — несмотря на неоднократно выдвигавшиеся проекты такого издания⁶⁸. Дальнейшие исследования позволят прояснить, каким образом эта система справлялась с давлением растущего пула авторов, увеличивающихся массивов информации, и за счет каких ресурсов общество компенсировало дефициты этой системы.

⁶⁸ Павленко В.Н. Крутлый стол: Каким быть научно-популярному журналу по истории? // Вопросы истории. 1986. № 12. С. 148–149.

«БЕСЕДЫ
И ПРОГУЛКИ»:
ПРОСТРАНСТВА
И ПРАКТИКИ
КОММУНИКАЦИИ



ТРАГИКОМЕДИЯ БОМОНТА И ФЛЕТЧЕРА

Пик популярности трагикомедии в европейской драматургии приходится на конец XVI — первую половину XVII века. В Италии начало этому жанру (и одновременно начало оживленной теоретической дискуссии) положил «Верный пастух» (ок. 1583) Баттисты Гварини¹. Во Франции после «Брадаманты» (1583) Робера Гарнье в этом жанре подвизались Александр Арди, Жан Ротру, Пьер Дю Рие, Жорж Скюдери; трагикомедией в первом издании (1637) назвал своего «Сида» Пьер Корнель². Встречаются трагикомедии и у Лопе де Вега (в частности, знаменитый «Периваньес и командор Оканьи»).

Считается, что отличительными чертами трагикомедии этого периода является наличие в пьесе персонажей различного социального ранга, смешение стилей (или использование комического стиля для трагических предметов), смешение комических и трагических событий, счастливый поворот в финале трагического по всем показателям сюжета³. Эти признаки в трагикомедиях могут иметь место, но необязательно все разом: скажем, в «Сиде» персонажи принадлежат к одной сословной среде, нет никаких комических элементов, ни в стиле, ни в содержании, и имеется только благополучная развязка — отсутствие комизма не помешало Корнелю аттестовать свою пьесу в первой редакции как трагикомедию, присутствие нетрагического финала — переименовать ее в заключительной редакции в трагедию (при том, что никаких коренных изменений в свой текст автор не внес). Ясно, что к организации драматического сюжета имеет отношение только последний признак, финал (что случай Корнеля и доказывает), и остается не снятым вопрос, можно ли в трагикомедии обнаружить другие характеристики столь же сильного сюжетобразующего качества. Обращение к драматургии Бомонта и Флетчера дает возможность если не ответить окончательно на этот вопрос, то по крайней мере поставить его со всей определенностью.

Трагикомедия в Англии шекспировской или околошекспировской эпохи — также один из самых популярных драматических жанров. Хотя в

¹ См.: Андреев М.Л. У истоков драмы: Драматическая пастораль // Стих, язык, поэзия. Памяти М.Л. Гаспарова. М.: РГГУ, 2006.

² О трагикомедии во Франции см.: *Baby H. La tragi-comédie de Corneille à Quinault*. Paris: Klincksieck, 2001.

³ *Guthke K.S. Modern Tragicomedy. An Investigation into the Nature of the Genre*. N.Y.: Random House, 1966. P. 10–11.

драматической жанровой номенклатуре этого периода доминирует триада «трагедия — комедия — хроника (history)», смешанные формы неоднократно встречаются и отмечаются. Уже в «Дамоне и Пифии» (1564) Ричарда Эдвардса фигурирует термин «трагическая комедия» (*new tragical comedy*), который восходит к аналогичному латинскому жанровому обозначению, часто употреблявшемуся авторами латинских религиозных драм (к примеру, в 1543 году Николас Гримальд именно так определил жанр своего «Христа воскресшего»): ситуация у Эдвардса трагическая, но с поворотом к счастливой развязке. Напротив того, «Аппий и Вергиния» (1575), где жанровый термин введен непосредственно в название («*New Tragical Comedy of Appius and Virginia*»), у Эдвардса он фигурирует в прологе), кончается трагической гибелью героини, а комический элемент обеспечивается сварами и потасовками слуг. Английская трагикомедия именно эти две формы будет и в дальнейшем активно эксплуатировать (в частности, Роберт Грин во всех своих пьесах и в особенности в «Иакове IV»)⁴. У Джона Марстона трагедией со счастливым концом является «Недовольный» (1604), комедией с трагическими обертонами — «Голландская куртизанка» (1605), а «Антонио и Меллида» (1602) имеет комедийный финал в первой своей части (что прямо подчеркнуто в словах заглавного героя: *Here ends the comic crosses of true love*) и трагедийный во второй («Мсть Антонио»). Термин «трагикомедия» впервые в Англии встречается в пьесе Сэмюэля Брендона «Добродетельная Октавия» (1598).

Трагикомедия, основанная не на механическом соположении взятых из противоположных жанровых образований элементов, а обладающая более или менее автономной жанровой поэтикой, создается в начале XVII века почти одновременно Шекспиром и творческим содружеством Френсиса Бомонта и Джона Флетчера, и хотя нельзя сказать, что создается совершенно независимо друг от друга (с Флетчером Шекспир сотрудничал и совместно с ним написал по крайней мере две пьесы: «Генриха VIII» и «Двух благородных сородичей»), но в целом это разные модели жанра. Содружество Бомонта и Флетчера предположительно сложилось на исходе первого десятилетия; правда, все датировки здесь гипотетические (единственная твердая дата для этого периода — 1511 год, год постановки «Короля и не короля»). Считается, что до начала совместной работы Бомонт успел написать комедию «Женоненавистник» («*The Woman Hater*») и пародийную (в отношении Томаса Хейвуда) пьесу «Рыцарь пламенеющего пестика» («*The Knight of Burning Pestle*»), Флетчер — пастораль «Верная пастушка» («*The Faithful Shepherdess*») и комедию «Хвала женщине, или Укрощение укротителя»

⁴ Есть мнение, что в 1560–1590 годах трагикомедия опиралась на трагедию, позже — на комедию. См.: *Pearson J. Tragedy and Tragicomedy in the plays of John Webster. Manchester: Manchester University Press, 1980. P. 29.*

(«Womans's Prize, or the Tamer Tam'd», драматическое послесловие к «Укрощению строптивой» Шекспира). Корпус произведений Бомонта и Флетчера определен так называемым вторым фолио (1679), включающим пятьдесят три пьесы. Из них плодом совместного творчества Бомонта и Флетчера являются далеко не все (их число по современным оценкам колеблется от семи до тринадцати), пятнадцать (не считая «Верной пастушки» и «Укрощения укротителя») принадлежат одному Флетчеру, остальные он писал вместе с другими соавторами (в основном с Филипом Мессинджером, но также с Томасом Мидлтоном, Джоном Фордом, Натаном Филдом, Уильямом Роули, Джеймсом Шерли и др.); к некоторым ни Бомонт, ни Флетчер вообще отношения не имеют. Различия между этими пьесами есть (собственно, исходя из этих различий, и устанавливается авторство), но они, как правило, не затрагивают жанровых основ, и исследователи в ряде случаев считают допустимым оперировать общим понятием корпуса (так будем поступать и мы).

Издатели второго фолио распределили пьесы по трем жанровым рубрикам — трагедии, комедии и трагикомедии. В качестве трагикомедий аттестованы десять пьес. До известной степени эта рубрикация произвольна (поскольку явные признаки трагикомедии обнаруживаются у многих пьес, названных трагедиями и комедиями) и во всяком случае принадлежит издателям, а не авторам. Однако нет сомнения, что и авторы оперировали этим жанровым понятием; во всяком случае, Флетчер в предисловии к «Верной пастушке» (публикация не датирована, но единодушно относится к 1609 году) его использует:

Трагикомедия так зовется не оттого, что в ней присутствуют и веселость, и смертоубийства, а оттого, что в ней нет смертей и поэтому она не является трагедией, но смерть совсем близко и поэтому она не является комедией; в ней изображаются обычные люди с такими тревожными, которые не угрожают их жизни; боги здесь справедливы, как в трагедии, а люди держатся середины, как в комедии⁵.

«Верная пастушка» возникла на волне всеевропейской популярности «Верного пастуха» Баттисты Гварини (английский перевод вышел в 1602 году): к Гварини отсылает и название, и пасторальные декорации, и сложная фабула (два любовных треугольника). Предисловие также укладывается в русло идей Гварини (правда, существенно обедненных). Что касается различий, то у Флетчера нет предыстории с мотивом божественного проклятия и введен резкий контраст двух любовных линий — целомудренной и нецеломудренной. Кроме того, его верная (верная памяти своего

⁵ Ссылки на произведения Бомонта и Флетчера по изд.: The Works of Francis Beaumont and John Fletcher / A. Glover, A.R. Waller (eds). L.: Cambridge University Press, 1905–1912. Vol. 1–10. Русский перевод, включающий двенадцать пьес: Бомонт и Флетчер. Пьесы / сост. А.Смирнова, ст. А. Аникста. М.: Искусство, 1965. Т. 1–2.

умершего возлюбленного) пастушка, будучи сама не причастна к любовным страстям, играет роль своеобразного арбитра, направляя заблуждающихся на путь добродетели и разрешая коллизии, вызванные взаимным непониманием. В дальнейшем пасторальная тематика, служившая в европейской драматургии надежным индикатором трагикомического поворота сюжета, будет в каноне всплывать только редкими эпизодами.

В специальном исследовании, посвященном специфике трагикомедии у Бомонта и Флетчера, выделяются восемь признаков этого жанра: 1) воспроизведение свойств и признаков обыденного мира (*familiar world*); 2) удаленность от той же обыденности; 3) замысловатость фабулы; 4) маловероятность ситуации, лежащей в основе сюжета; 5) общая атмосфера зла; 6) изменчивость и неустойчивость характеров; 7) страсть как более существенный маркер персонажа, чем характер; 8) высоко эмоциональный поэтический язык⁶.

Эта концепция встретила с некоторой критикой; в частности, утверждалось, что данный список применим к любой трагикомедии, в том числе к трагикомедии Гварини⁷. Критика эта, впрочем, также не совсем удовлетворительна: указанные признаки имеют отношение не столько к жанру, сколько к стилю и описывают не все трагикомедии вообще, а — если вести речь о Бомонте и Флетчере — все пьесы корпуса, без жанровых различий; если же этим корпусом не ограничиваться, то вообще все пьесы определенного стилизового направления (в данном случае — маньеризма).

Попробуем сопоставить типичную трагикомедию и типичную трагедию корпуса. Из трагикомедий возьмем одну из поздних (1624) — «Жену на месяц» («*A Wife for a Month*»). Неаполитанский король Федерико (персонаж всецело отрицательный) добивается любви Эванты. Прознав о ее романе с Валерио, король приказывает им пожениться, но с тем, что спустя месяц Валерио будет казнен, а Эванту снова выдадут замуж на тех же условиях (т.е. месяц в браке, а потом казнь мужа). Любовь Валерио и Эванты так велика, что они согласны на все, но сразу после свадьбы подручный короля Сорано объявляет Валерио еще одно условие: если он физически соединится с женой, то она будет казнена; та же участь постигнет их обоих, если Валерио кому-либо это откроет. В первую брачную ночь Валерио вынужден сослаться на свое мужское бессилие. Король не устает плести интриги: подсылает к Эванте сводню (затем обвиняет в этом Валерио), открывает Эванте часть дополнительного условия (Валерио будет казнен, если совершит брак), показывая его тем самым трусом. Но Эванта продолжает верить

⁶ Waith E.M. *The Pattern of Tragicomedy in Beaumont and Fletcher*. New Haven: Yale University Press, 1952. P. 36–40.

⁷ Herrick M.T. *Tragicomedy. Its Origin and Development in Italy, France, and England*. Urbana: The University of Illinois Press, 1955. P. 263.

супругу. Одновременно король стремится покончить со своим старшим братом, который, страдая от недуга, проживает в монастыре: Сорано пытается его отравить, яд, однако, его излечивает. Среди придворных назревает заговор. Месяц подходит к концу, король приказывает коменданту дворца казнить Валерию; тот говорит, что приказ исполнен (на самом деле его не исполняя). Король представляет Эванте претендентов на ее руку; все они, узнав об условии, отказываются. Следует явление Валерию, явление излечившегося старшего брата короля, переворот: Федериги и Сорано приговаривают к заточению в монастыре.

«Трагедия девушки» («The Maid's Tragedy», 1610) обнаруживает некоторое сходство с «Женой на месяц» в общей сюжетной ситуации: во всяком случае, в обеих пьесах имеется соперничество со стороны лица, занимающего более высокое положение по сравнению с героем любовной коллизии (в случае «Трагедии девушки» — успешное). Аминтор по приказу царя Родоса разрывает помолвку с Аспасией и женится на Эвадне (которая ему, впрочем, весьма приглянулась). В первую же брачную ночь Эвадна отказывает ему в близости и открывает правду: она — любовница царя и замуж выдана для прикрытия этой связи. Аминтор разрывается между жадой мести и почтением к царскому сану: почтение побеждает — святость сана и в дальнейшем будет удерживать его от участия в заговоре. А заговор организует Мелантий — брат Эвадны, царский военачальник и ближайший друг Аминтора. Он под угрозой меча вырывает у сестры признание, раскаяние и обещание убить царя. Эвадна связывает спящего царя и закалывает его кинжалом. Явившись с окровавленным кинжалом к мужу, она, однако, им отвергнута (за покушение на царя) и кончает с собой. Чуть раньше к Аминтору приходит Аспасия в мужской одежде, выдает себя за собственного брата, оскорбляет Аминтора и сражена им на поединке (для нее — это форма самоубийства). Закалывается и Аминтор, хочет заколоться и Мелантий, но его останавливают.

Разница между двумя пьесами состоит не только в финалах, кровавом в одном случае и благополучном в другом (в «Жене на месяц» он оказывается благополучным и для двух злодеев, которых не подвергают казни, а лишь приговаривают к заключению в монастыре). Даже отвлекаясь от финала (в эпоху Реставрации «Трагедию девушки» переделали, приставив ей счастливый конец) и от «нетрагичности» главного героя⁸, даже соглашаясь с наличием в обеих пьесах комических элементов (в «Жене на месяц» их все же больше: это претенденты на руку Эванты, горожане, пытающиеся прорваться на бракосочетание Валерию и Эванты, шут; в «Трагедии девушки» — разве что эротический комментарий к первой брачной ночи со сторо-

⁸ Waith E.M. The Pattern of Tragicomedy in Beaumont and Fletcher. P. 21. Данный автор рассматривает «Трагедию девушки» в одном ряду с трагикомедиями.

ны участников свадебной церемонии и фигура старика, отца Аспасии, труса, ругателя и врага Мелантия), различие между трагедией и трагикомедией полностью нивелировать нельзя. В «Жене на месяц» ситуация, в которую помещен главный герой, принципиально безвыходна: какое бы решение он ни принял, оно оказывается одинаково губительно (став для своей жены настоящим мужем, он обрекает ее на смерть; открыв ей или кому-либо еще это условие, он обрекает на смерть обоих — в любом случае его жене грозит смерть). У главного героя «Трагедии девушки» имеются два выхода, одинаково возможных: либо смириться, приняв свое положение номинального мужа царской любовницы, либо мстить за обман и поругание. У обоих выходов есть моральное оправдание: смирившись, герой чтит царский сан и царскую волю; отомстив, смывает пятно на своей чести. Его внутренний спор — это спор двух моральных императивов. Напротив того, два одинаково невозможных выхода в «Жене на месяц» не содержат никаких моральных импликаций: это логический тупик, именно своей тупиковостью провоцирующий сильный эмоциональный отклик.

Нельзя сказать, что для всех пьес корпуса, имеющих внешние признаки трагикомедии (трагическая ситуация с благополучным выходом из нее), такое понимание трагикомической ситуации является непреложным правилом. Есть здесь пьесы, в которых для героя сохраняется возможность рационального выбора. В «Верноподданном» («The Loyal Subject», 1616–1619), к примеру, главный герой служит не за страх, а за совесть герцогу, который своего верного слугу публично оскорбляет, изгоняет, заключает в тюрьму, подвергает пытке, но выбор герой сделал и сделал раз и навсегда: чтобы сохранить герцогу верность, он готов убить собственного сына, который эту верность нарушил, подняв бунт и освободив отца из темницы. Одна из возможностей выхода («верноподданность») сближает эту пьесу (которая во втором фолио занесена в раздел трагикомедий) с «Трагедией девушки», но в отличие от нее все здесь заканчивается ко всеобщему удовлетворению.

Близка к трагедии и самая ранняя из пьес, написанных Бомонтом и Флетчером в соавторстве, — «Филастр» («Philaster», 1609). Злокозненная придворная дама распространяет слух о том, что возлюбленная героя, калабрийская принцесса, предается разврату с присланным ей Филастром пажом (на самом деле паж — переодетая юношей и влюбленная в Филастра девушка). Филастр мгновенно разочаровывается во всех женщинах, доходит чуть ли не до безумия, во время охоты готов убить пажа, ранит принцессу, его приговаривают к казни. Спасает его голову от плахи восстание преданного ему народа (он — законный наследник трона в отличие от короля-узурпатора), а его любовь — правда о том, кем является на самом деле паж. Филастру в отличие от героя «Жены на месяц» не приходится искать выход из безвыходного положения, и он, в отличие от героя «Трагедии девушки», не находится в ситуации выбора — он просто следует за течением событий.

Чаще всего, однако, трагикомедии, в которых нет ни трагического выбора, ни логических тупиков, тяготеют не к трагедии, а к комедии. В «Своенравном сотнике» («The Humorous Lieutenant», 1619) Деметрий, сын Антигона, царя Малой Азии, влюблен в Селику, пленницу, не зная, что она дочь Селевка, одного из диадохов. Антигон очень недоволен этой любовью и всячески ей препятствует: пока Деметрий совершает военный поход, девушку забирают во дворец, пытаются соблазнить богатыми дарами, Антигон готов взять ее в жены, пускает в ход даже приворотное зелье. Все соблазны она отвергает, и тогда Антигон перед лицом Деметрия обвиняет девушку в волшебстве и распутстве, объявляет о том, что она казнена, и лишь окончательно убедившись в несокрушимости ее добродетели, возвращает сыну, но тот, увидев ее в богатых нарядах, считает падшей и обрушивается на нее с упреками. Теперь оскорблена она, и Деметрий, узнав правду от отца, долго вымаливает у нее прощение. Здесь нет угрозы трагического финала, присутствует традиционный комедийный конфликт (отец, не согласный с любовным выбором сына) и имеется гротескно-комическая линия, представленная заглавным героем (он трус, но когда считает себя смертельно больным, совершает чудеса воинской доблести).

Еще один пример — «Мсье Томас» («Monsieur Thomas», 1612–1615) с коллизией взаимных непониманий и взаимных проверок. Валентин возвращается из поездки по Европе, с собой привозит Франсиско, которого встретил во время странствий, полюбил как сына и осыпал благодеяниями. У Валентина есть воспитанница Селлида, на которой он собирается жениться. Франсиско заболевает — это «любовная» болезнь. Догадавшись о причине, Валентин хочет уступить ему Селлиду, но когда Селлида соглашается на такую замену (с ее стороны это проверка), Франсиско перестает видеть в ней образец добродетелей и отвергает ее. Затем, разумеется, все устраивается ко всеобщему удовлетворению: недоумения разъясняются, а во Франсиско узнают пропавшего в детстве сына Валентина.

Однако и «Жена на месяц» не остается в корпусе единичным исключением. Похожая безвыходность наблюдается в «Законах Кандии» («The Laws of Candy», 1919–1623): отец обвиняет сына перед сенатом в неблагодарности (что по местному закону карается смертью), принцесса (влюбленная в сына) обвиняет в том же отца, сын — принцессу за то, что она обвиняет его отца, наконец, дочь обвиняет сенат в неблагодарности по отношению к отцу. Рационального выхода из этого юридического крюкотворства нет. В «Коринфской царице» («The Queen of Corinth», 1617) две женщины пострадали от одного и того же насильника, одна требует его казни, другая — брака с ним, обе по закону имеют право на решение в свою пользу. В центре «Короля и не короля» («A King and no King», 1611) стоит инцестуальное влечение между братом и сестрой, причем брат представлен не злодеем и

не извращенцем, это фигура, скорее, положительная; во всяком случае, его борьба с самим собой изображена в сочувственных тонах, но победить в этой борьбе он не может (в какой-то момент он доходит до того, что решает силой овладеть сестрой, а потом покончить с собой), разрешение ситуации приходит извне (оказывается, что герой — не королевский сын и, соответственно, не брат той, которую любит небратской любовью). Герой пьесы «Чего хотят женщины» («Women Pleas'd», 1619–1623) разрывается между необходимостью сохранить верность возлюбленной и необходимостью сохранить верность слову — для этого ему нужно возлюбленной изменить и жениться на старухе (чтобы получить в жены возлюбленную, требуется разгадать загадку; разгадку ему сообщает старуха, потребовав в награду выполнения любого желания; желанием оказывается брак, но и старуха оказывается переодетой возлюбленной).

У нас нет никаких документальных данных, позволяющих считать, что для авторов корпуса именно модель «Жены на месяц» являлась в их понимании трагикомедии жанрообразующей. Она здесь ни единственная, ни доминирующая, самое большее — одна из нескольких. Другое дело, что только эта модель дает возможность совместить некоторые существенные признаки двух оппонирующих друг другу драматических жанров. Из трагедии она берет сосредоточенность на внутреннем конфликте, но свою нетрагедийность демонстрирует тем, что сам конфликт так и не возникает, его место в структуре оказывается пустым. Из комедии она берет наличие внешнего препятствия, но в комедию не превращается, поскольку наделяет препятствие неодолимой силой. Если в других вариантах трагикомедия словно балансирует между трагедией и комедией и склоняется то к одной, то к другой, то в этом варианте выступает в качестве их равнодействующей.

Не остался исключением этот тип организации действия и в истории среднего драматического жанра. Именно так спустя полтора века будет строить свои трагикомические фьябы Карло Гоцци — как ловушку, из которой нет выхода. В «Вороне» герой не может вручить своему брату сокола, скакуна и дамаскую принцессу, ибо сокол его ослепит, конь умертвит, а в брачную ночь с принцессой его поглотит чудовище, но если он не преподнесет эти дары или раскроет тайну, с ними связанную, то немедленно окаменеет. Это очень похоже на тот тупик, в котором оказывается герой «Жены на месяц», только обставлен он сказочными декорациями. У Бомонта и Флетчера, конечно, никакой сказочности нет, о сказке напоминает разве что неисполнимость условий. Трагикомедия вообще тяготеет к некоторой ирреальности: недаром она так охотно осваивала пасторальную обстановку.

РОМАНТИЧЕСКИЕ ИСТОКИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

В своей известной работе «Взгляд туриста» британский социолог Джон Урри подчеркивает существенное влияние романтической культуры на формирование современной культуры туризма¹. По мысли Урри, одним из решающих факторов формирования туристической практики было не только отделение культуры путешествия от профессиональных занятий и соответствующих контекстов, но и превращение путешествия в специфический опыт, принципиально дистанцированный от повседневности. Именно с формированием такой специфической культуры досуга связана стремительная субъективация опыта путешествия, интенсификация переживания, отделение индивидуального опыта от его коммуникативных эффектов.

В своем анализе туризма как специфической социальной практики Урри выделяет девять основных ее параметров.

1. Практика туризма носит характер досуга, т.е. принципиально обособлена от повседневной трудовой практики.

2. Туризм предполагает сочетание перемещения в пространстве и относительно длительного пребывания в различных географических точках.

3. Перемещение происходит в локусы, лежащие за пределами повседневного окружения, а пребывание в них относительно краткосрочно и предполагает намерение возвратиться домой в обозримом будущем.

4. Посещаемые и осматриваемые места предоставляют платные и бесплатные возможности для практик, образующих существенный контраст к повседневной трудовой рутине.

5. Практика туризма носит массовый характер и предполагает наличие инфраструктур обслуживания, обеспечивающих удовлетворение широкого спроса на нее.

6. Выбор мест для посещения и осмотра определяется предвосхищением интенсивного удовольствия, вовлекающего различные органы чувств; эти ожидания производятся и поддерживаются при посредстве таких не-

¹ Исследование выполнено в рамках Программы фундаментальных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и с использованием средств субсидии на государственную поддержку ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров, выделенной НИУ ВШЭ.

туристических практик, как кино, телевидение, литература, журналистика, аудио- и видеозапись.

7. Туристический взгляд направлен на те элементы природного и городского ландшафта, которые отделены от повседневности, и предполагает гораздо более высокую чувствительность к визуальным аспектам ландшафта, нежели в повседневной жизни. Зафиксированный средствами фотографии, такой избирательный взгляд может бесконечно тиражироваться и транслироваться.

8. Взгляд туриста конструируется с помощью знаков и направлен на коллекционирование знаков.

9. Практика туризма предполагает наличие широкой сети профессионалов, воспроизводящих объекты туристического взгляда. Объекты туристического взгляда встроены в сложную и изменчивую иерархию, которая зависит, с одной стороны, от конкуренции между теми, кто предоставляет услуги, а с другой — от изменения вкусов потенциальных потребителей².

Как явствует из рассуждений Урри, помимо технических и социальных факторов, обусловивших превращение путешествия в предприятие сравнительно безопасное и вместе с тем доступное для относительно широких слоев населения, а не только для привилегированных сословий, существенным аспектом формирования туризма был переход от понимания путешествия прежде всего как практики, предоставляющей широкие возможности для общения, к пониманию путешествия как возможности быть свидетелем чего-то, наблюдать нечто собственными глазами. Таким образом, параллельно с изменением внешних условий, обеспечивающих все более широкую и разнообразную мобильность населения, происходило и существенное изменение модальностей индивидуального переживания, связанных с перемещением в пространстве. Основным направлением этого изменения была, по мнению Урри, возрастающая *субъективация* и одновременно *визуализация* опыта путешественника. Именно этот процесс Урри обозначает как формирование «взгляда туриста» (*tourist gaze*)³. С точки зрения исторической типологии путешествий процесс формирования «взгляда туриста» связан с трансформацией образовательного путешествия (так называемого *Grand Tour*) в романтическое путешествие-переживание.

Как справедливо указывает Урри, эта трансформация предполагала три взаимосвязанных процесса, протекавших на трех коррелирующих друг с другом уровнях.

Во-первых, поскольку практика путешествий уже с XIII–XIV веков, с началом формирования широкой инфраструктуры, обеспечивающей ре-

² Urry J. *The Tourist Gaze*. L., 2002. P. 2–3.

³ Ibid. P. 4.

гулярные паломничества к различным почитаемым святым местам, была многообразно нормирована, то цели путешествия, правила его подготовки и проведения подвергались систематической рефлексии в теоретических формах. Теоретический дискурс о путешествии, оформившийся в период раннего Нового времени в особый литературный жанр, обозначавшийся как *аподемика* (от греч. Ἀποδημέω — находиться в пути, путешествовать), т.е. теория искусства путешествия, именно в предромантический период пережил свой последний расцвет⁴. Таким образом, чтобы проследить формирование «взгляда туриста», нужно осмыслить изменения в теоретических построениях, обосновывавших и нормировавших практику путешествий.

Во-вторых, наряду с теоретической рефлексией, важным фактором, формирующим и нормирующим не только внешние формы организации путешествия, но также и субъективность путешественника, было развитие специфических нарративов путешествия. Не случайно одновременно с последним взлетом аподемики в европейской культуре наблюдается и невиданный доселе расцвет беллетристических жанров, связанных с описанием путешествий (например, в течение XVIII века на одном только немецком языке было издано более 10 000 литературных сочинений в жанре путевых заметок или отчетов о путешествиях⁵). Литература о путешествиях не только способствовала формированию иерархии предпочтений в отношении выбора пунктов назначения и маршрутов путешествий, но и фиксировала определенный набор паттернов субъективного восприятия, соответствующих нормативным целеполаганиям, обосновывающим практику путешествий.

Литературные нарративы предлагали разнообразные модели организации и структурирования опыта путешественника. Наряду с этим кодификация опыта и интенсификация его визуальных компонент осуществлялась в более прямой и явной форме посредством постепенно расширявшейся индустрии путеводителей. В них со второй половины XVIII века все более важное место стали занимать рекомендации, направленные не столько на выбор объектов наблюдения (пейзажей, артефактов и т.д.), сколько на формирование новых способов видения наблюдаемых объектов. Поэтому рост ассортимента путеводителей в XVIII веке был связан не только с диверсификацией маршрутов путешествий, но и с расширением диапазона возможных интересов в рамках одних и тех же маршрутов.

⁴ Об основных характеристиках и главных этапах развития аподемики см. детальные исследования австрийского социолога культуры Юстина Штагля: *Stagl J. Apodemiken: eine räsionierte Bibliographie der reisetheoretischen Literatur des 16., 17. u. 18. Jahrhunderts* Paderborn [u.a.]: Schöningh, 1983; *Idem. A history of curiosity: The theory of travel 1550–1800*. Chur: Harwood Academic Publ., 1995; *Idem. Die Methodisierung des Reisens. Von der Pilgerfahrt zur Bildungsreise* // *Idem. Eine Geschichte der Neugier. Die Kunst des Reisens 1550–1800*. Wien, 2002.

⁵ См.: *Jäger H.-W. Reisefacetten der Aufklärungszeit* // *Der Reisebericht. Die Entwicklung einer Gattung in der deutschen Literatur* / P. Brenner (Hrsg.). Frankfurt a. M., 1989. S. 262.

Таким образом, формирование «взгляда туриста» необходимо рассматривать также в тесной связи с развитием и дифференциацией медийных средств, с помощью которых производились и поддерживались специфические механизмы воображения и сценарии наблюдения, задействуемые в практике путешествия.

Наконец, под влиянием двух первых факторов трансформировался и характер реального путешествия. Образовательное путешествие (*Grand Tour*), самой характерной чертой которого была установка на нейтральное наблюдение и протокольную письменную фиксацию сведений обо всем увиденном (пейзажах, музеях, артефактах, культурных объектах и т.п.), на протяжении XIX века постепенно превратилось в романтическое путешествие. Оно уже характеризовалось преимущественной установкой на эмоционально вовлеченное переживание прекрасного и возвышенного в процессе созерцания объектов, особенно пригодных для культивирования такого переживания. На первый план в опыте романтического путешествия стали выдвигаться эстетические компоненты, что отразилось и в выборе маршрутов, и в выборе способов передвижения, и в организации самого путешествия.

Мы попробуем проиллюстрировать описанный в концепции Урри исторический сдвиг, произошедший на всех обозначенных нами уровнях, конкретными примерами из немецкоязычной традиции, поскольку в ней перечисленные изменения проявились особенно рельефно.

Не имея возможности в рамках небольшой статьи не только детально проанализировать, но даже обозреть обширный круг первоисточников по аподемике, которые, впрочем, хорошо изучены и расклассифицированы в упомянутых нами выше работах Юстина Штагля⁶, обратимся для достижения наших целей к вторичным, уже седиментированным формам аподемического дискурса. Они нашли отражение в общедоступной справочной литературе — энциклопедиях и популярных словарях, фиксирующих уже устоявшиеся к определенному времени общие места. Такой подход будет достаточно эффективным, поскольку именно в справочной литературе наиболее явно сказывается нормативная составляющая аподемических теорий.

Чтобы составить себе представление о парадигмальных компонентах теоретического обоснования образовательного *Grand Tour*, обратимся к весьма пространной (19 столбцов!) статье «Путешествие» («*Reisen*»)⁷, помещенной в 31-й том популярного во второй половине XVIII века «Большого полного универсального лексикона всех наук и искусств» Иоганна Генриха Цедлера. Лексикон выходил с 1731 по 1754 год; соответствующий том был выпущен в 1742 году.

⁶ Итоги этих исследований кратко суммированы в его монографии: *Stagl J. Eine Geschichte der Neugier*, Böhlau. Wien, 2002.

⁷ [Zedler J.H.] *Großes vollständiges Universal-Lexikon aller Wissenschaften und Künste*. Bd. 31. Halle, 1742. S. 366–385.

В известном смысле текст, включенный в лексикон Цедлера, можно рассматривать как краткий реферат всех важнейших мотивов аподемических рассуждений, концептуализирующих Grand Tour. Две главные функции путешествия, тематизированные у Цедлера, — приобретение знаний и передача их всякому, могущему иметь в них нужду. Относительно возможных целей путешествия автор статьи констатирует:

Обычная цель путешествия состоит, как правило, в том, чтобы узнать мир, т.е. рассмотреть народы в их нравах, привычках и поведении и все это соответствующим образом употребить к своей пользе. Но как различные профессии и науки, от чего происходят и различные людские сословия, ими занятые; так и при путешествии могут иметь место особые цели. Богослов печется о религии, правовед о внешнем устройстве государства, врач о тайнах природы, философ и филолог о таких вещах, которые им служат в их деле. Также и военный для постижения своей науки нуждается в путешествиях⁸.

Как видим, приобретение знаний в ходе путешествия напрямую увязывается с профессиональной деятельностью путешествующего и призвано расширить его профессиональные и, соответственно, карьерные возможности. Показательно, что приоритетным предметом интереса являются народы, их нравы и обычаи. Таким образом, путешествие прежде всего обеспечивает расширение социального горизонта путешественника и приобретение им знаний, релевантных для осуществления той или иной социальной функции. Вместе с тем автор статьи подчеркивает, что знание приобретается путешественником не только для личного употребления, но и для общей пользы: «После путешествия надобно уметь донести до ближнего все, что случилось и что довелось узнать, воздерживаясь от всякого пустословия и похвалы <...>»⁹. Тем самым, как видим, в обоих отношениях коммуникативный аспект путешествия выступает на первый план.

В соответствии с этой установкой путешественнику дается ряд методических рекомендаций. Во-первых, при подготовке к путешествию необходимо ознакомление с детальными описаниями пунктов назначения, причем не только ввиду чисто практических задач ориентирования и адаптации, но и в связи с оптимизацией процесса приобретения знания:

Купи новейшие и подробнейшие описания той страны или тех городов, что намерен посетить. Тебе не следует трудиться записывать все, что уже записали прочие, но только дополнять то, что они пропустили, или исправлять то, что они запечатлели неверно¹⁰.

⁸ Ibid. S. 366.

⁹ Ibid. S. 367.

¹⁰ Ibid. S. 368.

Во-вторых, в ходе самого путешествия существеннейшим его аспектом становится регулярная и методически направляемая письменная фиксация всех событий и обстоятельств:

Прибыв же на место, осматривают все достопримечательное, всякий в соответствии со своею целью, а превосходнейшее записывают в путевую записную книжицу <...>¹¹.

Записи путешественника имеют не только мемориальное значение, но представляют собой значимый содержательный результат путешествия, позволяющий приобретать социальный капитал:

В путешествии всегда имей при себе записную тетрадь, где помечай во все дни, что ты увидел или услышал примечательного, с кем свел знакомство и т.п., и все это всякий вечер перед тем, как отойти ко сну, переписывай. Сей труд принесет тебе много пользы. Ты сможешь по возвращении служить своими сообщениями другим добрым людям, а по прошествии долгого времени с удовольствием припоминать, где ты был, как себя чувствовал и т.п., и к тому же покажешь, что путешествовал с пользой¹².

Почти половину объема статьи в лексиконе Цедлера занимают подробные инструкции относительно того, какого рода познания следует стремиться приобрести при посещении и осмотре тех или иных определенных локусов. Например, для городов дается следующий весьма пространный и красноречивый перечень:

При посещении городов справляйся о местоположении города, об окружающей его местности, записывай количество переулков, ворот, церквей, монастырей и пожарных частей, особенности замка, превосходнейшие и наилучшие публичные и частные здания, благороднейшие сады, ремесленные занятия и превосходнейшую пищу здешних жителей, особенности городского управления, богослужения и школ, состояние госпиталей, лазаретов, сиротских приютов, тюрем и т.д., важнейшие обычаи и обряды при погребениях, свадьбах, крещении младенцев, искуснейших и известнейших мастеров и ремесленников, древности, памятники, библиотеки, редкости, монетные кабинеты, привилегии и статуты города, его герб, превосходнейшие пассажи, земли вокруг, укрепления, арсенал, гавань, особые местные одеяния, рынки и ярмарки, цены на дрова, пропитание и жилье; исследуй, известен ли он в истории каким-либо мирным договором, в нем заключенным, или состоявшейся при нем битвою, похоронены ли там какие-либо знаменитые люди, можно ли увидеть где-нибудь вокруг еще что-то примечательное, следует ли обратить внимание на особенности диалекта, известны ли близлежащие деревни какою-либо мануфактурою и т.д.¹³

¹¹ [Zedler J.H.] Großes vollständiges Universal-Lexikon... S. 367.

¹² Ibid. S. 375.

¹³ Ibid. S. 378.

Аналогичные столь же детальные инструкции даются для осмотра рек, источников, гор, шахт, мануфактур, для изучения особенностей придворной жизни и т.п. Нетрудно заметить, что инструкции сосредоточены исключительно на фактической стороне дела и совершенно не касаются субъективных диспозиций путешественника.

На примере статьи из лексикона Цедлера хорошо видно, что идеальная модель *Grand Tour* совершенно лишена какого-либо гедонистического измерения, но целиком и полностью определяется прагматикой государственного, корпоративного и частного интереса. Путешествие рассматривается здесь как комплекс исследовательских и коммуникативных задач, определяемых профессиональной идентичностью, а регламентация поведения путешественника не выходит за рамки обеспечения элементарной безопасности¹⁴ и оптимального комфорта.

Вопрос о том, в какой мере этой идеальной модели соответствовали реальные мотивации и образ действия путешествующих юных аристократов, активно дискутировался в аподемической литературе в течение всего XVIII века. Как весьма убедительно показал Томас Гроссер¹⁵, именно обвинения в субверсивном гедонизме стали одним из лейтмотивов буржуазной критики теории и практики *Grand Tour*, заявившей о себе во второй половине столетия. Этот мотив стал одним из доминирующих в поздних сочинениях по аподемике. Так, Франц Поссельт, автор изданного анонимно в 1792 году объемистого двухтомного трактата «Аподемика, или Искусство путешествовать. Систематический опыт для употребления юными путешественниками из образованных сословий вообще и будущими учеными и художниками в особенности», гневно сетовал:

Не положив путешествию определенной цели, не приобретя потребных для полезного путешествия качеств и предварительных познаний, не подготовившись надлежащим образом, они пробегают одну страну за другою, нередко останавливаясь в самых примечательных городах лишь на краткое время, и спешат в столицу государства, где надеются вполне удовлетворить свою жгучую жажду чувственных наслаждений. И что же они там делают? Разгуливают по улицам,

¹⁴ Показательно, что в числе таких практических рекомендаций автор статьи, наряду с разнообразными советами о мерах предосторожности против воров и мошенников, уделяет особое место опасностям, которым подвергается чрезмерно любознательный путешественник, рискуя быть принятым за шпиона: «Вообще обращай внимание на то, чтобы не выказывать слишком уж большого желания что-то разузнать, но осведомляйся обо всем между делом, ибо иначе ты можешь иметь неприятности, если тебя примут за шпиона, и из-за этого сможешь узнать гораздо меньше» (*Ibid.* S. 380).

¹⁵ Grosser T. *Bürgerliche Welt und Adelsreise: Nachahmung und Kritik // Babel R., Paravicini W. (Hrsg.). Grand Tour: adeliges Reisen und europäische Kultur vom 14. bis zum 18. Jahrhundert: Akten der internationalen Kolloquien in der Villa Vigoni 1999 und im Deutschen Historischen Institut Paris 2000.* Ostfildern: Thorbecke, 2005.

глазуют на общественные и частные здания, осматривают монетные кабинеты и кабинеты натуралий, картинные галереи и кунсткамеры, ничего там толком не видя, посещают превосходнейшие представления, променады, кофейни и все те места, где собирается много людей, в особенности из высшего света, и, наконец, время от времени устраивают развлекательные вечера в предместьях. <...> Что же привозят с собою оттуда эти путешествующие обезьяны высшего или среднего сословия? Ничего, кроме воспоминаний о веселых компаниях, в которые им дали доступ их сословие и состояние, и имен тех, кто удостоил их своими приглашениями и прочими любезностями; ничего, кроме граничащей с порочностью развязной веселости ...и беззастенчивой наглости судить с видом знатока о предметах, о которых они за неимением знаний вообще не способны высказать суждение¹⁶.

Однако подобная критика вовсе не ставила под вопрос саму нормативную модель образовательного путешествия.

Совершенно иное представление о смысле и целях путешествия мы находим в статьях о путешествиях, вошедших в популярные словари XIX века. Если для идеологии *Grand Tour* решающим образовательным эффектом путешествия было планомерное и методически последовательное развитие и совершенствование социальных и интеллектуальных навыков, определяющих как профессиональную деятельность, так и повседневную жизнь на родине, то в постепенно формирующейся в начале XIX столетия новой идеологии путешествия на первый план вышел совсем другой мотив — открытие неизведанного, испытание нового. Не случайно именно в это время термин *Entdeckungsreise* (буквально: «путешествие-открытие»), обозначающий географическое путешествие с целью обнаружения и освоения новых земель, постепенно становится парадигматическим для определения смысла и целей путешествия вообще.

Уже в третьем издании словаря Брокгауза, выходившем в 1816–1819 годах, все путешествия подразделяются на два основных типа — *образовательное путешествие* (*Bildungsreise*) и *путешествие-открытие* (*Entdeckungsreise*). Первое осуществляется частным лицом и направлено на индивидуальное самосовершенствование, второе носит публичный характер и имеет в виду достижение широких общественных целей. Впрочем, задачи обоих определяются в конечном счете ориентацией на знание. Человек, предпринимающий образовательное путешествие, «путешествует, чтобы приобрести более широкое знание людей; чтобы ознакомиться с государственным и судебным устройством других стран, чтобы обозрением чужих достопримечательностей приумножить свои познания и приобрести свое суждение

¹⁶ Apodemik oder die Kunst zu reisen. Ein systematischer Versuch zum Gebrauch jünger Reisenden aus den gebildeten Ständen überhaupt und angehender Gelehrten und Künstler insbesondere. 2 Bde. Leipzig, 1795. Bd. 1. S. 10–14.

о них; чтобы, как купец, ученый или государственный муж, завязать полезные знакомства»¹⁷. Тот же, кто отправляется в путешествие-открытие, стремится «расширить область наук и способствовать сообщению между народами, населяющими земную поверхность»¹⁸. Аналогичную классификацию предлагает и «Новый Рейнский лексикон или словарь-справочник для образованных сословий», выпущенный в Кёльне в 1830–1836 годах: образовательное путешествие составляет «переход юноши из ученического класса в практическую жизнь, подводя его к более свободному и более живому взгляду на мир»¹⁹, тогда как путешествие-открытие «служит поощрению научного познания»²⁰. Однако уже в популярном «Дамском лексиконе», изданном в Лейпциге в 1834–1838 годах, вообще нет специальной статьи «Путешествие», а соответствующая словарная единица отсылает к статье «Открытия и географические путешествия» («Entdeckungen und Entdeckungsreisen»). При этом в качестве главного мотива путешествия автор «Дамского лексикона» называет отнюдь не образовательные задачи, но присущее всякому человеку стремление преодолеть границы повседневности:

В груди всякого пылкого и одаренного талантами человека живет известное томление, порыв вдаль, к чуждому, невиданному; он часто упускает из виду близлежащее, его фантазия прикована к неизведанному и желает его исследовать. Этот порыв, направляемый любознательностью, душевной силой, стремящейся к приключениям и исключительным событиям, или же научными и меркантильными интересами, служил побудительной причиной большинства открытий и путешествий²¹.

Показательно, что мотивацией к путешествию, по мнению автора «Дамского лексикона...», является не столько содержательное знание, приобретаемое в ходе методически организованного исследования, сколько сам опыт соприкосновения с новым и неизведанным. Сделанный здесь акцент на «приключения и исключительные события» находится в резком контрасте с многочисленными и пространными рекомендациями Цедлера относительно того, как сделать процесс путешествия максимально предсказуемым и надежно контролируемым.

Вместе с переносом акцента с методически организованного сбора информации на отрыв от повседневности существенно меняется и отно-

¹⁷ Conversations-Lexicon oder encyclopädisches Handwörterbuch für gebildete Stände. Neue vollständigere Auflage. Bd. 8. Stuttgart, 1818. S. 144.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Neues Rheinisches Conversations-Lexicon oder encyclopädisches Handwörterbuch für gebildete Stände. Bd. 9. Köln, 1835. S. 1019.

²⁰ Ibid.

²¹ Damen-Conversationslexikon. Bd. 3. Leipzig, 1835. S. 443.

шение к гедонистическим компонентам путешествия: ориентация на удовольствие, служившая объектом буржуазной критики в адрес аристократического Grand Tour, теперь не только получает свое оправдание, но даже решительно выдвигается на первый план. Так, в «Лексиконе Виганда для всех сословий», изданном в 1846–1852 годах, всевозможные прагматические мотивации частного путешествия оказываются подчинены основополагающему принципиально гедонистическому интересу. Автор статьи, помещенной в вышедшем в 1850 году 11-м томе словаря, пишет:

Путешествия с древнейших времен были одним из самых действенных средств к поощрению человеческого воспитания <...> Их значение и характер изменяются главным образом сообразно связанным с ними целям и тому, является ли путешествие чисто личным, или же общим, публичным. Первые редко бывают деловыми поездками в собственном смысле слова <...> Прочие же относящиеся сюда путешествия по большей части имеют целью только удовольствие, непосредственно проистекающее из отрыва от стесненных домашних обстоятельств, из живого чувства полной свободы, из не встречающего никаких препятствий, ничем не омраченного наслаждения великолепной природой. Ясно, что при этом путешественник между делом извлекает неоценимую пользу из наблюдения за чужими нравами и обычаями, из свободного и безоглядного взаимного обмена суждениями и мнениями, из участия в различных собраниях и т.д.: круг его идей, все его жизненное воззрение приобретают широту и непредвзятость; он обретает гибкость и сноровку в разнообразнейших жизненных обстоятельствах; он собирает богатые сокровища знаний о мире и о человеке. Но все это тесно переплетено с удовольствием путешествия, оно даже образует главный источник заключенной в нем неодолимой привлекательности. Поэтому, даже если путешественник и не отлагает все названные соображения в сторону, но все же главное для него не они, а уж тем более не деловые заботы²².

Как видим, главным в путешествии здесь становится специфическое удовольствие, связанное с освобождением от профессиональной и повседневной рутины и достигаемое эстетически модифицированным созерцанием, предметом которого выступает прежде всего «великолепная природа». Таким образом, здесь обретает свою легитимацию именно та установка, которую Урри связывает с понятием «взгляд туриста».

Обособление эстетико-гедонистических компонент опыта путешественника от всевозможных прагматических целей не только получило теоретическое обоснование, но и отразилось в трансформации нарративов, моделирующих опыт путешественника. Наглядной иллюстрацией тому служит эволюция литературного жанра путевых заметок на протяжении XVIII — первой четверти XIX века. Обширная литературная продукция в этом жанре, постоянно поставлявшаяся на рынок в течение второй поло-

²² Wigand's Conversations-Lexikon für alle Stände. Bd. 11. Leipzig, 1850. S. 506.

вины XVIII века, представляет собой практическое осуществление тех рекомендаций, которые мы анализировали на примере словаря Цедлера. Они объединяют самые разнородные сведения: списки похороненных и цифры урожайности, расходы на содержание двора и описания внутреннего распорядка больниц, демографическую статистику и сообщения о состоянии тех или иных научных исследований, инвентарные списки и анекдоты²³. При этом разнородные сведения соединяются в подобных описаниях по определенному систематическому принципу, в полном соответствии с цедлеровским требованием максимальной полноты и подробности. Именно разносторонность, полнота и подробность сообщаемых фактических сведений составляют главную ценность такого описания. Об этом убедительно свидетельствует, помимо прочего, и распространенная практика составления своеобразных дайджестов. Это могли быть многотомные издания, объединявшие разнобразные описания путешествий, сокращенные до наиболее существенного информационного ядра (таково, например, 35-томное «Собрание лучших и новейших описаний путешествий в подробном извлечении», изданное в 1763–1802 годах)²⁴. Или компилятивные сочинения, объединявшие в новый текст данные, извлеченные из многих различных сочинений путешественников (в качестве примера приведем выполненные по географическому принципу обширные компиляции Антона Фридриха Бюшинга — «Новое описание Земли» в 11 частях²⁵, а также 24-томное «Большое описание Земли»²⁶).

Однако к концу столетия постепенно все больше заявляет о себе новая тенденция: на смену систематическому сбору сведений приходит рефлексия по поводу сообщаемого, открыто демонстрирующая ценностные предпочтения автора и нередко проникнутая социально-критическим пафосом. В таких сочинениях, как «Путешествие по Верхней Германии» Вильгельма Людвиг Векрлинга (1778)²⁷, «Взгляды на часть Германии, Швейцарии и Франции во время путешествия в 1790 году» Герхарда Антона фон Халема (1791)²⁸, «Путешествия по Германии, Франции, Англии и Голландии»

²³ См. об этом в статье Лерманна: *Laermann K. Raumerfahrung und Erfahrungsraum. Einige Überlegungen zu Reiseberichten aus Deutschland vom Ende des 18. Jahrhunderts* // Piechotta H.J. (Hrsg.). *Reise und Utopie. Zur Literatur der Spätaufklärung*. Frankfurt a. M., 1976. S. 80 f.

²⁴ *Sammlung der besten und neuesten Reisebeschreibungen in einem ausführlichen Auszuge: Worinnen eine genaue Nachricht von der Religion, Regierungsverfassung, Handlung, Sitten, natürlichen Geschichte und andern merkwürdigen Dingen verschiedener Länder und Völker gegeben wird. Aus verschiedenen Sprachen zusammen getragen*. Bd. 1–35. Berlin, 1763–1802.

²⁵ Anton Friedrich Büschings *Neue Erdbeschreibung*. Th. 1–11. Hamburg, 1754–1792.

²⁶ Anton Friedrich Büschings *Große Erdbeschreibung*. Bd. 1–24. Troppau; Brünn, 1785–1787.

²⁷ *Anselmus Rabiosus [Wekhring W.L.] Reise durch Ober-Deutschland*. Salzburg u.a., 1778.

²⁸ *Halem G.A. von. Blicke auf einen Theil Deutschlands, der Schweiz und Frankreichs bey einer Reise vom Jahre 1790*. Hamburg, 1791.

Андреаса Рима (1797–1801)²⁹ или «Письма о Франции, Нидерландах и Германии» Георга Кернера (1797)³⁰, пространные рассуждения об увиденном занимают существенно больше места, нежели нейтральные описания и систематизированные сведения.

Сознательный отказ от всеобъемлющего наблюдения и упорядочивания информации порождает концентрацию не столько на фактах, сколько на случайных впечатлениях и ощущениях путешественника. Эта установка открыто декларируется самими авторами. Например, Андреас Георг Фридрих Ребманн во введении к своим «Космополитическим странствиям по одной части Германии» (1793), обращаясь к фиктивному адресату Карлу, предупреждает: «в целом ты найдешь здесь, собственно, не описание путешествия, а только впечатления и мысли по поводу моих странствий»³¹. Парадигмальное значение для трансформации жанра в этом направлении имело, конечно, «Сентиментальное путешествие» Лоренса Стерна, вышедшее в Англии в 1768 году. Немедленно переведенный на другие европейские языки, шедевр Стерна породил широкую волну подражаний, в том числе таких как трехтомные «Сентиментальные путешествия по Германии» (1771–1772)³² Иоганна Готтлиба Шуммеля или «Зимнее путешествие» (1769)³³ и «Летнее путешествие»³⁴ (1770) Иоганна Георга Якоби. В этих и им подобных сочинениях опыт путешествия описывался как непредсказуемая смена контрастных состояний, интенсивность которых идет вразрез с общепринятыми конвенциями относительно общественной значимости тех или иных локусов и объектов.

Отказ от систематики и сосредоточение не только на суждениях и оценках, но и на мимолетных впечатлениях и переживаниях повествователя предполагали не только существенную субъективацию составляемого *post factum* нарратива, но и принципиальную смену диспозиции непосредственно во время путешествия. Например, упомянутый выше Ребманн в начале своей книги отмечает, что в ходе описанного им путешествия опирался на особый метод. Он состоял в том, чтобы «в самый момент наблюдения представлять себе рядом со мною кого-то из моих близких, кому я пытал-

²⁹ Riem A. Reisen durch Deutschland, Frankreich, England und Holland in verschiedener, besonders politischer Hinsicht; in den Jahren 1785–1797. Bd. 1–3. Frankfurt; Leipzig, 1797–1801.

³⁰ Kerner J.G. Briefe über Frankreich, die Niederlande und Teutschland geschrieben in den Jahren 1795, 1796 und 1797. Bd. 1–3. Altona, 1797–1798.

³¹ Rebmann A.G.F. von. Kosmopolitische Wanderungen durch einen Theil Deutschlands. Leipzig, 1793. S. 13.

³² Schummel J.G. Empfindsame Reisen durch Deutschland. Bd. 1–3. Wittenberg, 1770–1772.

³³ Jacobi J.G. Die Winterreise. Düsseldorf, 1769.

³⁴ Idem. Die Sommerreise. Halle, 1770.

ся передать всякое полученное мною впечатление точно таким, каким его получил». Только благодаря такому методу, подчеркивает Ребманн, путешественник оказывается способен «сообщить свое впечатление другим, не будучи вынужден оплачивать ясность сообщения утратой удовольствия от присутствия, как это происходит с тем путешественником, который при виде какого-либо предмета думает только о том, как его лучше описать, а не о том, как его лучше ощутить»³⁵. Именно такая установка позволяет путешественнику «связать наблюдение и удовольствие так, чтобы они взаимно не вредили друг другу»³⁶.

Нетрудно увидеть, что удовольствие становится здесь существенной составляющей опыта путешествия, а утрата непосредственности и полноты переживания грозит полностью обесценить все усилия, предпринятые для его подготовки и осуществления. В соответствии с этим и само описание путешествия строится как монтаж эпизодов, контрастных по эмоциональной окраске, смена которых и определяет композицию повествования. Искусная инсценировка непосредственности достигается благодаря калейдоскопической смене фрагментов, последовательность которых определяется не столько логикой пересекаемого пространства, сколько ассоциативной связью переживаний. Иоганн Генрих Кампе в своих «Письмах из Парижа, писанных во время Французской революции» (1792) отмечает: «В кружащемся вихре моих представлений и ощущений, который я и теперь еще не в силах остановить, я должен или не писать вовсе, или писать так, как сами вещи кажут мне себя и как я их ощущаю; и тут, как Вы легко заметите, нет ни порядка, ни связи»³⁷. Многие эстетические открытия сентиментализма, подхваченные и развитые раннеромантической прозой, были связаны с разработкой дифференцированных литературных техник такой инсценировки, формировавшей у читателя соответствующие паттерны восприятия собственного опыта путешествия.

Аналогичный процесс субъективации можно пронаблюдать и в эволюции другого важного вида книжной продукции — путевых справочников и путеводителей. Если книжный рынок XVIII века, обслуживавший практику Grand Tour, ориентировался на формат энциклопедического справочника, где удобно распределены по рубрикам всевозможные сведения, могущие пригодиться путешественнику, то в начале XIX века появляются путеводители, предлагающие, подобно сентименталистским описаниям путешествий, не только определенные маршруты и определенный выбор

³⁵ *Rebmann A.G.F. von. Op. cit. S. 2.*

³⁶ *Ibid. S. 1.*

³⁷ Цит. по: *Griep W. Reiseliteratur im späten 18. Jahrhundert // Hansers Sozialgeschichte der deutschen Literatur vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Bd. 3. Zweiter Teilband. München; Wien, 1980. S. 754.*

созерцаемых объектов, но и эмоционально насыщенные описания ожидающих путешественника субъективных ощущений.

Изменения в композиции и содержании путеводителей неоднократно анализировались исследователями. Показательны, например, выводы, сформулированные немецким германистом Ули Куттером на основе детального сравнительного анализа немецкоязычных путеводителей, изданных в период между серединой XVII и серединой XIX века. Сопоставив 164 различных справочных издания для путешественников, Куттер констатировал постепенное сокращение, а затем полное исчезновение из путеводителей специальных теоретических обоснований полезности путешествий, т.е. постепенную эмансипацию жанра путеводителя от наследия ранненововой аподемики³⁸. Особенно интересен отдельный исследовательский кейс, приведенный Куттером: он проследил почти 150-летнюю историю переизданий и переработок одного и того же справочника для путешественников, составленного Мартином Цайлером, впервые изданного в 1632 году³⁹. Расширенный в 1706 году Петером Амброзиусом Леманном, этот путеводитель затем в 1767 году был переработан Готфридом Фридрихом Кребелем и стал самым популярным образцом жанра, выдержавшим до 1801 года 16 переизданий. Как показал Куттер, переработки второй половины XVIII века привели к принципиальному изменению самого формата издания: преимущественно теоретическое сочинение с обширными экскурсами из области аподемики Кребель превратил в практическое руководство, где адресованные путешественнику советы привязаны к конкретным предлагаемым маршрутам, а характер этих советов все больше смещается от рекомендаций по организации и логистике к составлению нормативных перечней достопримечательностей.

Процесс, прослеженный Куттером на примере издания Цайлера/Леманна/Кребеля, представлял собой основную тенденцию в эволюции справочной литературы для путешественников. В результате подобных трансформаций в конце XVIII — начале XIX века сложился своеобразный промежуточный, переходный жанр «путевого справочника» (*Reisehandbuch*), причудливо сочетавшего в себе элементы аподемического сочинения, инструкции по использованию общественного транспорта (прежде всего, регулярного почтового сообщения) и субъективированного, эмоционально окрашенного описания путешествий по конкретным маршрутам в духе

³⁸ Kutter U. Apodemiken und Reisehandbücher. Bemerkungen und ein bibliographischer Versuch zu einer vernachlässigten Gattung // *Das achtzehnte Jahrhundert. Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für die Erforschung des Achtzehnten Jahrhunderts*. 1980. Bd. 4. S. 116–131.

³⁹ Kutter U. Zeiler — Lehmann — Krebel. Bemerkungen zur Entwicklungsgeschichte eines Reisehandbuches und zur Kutturgeschichte des Reisens in 18. Jahrhundert // *Reisen im 18. Jahrhundert. Neue Untersuchungen* / W. Griep, H.-W. Jäger (Hrsg.). Heidelberg, 1986. S. 10–33.

сентименталистской и раннеромантической прозы. В качестве примера можно привести впервые вышедшее в Веймаре в 1801 году и пользовавшееся широким спросом в течение всей первой половины века (к 1854 году оно было переиздано 16 раз!) сочинение Генриха Августа Оттокара Рейхарда «Пассажир в поездке по Германии и некоторым граничащим с нею землям, преимущественно для его назидания, удобства и безопасности. Путевой справочник для каждого»⁴⁰. Книга состоит из ряда глав, содержащих общие и более специализированные практические советы относительно подготовки путешествия, мер по безопасности и охране здоровья, способов предсказания погоды, различных способов передвижения (путешествие пешком, верхом, в почтовой карете, по воде и т.п.), денежного обращения в различных странах и проч. Однако эти главы сначала перемежаются, а затем сменяются детальными описаниями конкретных путешествий, о которых автор сообщает, что совершил их лично⁴¹. Таковы, в частности, обширные главы «Живописные картины путешествий по двум величайшим рекам Германии, Рейну и Дунаю (как добавление к главке о путешествиях по воде)»⁴², «Изображение путешествий по так называемым альпийским горам Германии»⁴³, «Путешествие по Швейцарии»⁴⁴, «Поездка в Париж»⁴⁵, «Поездка в Санкт-Петербург»⁴⁶. Завершается же справочник объемной (более 170 страниц!) главой «Девяносто девять маршрутов поездок по Германии в различных направлениях, с краткими заметками о местностях, указанием хороших постоянных дворов и сведениями о достопримечательностях некоторых городов»⁴⁷.

Из композиции сочинения видно, что описания путешествий служат здесь образцами, по которым читатель, пользуясь предложенными в начальных главах советами и выбрав один из приведенных в заключительной главе маршрутов, может выстроить свой собственный опыт путешествия. Субъективированные описания ландшафтов и достопримечательностей, призванные создать эффект присутствия, формируют у читателя определенные диспозиции восприятия, ориентируя его на эмоционально интенсивное и прежде всего эстетически окрашенное переживание пространства.

⁴⁰ Reichard H.A.O. Der Passagier auf der Reise in Deutschland und einigen angränzenden Ländern. Ein Reisehandbuch für Jedermann; mit einer großen Postkarte. Weimar: Gädicke, 1801.

⁴¹ Ibid. S. IV.

⁴² Ibid. S. 182–200.

⁴³ Ibid. S. 300–350.

⁴⁴ Ibid. S. 431–529.

⁴⁵ Ibid. S. 530–574.

⁴⁶ Ibid. S. 575–598.

⁴⁷ Ibid. S. 599–776.

Именно подобные путевые справочники, возникшие в романтическую эпоху, являются прямыми предшественниками современных туристических путеводителей, ведущих свою родословную от первого издания путеводителя Карла Бедекера, вышедшего в 1835 году. Парадигмальное значение путеводителей Бедекера для формирования туристической практики, как убедительно показал Руди Кошар в своей книге «Немецкие культуры путешествия»⁴⁸, определяется именно его тесной связью с предромантической и романтической традицией, в частности, с различными литературными нарративами, связанными с культом Рейна и романтизацией Рейнской области.

Широкому распространению путевых справочников и, соответственно, внедрению предлагаемых ими паттернов восприятия в повседневную практику широких слоев городского населения сильно способствовали произошедшие в конце XVIII века изменения социально-бытовых и технических условий путешествия (совершенствование транспортной инфраструктуры, строительство дорог, развитие регулярного почтового сообщения и т.п.). Они не только приводили к снижению цен на перевозки, делая тем самым путешествие все более доступным широкому кругу представителей третьего сословия, но и создавали комфортные условия передвижения, позволявшие путешественнику сосредоточиться на своих субъективных переживаниях. Конечно, эстетические модальности восприятия, культивировавшиеся в предромантической и раннеромантической теории и художественной практике, осваивались публикой довольно медленно⁴⁹. Однако первый и самый важный шаг к формированию «взгляда туриста» был, как мы попытались показать, сделан именно в эпоху романтизма. Для того чтобы изобретенная на рубеже XVIII–XIX веков новая модель путешествия действительно оказалась внедренной в сознание широкой публики и стала основой для практики современного туризма, должны были сформироваться новые медийные механизмы, позволяющие ее транслировать.

⁴⁸ См.: Koshar R. *German Travel Cultures*. Oxford; N.Y., 2000. P. 19–28.

⁴⁹ Как убедительно показала Уте Фреверт в своем исследовании, выполненном преимущественно на материале путевой переписки ранних романтиков, на уровне повседневности эстетические компоненты отнюдь не были преобладающими даже в практике путешествий самих романтических интеллектуалов. См.: Frevert U. *Stadterfahrungen romantischer Intellektuellen in Deutschland* // *Die Stadt in der europäischen Romantik* / G. von Graevenitz, A. von Bormann (Hrsg.). Würzburg: Königshausen & Neumann, 2000.

ХИРШЕНХОФ И ИРШИ: ТРАНСФОРМАЦИЯ ЛОКАЛЬНОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ ПОД ВЛИЯНИЕМ «НОСТАЛЬГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА»

Введение

Говоря о процессах складывания и трансформации возникающих в современную эпоху форм сознания и культуры, мы в качестве носителей этого сознания и этой культуры обычно по умолчанию рассматриваем городское население¹. В этом есть своя логика: именно включенные в модернизированные социальные отношения и коммуникативные сети горожане считаются людьми современности *par excellence*, тогда как жители деревни, даже являясь теперь аудиторией тех же СМИ, в социальном и культурном отношении обычно предстают «недомодернизированными», в значительной мере остаются в лоне традиционной культуры и патриархальных социальных институтов. Если сегодняшний город — особенно большой, и тем более мегаполис — характеризуется атомизированностью, анонимностью и удаленностью, на фоне которых малые сообщества с их субкультурами выглядят вторичными и эфемерными образованиями, а культурные течения быстро сменяют друг друга, то деревня еще в основном сохраняет свой прежний характер «живой» (*face-to-face*) и малоподвижной (чтобы не сказать инерционной) в культурном отношении общности, в которой существующая культура выступает первичной по отношению к индивидам. Они как бы «рождаются в нее», а не выбирают, и уж тем более не создают и не меняют ее по своему творческому порыву: она была до них и будет после. Это приложимо, в частности, и к исторической культуре. Априори, интуитивно представления сельских жителей о прошлом — как семейном, так и локальном, и региональном, и общенациональном, — видятся устойчивыми, укорененными в традициях

¹ Исследование выполнено в рамках Программы фундаментальных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и с использованием средств субсидии на государственную поддержку ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров, выделенной НИУ ВШЭ.

и преданиях, среди них трудно предположить конкурирующие и конфликтующие временные перспективы и версии прошлого².

В какой мере такой взгляд на деревню адекватен реальности XXI века? Ответ на этот вопрос, разумеется, будет разным для разных деревень: если сравнить даже в пределах одной страны, например, подмосковную деревню, жители которой в большинстве своем работают в столице, и поморскую рыбацкую деревню на берегу Кольского полуострова, то между ними, возможно, найдется больше различий, чем сходств. С помощью множества конкретных эмпирических исследований можно очертить поле возможностей, но до сих пор это, насколько мне известно, не сделано.

Другое важное отличие деревни от города, которое мы предполагаем — впрочем, тоже не везде в одинаковой мере, — касается факторов, воздействующих на сознание и культуру, в том числе исторические. Изменения структуры общества (социальный фактор изменения исторического сознания) на селе принято считать более медленными. Действие медийных факторов предположительно различается не столько количественно³, сколько качественно: «себя» и «свою» историю житель столичного города видит на экране чаще, чем житель деревни, а потому у него и больше оснований чувствовать себя адресатом меняющегося исторического дискурса СМИ, включаться в медийно обусловленный процесс убыстрения исторического времени и осваивать новые типы его восприятия. Что касается интеллектуальных факторов, то формирование новых горизонтов осмысления истории и типов взаимосотнесенности прошлого и будущего в дискурсах разных агентов для деревенской среды представляется маловероятным ввиду рудиментарной интеллектуальной прослойки сельского социума. Материальные факторы, связанные с формированием новых материальных условий существования, вполне могли бы актуализировать проблематику изменения в сознании сельских жителей, однако трудно вообразить их сохраняющимися, например, старый дом или что-то из утвари исключительно в качестве исторического памятника. Опять же, эти презумпции подлежат эмпирической проверке, которая заставит их скорректировать и дифференцировать, если не отменить вовсе.

И наконец, говоря об «изобретенности» принципов исторической культуры и сконструированности ее конкретных феноменов, мы применительно

² Это относится к коллективной (семейной, родовой, коммунитарной) исторической памяти, но не к личной. Вполне можно себе представить и в деревне конкурирующие и конфликтующие воспоминания участников или свидетелей событий недавнего прошлого.

³ Разница между городом и деревней в плане доступа к массмедиа и привычек пользования ими стремительно сокращается: телевизор и радио уже есть почти в каждом доме, Интернет во все большем числе регионов тоже одинаково доступен горожанам и селянам благодаря мобильным устройствам. Это технически превращает всех — как городских жителей, так и сельских, — в потенциальных или реальных участников одних и тех же массовых коммуникаций.

к абстрактному сельскому сообществу едва ли предполагаем наличие такого разнообразия субкультур, таких институтов, локусов и акторов, которые обеспечивали бы рефлексию и/или спонтанную креативность, способные внести в процесс социального конструирования динамику, сравнимую с городской. Скорее покажется вероятным отсроченное и частичное заимствование деревней у города этих принципов и конструкторов, а темп и характер их заимствования будет определяться их совместимостью с существующей в деревне традицией.

Разумеется, эти многочисленные предположения нельзя доказать или опровергнуть на одном кейсе. Самое большее, на что может претендовать всё, излагаемое далее, — это служить примером (одним из многих возможных) того, какие варианты обнаруживаются при обращении к эмпирическому материалу. Материал этот был собран мною летом 2012 года во время поездки в Латвию, где я присоединился к группе немецких туристов, направлявшихся, в частности, в Иршскую волость. До и после этой поездки я переписывался с несколькими лицами, принимавшими участие в этой и/или предыдущих таких поездках, и с одной местной жительницей.

Итак, что можно сказать о характере и факторах изменения исторической памяти в сегодняшней деревне? В какой мере оправдались интуитивные представления об отличии исторической культуры села от города?

1. Предыстория

Для адекватного понимания интересующих нас процессов, которые происходили в XX и начале XXI века в Иршской волости Латвии, необходимо коротко воскресить в памяти их предысторию.

Соседство между прибалтийскими немцами и латышами насчитывает много веков, и на протяжении всего этого времени их отношения нельзя было назвать безоблачными. Изначально это было связано с тем, что на территорию, где предки латышей обитали уже более трех тысяч лет, немцы начали активно переселяться в конце XII века в контексте колонизационного движения и последующего завоевания языческой Прибалтики рыцарями Ливонского и Тевтонского ордена. Колонисты и крестоносцы пришли как захватчики и враги исконной веры, в течение десятилетий насаждавшие среди латышей христианство отнюдь не только миссионерскими методами и обращавшие их в крепостных. В отличие от других регионов Северо-Восточной Европы, таких как Пруссия, Познань, Померания, где немецкие колонисты-крестьяне занимали земли для ведения собственного сельского хозяйства, на территории нынешней Латвии немецкий элемент сосредоточивался преимущественно в городах, которые зачастую и основывались немцами, как, например, Рига: переселенцы занимались здесь торговлей и ремеслами. Они составляли самую крупную этническую группу в рядах среднего и выс-

шего слоев бюргерства, а также дворянства и духовенства. Знать немецкого происхождения была сравнительно немногочисленной, однако владела большими земельными угодьями и множеством крестьян⁴. В целом немцы никогда не насчитывали более 10% населения Курляндии и Лифляндии, однако доминировали в хозяйственной и культурной жизни края вплоть до второй половины XIX века, когда началась его активная русификация.

После периодов польского и шведского владычества, с окончанием Северной войны в 1721 году, большая часть Лифляндии оказалась под властью Российской империи, а те ее земли, которые принадлежали короне польской, отошли к России после разделов Польши 1772–1795 годов. Прибалтийские немцы, которые были подданными шведских или польских королей, стали российскими подданными и верными слугами Российской империи, которая гарантировала им их традиционные права и привилегии.

Вскоре после своего восшествия на российский престол родившаяся в Германии молодая императрица Екатерина II развернула кампанию по вербовке колонистов в немецких землях, страдавших от аграрного перенаселения. Своим манифестом Екатерина приглашала немецких крестьян заселять территории на юге России, где предоставляла им большие наделы с плодородной почвой. На ее призыв откликнулось несколько десятков тысяч семей. Они собирались в Любеке — крупном порту на берегу Балтики — и оттуда морем прибывали в Россию. Перевалочным пунктом служил Ораниенбаум. Оттуда основная масса переселенцев была отправлена в Поволжье или в Причерноморье, но примерно двум сотням семей крестьян и ремесленников было приказано обосноваться в Лифляндии, где они заселили два имения, принадлежавших короне. Колонисты получили большие наделы земли, на которых были построены усадьбы-хутора. Так возникло уникальное для этих краев явление: немецкие сельскохозяйственные колонии, об одной из которых и пойдет речь далее⁵. Называлась она по-немецки Хиршенхоф, по-латышски Ирши.

Немецкие колонисты в Хиршенхофе жили бок о бок с крестьянами-латышами, но их сосуществование не было симбиозом⁶. Колонисты обла-

⁴ Об «остзейских баронах» см.: Духанов М.М. Остзейцы: явь и вымысел; о роли немецких помещиков и бюргеров в исторических судьбах латышского и эстонского народов в середине XIX века. Рига: Лиесма, 1970; Он же. Остзейцы: политика остзейского дворянства в 50–70-х гг. XIX в. и критика ее апологетической историографии. Рига: Лиесма, 1978.

⁵ Об этой колонии см.: Conze W. Hirschenhof. Die Geschichte einer deutschen Sprachinsel in Livland. Berlin, 1934 (Nachdruck Hannover: Hirschheidt, 1963); Gangnus G. Vom Elsass hinaus in die Welt. Darmstadt, 2003. Приводимые здесь и далее сведения об истории Хиршенхофа до 1939 года взяты из этих двух книг.

⁶ О напряженных отношениях между немцами и латышами много говорится в работе: Кирчанов М.В. Zemnieki, latvieši, pilsoņi. Идентичность, национализм и модернизация в Латвии. Воронеж: Научная книга, 2009 (там же см. достаточно обширную библиографию по

дали более высоким статусом, так как они были лично свободными, имели землю в собственности и были непосредственными подданными короны, тогда как латыши до 1816–1819 годов находились в крепостной зависимости от своих помещиков⁷. Неравенство и сегрегация были очевидны для всех, и усилий к тому, чтобы их сгладить, не предпринималось на всем протяжении истории колонии. Немцы и латыши плохо владели языком друг друга, у них была раздельная администрация (до 1880-х годов), раздельная школа. Даже общая лютеранская вера не объединяла их: церковные службы шли раздельно, хотя пасторы в латышской церкви были немцами. Смешанные браки в Хиршенхофе были исключительно редки до начала XX века, и тогда их было очень немного. Немец мог взять в жены латышку (если, например, она была дочерью богатого хозяина, у которого он был арендатором или работником), но немка практически никогда не выходила за латыша: это было бы позорным для ее семьи понижением статуса.

Во время Первой мировой войны, в 1916 году, когда германские войска вступили на территорию Прибалтики, прибалтийские немцы — несмотря на то, что они в массе своей были всегда лояльными подданными Российской империи, — были сочтены неблагонадежным элементом и выселены во внутренние районы России. Во время немецкой оккупации, в 1918 году, хиршенхофские колонисты вернулись из-за Урала и застали свои хозяйства разоренными. Это добавило напряженности в отношения между ними и латышами. Способствовал ей и тот факт, что в эти же годы, на фоне нараставших националистических настроений в Прибалтике, обсуждались планы по созданию на ее территории «Балтийского герцогства» под эгидой германской оккупационной администрации. На земли, которые была готова уступить для этой цели прибалтийская немецкая аристократия, планировалось поселить большое количество новых немецких колонистов. План не был реализован, но после поражения Германской империи, окончания оккупации и провозгла-

теме на русском и латышском языках). Отмечаемая в книге амбивалентная роль немецких баронов и пасторов (и эксплуататоры, и культуртрегеры) едва ли была характерна для немецких земледельцев и сельских ремесленников (о них автор ничего не пишет), но в остальном сказанное в цитируемых Кирчановым свидетельствах современников приложимо и к отношениям между жителями немецких и латышских мыз в районе Хиршенхофа. Немецкий взгляд на место немцев (в самом общем плане) в истории и культуре прибалтийских народов резюмирован в статье: *Pistohlkors G. von. Die Stellung der Deutschen in der Geschichte der Esten, Letten und Litauer // Nordost-Archiv — Zeitschrift für Kulturgeschichte und Landeskunde. 1992. N.F. Bd. 1. S. 89–122.*

⁷ На асимметрию и дистанцию указывает, помимо всего прочего, ревностное соблюдение и самими хиршенхофцами, и их потомками терминологического различия: они — «Kolonisten», а латыши — «Bauer» («крестьяне», «мужики»), несмотря на то что при Александре II юридический статус колонистов был аннулирован. Даже когда колонист, не унаследовавший земли, шел арендатором или работником к зажиточному латышскому крестьянину, он все равно не считал его и себя равней.

шения независимого национального государства — Республики Латвии — эта инициатива прибалтийских немцев была расценена как изменническая. И нельзя сказать, что теперь все немцы были так же лояльны латвийскому государству, как некогда российскому: в 1919 году многие из них пошли в «добровольческие отряды» (Freikorps), которые сражались сначала против большевиков, а потом и против нового правительства в Риге.

В независимой Латвии судьба колонистов была нелегкой⁸, хотя их и миновала участь немецких помещиков, чьи усадьбы в ходе земельной реформы 1920 года были в массовом порядке экспроприированы в пользу безземельных крестьян-латышей. Колония Хиршенхоф продолжала существовать и постепенно оправлялась от ударов войны. В те годы значительная часть прибалтийских немцев — в основном представители дворянских семей, лишившиеся земель в Латвии, но имевшие династические связи и владения в Германии, — уехала туда, но из Хиршенхофа эмиграция в Германию была в эти годы незначительной. Объяснялось это не только тем, что Веймарская республика была охвачена экономическим кризисом и иммигранты, не имевшие ни связей, ни земельных владений, не смогли бы там обеспечить себя. Дело было еще и в отсутствии у них какой бы то ни было идентификации с Германией как государством и с немецкой нацией. Ведь колонисты были потомками людей, покинувших Эльзас, Гессен, Рейнский Пфальц, Гольштейн и другие независимые немецкие государства задолго до появления общенемецкого национального сознания, за столетие до возникновения единой Германии, и контактов с прежней родиной не поддерживали. Уезжавшие в Россию в 60-е годы XVIII века крестьяне и первые поколения их потомков называли себя не «немцами», а «пфальцскими» или «эльзасцами», «гессенцами» и т.д. К началу XX века даже память о точном месте жительства предков изгладилась почти полностью: по воспоминаниям одного из последних уроженцев Хиршенхофа, он «не встречал никого, кто мог бы сказать, из какой деревни происходила его семья: сохранилось только расплывчатое понятие “Пфальц” (даже у тех немногих, чьи семьи были из Гольштейна)»⁹. Даже язык, на котором говорили в Хиршенхофе, — продукт смешения нескольких диалектов¹⁰, развивавшийся изолированно

⁸ Это дало повод Д. Неандер сравнить все предвоенное поколение хиршенхофцев с библейским Иовом: Die Hiobsgeneration. Dorothea Neander erzählt über die Kinder- und Jugendjahre ihrer Eltern. 1996; 2. Teil, 2009.

⁹ Личное сообщение Густава Гангнуса по электронной почте 30 сентября 2016 года.

¹⁰ В. Мицка в 1923 году попытался определить по существовавшему на тот момент хиршенхофскому диалекту, откуда вышли предки его носителей, и получил неверный результат: как показали проведенные позже архивные изыскания, в составе переселенцев были выходцы не из одного, а из нескольких различных регионов, за 150 лет утратившие свои своеобразные говоры и перешедшие на один общий смешанный идиом, достаточно удаленный

от немецкоязычного ареала, — был не очень-то похож на тот немецкий язык, на котором писали и говорили в Германии XX столетия или даже в немецкоязычной среде Риги и Петербурга¹¹.

На протяжении XIX века, по мере того как многие молодые хиршенхофцы, из-за майоратного принципа наследования не получавшие земли или неспособные прокормить семью сельскохозяйственным трудом на небольших и малопродуктивных полях, стали переселяться в города — в Ригу, в Петербург, в Витебск, в Москву, — крепили связи колонистов с Россией, а не с Германией. Политические интересы единого германского государства и немецкая националистическая идеология оставались колонистам чужды. После революции связи со страной большевиков оборвались, и лояльность колонистов начала переориентироваться на новую латвийскую власть, тем более что один из потомков хиршенхофских колонистов, переехавших в Ригу, — Роберт Эргардт, бывший депутат Государственной думы Российской империи, — стал министром финансов во втором и третьем составе латвийского правительства в 1919–1920 годах.

Национально мыслящие немецкие студенты и школьники из Риги пытались оказывать хиршенхофским колонистам экономическую помощь и заодно содействовать развитию в них сознания принадлежности к немецкому народу, а из Германии активизировавшийся после Первой мировой войны Союз поддержки немецкой культуры за рубежом (*Verein für das Deutschtum im Ausland*) направлял в Прибалтику учителей, которые везли с собой идеи, учебники, книги для чтения и прочие материалы, насыщенные национальным немецким духом. В Хиршенхофе школа работала нерегулярно, в зависимости от способности общины собрать деньги на зарплату учителю, и основное обучение детей велось в семьях, поэтому хорошо функционирующей институциональной инфраструктуры для пропаганды там не было и успех «онемечивания» колонистов был ограниченным: лишь отдельные крестьянские дети интересовались привезенными книгами.

от тех, на которых говорили жители тех регионов в начале XX века. См.: *Mitzka W. Studien zum baltischen Deutsch. Marburg, 1923.*

¹¹ Ср. собрание фольклорных текстов на хиршенхофском диалекте, опубликованное представительницей семьи колонистов Лутц: *Lutz E. Der alberne Hans als Freier; Deutsche Volksschnurren im Hirschenhöfer Dialekt. Riga, 1927.* В 1934 году аспирант Кенигсбергского университета Вернер Конце в своей диссертации охарактеризовал Хиршенхоф как «островок немецкого языка в Лифляндии» («*deutsche Sprachinsel*» — см. примеч. 5). Слово «*Insel*» верно указывает на изолированный характер этого языкового сообщества, окруженного иноязычным «морем», но слово «*deutsch*» создает (по причинам, легко понятным в контексте эпохи написания диссертации) иллюзию общности именно с германским государством и народом. В то время как на самом деле такая идентификация существовала скорее у внешних наблюдателей — будь то латыши или жители Германии, — нежели у самих хиршенхофцев, идентифицировавших себя как «колонисты».

Когда в 1933 году в Германии пришли к власти нацисты, они пытались привлечь «расово ценных» этнических немцев в других странах к своему движению, но, если говорить о хиршенхофских колонистах, большого успеха в этом долгое время не достигали. В сторону Гитлера начала смотреть с надеждой главным образом самая юная часть жителей Хиршенхофа, находившаяся под влиянием школьных учителей, присланных из Германии, но в консервативной крестьянской среде юношество не имело авторитетного голоса.

Ситуация резко изменилась после обнародования германо-советского пакта о ненападении 1939 года и заявления Гитлера, что все прибалтийские немцы должны вернуться «домой в рейх», потому что в противном случае они будут завоеваны Советами. Была очень быстро достигнута договоренность между правительством Германии и правительствами Эстонии и Латвии о переселении этнических немцев. Президент Латвии Ульманис заявил: «Пусть уезжают... Но возвращения не будет»¹². С теми, кто подлежал переселению, условия не обсуждались. Им было практически приказано продать специально созданным латвийскими властями комиссиям всю свою недвижимость, скот, сельскохозяйственную технику и другое имущество по фиксированным невысоким ценам с тем, чтобы на новом месте получить соответствующее количество земли и инвентаря. Кампания была проведена очень быстро. Уже к концу 1939 года более 50 000 немцев были переселены из Латвии в отвоеванные у Польши области, получившие названия Вартегау и Западная Пруссия. Еще около 10 000 последовали за ними в 1940 и 1941 годах.

О количестве немцев, оставшихся тогда в Латвии, надежных данных нет, а затем в ходе событий 1941–1945 годов ситуация менялась, и некоторое количество этнических немцев по доброй или не по доброй воле уехали из Латвии в Германию и в Сибирь сразу после окончания войны. Применительно к Хиршенхофу/Ирши имеются следующие данные: если по переписи 1935 года немцы составляли 92% населения Иршской волости (тогда как в других местах Латвии, за исключением Кулдиги, не более 10%), то после их отъезда следующая перепись зафиксировала во всем Айзкраукльском районе всего 4,7% процента немцев¹³. Общая численность населения волости с их отъездом тоже сильно уменьшилась, так и не восстановившись впоследствии¹⁴. Немецкие хутора частично остались заброшенными, частич-

¹² Schmidt H. Laßt sie fahren..., aber eine Wiederkehr gibt es nicht. Wittingen, 1997.

¹³ Mežs I., Németh Á. 1935. gada tautskaites datu pielāgojums rajonu un mūsdienų pagastu iedalījumam. L. 68, 81. <http://www.lza.lv/LZA_VestisA/68_3-4/4_Ilmars%20Mezs,%20Adams%20Nemets.pdf> (последнее обращение 20.11.2016 г.); Latvijas pagasti. Enciklopēdija. Rīga, 2001. I sējums. L. S. 365–367.

¹⁴ По данным официального портала района: <<http://www.koknese.lv/?s=88>> (последнее обращение 20.11.2016 г.).

но были переданы латышским крестьянам, переселявшимся сюда из различных районов Латгалии. Таким образом, — и это важно подчеркнуть для правильного понимания дальнейшего — большинство нового населения в Ирши практически не имело собственной «памяти места».

Не уехали добровольно в основном те, кто состоял в смешанных браках и не хотел рушить свои семьи. Как правило, эти люди уже считали себя более латышами, нежели немцами, принимали латышское гражданство и писали свои фамилии на латышский манер. Среди хиршенхофцев таких было трое. Мне приходилось беседовать с потомками двух смешанных семей, имевших разную судьбу. Одна семья в период сборов и отъезда едва не распалась, так как муж-немец, желавший остаться со своей женой-латышкой и детьми в Хиршенхофе, подвергся мощнейшему давлению своей немецкой родни, призывавшей его бросить жену и уехать в рейх, а жена подвергалась давлению латышской родни, призывавшей ее остаться. После тяжелейших споров и ссор супруги уехали вместе, и в результате пострадали их отношения с родственниками с обеих сторон. Другая семья, наоборот, в полном составе (муж из колонистов, жена-латышка и дети) осталась. В результате нарушились их отношения с уехавшими родственниками и соседями по колонии. Эти разрывы я считаю нужным упомянуть здесь в связи с теми переменах, о которых пойдет речь ниже.

После отъезда немцев в Латвии сменили друг друга несколько эпох — советская оккупация, потом война, потом послевоенный социалистический период в составе СССР, — в течение которых прибалтийские немцы как часть исторической, культурной и экономической реальности Латвии практически исчезли из официальной публичной сферы. Так, по воспоминаниям одной пенсионерки из г. Кокнесе, ее учительница немецкого языка что-то когда-то рассказывала о живших там прежде немцах, но в целом до начала 1990-х годов разговоры на эту тему были табуированы. Из неофициального коллективного сознания латвийского общества, из «домашних разговоров» тема эта ушла тоже — в не поддающейся измерению, но тоже очень большой степени, хотя уже одно только обилие немецких фамилий в Латвии исключало полное забвение.

Имевшиеся в прошлом напряжения в отношениях между латышами и немцами были усилены антинемецкой пропагандой советской власти. В ходе социалистических преобразований в послевоенной Латвии, когда из немногих оставшихся колонистов большинство было репрессировано как «буржуазный элемент», «помещики», «кулаки» и «пособники фашистов», их собственность вновь была переделена. Въезжавшие в немецкие дома латышские колхозники относились к ним по-разному: одни вели себя по-хозяйски, чинили и перестраивали под себя, другие — как временщики: пользовались, но не заботились. Те бывшие усадьбы хиршенхофских ко-

лонистов, которые не были заселены новыми жильцами, постепенно разрушались, немецкое кладбище было запущено, в немецкой церкви сделали склад удобрений.

Таким образом, к рубежу 1980–1990-х годов в коллективной исторической памяти жителей Ирши воспоминание об уехавших полвека назад колонистах Хиршенхофа если и существовало, то было бледным, отчасти негативно окрашенным и неактуальным. Контакт с уехавшими в Германию, насколько мне удалось выяснить, в годы холодной войны не было.

Те отпрыски немецких хиршенхофских семей, которые в разное время переселились в Ригу и другие города Латвии, Белоруссии, Украины и России, тоже не стремились в прежние родные места и не поддерживали связей с бывшими земляками. По воспоминаниям Норы Шмидт (род. в Киеве в 1906 году), ее отец, немец, уроженец Хиршенхофа, уехал оттуда еще в 1880-е годы и никогда больше туда не возвращался, только принимал у себя гостей оттуда, а ее мать, латышка, навещала свою родню, жившую на соседних с колонией хуторах. Сама Нора не была там ни разу и контактов не поддерживала; в межвоенные годы, когда иметь родственников за границей было опасно, и даже после вхождения Латвии в СССР пресекала попытки латвийских кузин возобновить хотя бы переписку с ней и с ее старшим братом Отто. Последний (род. в Могилеве в 1891 году) в юности несколько раз ездил в Лифляндию к деду и бабушке на каникулы, однако еще до начала Первой мировой войны контакты прекратились навсегда. Много лет спустя, уже в начале 1950-х годов, он еще раз был в Латвии, но ограничился Ригой и Юрмалой, не навестив родные места своих родителей. В документах он после войны указывал национальность «русский» и какую бы то ни было немецкую или латышскую идентичность за собой подчеркнуто отрицал. Другие известные мне потомки хиршенхофцев, переселившиеся в Россию, по-разному обходились со своей немецкой этнокультурной идентичностью — сохраняли ее или избавлялись от нее, — но никто тоже не поддерживал каких-либо контактов с Ирши и его обитателями. В СССР Хиршенхоф как место памяти почти перестал существовать.

А что же уехавшие в Германию колонисты? После 1945 года они долгое время жили в полном отрыве от своей прежней родины. Более того, они были вынуждены покинуть и новые места поселения, когда было восстановлено польское государство и в его состав были включены территории, ранее входившие в состав Германии. Хиршенхофцы переехали дальше на запад и компактно поселились в Нижней Саксонии, в округе Гифхорн недалеко от Вольфсбурга. Они были очень хорошо организованы, у них были земляческие ассоциации, которые помогали им держаться вместе и сохранять свою идентичность. Такие организации были довольно многочисленны в Западной Германии в послевоенные десятилетия, пока были живы первое и

второе поколения вынужденных переселенцев, значительная часть которых надеялась на возвращение. Они постепенно исчезли, особенно после того, как в начале 1970-х годов между Федеративной Республикой Германии и социалистическими странами Восточной Европы были подписаны договоры, по которым ФРГ отказалась от каких-либо претензий на бывшие германские территории и признала нерушимость существующих границ. Шансов на возвращение не осталось (этого не допускали власти тех стран, откуда немцы в свое время уехали или были высланы), остались только память и ностальгия по оставленным родным местам. Хиршенхоф оставался местом памяти, недоступным в качестве географической точки, но вполне осязаемо присутствовавшим в сознании людей, причем не только первого поколения уехавших. Несмотря на политическую свободу, сравнительно дружелюбное окружение и весьма комфортные условия жизни в ФРГ, где после «экономического чуда» выходцы из Хиршенхофа имели уровень благосостояния несравнимо более высокий, нежели тот, который был или мог бы быть у них в Прибалтике, ностальгические воспоминания и желание снова увидеть свои брошенные дома были у многих прибалтийских немцев очень сильны и устойчивы. Однако «железный занавес» не позволял им даже хотя бы навестить Ирши.

2. Перемены

В конце 1980-х и особенно в 1990-е годы, после провозглашения независимости Латвии ситуация быстро и радикально изменилась. Во-первых, в Латвии стали на официальном и неофициальном уровнях вспоминать и переосмысливать свою историю заново. Во-вторых, открылись границы и поездка из ФРГ в Латвию стала делом гораздо более простым, чем раньше (и, что тоже немаловажно, дешевым!). Рассмотрим по порядку обе эти перемены и их значение для темы нашего исследования.

Изменения в области исторической памяти происходили и происходят по-разному в столице и в провинции. В Риге стала осуществляться целенаправленная историческая политика и заметно, что латвийский истеблишмент и правительство стремятся подчеркнуть «европейское» наследие¹⁵. Поэтому они вкладывают много энергии и денег в реставрацию памятни-

¹⁵ Одним из первых, если не первым латвийским архитектурным объектом, внесенным в Список культурного и природного наследия ЮНЕСКО, стал исторический центр Риги. В 2010 году в Латвийский Национальный Реестр Всемирного наследия ЮНЕСКО был внесен, наряду с викингской деревней, исторический центр Кулдиги — города, история которого связана с Тевтонским орденом, Ганзейским союзом, немецким ремеслом и предпринимательством, процветавшими до 1939 года. См. <<http://www.unesco.lv/ru/kultura/vsiemirnoie-nasliedie/vsiemirnoie-nasliedie-1/>> (режим доступа: свободный; последнее обращение 24.11.2014 г.).

ков, которые связаны с прибалтийско-немецкой историей города и края: теперь именно они стали важнейшими туристическими достопримечательностями страны. Памятники и события, напоминающие о Ганзе, о немецких купцах и ремесленниках, важны не только потому, что они привлекают туристов со всего мира и особенно из Германии (международный туризм в Риге переживает бум, помогая городу пережить экономический кризис). Реставрация и даже восстановление полностью разрушенных исторических зданий, таких, как Дом Черноголовых¹⁶, организация выставок¹⁷, выпуск книг¹⁸, проведение конференций и прочие мероприятия, направленные на изучение и реактуализацию истории прежних веков¹⁹, показывают, как политические, научные, исторические и коммерческие интересы Латвии, ФРГ²⁰ и ЕС сегодня складываются в единый вектор, направленный на создание нового образа Риги и ее прошлого, в котором прибалтийским немцам отведена важная и положительная роль. Воспоминание о доминировании немецкой культуры в городе является для латвийского правительства теперь ценным активом, поскольку подчеркивает, что страна и в особенности ее столица были частью западного мира, а не (или не только) провинцией России. Сегодняшняя Рига с ее огромной долей русскоязычного населения, ориентирующегося в значительной мере на память о советском прошлом, осуществляет целенаправленную историческую политику, в которой, как это ни парадоксально, знаки немецкого прошлого играют роль знаков латышского настоящего и будущего, подчеркивая, что латышская Латвия ориентируется на Евросоюз, а не на СССР и не на нынешнюю Россию.

¹⁶ Hackmann J. Metamorphosen des Rigaer Rathausplatzes, 1938–2003. Beobachtungen zur Rolle historischer Topographien in Nordosteuropa // Wiedergewonnene Geschichte: Zur Aneignung von Vergangenheit in den Zwischenräumen Mitteleuropas / P.O. Loew, C. Pletzing, T. Serrier (Hrsg.). Wiesbaden: Harrassowitz, 2006. S. 118–144.

¹⁷ Например, в Латвийской национальной библиотеке в Риге проходила в 2001 году выставка «Немецкое книжное дело в Риге в XIX–XX вв.» («Vācu Grāmatniecība Rīgā 19. 20. gadsimtā»).

¹⁸ Ср. латышский перевод монографии германского историка Клауса Милицера о Тевтонском ордене: *Milicērs K. Vācu ordeņa vēsture / No vācu valodas tulkojis K. Zvirgzdiņš*. Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2009.

¹⁹ Ср. издание материалов международного симпозиума, посвященного культурным связям между прибалтами и немцами: *Das Baltikum im Spiegel der deutschen Literatur*. Carl Gustav Jochmann und Garlieb Merkel; Beiträge des Internationalen Symposions in Riga vom 18. bis 21. September 1996 zu den kulturellen Beziehungen zwischen Balten und Deutschen. Heidelberg: Winter, 2001; двуязычная монография о немецких архитекторах в Латвии: *Balaško A. Vācu arhitekti Latvijā — Deutsche Architekten in Lettland*. Rīga: Latvijas Vācu Savienība, 2013.

²⁰ Динамика присутствия германского бизнеса в экономике Латвии отражена в бюллетене *Lettland: deutsche Unternehmenspräsenz; deutsch-lettische Unternehmen* / Hrsg.: Deutsch-Baltische Handelskammer in Estland, Lettland, Litauen (AHK). Aufl. 1–4. Riga: AHK, 2002–2005.

Важно подчеркнуть при этом, что воссоздание исторического немецкого присутствия осуществляется в публичном пространстве и не опирается на личную или семейную память: живых следов и стариков, которые добром помнят своих прежних немецких соседей и готовы внести эти воспоминания в формируемый заново фонд общественной памяти, в Риге осталось уже слишком мало.

В малых городах Латвии гораздо более важную роль играют индивидуальные инициативы и контакты, но они имеют хорошие шансы на успех тогда и в том объеме, в каком согласуются с политическими интересами местных властей. Так было, например, в ближайшем к Ирши городке Кокнесе: согласно данным брошюры²¹, посвященной партнерству между Кокнесе и Виттингеном (городом в ФРГ, где живет часть потомков колонистов, уехавших из Хиршенхофа в 1939 году), дружба городов зародилась в 1993 году, когда один из жителей Виттингена, Зигфрид Эшер, родившийся в 1936 году в Латвии, приехал в Кокнесе, чтобы вступить во владение наследством — домом своего деда, не уехавшего в свое время и не продавшего свое имущество (благодаря чему внук, согласно латвийскому закону о реституции, имел право на усадьбу). После первого знакомства и возникновения взаимной симпатии между ним и отцами города у кокнесского бургомистра появилась идея установить контакты между Кокнесе и Виттингеном. Состоялся обмен делегациями, затем формальные переговоры, и в 1996 году был заключен договор о партнерстве. В брошюре подчеркивается, что огромный вклад в установление дружеских отношений между городами и их жителями внесли, прежде всего, с латвийской стороны — пожилая кокнесская учительница немецкого языка Расма Новика, которая многое помнила и умела хорошо рассказывать, а с германской стороны — владевший латышским языком виттингенский житель Вильгельм Ротвайлер, чья фамилия однозначно указывает на то, что его предки жили в Хиршенхофе (хотя, возможно, его дед или отец переселился из колонии в близлежащий город Кокенхузен/Кокнесе)²². В брошюре рассказывается о «непрерывных совместных проектах», «обмене делегациями» и «дружеских личных контактах», которыми были заполнены последующие десять лет. Часть совместных мероприятий описана: это выступления музыкальных ансамблей, посещение руин старинного замка, пикники и проч., но о бывшей немецкой колонии, которая находилась совсем рядом с Кокнесе и к которой имели отношение активисты партнерства, на страницах брошюры, изданной в 2006 году, не упоминается, как не упоминается в ней ни немецкое название города Ко-

²¹ KOKNESE — VITINGENA partneri Eiropā. KOKNESE — WITTINGEN Partner in Europa. <http://www.koknese.lv/doc/koknese_vitingena.pdf>.

²² Фамилии и имена хиршенхофских колонистов каждого поколения приведены, в частности, в кн.: *Gangnus G. Op. cit.*

кенхузен, ни вообще что-либо, относящееся ко времени до 1993 года. Это нельзя, конечно, считать свидетельством того, что о Хиршенхофе за все эти годы вообще не заходила речь. Скорее, можно предположить, что отцам городов (а именно они стояли за юбилейным изданием) была важна не история, не память о былом небезоблачном соседстве латышей с немцами, а тема нового, безоблачного партнерства между ними, которое, по признанию латвийской стороны, облегчало интеграцию жителей Кокнесе в Европейский союз: например, в 1999 году кокнесские фермеры стажировались в Виттингене в рамках программы Phare-Tacis, виттингенцы подарили своим партнерам спортзал, который те в силу экономических трудностей никогда бы не смогли построить сами, и т.д. Таким образом, возникнув первоначально из ностальгии, официальная (и, возможно, неофициальная тоже) новая связь между этими двумя малыми городами обращена прежде всего в настоящее и будущее, а история представлена в ней либо абстрактно — через традиционную музыку, не имеющую локальной привязки, — либо через экскурсии и костюмированные действия на фоне замковых руин и прочие средневековые сюжеты, с которыми никто из ныне живущих никакой личной связи не имеет. Сегодня, еще 10 лет спустя после выхода брошюры, партнерство между Кокнесе и Виттингеном лишилось и той локально-исторической составляющей, которую олицетворяли в первые годы пожилые люди (Р. Новика, В. Ротвайлер), помнившие довоенные времена.

В сельской Иршской волости ситуация иная. Большинство историко-политических инициатив и проектов, направленных на европейскую интеграцию Латвии, практически не достигает провинции. Там, где присутствие немцев было менее заметно в прошлом и где сейчас меньше достопримечательностей, привлекательных для западных туристов, менее ощутимы и новые усилия по воссозданию памяти об этом присутствии.

Поэтому в сельских районах работа памяти и трансформация коллективных исторических представлений идут гораздо более спонтанно. Интенсивность и направленность этих процессов во многом зависят от установок даже не элит, а отдельных индивидов, играющих ведущую роль в локальных сообществах, будь то главы администраций, директора школ и музеев или местные предприниматели. Такие политические ценности, как евроинтеграция, борьба с советским прошлым и т.п., играют гораздо меньшую роль, чем в городах и особенно в столице. Чтобы узнать больше о меняющемся отношении латышей и немцев к их общему прошлому и настоящему, надо

анализировать его на низовом уровне²³.

Перемены начались, когда в годы перестройки начали медленно открываться двери в «железном занавесе». Для истории Хиршенхофа эти перемены в огромной мере были связаны с деятельностью Густава Гангнуса²⁴, который, родившись в колонии, был полуторогодовалым ребенком увезен из нее в 1939 году в Германию и уже в зрелом возрасте заинтересовался прошлым своей семьи. Исследование семейной истории привело его не только в ряд западногерманских архивов, где он выяснил, откуда его (и не только его) предки приехали в XVIII веке в Лифляндию, но и в Немецко-балтийское генеалогическое общество в Дармштадте. Там ему подали идею перейти от чисто генеалогической тематики к краеведческой. Балтийская историческая комиссия в Гёттингене, где он выступил с докладом, поддержала его проект, что позволило ему в 1987 году совершить первую поездку в Ригу. Там он сделал доклад в АН ЛССР, в котором представил достигнутые к тому времени результаты и познакомился со своими дальними родственниками и земляками, жившими в Латвии. Один из них отвез его (в нарушение визового режима) в Ирши и окрестности, где они обнаружили, что немецкая церковь в Лиепкальне/Линдау и кладбище рядом с нею еще существуют, хотя и пребывают в запущенном и полуразрушенном состоянии. Так был возобновлен спустя почти полвека контакт между бывшими колонистами и бывшей колонией.

После того как Латвия отделилась от СССР и западные туристы смогли приезжать без опаски и самостоятельно выбирая себе цель и маршрут, среди первых приехали те, кто покинул страну полвека назад, а также их дети. По рассказам участников этих первых встреч, появление немцев в Хиршенхофе вызвало некоторую тревогу у местных жителей, плохо знавших подробности событий 1939 года, но наслышанных о праве реституции. Приехавшие (из них многие еще помнили латышский язык) успокоили их, объяснив, что усадьбы и всё, что в них имелось, были не реквизированы, а проданы на добровольном и законном основании, поэтому никаких притязаний на свою прежнюю собственность они не заявят: они хотят лишь увидеть все это снова и показать своим детям. И действительно, вечером того же дня они уехали.

²³ В историографии Прибалтики, насколько мне известно, такая практика на уровне повседневных межличностных отношений практически не изучается, поэтому в данной работе опора на литературу оказывается невозможной. Обзор работ по истории историографии Прибалтики см. в: *Pistohlkors G. von. Baltische Geschichtsforschung in drei Generationen; Rückblick auf die baltischen Historikertreffen in Göttingen seit 1947 und die Arbeit der Baltischen Historischen Kommission // Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands. Bd. 55. Jg. 2009 (2010). S. 243–268.*

²⁴ Дальнейшие сведения в этом абзаце сообщены мне Густавом Гангнусом в личных беседах и письмах.

После этого каждое лето стали приезжать целые автобусы, полные людей, получивших в Германии название Heimwehtouristen — «туристов-ностальгиков». Важно, что такие путешествия происходят именно в летнее время: это показывает, что едушие из Германии люди воспринимают поездки в Прибалтику не как возвращение домой и не как паломничество, а именно как приятное и интересное туристическое путешествие, для которого хорошая погода имеет большое значение. Помимо удовольствия, погода важна еще и потому, что многие дороги в тех местах, куда они едут, не заасфальтированы, и если они будут размыты, туристический автобус может застрять.

Обычно в группу объединяются 20–30 человек — выходцы из разных мест Литвы, Латвии и Эстонии и их младшие родственники. Тур выстраивается так, чтобы посетить и крупные города, особенно Ригу, и наиболее интересные провинциальные достопримечательности, так сказать, «общетуристического» характера, и, конечно, все населенные пункты, где жили участники или их предки. Таким образом, путешественники имеют возможность не только посетить «свои» места, но и показать их друг другу.

Что же эти ностальгирующие туристы могли увидеть, приехав в Ирши? Большинство зданий, построенных некогда колонистами, если не заняты новыми жильцами, то разрушены полностью или частично и представляют собой печальную картину запустения.

Что можно делать, приехав в такое место, особенно если учесть, что с уходом старшего поколения возник языковой барьер, не позволяющий свободно общаться с местными жителями, из которых лишь единицы владеют в той или иной степени немецким языком? Прежде всего, участники тура, конечно, фотографируются на фоне того, что осталось от прежних времен. Приглашать чужих в дом в Латвии не принято, заходить без приглашения — тем более, поэтому внутрь своих бывших домов туристы обычно не попадают. Можно осмотреть пустующие постройки, вспомнить и рассказать друг другу, где что было раньше. В качестве сувенира один из приехавших в 1990-е годы подобрал в церкви и увез в Германию балясину от лестницы на проповедническую кафедру. По мере того как с годами старшее поколение утрачивало мобильность, а у младшего появились мобильные телефоны, возникло еще одно важное занятие во время поездки: люди звонят престарелым родственникам, оставшимся в Германии, и рассказывают им о том, где в данный момент находятся и куда направляются: «Тётя Эрна, мы уже проехали Большую Аллею и сейчас поворачиваем к Церкви. Потом пойдем на Кладбище». Младшие, таким образом, совершают путешествие не только за себя, но и за тех, кто уже не смог поехать, и с помощью телефонных репортажей с места, произнося дорогие, вызывающие много воспоминаний названия, позволяют старшим как бы участвовать в поездке в режиме реального времени, а не только увидеть ее потом в фотографиях и видеозаписях.

Довольно скоро пришло осознание того, что посетить и увидеть прежнюю родину снова — недостаточно. У хиршенхофцев и их потомков оформилась потребность как-то обозначить свое присутствие в этом месте. При этом, как рассказывал Густав Гангнус, важно было подчеркнуть, что речь шла ни в коем случае не о претензии на присутствие в современности, а только о присутствии в истории. Собрав деньги, они заказали и в августе 1992 года установили возле дома, сохранившегося лучше других (в нем раньше была администрация немецкой колонии, а теперь квартиры), памятный камень. Он не содержит патетических эпитафий, призывов к памяти или аллегорических изображений. Лапидарная надпись на нем просто сообщает о том, что немецкая колония существовала здесь определенное время в прошлом: «Hirschenhof Deutsche Kolonie 1766–1939»²⁵. Кому сообщает? В первую очередь тем, кто читает по-немецки, т.е. — не латышам, а приезжающим немцам. Не продублировав надпись на латышском языке, они сознательно или неосознанно увековечили память о Хиршенхофе именно для себя и своих потомков. Именно они теперь, приезжая, фотографируются на фоне этого камня.

Однако установка памятного знака не осталась событием «чисто немецким», а стала на несколько часов событием латвийским и даже государственного масштаба: на открытии камня выступил один из министров (тоже потомок колонистов из Хиршенхофа), телевидение передавало об этом сюжет в новостях. Для жителей Ирши это стало сигналом, что времена изменились и новые власти на воскрешение памяти о немецкой колонии смотрят благосклонно.

Началась постепенная трансформация исторической памяти жителей Ирши — по крайней мере, у некоторых из них. Точно датировать его начало трудно, как трудно и сказать, какой фактор имел большее значение — ежегодные визиты немецких «туристов-ностальгиков» или однократный приезд министра и телесюжет об установке памятного камня, вызвавшие ощущение значимости и позитивной окраски самой этой темы. Так или иначе, появились две энтузиастки из числа окрестных жителей, заинтересовавшиеся историей немецкой колонии, — Валда Калныня и Ивета Хвецковича. Они стали для гостей из ФРГ важнейшими партнерами по диалогу, гидами и помощницами на месте. Обе эти женщины закончили университет и, по словам Валды Калныни, учительницы на пенсии, именно благодаря гуманитарному образованию приобрели историческое сознание, побуждающее их восстанавливать то знание о прошлом, которое по названным выше причинам не сохранено или поблекло в исторической памяти жителей Ирши.

За прошедшие десятилетия визиты «ностальгирующих туристов» стали важной статьей туристического бизнеса в Латвии. Экскурсоводы, перевод-

²⁵ Лапидарнее только латышский камень, стоящий неподалеку, у главной площади поселения. Он увековечивает то, что есть, единственным словом: «Irši».

чики, владельцы гостиниц и кафе получили в их лице состоятельную клиентуру. Но это касается преимущественно городов, в первую очередь Риги, а также знаменитых исторических замков. В бедных же и инфраструктурно неразвитых сельских районах, где популярных достопримечательностей нет, этим туристам негде ночевать, негде зачастую даже обедать; в городке Кокнесе в 20 км от Ирши есть туристический центр, но в самом Ирши отеля нет, как нет и финансового потенциала для его строительства. Сегодня, как и 15 лет назад, туристы приезжают в такие места, как Ирши, лишь на неполный день, и их траты на «индустрию впечатлений» ограничиваются покупкой видовых открыток и марок на почте. То, что здесь делается немцами и латышскими энтузиастами для восстановления памяти о прошлом, лишено коммерческой составляющей.

А делаются — понемногу, в меру скромных возможностей, почти на голлом энтузиазме — важнейшие первые шаги. Так, установлены дружеские отношения «на официальном уровне», но выглядит это иначе, нежели в отношениях между городами. Приезжающих в Ирши немецких туристов принимает в здании администрации глава поселения; она прекрасно знает, что перед нею не официальная делегация города-побратима, как в Кокнесе, не чиновники и не бизнесмены, от которых можно ждать инвестиций, а пенсионеры и домохозяйки. Тем не менее госпожа бургомистр заботится о достойном приеме гостей из ФРГ: она приглашает их в актовЫй зал с гербом, где специально для них расставлены стулья и столы, и произносит приветственную речь, в которой подчеркивает важность общего прошлого; прибывших угощают чаем, сыром и печеньем. По меркам местного бюджета это банкет, потому что Ирши — поселение очень небогатое: сельское хозяйство почти мертво, предприятий нет, «нашим олигархом» называется здесь владелица крохотного кафе, в котором всего пара столиков, так что она даже не может пригласить туда всю группу из 20 человек. Тем не менее в 2016 году община своими силами устроила праздник по случаю 250-летия немецкой колонии, на котором вновь присутствовали высокопоставленные лица (включая министра и епископа) и телевидение. На этот раз юбилей воспринимался, по отзывам участников, уже как совместный праздник латышей и немцев.

На неофициальном уровне тоже налажены некоторые контакты. После приезда автобуса первыми интерес к нему проявляют воспитанники местного детдома, надеющиеся получить жевательную резинку, сигареты или пару евро, но постепенно подходит женщина с маленьким мальчиком, про которого она через переводчика сообщает, что он — тоже потомок кого-то из колонистов и даже назван Эдгаром в честь немецкого прапрадедушки. Происходит нечто вроде светской беседы. Затем гостей принимает у себя в саду внучка колониста Хазенфусса, который не уехал в 1939 году, а записался латышом и остался со своей женой-латышкой и детьми в Ирши. Семья

пережила все трудные времена, и сегодня хозяйство у нее в сравнении с остальными очень крепкое. На большом столе, за которым могут усесться все, хозяйка ставит две огромные миски с клубникой и показывает фотографии из семейного альбома. По-немецки она уже не говорит, контактов с родственниками, уехавшими когда-то в Германию, не поддерживает, но эти регулярные визиты к ней оттуда стали уже традицией. Те туристы, кто корнями не связан с Хиршенхофом, осматривают усадьбу как своего рода этнографический музей под открытым небом. Руководитель группы, сам уроженец Хиршенхофа, проводит маленькую экскурсию по окрестностям, показывая типичные виды сельскохозяйственных построек, рассказывая о топонимах, прежде использовавшихся немцами, и о том, кто теперь живет в их домах. В бывшем его доме живут три семьи, но на крыльцо никто не выходит. Он предполагает несколько причин, но о враждебности речь не идет. Скорее, говорит он, дело в том, что один из жильцов пьян, другая в отъезде, а третья стесняется своей бедности. Становится ясно, что всех этих людей он знает лично или по крайней мере всё подробно разузнал про них. Это, конечно, не полноценные отношения, но шаг к ним. По словам местной жительницы, несколько семей в Ирши поддерживают контакты с потомками колонистов в Германии, однако трудно оценить интенсивность этой переписки, особенно теперь, когда в ФРГ умерло большинство коренных хиршенхофцев, знавших латышских соседей и их язык, а в Ирши умерло большинство людей, знавших немецких соседей и их язык.

Иногда с обеих сторон шагов навстречу друг другу делается больше, иногда меньше. Если они делаются, то мотивация одна: память. Однако память разная. У потомков колонистов десятилетиями сохранялась личная, семейная, родовая память о прошлом, связанном с этими местами. У большинства латышей, живущих ныне в этом месте, как правило, соответствующих воспоминаний почти или вовсе не было: одни семьи прибыли уже после отъезда немцев, другие, местные, имели причины не поддерживать коллективное воспоминание о прежних соседях. Однако историческое сознание у некоторых жителей Ирши и окрестных поселений есть, и в этом сознании за последние четверть века укрепилась мысль о том, что они живут в месте, в прошлом которого немецкая глава тоже важна. Кроме того, стали приезжать и латышские туристы, предки которых были так или иначе связаны с Хиршенхофом: они тоже интересуются этой главой своего семейного прошлого и задают вопросы, на которые мало кто может дать ответ.

О содержании этой главы, какой ее хотели бы видеть немцы, я спросил Густава Гангнуса. От своей матери-латышки он выучил в свое время, уже в Германии, латышский язык, и это позволило ему осуществить написание подобной главы для истории Латвии в самом буквальном смысле: он вставил в исторический раздел статьи об Ирши в латышской «Википедии» сравнительно большой текст о немецкой колонии, а также фотографию немецкой

церкви²⁶. Но, говоря о камне, он подчеркнул: при его установке и выборе надписи замысел был не в том, чтобы «вспомнить» или «напомнить», какие хорошие были отношения между немцами и латышами. Все помнят и не пытаются забывать (или заставить кого-то забыть) о том, что отношения эти были, мягко говоря, разными, всегда асимметричными и по большей части — достаточно отчужденными, т.е. в истории этого соседства нельзя вспомнить много совместного, общего и при этом важного, положительно нагруженного. Но речь не шла и о том, чтобы «напомнить» о каких-нибудь старательно замалчиваемых темных страницах, осудить или исправить какую-нибудь несправедливость: о воздаянии за грабежи времен Первой мировой войны никто не говорит, а в 1939 году колонистов не выгоняли и не грабили. Их отъезд был добровольным, а собственность была отчуждена легальным порядком.

Восстанавливаемая с помощью камня глава, таким образом, не представляет собой конфликтной или конкурирующей версии прошлого ни с фактической, ни с оценочной стороны. В официальной латвийской истории бывшего присутствия немцев в этих местах в принципе никто не отрицал. Что же касается интерпретаций и оценок истории этого присутствия, то даже если мнения расходятся, в спор ныне приезжающие туристы-ностальгики не вступают. В отличие от некоторых представителей довоенных поколений, те западные немцы, чья социализация пришлась на период после 1945 года (а таковы все или почти все, кто ездит сегодня в ностальгические путешествия в Прибалтику), в подавляющем большинстве своем воспитаны так, что не позволяют себе в публичном общении с людьми из завоеванных когда-то Гитлером стран доказывать какую бы то ни было «свою, немецкую» версию истории, где немцы бы представляли в более положительном свете, нежели тот, который был предписан державами-победительницами. Заявление притязаний на положительную роль и место в прошлом допустимо только в самых скромных пределах — лишь покуда оно не начинает походить на повторное заявление притязаний на «место под солнцем» и «жизненное пространство».

Речь, таким образом, идет сейчас только о том, чтобы поставить памятник самому *историческому присутствию* немцев, т.е. утвердить в местной публичной сфере (если можно применить это понятие к разбросанным поселкам и хуторам, из которых состоит Иршская волость) осознание того, что Хиршенхоф на протяжении 170 лет был немецким поселением. Правда, как уже было сказано выше, послание на камне написано не на языке адресата. Что это — пережиток бывшего пренебрежения колонистов к латышскому языку? Боязнь, что надпись по-латышски будет истолкована как слишком навязчивое заявление о себе и своих претензиях? Возможно, не то и не дру-

²⁶ См. <https://lv.wikipedia.org/wiki/Ir%C5%A1u_pagasts> (режим доступа: свободный; последнее обращение 24.11.2014 г.).

гое: один из участников церемонии установки камня сказал мне, что авторы надписи хотели с ее помощью зрительно закрепить немецкое (Deutschtum) в этом месте. Получается, что притязание распространяется всё же не только на далекое прошлое, но в какой-то мере и на настоящее.

С латышской стороны сопротивления — по крайней мере, открытого — это символическое возвращение немцев не встретило. Газон вокруг камня ухожен, в вазах — цветы. Статью в Википедии удалять никто не пытался. Что дает нынешним жителям Ирши освеженная и закрепленная таким способом память о Хиршенхофе? Никакого очевидного ресурса для решения нынешних жизненных проблем или строительства лучшего будущего в этом чужом прошлом для них нет. Однако что-то заставило нескольких энтузиастов им заниматься, а остальных — понемногу помогать или хотя бы не препятствовать. По словам Валды Калныни, латышские жители Ирши сейчас гордятся тем, что «имеют такую интересную историю». Вопрос в том, каким образом они ее «имеют».

По словам пожилого хиршенхофца, «у этих людей нет личных или семейных связей с немцами и немецкой культурой, но гений места, по всей видимости, на них продолжает действовать». Это действие гения места не всегда было одинаково сильным: в советские времена оно подавлялось, а после изменения политической ситуации было значительно усилено немецкими «ностальгирующими туристами», которые, ничего не требуя и не обещая, не проповедуя и не поучая, своим своим эпизодическим присутствием, своим интересом побудили часть жителей Ирши и окрестностей обратить внимание на историю Хиршенхофа и признать, может быть, не столько свою причастность к ней, сколько ее причастность к их собственной истории. Возможно — но это лишь предположение — история, в которой присутствуют немецкие колонисты, выглядит более привлекательной, нежели история, в которой присутствуют одни только латышские крестьяне — крепостные, потом некрепостные, потом колхозные, а потом просто бедные. Возможно, именно это имелось в виду под словом «интересная». Чтобы выяснить это, потребуются дополнительные беседы с жителями Ирши. Пока можно только констатировать, что некоторые из них теперь чувствуют себя ответственными за поддержание именно такой исторической памяти. Точнее, для начала — за ее воссоздание, ведь в Ирши ее почти не осталось.

Понемногу, маленькими, но символически важными шагами, для воссоздаваемой исторической памяти места обеспечивается материальная основа. Из полуразвалившейся бывшей немецкой церкви убрали мешки с химическими удобрениями, так что теперь в нее хотя бы можно войти. О реставрации речь (пока?) не идет, и велик риск, что здание постепенно совсем обрушится, но сейчас оно хотя бы расчищено и доступно для осмотра. Перед церковью кем-то — жителями общины Лиепкалне/Линдау, как считает Валда Калныня, — установлена застекленная табличка на четырех

языках с текстом, рассказывающим об истории прихода и самого храма. Она заросла кустарником, и стекло на ней разбито, но всё же она есть.

Важен прежде всего сам факт наличия таблички, потому что трудно сказать, для кого именно она имеет практическую информационную ценность: латышским туристам, приезжающим сюда, не нужны надписи на других языках, а «ностальгирующие туристы» из Германии благодаря семейной памяти и упомянутым книгам В. Конце и Г. Гангнуса²⁷ знают об истории этих мест порой больше, чем сказано в тексте на табличке, но главное — их интересуют другие сведения: не дата образования прихода, а, например, место захоронения их родственников. Жители Ирши могут показать, где находится кладбище («Вот тут справа — обычное, там слева — немецкое»), но отыскать нужную могилу на нем нелегко: немецкое кладбище заросло, большинство крестов и надгробий на нем упало или покосилось. Одинаковых фамилий встречается много, и всё это родня в каком-то колене, но — не те, кого ищут. Отчаявшись найти «своих», гости всё внимание обращают на свежую могилу. Она — тоже символ: раз кто-то сегодня хоронит на немецком кладбище, значит, связь не совсем оборвана. Но фамилия покойного никому в группе ничего не говорит. Становится ясно, что кладбище в нынешнем виде не способно служить полноценным местом воссоединения с прошлым: здесь больше лакун, чем искомой ткани, связующей людей, ныне живущих в Германии, с их предками, жившими в Хиршенхофе. Нужно что-то другое, какое-то более полное и хорошо функционирующее место информации и коммуникации.

В школе в Ирши учителя и ученики уже давно собирали материал для музея этого населенного пункта. Постепенно к нему стал добавляться особый раздел, посвященный колонии. Государство денег не выделяет, спонсора долго не могли найти, поэтому музей делается на общественных началах²⁸. Дело движется очень медленно. Из экспонатов, касающихся не-

²⁷ В работе В. Конце содержится, в частности, план колонии, на котором каждый может найти усадьбу своего предка (правда, сопоставить эту карту с местностью сможет не каждый), а в книге Г. Гангнуса — обширные просопографические и генеалогические сведения, позволяющие выяснить родственные и брачные связи между семьями.

²⁸ Для сравнения: в России существует около трех десятков музеев, полностью либо частично посвященных российским немцам или отдельным их поселениям. Среди этих собраний есть временные и постоянные, государственные (муниципальные), общественные, в том числе школьные, и частные. Некоторые из них возникли еще при советской власти. Кроме того, в 2011 году при участии Немецкого культурного центра им. Гёте в Москве был создан виртуальный музей в Интернете <<http://www.rusdeutsch.ru/?museum=4>> — это проект Международного союза немецкой культуры, поддерживаемый Министерством регионального развития РФ из средств федеральной целевой программы «Социально-экономическое и этнокультурное развитие российских немцев в 2008–2012 годах». В Германии, в г. Детмольд, есть музей истории культуры российских немцев, созданный в 1996 году репатриантами из бывшего СССР. Финансируется он Объединением по поддержке христианских школ Липпе, которое в 1986 году было организовано тоже немцами — переселенцами из Советского

мецкого Хиршенхофа, собраны пока только вышеупомянутая балясина (пожертвованная тем, кто когда-то ее увез из церкви), некоторое количество фотографий и ксерокопии книги и статей по истории прибалтийских немцев. Гости из ФРГ привозят еще фотографии, ксерокопии документов, жертвуют небольшие суммы; пока денег собрано недостаточно для того, чтобы у музея появились помещение и оборудование. В качестве возможно-го его пристанища рассматриваются либо бывший кабинет труда в местной школе, где на средства родителей ведется затяжной ремонт, либо бывший амбар — постройка с крепкими каменными стенами, но с прогнившей деревянной крышей. Сейчас в нем свален мусор, нет удобств, электричества и отопления, требуется основательный ремонт кровли и пола. Это аутентичная немецкая постройка, и потомки колонистов отдали бы предпочтение ей, если бы не прагматические соображения, говорящие в пользу школьного класса — тем более что из-за депопуляции школа не заполняется. В последнее время частная инициатива получила мощную подпитку: Артис Пабрикс, потомок хиршенхофских колонистов, дважды бывший министром в латвийском правительстве, а ныне представляющий Латвию в Брюсселе, приобрел один из сохранившихся немецких домов в Ирши и создает в нем нечто вроде немецко-латышского клуба.

Какое же будущее может быть у этого немецко-латышского прошлого? В силу естественных причин носителей личных воспоминаний становится всё меньше, но семейная, родовая и историческая память и интерес из-за этого не только слабеют (как констатирует применительно к немецкой стороне Густав Гангнус), но частично, наоборот, укрепляются благодаря новым техническим возможностям — электронной почте, интернет-форумам и т.д. Если в дополнение к сетевым ресурсам, поездкам, фотографиям и памятно-му камню эта новая историческая культура получит опору в виде общедоступного музея, то причастность к ней в принципе сможет расширяться и среди тех, кто не «живет» в Интернете. Хотя Валда Калныня, собиравшая экспонаты по истории края на протяжении многих лет, не уверена в том, что именно музей сыграет важную роль. Выйдет ли содержание коллективных воспоминаний за пределы констатации самого факта исторического присутствия немецких колонистов в Хиршенхофе, т.е. будет ли сконструирована некая новая история о латышско-немецких отношениях в этих местах — нарративная, позитивная, обладающая более чем локальной актуальностью, — пока сказать невозможно.

Союза. В 2011 году благодаря поддержке правительства федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия музей получил большое новое здание, постройка которого обошлась в 1 млн евро. Неподалеку от Ростка (федеральная земля Мекленбург-Передняя Померания) есть музей-усадьба волынских немцев, переселившихся в 1939 году с Украины. В Латвии же постоянных музейных экспозиций, посвященных немцам, насколько мне известно, сегодня нет.

3. Выводы

Во-первых, как показало исследование этого случая в небольшом сельском сообществе в Латвии, к локальной коллективной исторической памяти могут «добавляться» новые (на самом деле, конечно, хорошо забытые или долгое время неактуальные старые) главы. И происходить это может без целенаправленной исторической политики государства, без материальной базы, обеспечиваемой правительством или бизнесменами, без перспектив коммерческой или политической выгоды. Достаточно оказывается сочетания локального фактора в лице двух энтузиастов, внешнего фактора в виде ежегодных приездов групп «ностальгирующих туристов», причем групп с меняющимся составом, но с неизменно скудными организационными и материальными ресурсами, да еще, может быть, приезда министра и телевидения раз в четверть века. Специфический ностальгический интерес к определенным страницам прошлого Ирши — интерес, не похожий на чисто туристический и при этом лишенный всякой агрессивной, реваншистской или реституционистской составляющей, — способен постепенно пробудить в местных жителях если не подобную же ностальгию, то, во всяком случае, готовность к частичной ревизии своей картины актуального прошлого.

Во-вторых, в коллективной исторической памяти восстанавливаемая «глава», которая хронологически достаточно длинна (более полутора веков), может содержательно быть и весьма лаконичной: в данном случае она сводится к фразе «Здесь в 1766–1939 годах была немецкая колония Хиршенхоф». Эта глава не содержит нарратива, не содержит морали, не содержит образцов для подражания или каких-то референтных пунктов, к которым можно было бы привязать что-то, актуальное сегодня (как в Риге или Кокнесе). Поэтому функция ее для латышского населения Ирши (в отличие от немцев — потомков колонистов) пока неясна, но, возможно, проявится в будущем.

Наталья Самутина,
Оксана Запорожец

ГОРОДСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ КАК ПРОСТРАНСТВО КОММУНИКАЦИИ: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ БЕРЛИНА В КУЛЬТУРЕ СТРИТ-АРТА

Введение

Берлин и граффити, Берлин и стрит-арт в одном предложении не удивляют сегодня никого¹. На протяжении последних двух десятилетий Берлин создал себе стойкую репутацию европейской столицы во всем, что касается культуры «неофициальных» уличных изображений и их своеобразной экономики². В современную историю этого бесконечно меняющегося города вписаны и бурное развитие европейского граффити-движения с конца 1980-х — начала 1990-х годов, и стрит-арт, набравший популярность с начала 2000-х, и то пока не очень активно описанное, хотя очевидное любому наблюдателю, современное состояние городской среды Берлина, которое мы предлагаем обозначить термином «насыщенность». Эту насыщенность производит одновременное присутствие в городе, взаимное наложение и переплетение самых разных практик и техник создания, условий производства и агентов-производителей «неофициальных» уличных изображений.

Наше исследование культуры уличных изображений в Берлине было закономерно связано с вопросом, на чем основана эта насыщенность, даже чисто количественно превосходящая все, что исследователю граффити и стрит-арта предлагают современные европейские мегаполисы; из чего она

¹ Статья подготовлена в ходе проведения исследования по проекту НУГ № 17-05-0003 в рамках Программы «Научный фонд Национального исследовательского университета “Высшая школа экономики” (НИУ ВШЭ)» в 2017 году и в рамках государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации «5-100». Первоначальный вариант был опубликован на английском языке: *Samutina N., Zaporozhets O. Berlin, the City of Saturated Walls // Laboratorium. 2015. Vol. 7 (2). P. 36–61.*

² Так, представитель компании — производителя баллончиков с краской Montana говорит в документальном фильме «Непохожий на тебя», что Берлин, так же как и Париж — два самых больших европейских рынка для продукции его фирмы. См.: *Birg B., Regel H. Unlike U. Trainwriting in Berlin. Germany, 2011.*

складывается и какие функции выполняет. Мы исходили из предположения, что изучение и понимание городского визуального языка, чтение ведущихся на нем разговоров, наблюдение за количеством и составом их участников могут многое сказать исследователю о конкретном городе. Мы не просто изучали берлинские граффити и стрит-арт последних лет — мы взглянули на сам город, и в первую очередь на городскую коммуникацию, через граффити и стрит-арт, сделав их инструментом исследования Берлина.

Изучая Берлин через граффити и стрит-арт, мы попытались выделить те факторы в истории и современном устройстве Берлина, которые, как нам представляется по результатам исследования уличных изображений, помогли его неформальному уличному искусству стать языком коммуникации между разными группами горожан. Об этих факторах последовательно идет речь в четырех разделах статьи, начинающейся с описания основных типов «неофициальных» уличных изображений, характерных для современного Берлина. Мы пытаемся показать, что граффити и стрит-арт плотно и если не уникально, то, во всяком случае, довольно специфично вписаны в историю Берлина, в характерные для него способы развития и трансформации городского пространства, в распространенные практики коммуникации между его жителями. Мы выделяем и анализируем роль институций и агентов, поддерживающих и развивающих «неофициальные» городские изображения как часть уникального берлинского культурного ландшафта, осуществляющих их культурный перевод для разных действующих лиц в зонах напряжения, которые, несомненно, возникают в столь активной и мультиагентной коммуникативной среде, как современный мегаполис.

Одновременно мы надеемся, что данный текст позволит открыть новую страницу в разговоре о граффити и стрит-арте как инструментах понимания современного города, сложной системы его коммуникативных отношений, коммерческих возможностей, властных практик и т.д. Поэтому мы уделяем основное внимание коммуникативному значению граффити и стрит-арта в городской среде, в отличие от множества других работ, посвященных их эстетическим, экономическим или законодательным аспектам.

Основу этой статьи составляют материалы полевого исследования, проведенного авторами в Берлине в 2012–2014 годах. Наше погружение в поле началось в 2012 году с небольших рабочих поездок, неизменно приводящих к удивлению распространенностью и разнообразием уличных изображений. Весной 2013 года мы вернулись в Берлин для проведения разведывательного исследования, включавшего серию наблюдений, фотодокументирование граффити и стрит-арта, беседы с местными жителями, посещение тематических экскурсий и выставок. Основной этап полевых работ пришелся на лето и осень 2014 года. К этому моменту были определены приоритетные фокусы исследования, обозначена целевая выборка. В это же время укрепилось наше стремление использовать в исследовании множество методов, сочетание ко-

торых позволяет «ухватить» сложность и многомерность «неофициальных» уличных изображений, включая, в частности, не только пространственный, но и темпоральный фактор (возобновляемость изображений, исчезновение отдельных известных работ или мест, наличие или отсутствие привязки к единичным событиям, вроде фестивалей и протестных акций, и т.д.). К ранее упоминавшимся методам было добавлено полуструктурированное интервью с ключевыми городскими коммуникативными посредниками — с людьми, привлекающими внимание различных публик к граффити и стрит-арту, и с людьми, наблюдавшими развитие стрит-арта в Берлине на протяжении значительного времени. Всего было проведено восемь таких экспертных интервью, семь на английском и одно на русском языке.

Помимо интервью, наш исследовательский инструментарий был дополнен изучением тематических сайтов, материалов социальных сетей и других источников, служащих важными медиа для репрезентации различных форм уличной культуры (видео в YouTube; любительские фильмы, которые снимают сами о себе граффити-райтеры; фэнзины и субкультурные журналы, выходящие крохотными тиражами). И все же, даже обладая разработанным инструментарием, наше исследование во многом оставалось наблюдением с элементами спонтанности, гибко реагирующим на ежедневные изменения берлинских улиц. В нем многое зависело от случая — от нахождения исследователей в нужном месте в нужное время, позволявшего фиксировать стихийные реакции горожан, появление или исчезновение изображений. Особую роль в нем играли незапланированные беседы — обмен репликами с прохожими, которые нередко интересуются людьми, фотографирующими стрит-арт; рассказы многочисленных знакомых — жителей Берлина; разговоры с гидами тематических экскурсий. Кроме всего прочего, аргументация исследования опирается на богатый фотографический материал, собранный нами на протяжении трех лет наблюдений на берлинских улицах.

Насыщенность

Именно «насыщенность» нам хотелось бы с самого начала зафиксировать как отправную точку разговора о Берлине — и о «неформальных» уличных изображениях как инструменте понимания современного города. Объединение граффити и стрит-арта под этим общим термином тоже было сделано осознанно. Между разными типами уличных изображений и разными практиками их производства сегодня во многих контекстах проводятся аргументированные различия и самими авторами уличных высказываний, и исследователями, и жителями больших городов, и законодательством этих городов³. Не всегда, но достаточно часто граффити отличаются от стрит-

³ См. об этом: *Waclawek A. Graffiti and Street Art. L.: Thames & Hudson, 2011; Dickens L. "Finders Keepers": Performing the Street, the Gallery and the Spaces In-between // Liminalities:*

арта характером изображения (граффити-подписи, основанные на псевдонимах райтеров, versus фигуративные изображения в стрит-арте) и типом адресации («закрытая», для своих, versus «открытая», для всех прохожих, всех горожан). Локальный трейн-бомбер, рисующий граффити преимущественно на поездах, отличается от международной звезды стрит-арт сцены (например, по характеру публичности, экономическим параметрам деятельности, отношениям с законом). Гигантский многоцветный мюрал отличается от крошечного политического стикера (функция высказывания, размер и материал изображения и т.д.). Но в первую очередь нам хотелось бы обратить внимание на беспрецедентное по размаху соприсутствие всего этого в современном Берлине — по крайней мере в значительной его части, охватывающей такие районы, как Митте, Пренцлауэрберг, Фридрихшайн, Кройцберг, Нойкельн и, с несколько меньшей интенсивностью, другие⁴. На насыщенность городской текстуры изображениями, посланиями, следами, составляющими в совокупности высокую плотность городской визуальной ткани и вступающими в самые разные отношения с городским взглядом и друг с другом. Кроме того, разумеется, эта неформальная образность всегда находится в активной коммуникации с изображениями другого типа и статуса в городе: с рекламой всех видов, с официальными городскими памятниками, знаками, с фактурами и формой городских поверхностей.

Даже приблизительное описание основных типов уличных изображений и техник, присутствующих на стенах Берлина, может занять немало места — не говоря уже о подробных характеристиках их функций, адресатов, истории в современном городском контексте. Составление такого «словаря» не является нашей задачей. Назовем только несколько наиболее активных компонентов, формирующих насыщенную образность берлинских городских стен. Во-первых, это мюралы, большие изображения (чаще всего символические и фигуративные) международных звезд стрит-арта, таких как Blu, Roa, Os Gemeos, Victor Ash. Некоторые из этих мюралов на протяжении последних лет стали символами города. Они воспроизводятся в туристических путеводителях, в сувенирной продукции, и — что тоже при-

A Journal of Performance Studies. 2008. Vol. 4. No. 1; Young A. Street Art, Public City: Law, Crime and the Urban Imagination. Routledge, 2014; Самутина Н., Запорожец О., Кобыща В. «Не только Бэнкси»: Стрит-арт в контексте современной городской культуры // Неприкосновенный запас. 2012. Т. 86 (6). С. 221–244.

⁴ Распределение граффити и стрит-арта по берлинским районам не поддается однозначным и линейным классификациям: они распространены и в историческом Западном Берлине (Кройцберг, Нойкельн) и в историческом Восточном Берлине (Пренцлауэрберг), они спорадически возникают в самых разных местах в центре (Митте) и покрывают железнодорожные пути почти в любой части города. Их присутствие минимально в полностью перестроенной в последнее время городской среде в районе Потсдамер Платц и в буржуазной части города к западу от его географического центра.

мечательно — в других формах уличных изображений, таких, например, как оформление магазинов и кафе (илл. 1)⁵.



Илл. 1. Мюрал художников Os Gemeos в районе Кройцберг и его репрезентация в граффити-оформлении местного кафе

Во-вторых, это множественные стрит-арт проекты самого разного объема, стиля и характера. Локальные и приезжие художники превратили городские улицы в галерею под открытым небом, а прогулки по Берлину — в квест для посвященных и источник дохода для неформальных гидов. По сведениям сотрудников проекта «Альтернативный Берлин» (Alternative Berlin), в 2013–2014 годах в Берлине одновременно работало не меньше 700 уличных художников (собственное интервью 2014 года, информант R., гид проекта). Стрит-арт проекты выполняются в разных техниках: краска, стенсил, вырезанные из бумаги и наклеенные изображения (paste-up), коллаж, стикер, городская скульптура и т.д. Они могут быть различными по степени концептуальности и фигуративности, по охвату территории, по размеру серии изображений: от сердитой Крошки Люси, персонажа художника El Bocho, гонящейся по всему городу за котом, до цифры 6, которую много лет пишет на временных городских поверхностях художник, прозванный Мистер 6, разъезжая по Берлину на велосипеде с ведром краски. Их можно увидеть на территории галерей, во дворах арт-школ, сквотов и прочих мест «уза-

⁵ Все фотографии в этой статье сделаны ее авторами в Берлине между 2012 и 2015 годами.

коненного» бытования стрит-арта, и просто по всему городу (илл. 2). Наряду с узнаваемыми изображениями известных художников, берлинские стены заполнены и населены десятками тысяч персонажей, картинок и надписей, которые по всем признакам могут быть отнесены к стрит-арту, кому бы они при этом ни принадлежали — знаменитому стрит-артисту, студенту художественной школы или просто какому-нибудь жителю города, решившему попробовать себя в экспериментальной визуальной коммуникации.



Илл. 2. Многообразие берлинского стрит-арта: образы, техники, размеры, места

В-третьих, Берлин остается городом богатой граффити-культуры, в базовом ее понимании — как культуры неформальных сообществ, ориентированной в первую очередь на нелегальные изображения-подписи, размечающие городскую территорию⁶. Его разветвленная транспортная система служит огромным соблазном для трейн-бомберов, многие из которых объединены в высоко квалифицированные, по меркам этой субкультуры, команды (crew). Берлинские граффити-райтеры способны на эффектные коллективные действия, от акций по раскрашиванию поезда целиком (whole train) до рисо-

⁶ Macdonald N. The Graffiti Subculture. N.Y.: Palgrave Macmillan, 2001; Merrill S. Keeping It Real? Subcultural Graffiti, Street Art, Heritage and Authenticity // International Journal of Heritage Studies. 2015. Vol. 21. No. 4. P. 369–389; Brighenti A. At the Wall: Graffiti Writers, Urban Territoriality, and the Public Domain // Space and Culture. 2010. Vol. 13. P. 315–332.

вания, например, граффити-календаря на 2015 год на станции U-Bahnhof «Eisenacher Strasse»⁷. Многие райтеры, такие, в частности, как самая знаменитая и многочисленная берлинская команда 1UP, воспринимают все публичное пространство Берлина как канву для граффити, одинаково охотно практикуя граффити на поездах и надписи на стенах домов. Похожим образом осваивает город самая рискованная городская граффити-команда последних лет, Berlin Kidz, участники которой совмещают граффити с трейнсёрфингом, паркур и городским альпинизмом, и с небывалым размахом покрывают фасады домов в своем родном районе, Кройцберге, красно-синей вязью граффити. Продуманные яркие «куски» (pieces)⁸, эффектные «бомбы» (throw-ups) и не поддающиеся исчислению «тэги» (tags) составляют привычную уже для берлинцев основу визуального городского ландшафта (илл. 3). В Берлине также активно практикуются некоторые способы оставлять следы на городских стенах, не слишком распространенные в других городах: так, гигантские городские брандмауэры служат такому, например, райтеру, как JUST, канвой для тэггинга с помощью огнетушителя, заправленного краской.



Илл. 3. Берлинские граффити: 1UP, Berlin Kidz, JUST и многие другие

⁷ 12 Graffiti & 1 U-Bahnstation: Subway Session Calender 2015. 19.01. 2015. <<http://urbanshit.de/12-graffiti-1-u-bahnstation-subway-session-calender-2015/>> (дата обращения 20.11.2016 г.).

⁸ При переводе граффити-сленга мы используем лексикон российских граффити-райтеров.

Граффити-эстетика стала для современного Берлина не только постоянным визуальным фоном, но и заметным, часто встречающимся элементом дизайна. Больше всего она применяется «на низовом уровне», в оформлении магазинчиков и кафе на первых этажах городских зданий, газетных киосков и фургончиков торговцев едой, стен хостелов, в росписи транспортных средств, в дизайне внутренних интерьеров кафе (илл. 4). При этом используются далеко не только «общепонятные» формы, такие как эффектные персонажи или городские виды — например, интерьер кафе и музыкального клуба Wendel в Кройцберге оформлен характерными для Сан-Паулу тэгами «пишасау» (pixação), которые в Берлине популяризируют все те же Berlin Kidz (илл. 4, верхнее фото в середине). Яркость вывесок, привлекающих внимание покупателей, сравнительная дешевизна этого способа оформления, близость заказчиков и художников, нередко происходящих из одного сообщества, — все это вместе поспособствовало распространению граффити-эстетики в Берлине. Насыщенность визуального ландшафта Берлина граффити-изображениями в значительной мере — результат постепенного вrastания этой эстетики во вкусы жителей города, ее принятия. Еще раз подчеркнем, что ее проводниками и агентами ее романтической коммерциализации становятся самые обычные горожане, от перевозчиков мебели и арендаторов киосков до владельцев хостелов и музыкальных клубов, понимающих, что граффити-стиль — часть берлинской «крутизны» (coolness), привлекающей людей в город.



Илл. 4. Граффити как элемент дизайна на «низовом уровне»



Илл. 5. Говорящие стены Берлина

Наконец, последний, хотя ничуть не менее активный, чем прочие, слой визуальной ткани, сетью накинутый на берлинские стены и поверхности, — это множественные мелкие росчерки маркерами и карандашами: политические лозунги и призывы, рисунки, юмористическая и любовная переписка, достигающая максимальной насыщенности на временных поверхностях, но в целом присутствующая практически везде. «Превратим город в блокнот для рисования!» («Transform your city into a sketchbook») (илл. 5) — этот лозунг не кажется нам случайным в городе, сделавшем на очередном витке своего развития ставку на «креативность» и не очень стремящемся тратить деньги на очистку стен. Одновременно стены становятся медиумом городской коммуникации по самым актуальным общегородским и районным проблемам: так, в недавно ставшем модным районе Нойкельн, где в последние несколько лет стремительно дорожает жилье⁹, мы видели немало призывов бороться с джентрификацией, а в Кройцберге нередко анти-туристические граффити и стикеры. Жители Берлина разговаривают друг с другом посредством стен, и эти разговоры достаточно разнообразны, имеют

⁹ Двое наших информантов, жители интернациональной студенческой квартиры-коммуны в Нойкельне, признались в интервью, что буквально «сидят на чемоданах» — преимущественно эмигрантский район с дешевым жильем на глазах перестает быть таковым в результате джентрификации.

много функций и не сводятся только к рекламе услуг или стикерам локальных клубов — хотя и последних берлинские поверхности содержат немало.

Формально законодательство в отношении нелегальных изображений в Берлине является жестким: порча чужой собственности карается высокими денежными штрафами и даже, в ряде случаев, тюремным сроком до двух лет¹⁰. Но «негласный общественный договор» выглядит иначе. Реальная практика применения этих законов, как подтвердили нам все опрошенные информанты из граффити-среды, достаточно мягкая (за исключением граффити на поездах) и отражает сложившееся в городе отношение к граффити и стрит-арту как к неизбежному элементу современной городской культуры — к тому же, во многих случаях, приносящему доход, становящемуся узнаваемым стилем и городским брендом, объектом туристического интереса, и т.д. Предельная мультиагентность культуры уличных изображений в Берлине также способствует не только насыщенности берлинских стен, но и фактической декриминализации значительной части уличных художественных практик. В особенности это касается наиболее эфемерных их разновидностей, таких как бумажные коллажи и наклейки (*paste-up*): если вас застали за наклеиванием на стену картинки, максимум, что вам придется сделать, — это самому удалить наклеенное со стены. Техника наклеивания бумажных изображений максимально распространена в последние годы на стенах берлинских домов: помимо стрит-арта, там можно встретить распечатанные и наклеенные стихи, фотографии, объявления и т.д., вплоть до детских рисунков, которые явно доставляют их авторам больше радости на стене дома или в парадном, чем в папке в столе.

Задавая себе вопрос о причинах и функциях этой насыщенности городских стен изображениями и текстами, о том, что она говорит нам о Берлине как о варианте современного большого города, мы не в последнюю очередь отталкивались от того контрастного примера, который близок нам в силу места жительства и языковой принадлежности. Это Москва, которая разительно отличается от Берлина по такому параметру, как насыщен-

¹⁰ Нелегальными по-прежнему считаются все уличные изображения, на нанесение которых у их авторов нет письменного разрешения владельца здания. Однако в последние годы законодательство и практика правоприменения в отношении уличных изображений неизменно смягчаются. Проведено важное различие между изображениями, выполненными краской или вырезанными на поверхностях, т.е. наносящими зданиям и транспорту ущерб (они считаются граффити), и прочими изображениями — например, бумажными коллажами. Кроме того, в середине 2015 года полиция Берлина опубликовала важное разъяснение о том, что признания в любви и политические лозунги или символы не считаются граффити. На сайте берлинской полиции всегда приведены подробные сведения о действующем законодательстве для потенциальных граффити-райтеров, а также содержатся предложения молодым людям рисовать на специально выделенных легальных стенах и участвовать в граффити-фестивалях: <<https://www.berlin.de/polizei/dienststellen/landeskriminalamt/lka-2/artikel.320396.php>> (дата обращения 20.11.2016 г.).

ность неформальными уличными изображениями. В Москве, как и в любом мегаполисе, сегодня тоже существуют и активная граффити-среда, и стрит-арт. Однако функцию горизонтальной публичной коммуникации в городе эти практики пока не выполняют — город не насыщен изображениями, представляющими другие голоса, кроме голосов коммерции и власти. В значительной степени «отчужденный» город с гиперсемиотизированным центром и политикой «заметания всех следов» (в центре Москвы регулярно уничтожаются все неформальные изображения, включая даже тэги на временных строительных поверхностях) не оставляет места для видимого проявления других взглядов на публичное пространство. Граффити находят возможность стабильного существования только вдоль железнодорожных линий и в нескольких «хофах» — скрытых карманах внешне тотально контролируемого и «вычищенного» города.

Ситуация со стрит-артом и лучше, и хуже одновременно: несколько лет назад городские власти решили укрепить свой имидж за счет модной культуры уличных изображений. С одной стороны, результатом стало проведение стрит-арт фестивалей, публичных лекций, появление в городе некоторого количества санкционированных муралов, порой (но далеко не всегда) принадлежащих хорошим стрит-арт художникам. С другой стороны, понимание задач стрит-арта городскими властями ограничилось исключительно декоративной функцией. Искусство, которое они поддерживают заказами и разрешениями, как правило, лишено какого-либо проблемного содержания и в целом неудержимо стремится к функции панно на тему мира и процветания, украшавших в свое время торцы советских домов. Портреты деятелей искусства и абстрактные композиции, выполненные в рамках таких акций, как фестиваль стрит-арта «Лучший город Земли» (2013–2014), репрезентируют искусство «красивое» (с точки зрения доминирующего вкуса), «высокое» (портреты классиков) и совершенно беспроblemное. Само проведение таких акций, если судить по интервью одного из организаторов «Лучшего города Земли» со стороны стрит-арт сцены, владельца галереи Street Kit Сабины Чагиной¹¹, выявляет в первую очередь предельную заорганизованность и запутанность всех властных и имущественных отношений в пространстве города, страх и недоверие людей, занимающих пусть даже минимальные посты, по отношению к новым практикам, к любым добровольным инициативам вообще. Современный «официальный» московский стрит-арт свидетельствует о проблемах с коммуникацией между группами горожан, с признанием права других на высказывание о городе и в городе. Не случайно с ним резко контрастируют, и по размеру работ, и по их содержанию, человеческие и эфемерные нелегальные проекты лучших

¹¹ Кирилл Кто, Чагина С. Вся правда об ЛГЗ. 18.02.2014. <<http://www.vltramarine.ru/mag/streetart/interview/1787>> (дата обращения 20.11.2016 г.).

московских уличных художников — парадоксальные надписи на городских поверхностях от Кирилла Кто; маленькие осенние кленовые листья, появляющиеся в самых неожиданных местах в центре города, от Кости Августа; яркие геометрические этюды от авангардного проекта Aesthetics, буквально взрывающие унылое заброшенное пространство бетонных заборов и гаражей на городских окраинах и в пригородах. Но, сколь бы они ни были удачны сами по себе, эти проекты и отдаленно не создают чего-то подобного берлинской «насыщенности», в исторических и современных причинах и функциях которой нам предстоит разобраться.

Подвижный город, говорящий город

Специфика уникальной конфигурации городской культуры Берлина, существующей и помимо стрит-арта, в первую очередь обратила на себя наше внимание. Это желание оговорить «особенность» Берлина в ряде отношений возникает у многих из тех, кто его изучает. Перефразируя Бернда и Хольма, написавших характерное: «...конечно, Пренцлауэрберг является примером джентрификации, но джентрификации особого типа»¹², можно говорить о Берлине как о городе, переживающем многие состояния современных городов: городскую экспансию, открытие новых городских территорий, джентрификацию, маркетизацию, — но переживающем их на свой манер. Конечно, уникальность Берлина отчасти искусно создается современными профессионалами, в чьи задачи входит позиционирование Берлина на глобальной арене. Экзотизация Берлина — действенный способ повышения его привлекательности для новых жителей, туристов и инвесторов: «Толерантность к сексуальным, социальным и культурным различиям и всевозможным альтернативным практикам стала для Берлина важной частью его саморепрезентации»¹³.

И все же неправомерно говорить о специфике Берлина лишь как об успешной маркетинговой стратегии. Во-первых, как признает в книге о Берлине Дженис Вард, в современном городе «локальность и виртуальность неразрывно связаны друг с другом»¹⁴. Во-вторых, уникальная история Берлина вносит значимый вклад в развитие ряда его специфических черт или как минимум в придание общему особенного значения. Берлин «...в значительной степени отличается от других западноевропейских столиц. Он отличается своим опытом “столичности”, своей историей как ин-

¹² Bernt M., Holm A. Gentrification of a Particular Type. The Case of Prenzlauer Berg // Atkinson R., Bridge G. (eds). Gentrification in a Global Perspective. L.: Blackwell, 2005. P. 106–125.

¹³ Allon F. Ghosts of the Open City // Space and Culture. 2013. Vol. 16. P. 293.

¹⁴ Ward J. Post-Wall Berlin. Borders, Space and Identity. Palgrave Macmillan, 2011. P. 252.

дустриального центра, своими зданиями»¹⁵. Наконец, в-третьих, современный образ города во многом складывался стихийно, снизу вверх, усилиями множества игроков и инфраструктур, а не только действиями городских властей и профессионалов, создающих бренд города. Берлин во многом был и остается городом «городских первооткрывателей», охотников за новыми местами и городским опытом, как связанным с практиками уличных изображений, так и прочим. Сами берлинцы различают и фиксируют в памяти эти «волны» различных городских состояний, сменяющих друг друга в этом городе с особенной быстротой в течение последних двух с половиной десятилетий, с момента падения Стены:

«У туризма в Берлине есть четкая дата — это 2004 год и приход Easy Jet. До этого туризм — это были такие экстремалы, ...а еще раньше — он же был особой военной зоной».

Собственное интервью 2014 года, информант Н., композитор, живет в Берлине с 1994 года.

«...Мы впервые начали “бомбить” поезда в западной части города в 1989 году. Это была небольшая и очень мотивированная группа райтеров <...> Падение Берлинской стены и увеличившиеся возможности способствовали появлению нового поколения райтеров, до этого времени не слишком веривших в себя <...> Райтеры со всего Западного Берлина ехали на восток. Совершенно неожиданно ты мог увидеть на поезде новые имена, такие как SNOR, BOLE, INKA, TOUR, REW, ESHER и CRASE. Я вынужден назвать лишь некоторые из них, поскольку абсолютно невозможно перечислить всех. Благодаря такой активности надписи на поездах в Берлине достаточно быстро приобрели популярность и стали самостоятельной культурной сценой».

Poet, один из пионеров берлинской граффити-сцены¹⁶.

Особенности городской жизни, «того, как люди живут в городе, каковы их привычки и культура, как они воспринимают чужаков, каковы их сходства и различия»¹⁷, являются и средой, и полем возможностей для граффити-райтеров и уличных художников, и не в последнюю очередь, результатом их ежедневных попыток «раскрасить серые будни»¹⁸. Среди

¹⁵ Huyssen A. The Voids of Berlin // Critical Inquiry. 1997. Vol. 24. No. 1. P. 59.

¹⁶ Power of Style: Berlin Stylewriting. Aschaffenburg, Germany: Publikat Verlag, 2003.

¹⁷ Pile S. Real Cities: Modernity, Space and the Phantasmagorias of City Life. Sage Publication, 2005. P. 2.

¹⁸ «Всегда найдутся люди, которые позаботятся о том, чтобы города оставались разноцветными» — говорит один из рассказчиков в документальном фильме граффити-команды 1UP «One United Power» (Германия, 2011). Кстати, обращает на себя внимание то обстоятельство, что, адаптируя преимущественно черные латиноамериканские *pixação* для берлинских стен, Berlin Kidz выбрали красный и синий цвета, особенно ярко смотрящиеся вместе на серых и белых городских поверхностях.

множества обстоятельств и событий, способствующих визуальному насыщению города и принятию этой насыщенности его жителями, мы хотели бы выделить опыт самостоятельного распоряжения горожанами пространством города — его масштабной «перекройки» конца 1980-х — начала 1990-х, повлиявший на культуру городской коммуникации и использования публичных пространств.

Падение Стены и объединение Германии дало толчок масштабному переустройству города, и прежде всего изменению его «социальной архитектуры» — практик пользования городом, да и просто его заполненности. В это время жители города в очередной раз пришли в движение. Одни уезжали из города: «В конце 1990-х Берлин ежегодно покидали около 20 тыс. человек. Только в начале 2000-х этот процесс приостановился. На тот момент население Берлина составляло 3 млн 400 тыс. человек»¹⁹, другие приезжали в него, третьи перебирались в новые районы. В Берлине стремительно появлялись «городские пустоты»²⁰ — пустые пространства, заброшенные здания, оставленные владельцами квартиры. Значительная часть этих пустот образовалась в связи с массовым переездом жителей Восточного Берлина на Запад — в поисках работы и лучших условий жизни: «В какой-то момент из-за массовой миграции берлинцев на Запад в городе без хозяев остались 130 тыс. квартир»²¹. На протяжении десятилетия освободившиеся пространства заполнились новыми жителями.

В принципе, в начале 1990-х годов в Берлине не произошло ничего радикально нового. Самозахват или сквотирование — неотъемлемая часть опыта современных городов и прямое следствие изменения логик пользования городом в послевоенное время или в период деиндустриализации. В этих случаях пустые пространства становятся «неотъемлемой частью современного общества, в котором люди присваивают себе право самостоятельно распоряжаться городским пространством — офисными зданиями, фабриками, театрами и барами, а также домами»²². Однако в Берлине впечатляет и предшествующий опыт (так, события начала 1990-х описываются как третья волна сквоттинга в Берлине), и масштабы присвоения пространства: «Группа очень разных молодых восточных и западных немцев устроила что-то вроде социального эксперимента и создала собственную версию объединенной Германии на территории, на время оставшейся без управления. Почти 130 тыс. зданий были захвачены в Восточном Берлине вскоре

¹⁹ Ward J. Berlin, the Virtual Global City // Journal of Visual Culture. 2004. Vol. 3 (2). P. 245.

²⁰ Huyssen A. Op. cit.

²¹ Ward J. Berlin, the Virtual Global City. P. 245.

²² Squatting in Europe. Radical Spaces, Urban Struggles / Squatting Europe Kollektive (eds). N.Y.: Autonomedia, 2013. P. 11.

после падения Берлинской стены»²³. Берлин 1990-х, по воспоминаниям очевидцев — это своеобразный городской карнавал со всей карнавальной бешеностью и буйством жизни. Роль городского пространства в это время не ограничивалась ролью сцены, на которой происходит действие. Его, скорее, можно назвать участником происходящих изменений. Назначение мест изобреталось буквально на ходу, иногда сохраняясь за ними на какое-то время, как это было с блошиными рынками, спортивными площадками, пляжами, общественными огородами и техно-клубами²⁴, иногда — меняясь в зависимости от ситуации и фантазии участников событий. У этих экспериментов с пространством фактически не было границ: разница между публичными и приватными пространствами на время перестала быть важной, равно как перестали действовать и ранее привычные ограничения, исключающие из городского пользования «нефункциональные» пространства — крыши, заброшенные участки и многое другое.

Итогом этих экспериментов можно считать и нормализацию трансгрессии — нарушения привычных границ и сценариев пользования городскими пространствами, и создание «продленного» городского пространства — пространства общего пользования, вне привычных границ и конвенций:

«В Берлине 1990-х не было различия между официальными и неофициальными пространствами. Было сложно получить лицензию на ресторан, поэтому рестораны открывались в квартирах. У меня друзья организовали место, которое назвали “Место по удовлетворению первичных потребностей”». Где устраивали тематические ужины совершенно невероятные, пока их не накрыли, где показывали редкие фильмы. Были домашние концерты, были вечеринки на крыше, где играли в мини-гольф, были дискотеки в заброшенных барах — все, что угодно».

Собственное интервью 2014 года, информант Н., композитор, живет в Берлине с 1994 года.

В сегодняшнем Берлине сквоты — скорее часть городской истории и городского воображения, предмет ностальгии и дискурса борьбы с джентрификацией, хотя ряд элементов трансгрессивного «коллективного существования» сохранился и сейчас в таких, например, районах, как Нойкельн. На протяжении исследования в этом районе мы наблюдали и квартиры-коммуны, и вечеринки с открытым входом на первых этажах домов, пре-

²³ Krause K., Schulz O. Our Own Private Germany. 2014. <<https://medium.com/matter/our-own-private-germany-6ce44ac93a7b>> (retrieved 20.11.2016).

²⁴ Colomb C. Pushing the Urban Frontier: Temporary Uses of Space, City Marketing, and the Creative City Discourse in 2000s Berlin // Journal of Urban Affairs. 2012. Vol. 34 (2). P. 131–152; Воронкова Л., Паченков О. Блошинный рынок как «городская сцена» // Микроурбанизм. Город в деталях: сб. ст. / отв. ред. О. Бредникова, О. Запорожец. М.: Новое литературное обозрение, 2014. С. 148–169.

вращенных в небольшие галереи, и совершенно домашнее, коммунальное использование улиц для коллективного просмотра футбольных матчей в импровизированных «кинотеатрах» перед вынесенными на улицу телевизорами. Однако многие возникшие в 1990-х — начале 2000-х годов DIY-пространства — блошинные рынки, пляжи, городские огороды, или места, созданные по их образу и подобию, — плотно вплетены в городскую повседневность и составляют сегодня предмет внимания, гордости и дискуссий городских жителей.

С одной стороны, сегодня эти места напоминают шагреновую кожу, сжимающуюся под давлением девелоперов. С другой стороны, и память о 1990-х, и сегодняшнее использование этих мест закрепляют в представлении городских жителей убежденность в праве принимать участие в распоряжении городским пространством. Неслучайно попытки закрытия подобных мест в последние годы встречают самый резкий отпор берлинцев, отвечающих на угрозы оперативной мобилизацией. Так, горожанам удалось отстоять от застройки и сохранить в историческом виде огромное поле в Нойкельне на месте бывшего аэропорта Темпельхоф: его судьбу решил организованный по настоянию инициативной группы городской референдум. Поле Темпельхоф (Tempelhofer Field) остается местом для городского огородничества, занятий спортом, музыкальных событий и других видов неформальной активности горожан. Активная борьба ведется и за сохранение мультикультурной музыкально-пляжной зоны YAAM (Young African Arts Market) на берегу Шпree. Защита DIY-пространств, варьирующаяся от разовых акций протеста до инициирования городского референдума, убедительно свидетельствует о готовности местных жителей отстаивать свое право на город.

Визуальная насыщенность города поддерживается не только представлением жителей о своем праве на город, но и культурой интенсивной и равноправной городской коммуникации, разворачивающейся в общественном пространстве Берлина. На протяжении полевого исследования, прицельно и последовательно «читая» городские стены и наблюдая за другими их многочисленными «читателями», мы пришли к выводу, что неформальные и нелегальные изображения служат только дополнением и поддержкой этой коммуникации, и без того ведущейся в городе множеством средств. Поверхности Берлина (стены, информационные постеры на щитах, столбы и тумбы, переходы станций метро и многое другое) не только инструктируют прохожего, задавая ему направление движения дорожными знаками и названиями улиц, но и говорят с ним о множестве тем на множестве языков. Иногда баннерные выставки, постеры, стенды, фотографии, павильоны и даже целые музеи под открытым небом рассказывают пешеходам истории (илл. 6), требующие вглядывания, а порой и вслушивания, как это происходит в уличном музее Берлинской стены на Бернауэр-Штрассе, где каждый



Илл. 6. Городские выставки и их зрители

может послушать аудиозаписи рассказов берлинцев о жизни в разделенном городе. Иногда фраза, изображение, цветное пятно лишь окликают пешехода, ненадолго привлекая его внимание. Периодически различные группы городских жителей выходят со своим визуальным материалом, со своими лозунгами или предложениями, с художественными и театральными проектами в людные места и незамедлительно оказываются в зоне внимания и интереса других прохожих. Интенсивная уличная коммуникация в Берлине, участниками которой становятся и туристы, и городские жители, — лучшее доказательство освоенности публичных пространств города различными пользователями, наличия живой и активной городской коммуникативной культуры. Город фактически обсуждается в городе.

Граффити, стрит-арт, другие неформальные изображения и надписи встраиваются в насыщенную коммуникативную среду Берлина, испытывают ее влияние и, в свою очередь, во многом производят и укрепляют ее, в том числе и как культуру использования городского пространства в интересах горожан. Мы разделяем в данном случае точку зрения ряда исследователей на культурное значение этих практик для производства публичного пространства:

Участие в практиках граффити-райтинга или чем-то подобном, или даже просто размышления о присутствии таких форм в городе — это не вопрос выражения мнения или протеста. Это способ создания публичных пространств и

новой культуры пользования публичными пространствами. Ребята, в нашем случае граффити-райтеры, хорошо поняли это. В конце концов, граффити превратились в своеобразный стимул социальных отношений, поскольку они соединяют знакомых и незнакомцев, расширяя территории изображений²⁵.

Вплетенность практик граффити и стрит-арта в канву городской жизни, отношение к этим практикам в Берлине, способы разрешения конфликтов вокруг них могут быть прекрасным поводом для обсуждения городской коммуникации в целом. В этой коммуникации нередко оказываются задействованными различные группы, отстаивающие свое видение города, в том числе мигранты, локальные этнические сообщества. Показательно, что в Кройцберге, с 1970-х годов преимущественно эмигрантском, турецком районе Западного Берлина, подвергающемся в последнее десятилетие активной джентрификации, отношения граффити-райтеров, художников и владельцев зданий дают примеры успешной саморегуляции. Граффити и стрит-арт плотным слоем покрывают фасады зданий, арки и стены подъездов, привлекая и развлекая туристов, многочисленных посетителей кафе и дизайнерских магазинчиков, а зачастую и сообщая им, что раздраженные местные жители думают о круглосуточных вечеринках и «пивном туризме»: количество антитуристических граффити именно в Кройцберге весьма высоко. Достаточно грубый, этот способ выражения отношения к джентрификации, тем не менее, тоже закономерная часть разговора о проблеме. Однако внутренние пространства дворов, где живут турецкие семьи, в большинстве случаев остаются чистыми. Окончание орнамента граффити в Кройцберге словно маркирует границу между публичным и частным пространством: забредший за эту границу любопытствующий уже натывается на подозрительный взгляд. Зато стена местного детского садика оказывается расписана одновременно собственными рисунками детей и добавленной к ним жизнерадостной надписью от граффити-команды Berlin Kidz: «Жизнь = Счастье = Суперфрики» («Life = Gluck = UF»). Суперфрики (Uber Fricks) — еще одно самоназвание команды Berlin Kidz.

Еще одним примером прямой коммуникации уличных художников и городских сообществ в Кройцберге служит случай со знаменитым муралом стрит-артиста первой величины Roa, появившимся в районе несколько лет назад. Эта история, о которой нам сообщил информант R. и статус которой мы не можем установить в точности — возможно, это только миф, но миф предельно показательный, — имела все основания обернуться большим скандалом. Но вместо этого она иллюстрирует возможности достижения взаимопонимания и добровольного согласования интересов всех сторон, без обращения к власти, законодательству, и тем более без применения

²⁵ Avramidis K. "Live your Greece in Myths": Reading the Crisis on Athens' walls. Professional Dreamers. Working paper. 2012. No. 8. P. 18.

силы. Организаторами визита бельгийского стрит-артиста Roa в Берлин была выбрана для его рисунка практически идеальная стена дома — мало записанная, не загороженная другими домами, отлично видимая издалека. Все шло замечательно, пока к работающему художнику не пришли с разговором посетители местной мечети. К тому времени среди череды изображенных им на стене животных уже была свинья. Оказалось, что окна мечети выходят прямо на стену дома. Переговорщики просили понять их чувства и слегка изменить изображение, что и было сделано в кратчайшие сроки. Понимание было скреплено совместным чаепитием уличных художников и имама мечети. То, что могло перерасти в конфликт, успешно разрешилось за счет готовности художников и местного сообщества услышать и понять друг друга. Готовность к прямому диалогу, к пониманию и признанию интересов горожан — важная характеристика современного уличного искусства, способная обеспечить ему поддержку местных жителей²⁶. Но и взаимодействие жителей с художниками в таком городе, как Берлин, вполне способно выстраиваться путем диалога.

История, эфемерность

За два с половиной десятилетия, прошедших с падения Берлинской стены, Берлин стал занимать совершенно особое место в размышлениях о современной культуре памяти²⁷. Уникальная ситуация в очередной раз перестраивающегося города, имеющего в своем прошлом и настоящем десятки разломов, разрывов и пустот (и к тому же вновь обретшего статус столицы), потребовала сложной и многоплановой политики обращения с монументами, памятниками и следами, если вспомнить типологию, предложенную автором одной из самых известных современных книг о политике памяти, Руди Кошаром — не случайно начинающим свои рассуждения с Берлинской стены и Берлина вообще.

Решения, принимающиеся в Берлине по поводу разных мест памяти, исторического наследия, событий коммеморации и т.д., стали областью обширных дискуссий, осмысления и активного творчества — как идеологического и интеллектуального, так и более прозаического, коммерческого плана: «Туристы и предприимчивые горожане (порой добавляющие собственные граффити к фрагментам Стены ради большей аутентичности)

²⁶ См. еще удачные примеры коммуникации на местном уровне в: *Visconti L.M., Serry Jr., John F. et al. Street Art, Sweet Art? Reclaiming the 'Public' in Public Place // Journal of Consumer Research. 2010. Vol. 37. P. 511–529.*

²⁷ См.: *Memory Culture and the Contemporary City. Building Sites / U. Staiger, H. Steiner, A. Webber (eds). Palgrave Macmillan, 2009; Till K.E. The New Berlin: Memory, Politics, Place. University of Minnesota Press, 2005; Ward J. Post-Wall Berlin. Borders, Space and Identity.*

превратили коммерциализацию Стены в неофициальную индустрию наследия; каждый получил свой кусочек прошлого»²⁸.

Человек, интересующийся недавней историей города и исторической культурой, в современном Берлине имеет возможность посетить десятки мест, от нового Музея немецкой истории (Deutsches Historisches Museum) до самых разных мемориалов, выставок, исторических фрагментов и туристических аттракционов, связанных с историей Берлинской стены и периода разделения города. Последние зримо воплощают так свойственные этому городу разнообразие и мультиагентность: среди них и продуманный Мемориал Берлинской стены и Центр документации (The Berlin Wall Memorial and Documentation Centre) на Бернауэр-штрассе, управляемый общественным фондом; и крайне популярный у туристов, хотя и критикуемый историками за хаотичность и «китчевость» частный музей Чекпойнт Чарли (Checkpoint Charlie); и такие аттракционы, как «Панорама Асизи», выполненная известным современным мастером панорам Ядегаром Асизи и представляющая собой условный вид на Стену из Кройцберга осенью 1980 года. Не менее популярным туристическим аттракционом сегодня является Галерея Ист-Сайд (East Side Gallery): сегмент внешней конструкции Берлинской стены, расписанный разными художниками в 1990 году с восточной стороны и частично отреставрированный в 2009 году, когда большинство росписей пришло в негодность (в ходе этой реставрации была одновременно уничтожена галерея ярких граффити-работ на западной стороне стены, постоянно обновляющийся «холл-оф-фейм» (Hall of Fame) берлинского граффити-сообщества).

Как и многие вещи, связанные с массовым туризмом и искусственным воссозданием некогда более аутентичных практик, East Side Gallery в ее нынешнем состоянии вызывает сильное раздражение у действующих носителей этих практик: за все время интервью с нашими информантами, знатоками и участниками берлинской граффити- и стрит-арт сцены мы не услышали ни одного доброго слова в адрес этой галереи под открытым небом («East Side Gallery? Я думаю, это деньги, пущенные на ветер» — собственное интервью с Адрианом Наби (Adrian Nabi), основателем журнала и фестиваля граффити и стрит-арта BackJumps, участником берлинской граффити-сцены с середины 1980-х²⁹. Маршруты экскурсий проекта «Альтернативный Берлин» демонстративно проходят в стороне от East Side Gallery, захватывая находящийся совсем рядом мультикультурный пляж YAAM и стрит-

²⁸ Koshar R. From Monuments to Traces: Artifacts of German Memory, 1870–1990. Berkeley: University of California Press, 2000. P. 3.

²⁹ Еще одно возмущенное свидетельство, от Poet, с редкими фотографиями уничтоженного фрагмента, см.: <<http://poet73.blogspot.ru/2011/01/east-side-gallery-sucks.html>> (дата обращения 20.11.2016 г.).

арт в окрестных дворах. Однако о самой Берлинской стене в памяти города и об истории берлинских граффити-практик все информанты говорили с совсем другими эмоциями и интонацией. Напряженные и осмысленные отношения, в которых современный Берлин находится с историческим прошлым, не могли не проявиться и в том, как в этом городе историзируются практики коммуникации посредством уличных изображений. Неизбежная коммодификация, выраженная в некоторых туристических аттракционах, не становится для горожан и для гостей Берлина единственным способом думать о прошлом. В пространстве города находится место для многих других голосов — например, для исторически рефлексивного стрит-арт проекта художника JR «Морщинки города»: большие фотопортреты берлинских стариков наклеиваются на городские здания, чтобы потом разрушаться и стареть параллельно с ними в своем темпе, или напротив, составлять полный драматичного смысла контраст с чистой отремонтированной стеной. «Создавать эти работы можно лишь в местах с богатой историей. Там, где говорят даже стены», — подчеркнул художник в интервью Немецкой волне³⁰.

История граффити-культуры и других аспектов публичной визуальной коммуникации в Берлине давно является предметом внимания исследователей, а также интереса фотографов-документалистов³¹ — и живет в памяти вовлеченных в эти практики сообществ, находит возможности фиксации в журнальной, книжной и видеопродукции, в последнее время также в интернет-блогах и архивах. Такие источники, как, например, документальный фильм «Не такой, как ты», содержат немало ценных свидетельств становления граффити-культуры в Берлине и отражают рефлексии самих райтеров по поводу собственной истории. Так, Поет рассказывает в этом фильме о месте и атмосфере встреч райтеров в метро Фридрихштрассе в конце 1980-х: «Думаю, тогда-то и возник тот Берлин, который мы знаем: граффити-мегаполис». Уже с середины 1990-х феномен граффити документируется сначала в фэнзинах, а затем в журналах (см., например, серию «Graffiti Art», № 6 «Berlin und Neue Länder», год издания примерно 1997–1998).

Нам хотелось бы подчеркнуть и зафиксировать два момента, равно значимые для отношений берлинской культуры уличных изображений с исторической культурой в городе. Во-первых, особое место Стены в городском

³⁰ Стоун С., Польская К. Морщины на (у)лицах Берлина. 27.05.2013. <<http://www.dw.de/морщины-на-улицах-берлина/g-16793507>> (дата обращения 20.11.2016 г.).

³¹ Schmitz H. Spray-Athen. Graffiti in Berlin. Berlin: Rixdorger Verlagsanstalt, 1982; Henkel O., Domentat T., Westhoff R. Spray City. Graffiti in Berlin. Berlin: Akademie der Künste, Schwarzkopf, 1994; Eickemeyer U., Eickemeyer B. Grenzerfahrungen. Fotografien Seit 1967. Berlin, 2001; Klitzke K., Schmidt C. Street Art. Legenden zur Strasse. Berlin: Archiv der Jugendkulturen Verlag, 2009; Papen U. Commercial discourses, gentrification and citizens' protest: The linguistic landscape of Prenzlauer Berg, Berlin // Journal of Sociolinguistics. 2012. Vol. 16. Iss. 1. P. 56–80.

воображении: не только в принципе, но и, отдельно, применительно к граффити и стрит-арту. Примерно с начала 1980-х годов Стена стала для Западного Берлина не только разделительным барьером между двумя мирами, но и гигантской канвой для письма: книга фотографий Хельмута Шмитца 1982 года издания уже содержит большой раздел «Mauer»³², и на Стене уже отчетливо видны политические лозунги, рисунки, шутки, обращения к разным адресатам. Она превратилась в уникальный медиум коммуникации, вошедший в историю в этом особенном качестве — вместе с тысячами надписей и изображений, которые сегодня можно увидеть на продающихся в Берлине фотографиях и в красочных альбомах для туристов³³; вместе с возгласами протеста и детскими рисунками; вместе со всеми значимыми эпизодами своей художественной истории, такими как разноцветные головы Тьерри Нуара, граффити Кита Херинга, акция «Белая линия» (White Line), эпизод фильма Вима Вендерса «Небо над Берлином» и т.д.

И во-вторых, в этом контексте необходимо подчеркнуть такие качества уличных изображений, немаловажные в связи с вопросом историзации, как их эфемерность, их укорененность в живых практиках коммуникации горожан и городских сообществ, их неразрывную связь с меняющимися городскими контекстами. Выход Стены из обращения, уничтожение ее как физического объекта вместе с ее коммуникативной поверхностью было решением самих берлинцев, принятым спонтанно, в гражданском порыве мирной революции 1989 года. Замена ее суррогатом East Side Gallery стала противоречивым и неоднозначным выбором властей, особенно если комплексно рассматривать решения, принятые городом по поводу этого мемориала в 2009 году. Этот пример демонстрирует существующее напряжение в понимании того, что такое городская память, кто и в каких формах имеет на нее право. Но одновременно применительно к Берлину можно привести множество других примеров, показывающих, как память о практиках визуальной коммуникации, связанных со Стеной, продолжает жить в городе, проявляться в самых разных местах.

Например, одна из стен в интерьере «Панорамы Асизи» оформлена как Берлинская стена, но она сделана из бумаги: каждому посетителю предлагается оставить на ней надпись, чем посетители охотно пользуются. На граффити-фестивалях в городе и на тех мероприятиях, где участникам, взрослым или детям, предлагается рисовать на стенах, поверхность тоже нередко принимает именно форму Стены. Общее понимание культуры эфемерного, будь то временные изображения, временные монументы, строящиеся и развивающиеся объекты или череда сменяющих друг друга городских событий, очень

³² Schmitz H. Spray-Athen. Graffiti in Berlin. P. 37–72.

³³ Kuzdas H.J. Berliner Mauer Kunst. Mit East Side Gallery. Berlin: Espresso, 2009.

хорошо развито у берлинских жителей, в силу особой истории этого города. Берлинская стена как канва для меняющихся изображений и как артефакт, стремительно исчезнувший, но продолжающий жить в городской памяти и воспроизводиться во множестве эфемерных форм, служит здесь одной из опорных точек. Возможно, Берлин имеет все возможности стать и для культур граффити и стрит-арта городом очень продвинутой, очень современной политики памяти. Его общее отношение к граффити и стрит-арту — то, что, несмотря на все внутренние напряжения и безусловно имеющиеся конфликты, выглядит для внешнего наблюдателя, тем не менее, полным принятием, ведущим к состоянию «насыщенности», — более всего свидетельствует о подобной изощренности взгляда.

В связи с развитием стрит-арта в последние годы по всему миру специалисты-практики и исследователи одновременно начинают обсуждать проблему соотношения эфемерности и подвижности уличных культурных форм с традиционными рамками «культурного наследия» (heritage frameworks), сильно привязанными к «аутентичности» и «материальности» объектов³⁴. С одной стороны, во многих случаях и граффити, и стрит-арт не просто вызывают желание сохранить их как изображения, но и служат поводом для разговора о защите определенных районов и зданий, мест со своей историей:

Уже становятся заметными попытки распространения рамок «культурного наследия», порой применяемых к стрит-арту, и на субкультурные граффити. Например, в Берлине политики из района Фридрихшайн-Кройцберг недавно потребовали, чтобы субкультурные граффити, отражающие местную историю сквотирования, были признаны объектом культурного наследия (как сообщает Deutsche Presse-Agentur, 2014)³⁵.

С другой стороны, несмотря на ощутимую горечь от неизбежной потери любимых уличных изображений, нам, изучающим практики уличной коммуникации, трудно не согласиться с С. Меррилом, когда он утверждает, что:

очевидно, что применение рамок «наследия» может негативно сказаться на аутентичности самих традиций субкультурных граффити и побуждает критически пересмотреть ту роль, которую институты и защитники культурного наследия должны играть в поддержании и сохранении этих традиций.

Не только граффити, но и любые «неофициальные» уличные изображения в городе, оставаясь традицией производящих их сообществ, имеют

³⁴ Merrill S. Keeping It Real? Subcultural Graffiti, Street Art, Heritage and Authenticity // International Journal of Heritage Studies. 2015. Vol. 21 (4). P. 369–389; Edwards-Vandenhoeck S. You Aren't Here: Reimagining the Place of Graffiti Production in Heritage Studies // Convergence. 2015. Vol. 21 (1). P. 78–99.

³⁵ Merrill S. Op. cit. P. 382.

право на все те функции, для которых они сообществам понадобились. Они имеют право самостоятельно меняться и вступать друг с другом в диалог, быть инструментом борьбы, весомым словом в разговоре, жестом протеста или даже отчаяния. В этом смысле большой проясняющей силой обладает жест уличного художника Blu, уничтожившего в декабре 2014 года свои иконические муралы в Кройцберге. Эти два гигантских образа на стенах старых складов, отсылающие к периоду объединения Германии, вошли во все путеводители, были растиражированы на открытках и в последние годы считались настоящими символами Берлина; достопримечательностью, которую непременно надо увидеть туристу. Blu закрасил оба изображения черной краской в знак протеста против уничтожения девелоперами жизни и атмосферы района. Нам, как и ряду других наблюдателей берлинской городской сцены, этот жест представляется совершенно оправданным и точным жестом художника, применяющего стрит-арт по назначению. Этот жест «побуждает к диалогу с городской реальностью, подчеркивая социальную значимость и действенность художественных интервенций там, где другие формы диалога потерпели поражение»³⁶.

Работа средствами искусства с эфемерностью, с задействованием опыта уличной коммуникации, в целях укрепления и развития живой культурной памяти, имеет в Берлине немало положительных примеров. Мы закончим эту часть одним из них, произведшим на нас большое впечатление, так же как и на многих других участников этого события: простого по идее, недорогого по исполнению и мощного по своему воздействию. С 7 по 9 ноября 2014 года в Берлине праздновалось 25-летие падения Стены. Главным элементом и главным событием этого праздника стало поддержанное городом эфемерное уличное искусство: световая инсталляция «Lichtgrenze», Граница света (авторы идеи — Кристофер и Марк Баудеры). Это была стена из белых баллонов, наполненных гелием (илл. 7), возведенная на три дня на бывших участках Стены в городе, протяженностью 15 километров. В день падения Стены инсталляция была символически разрушена: светящиеся шары были отпущены в небо с помощью добровольцев; сделанные из биоразлагающегося материала, они не оставили никаких следов, кроме фотографий и следов в памяти очевидцев. Однако за эти три дня существования эфемерная инсталляция «Lichtgrenze» очень много сделала для работы с культурной памятью и актуализации ощущения городской идентичности. Все время работы инсталляции она пользовалась огромной популярностью у берлинских жителей и туристов. Она работала одновременно и как своеобразный исторический тренажер: с ее помощью Стену смогли по-настоящему увидеть те, кто не застал ее существования. И как информационный стенд:

³⁶ Henke L. Kill Your Darlings: The Auto-iconoclasm of Blu's Iconic Murals in Berlin // *Ephemera. Theory and Politics in Organization*. 2015. Vol. 15 (1). P. 295.



Илл. 7. Эфемерная инсталляция «Lichtgrenze», 7–9 ноября 2014 года, Берлин

вдоль всей протяженности «светящейся Стены» были дополнительно установлены стенды с информацией об этом периоде берлинской истории, с фотографиями, личными рассказами очевидцев, документами и т.д. На некоторых участках стояли экраны, показывавшие фильмы, — чтобы пришедшие к временному мемориалу люди могли получить или освежить в памяти достоверную информацию об этом периоде. Инсталляция сработала и как триггер для своеобразных персональных ритуалов памяти: многие берлинцы в эти дни задались целью пройти вдоль всей ее длины и проделывали это на велосипедах, или трогательно вооружившись палками для ходьбы (илл. 7). И как повод для коммуникации, самого разного свойства, от дополнительных арт-проектов, вроде сбора информации о персональной памяти о Стене, до разговоров горожан, обсуждающих между собой трудные моменты истории Берлина и проблемы его настоящего. Многие из этих людей в силу молодого возраста впервые по-настоящему ощутили, чем могла быть для города эта жесткая разделительная линия, когда ее мягкая и эфемерная версия вдруг разрезала их повседневные маршруты. Временная инсталляция «Lichtgrenze», сочетавшая в себе функции арт-объекта, временного мемориала и музея под открытым небом, стала для города также и площадкой для разговора — в полном соответствии с важными традициями этого города.

Городские посредники

«Галерея под открытым небом». Именно так на рекламирующих Берлин сайтах и в путеводителях описывается город, насыщенный изображениями стрит-арта, напрямую обращающимися к пестрой толпе прохожих. Однако в отличие от посетителей галерей, с их заранее настроенной оптикой, с табличками под картинами и проспектами выставок, горожане не всегда замечают и не всегда умеют читать уличные изображения. Порой даже самые осмысленные из них попадают в «зону невидимости», не говоря уже о «городских обоях» из граффити и стикеров³⁷. Мы полагаем, что особую роль в том, чтобы сделать невидимое видимым, в попадании граффити и стрит-арта в поле зрения горожан, равно как и в публичные обсуждения, играют многочисленные городские посредники. Последний раздел нашего текста об уличной визуальной коммуникации Берлина посвящен именно им — тем, кого мы назвали «коммуникативными посредниками». Это энтузиасты, группы и организации, дополняющие и поддерживающие визуальную насыщенность Берлина своеобразным культурным переводом. Своими действиями они привлекают внимание различных публик к граффити и стрит-арту и другим видам творческой самоорганизации горожан, превращают их в значимую тему обсуждения, способствуют пониманию и со-бытию — осмысленному взаимодействию всех заинтересованных сторон, как это происходит, например, в экскурсиях, предлагаемых проектом «Альтернативный Берлин»³⁸:

«Конечно, люди приезжают в город, чтобы увидеть исторические достопримечательности, и все такое. Это одна сторона города. Другая сторона города — то, что придумывают его жители. Вот этим мы и занимаемся. Мы пытаемся показать другую сторону города. Ту, где жители разбивают городские огороды, где они используют системы фильтрации воды. Они ужасно рады, когда кто-то приходит на это поглядеть и об этом с ними поговорить».

Адриан Сэмпсон (Adrian Sampson),
«Альтернативный Берлин», собственное интервью 2014 года.

Как и в городской жизни, в которой уличная культура является неотъемлемой частью повседневности, интерес посредников к граффити и стрит-арту неизбежно переплетается с другими темами и направлениями деятельности:

³⁷ О роли стрит-арта как «тренажера для зрения» в городской среде см., например: Samutina N. Street Art as "Exerciser for Vision": Hamburg Graffiti Writer Oz and the Community of Smileys // Grønstad A., Ledbetter M. (eds). Seeing Whole: Toward an Ethics and Ecology of Sight. Cambridge Scholars Publishing, 2016.

³⁸ <<http://alternativeberlin.com/>> (дата обращения 20.11.2016 г.).

«Мы отталкивались от того, что у молодежи есть большие проблемы с публичным представительством. Мы хотели представить молодежную культуру, инициировать публичный диалог о ней с помощью двух вещей, для начала — архива и издательства. 17 лет спустя мы организуем публичные проекты, мы работаем в школах, сотрудники «Архива молодежных культур» (Archiv der Jugendkulturen) приходят в школы поговорить о молодежной культуре и о социальных проблемах. Культура используется как ключ к разговору с тинейджерами о социальных проблемах».

Карстен Янке (Carsten Janke), «Архив молодежных культур»
собственное интервью 2014 года.

Надо сказать, что и любители уличных изображений, и не слишком вовлеченные наблюдатели отдадут должное всем тем, кто рассказывает, показывает, публикует, хранит материалы о берлинских граффити и стрит-арте или просто бесконечно увлечен ими. Стрит-арт туры «Альтернативного Берлина», образовательная, издательская и архивная работа «Архива молодежных культур», уличные фестивали и издания «BackJumps» — все эти и многие другие, столь непохожие друг на друга берлинские инициативы вызывают живой отклик тех, для кого они делаются. «Вне всякого сомнения, это был мой самый любимый эпизод из всей двухнедельной поездки в Берлин»³⁹ — достаточно характерный отзыв посетителя экскурсии от проекта «Альтернативный Берлин». У этих посреднических инициатив различные создатели, источники финансирования (варьирующиеся от самостоятельно определяемого участниками экскурсии вознаграждения до государственной грантовой поддержки), способы организации (от нескольких волонтеров до небольшого штата сотрудников) и формат общения. Кто-то, как BackJumps, уже отметил 20-летие своего существования, кто-то, как «Альтернативный Берлин», 10-летие.

Иницируя выставки и фестивали, проводя экскурсии, общаясь с различными публиками, разъясняя в интервью причины тех или иных ситуаций, берлинские посредники поддерживают и укрепляют уличную культуру. Участие в ее многочисленных практиках или интерес к ней для большинства посредников является и образом, и делом жизни — как мы увидели в ходе исследования, познакомившись с тремя заметными действующими лицами этой весьма разветвленной, насыщенной среды. Наше знакомство с экскурсионной компанией «Альтернативный Берлин» произошло в 2013 году, когда мы обнаружили в Интернете восторженные отзывы о ее турах по городскому стрит-арту и решили присоединиться к ним в качестве любопытствующих туристов. Последующие интервью с основателем компании и с несколькими гидами, участие в турах, а также множество трогательных отзывов участни-

³⁹ Raz S. <<http://www.yelp.com/biz/alternative-berlin-tours-berlin>> (дата обращения 20.11.2016 г.).

ков туров на различных сайтах помогли составить представление о ее работе. Компания была основана в 2006 году австралийцем Адрианом Сэмпсоном, живущим в Берлине. Уже несколько лет она предлагает граффити- и стрит-арт туры и воркшопы, наряду с другими турами, посвященными разным аспектам жизни города — например, экологическим. На воркшопах по стрит-арту каждый желающий может попробовать свои силы в создании стенсилов. Экскурсии «Альтернативного Берлина», как посвященные стрит-арту, так и прочие, справедливее было бы назвать знакомством с городом в компании местных жителей, из-за создаваемой ими дружеской, равноправной и очень личной атмосферы, нарушающей традиционные представления о принципах экскурсий и об экскурсоводах. Гиды компании знакомят людей с реальной жизнью Берлина так, как это делает каждый из нас в своем городе, принимая личных гостей, — например, художница Р. и бывший граффити-райтер R. рассказывали на своих экскурсиях в том числе о своем персональном опыте жизни и работы в городе.

О существовании «Архива молодежных культур»⁴⁰, созданного в 1998 году силами журналистов и активистов, мы узнали благодаря его мероприятиям, проводимым в Нойкельне. К настоящему времени «Архив молодежных культур» располагает внушительной библиотекой, посвященной уличной культуре. На полках этой уникальной библиотеки соседствуют академические тексты, полицейские отчеты, тщательно документирующие берлинские граффити и стрит-арт, и частные коллекции фэнзинов. Его сотрудниками реализуется множество проектов, знакомящих горожан с различными формами молодежной культуры, способствующих обсуждению социальных проблем и отстаиванию интересов молодежи. Основная статья доходов организации — грантовая поддержка. Несколько лет назад издание книг по разным аспектам молодежных культур было выделено в отдельное направление деятельности.

Знакомство с создателем некоммерческой организации BackJumps Адрианом Наби, знатоком и организатором берлинской стрит-арт сцены, произошло благодаря помощи «Архива молодежных культур», который проводит с этой организацией совместные проекты. И создание журнала «BackJumps» в 1994 году, и вся дальнейшая работа Адриана Наби как организатора и «посредника», были продиктованы персональным поиском смысла и возможностей уличных художественных практик, осмыслением граффити как художественного движения и стрит-арта как новой области коммуникации. Когда мы попросили рассказать о первом номере журнала «BackJumps», который Адриан не сразу отыскал в недрах своего огромного личного архива берлинской граффити-культуры, он прокомментировал это показательным образом: «Это не был журнал, это был фэнзин. Это было что-то, что я хотел делать для культуры вместе с теми, кто меня окружает».

⁴⁰ <<http://www.jugendkulturen.de/>> (дата обращения 20.11.2016 г.).

В 2003 году этот разговор о стрит-арте поменял формат и стал городским событием «BackJumps Live Issue», «Живой выпуск» журнала. Оно перенесло обсуждение стрит-арта со страниц журнала в пространство галереи. Берлинцам были представлены работы Бэнкси, Шэпарда Фейри, Бреда Дауни и других уличных художников, впоследствии ставших мировыми звездами. За 6 недель эту выставку посетили 12 тыс. человек. Знакомство горожан с яркими именами мировой стрит-арт сцены продолжилось в 2005 и 2007 годах. В 2014 году «BackJumps» отметил свое 20-летие уличным фестивалем стрит-арта, а в конце мая 2015 года состоялось открытие выставки «20 + 1», вместившей материалы из богатейших архивов «BackJumps»: коллажи из фотографий, рисунки, письма, видеоматериалы. Многолетняя ориентированность «BackJumps» на разговор с различными публиками («Я хочу делать что-то для детей... это очень важно для меня — разговаривать с обычными людьми... я верю, что искусство обогащает жизнь людей, так или иначе» — Адриан Наби), на создание с помощью стрит-арта пространства коммуникации точно подмечается в оценках их мероприятий:

«Редко какая выставка привлекает столько молодежи. Вовлечь детей и местных жителей им тоже удалось гораздо лучше, чем многим другим, самым благонамеренным уличным фестивалям».

Zitty — Берлинский городской журнал⁴¹.

«Для меня этот выбор экспонатов соотносится не только с историей Backjumps, но и с развитием взаимоотношений между стрит-артом и обществом».

Ива Канова (Iva Kanova)⁴².

За время исследования в Берлине нам стало очевидно, что такое посредничество, связанное с практиками уличной коммуникации, невозможно, да и нецелесообразно описывать в жестких терминах индустрий или устойчивых структур. Посредничество, на наш взгляд, является очень личным предприятием. Общение и выстраивание контактов в данном случае во многом зависит от индивидуальных особенностей «культурных переводчиков», их личного опыта и предпочтений. Эти особенности всегда будут ускользать, просачиваться сквозь слишком общее описание деперсонифицированных статусных позиций или абстрактных отношений, столь подходящих для характеристики устойчивых структур. Посредничество основывается на дружеских отношениях и договоренностях участников, их симпатиях и антипатиях: «Мы в контакте с двумя компаниями, [организующими исторические экскурсии] и они к нам очень дружелюбны. Мы можем выпить

⁴¹ <<http://www.fromheretofame.com/books/backjumps.html>> (дата обращения 20.11.2016 г.).

⁴² Kanova I. Review on Backjumps 20 + 1. <<http://blog.artconnect.com/2015/05/28/review-backjumps-20-1/>> (дата обращения 31.05.2015 г.).

вместе. Я уважаю то, что они делают, и я думаю, им нравится то, что мы делаем» (Адриан Сэмпсон). Одновременно это предприятие, максимально открытое вовне, рассчитанное не на определенную аудиторию, а на каждого, кто готов к диалогу. Оно рассчитано на людей любого возраста: мы лично наблюдали пожилых людей на воркшопах «Альтернативного Берлина» по стрит-арту, а «Архив молодежных культур», так же, как и «BackJumps», гордится своей работой с маленькими детьми. И на людей любого рода занятий: «У нас не только студенты с рюкзаками на наших турах, вовсе нет... И я никому не могу сказать: этот тур не для тебя, ты участвовать не можешь. Да, у меня может быть своя точка зрения, но это не мы промываем людям мозги» (Адриан Сэмпсон).

Коммуникативные посредники, связанные с уличной культурой, обладают впечатляющей способностью остраниать городскую жизнь, превращая незамечаемое в притягательно интересное. При всех изменениях, даже в таком «подвижном» городе, как Берлин, существует рутина, наполненная множеством автоматизмов и само собой разумеющихся привычек. Она незаметна для местных жителей, но весьма привлекательна для приезжих, подмечающих то способы открытия пивных бутылок об уличные заграждения, то наличие на садовых участках «маленьких отелей для насекомых», то прочие мелкие диковины, составляющие микроткань городской жизни⁴³. Мы обратили внимание на то, что очень часто в роли посредников — создателей экскурсий, инициаторов образовательных программ, организаторов воркшопов — в Берлине выступают люди, приехавшие туда из других городов и стран. Их прежний опыт, контрастирующий с берлинскими реалиями, позволяет подметить городскую деталь, понять ее ценность и связь с общим и увлекательно рассказать об этом. Экскурсии, посвященные современной городской культуре, дискуссии и семинары по различным вопросам городской коммуникации, представляют собой своеобразное сведение (хрупкого) баланса различных опытов, форму разговора и осмысления современных социальных практик. Фигура коммуникативного посредника бесконечно важна для этого разговора.

Заключение

Бурное международное развитие стрит-арта в 2000-е годы дало толчок множественным дискуссиям о причинах и специфике этого феномена, о его задачах и даже о его немедленно провозглашенной «смерти» в результате коммерциализации, в отчужденных пространствах галерей. Для нас разговор о стрит-арте неотделим от разговора обо всех других неформальных практи-

⁴³ Микроурбанизм. Город в деталях / под ред. О. Бредниковой, О. Запорожец. М.: Новое литературное обозрение, 2014.

ках визуальной коммуникации в уличной среде, и от детальной исследовательской работы с конкретными городскими контекстами. Мы выбрали для исследования один из самых насыщенных «неофициальными» уличными изображениями современных городов, Берлин, в том числе для того, чтобы показать, что стрит-арт не «висит в безвоздушном пространстве»; это всего лишь один из возможных способов разговора в городской среде, находящийся в динамичных отношениях со всеми другими голосами на уличных стенах — или, как в случае некоторых городов, оказывающийся в зоне красноречивого молчания, изменяющей и его возможности и задачи.

Берлинская насыщенность, которую мы постарались изучить и описать со всей увлеченностью гостей города, его пристальных читателей, таких же, в каком-то смысле, посредников, какими являются герои последней части нашей статьи, составляла контекст нашего рассуждения и его основную загадку. Мы попытались показать, насколько эта насыщенность осмысленна и функциональна; какой большой вклад в нее вносят уникальная история Берлина, особенности его городского развития, специфика всей визуальной коммуникации в его городской среде, исторически сложившиеся практики поведения его жителей. Наконец, мы убеждены, что личный вклад каждого из увлеченных городских посредников в эту коммуникацию бесконечно важен.

Парадоксально, но сегодня, говоря о стрит-арте, как и о множестве других форм низовой активности (таких, например, как городское огородничество), некоторые исследователи склонны рассматривать их как феномены, все более и более подчиняющиеся логике существования масштабных структур, например, арт-индустрии⁴⁴, или масштабных противостояний, вызванных неолиберальными формами городского управления⁴⁵. Не отрицая значимости макроподходов, проявляющих структурные основания современного города, мы считаем принципиально важным введение другой перспективы, передающей внутреннюю логику уличной культуры, да и просто ее многоликость и человечность. Мы поддерживаем в данном случае требование «разрабатывать более нюансированные критерии»⁴⁶, о каких бы элементах современной городской культуры ни шла речь.

⁴⁴ Bengsten P. *The Street Art World*. Almendros de Granada Press, 2014.

⁴⁵ Rosol M. Public Participation in Post-Fordist Urban Green Space Governance: The Case of Community Gardens in Berlin // *International Journal of Urban and Regional Research*. 2010. Vol. 34 (3). P. 548–563.

⁴⁶ Iveson K. *Graffiti, Street art and the City*. Introduction // *City*. 2010. Vol. 14 (1–2). P. 25–32.

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ГОРОДСКИХ ОБРАЗОВ ЧЕРЕЗ ИСТОРИЮ ПОПУЛЯРНОЙ МУЗЫКИ: ОПЫТ ШЕФФИЛДА

Исторически, популярная музыка — городское явление, она во многом зависит от особенностей устройства и развития самого города¹. Музыкальная культура существенным образом влияет на городскую среду — ее использование, интерпретации и репрезентации; в свою очередь, городская среда оказывает влияние на практики производства и потребления музыки. Появление новых музыкальных площадок, борьба музыкантов и их аудиторий за свое пространство в городе, практики уличных выступлений или же проведение масштабных городских музыкальных фестивалей² — это лишь несколько форм взаимного влияния популярной музыки и городской среды. Кроме того, в истории популярной музыки нередко используются городские дефиниции для характеристики тех или иных музыкальных явлений, выражающих определенные стилистические особенности или специфику городской клубной культуры. Так, например, понятие «ливерпульский звук» (*Liverpool sound*) активно использовалось для определения ливерпульской версии бит-рока в начале 1960-х годов; «манчестерский звук» (*Manchester sound*) — для характеристики танцевальной культуры города в 1980-е годы; «детройтский звук» (*Detroit sound*) — для обозначения представленного в Детройте направления хеви-метал в 1980-е годы. В то же время музыка связана с проблемами мобильности и идентичности — как социальной, так и музыкальной — т.е. с созданием инфраструктуры творческих мест и организацией досуга, что характеризует тот или иной город как «культурный» (*cultural city*) или «креативный» (*creative city*). Задаваясь вопросом о том, что популярная музыка может «рассказать» о городе, современные городские исследователи и исследовате-

¹ Исследование выполнено в рамках Программы фундаментальных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и с использованием средств субсидии на государственную поддержку ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров, выделенной НИУ ВШЭ.

² См., например, статью о влиянии музыкальных фестивалей на развитие современных городов: Wynn J.R., Yetis-Bayraktar A. The Sites and Sounds of Placemaking: Branding, Festivalization, and the Contemporary City // *Journal of Popular Music Studies*. 2016. Vol. 28. Iss. 2. P. 204–223.

ли музыки также обратились к вопросам о том, как музыкальную историю можно рассматривать в контексте городской истории, как возможно создание новых городских образов через их музыкальную историю.

В этом контексте в последние 15–20 лет наблюдается активное включение истории популярной музыки в культурный ландшафт ряда городов, прежде всего, в США и Великобритании. По замечанию исследователей Сары Коэн, Джона Шофилда и Бретта Лашуа³, эта тенденция к ревизии городского культурного наследия является прямым следствием активного процесса перестройки и перепланировки городов. В частности, в северо-западном регионе Англии, объединяющем промышленные города, пережившие в 1970–1980-е годы период стагнации и упадка, местные инициативы городской регенерации существенным образом повлияли не только на трансформацию физического ландшафта городов, но и на ревизию городской истории. Так, во многих городах отражение их культурного прошлого стало отправной точкой развития местной экономики и проектов обновления городов. По замечанию социолога Дэниса Бирна⁴, принципиальным оказались два вопроса: определение стратегии регенерации городов, с одной стороны, и формирование понятия «городского культурного наследия» — с другой.

Сама постановка таких вопросов значительным образом трансформировала представление о постиндустриальных британских и американских городах — они стали позиционироваться не только как бывшие центры промышленного развития, но и демонстрировали богатое культурное прошлое, что нашло отражение в изменении местной экономической структуры, транспортной инфраструктуры, появлении культурных центров и мест досуга. Однако стоит отметить, что не все подобные проекты «возрождения» городов оказались удачными. Если в случае с Ливерпулем и Манчестером в Великобритании или Сиэтлом и Мемфисом в США можно говорить об успешных моделях городской регенерации⁵, в рамках которых определенные аспекты музыкального прошлого стали центральными в конструировании новых образов этих городов, то проекты «оживления» таких городов, как Бирмингем и Шеффилд в Великобритании или Детройт и Новый Орлеан в США, в силу ряда обстоятельств не состоялись или вовсе провалились. В рамках данного исследования предполагается рассмотреть про-

³ Cohen S., Schofield J., Lashua B. Introduction to the Special Issue: Music, Characterization and Urban Space // *Popular Music History*. 2009. Vol. 4. No. 2. P. 106.

⁴ Byrne D. Heritage as Social Action // *The Heritage Reader* / G. Fairclough, R. Harrison, J. Jameson Jr., J. Schofield (eds). L.; N.Y.: Routledge, 2008. P. 149–173.

⁵ О проекте регенерации Манчестера см.: Bottà G. The City That Was Creative And Did Not Know. Manchester and Popular Music, 1976–97 // *European Journal of Cultural Studies*. 2009. August, Vol. 12. No. 3. P. 349–365.

ект «возрождения» Шеффилда и его реализацию в 1990-е и в начале 2000-х годов, оказавшуюся в конечном счете неудачной.

Проблематика регенерации городов в Великобритании

В последние 15–20 лет произошли кардинальные изменения в формате культурной политики в Великобритании: культурное, или «креативное» производство занимает отдельную нишу в программах государственного финансирования, став важной составляющей процесса переустройства городов. В этом контексте популярная музыка приобретает все большее значение в попытке властей создать местную музыкальную индустрию для развития определенных секторов городской культуры, с одной стороны, и для производства новых городских образов — с другой.

Исследования новой культурной политики городов занимают отдельное место в рамках как культурной географии, так и современных исследований популярной музыки (*popular music studies*). Эти работы выполнены преимущественно во времена пересмотра политики регенерации городов Великобритании в 1990–2000-е годы. Работы географов в большей степени сосредоточены на изучении того, как понимание и представление о городском пространстве опосредуется через популярные культурные формы, такие как телевидение, печатные СМИ, кино и популярная музыка⁶. Работы исследователей культуры обращаются к репрезентациям городов через популярную музыку в контексте изучения появления и развития музыкальных жанров, что существенным образом повлияло на городские образы⁷. Как

⁶ См., например: Carney G.O. Western North Carolina: Culture Hearth of Bluegrass Music // *Journal of Cultural Geography*. 1996. No. 16. P. 65–87; *Idem*. Music Geography // *Journal of Cultural Geography*. 1998. No. 18. P. 1–10; Wansborough M., Mageean A. The Role of Urban Design in Cultural Regeneration // *Journal of Urban Design*. 2000. Vol. 5. No. 2. P. 181–197; Music, Space and Place: Popular Music and Cultural Identity / Sh. Whiteley, A. Bennett, S. Hawkins (eds). Aldershot: Ashgate, 2005; O’Keeffe T. Street Ballets in Magic Cities: Cultural Imaginings of the Modern American Metropolis // *Popular Music History*. 2009. Vol. 4. No. 2. P. 111–125; Johansson O., Thomas L.B. Touring Circuits and the Geography of Rock Music Performance // *Popular Music and Society*. 2014. Vol. 37. Iss. 3. P. 313–337.

⁷ См., например: The Culture Industry / D. Wynne (ed.). Aldershot: Avebury, 1991; Bianchini F., Parkinson M. Cultural Policy and Urban Regeneration: The Western European Experience. Manchester: Manchester University Press, 1994; From the Margins to the Centre / J. O’Connor, D. Wynne (eds). Aldershot: Arena, 1996; O’Connor J. Popular Culture, Cultural Intermediaries and Urban Regeneration // Mode / L. Bovone (ed.). Milan: Franco Angeli, 1997. P. 82–100; Cornell J., Gibson Ch. Sound Tracks: Popular Music, Identity, and Place. L.: Routledge, 2002; The Beat Goes on: Liverpool, Popular Music and the Changing City / M. Leonard, R. Strachan (eds). Liverpool: Liverpool University Press, 2010; Preserving Popular Music Heritage: Do-it-Yourself, Do-it-Together / S. Baker (ed.). L.: Routledge, 2015.

отмечает исследователь культуры Мартин Клуна⁸, массовое отношение к городам, представленным в популярной музыке, может быть прослежено на таких примерах, как постпанковские портреты упадка городов конца 1970-х годов с акцентом на социальной проблематике; «джазовый угар» Чикаго и Нового Орлеана в 1950-е годы; дистопические образы Бирмингема или Детройта в песнях хеви-метал-групп 1980-х годов, являвшихся выходцами из промышленных регионов Англии и США; социальные зарисовки городских окраин в текстах рэп- и хип-хоп-исполнителей 1980-х годов; ностальгические городские пейзажи брит-попа 1990-х годов. Исследуя социальную роль популярной музыки в городской повседневности, исследователи⁹ обратились к рассмотрению символического значения мест, представленных опосредованно через музыку. Если городские места, связанные с музыкальными фестивалями, концертами или рок-барами, например сети «The Hard Rock Café», очевидным образом репрезентируются через музыку, то подобная тенденция отмечается и в определении отдельных городов. Подобно иконическим изображениям Лос-Анджелеса через образы Голливуда и мировой киноиндустрии, такие города, как Нэшвилл, Сиэтл и Мемфис в США или Ливерпуль, Шеффилд и Манчестер в Англии стали известны как ключевые места появления и развития популярной музыки¹⁰, что нашло свое выражение и в городской повседневности, и в репрезентации этих городов.

Следует отметить, что дебаты, которые ведутся с начала 1980-х годов¹¹, по поводу места культуры в широком понимании в процессе продвижения городов, сыграли ключевую роль в формировании политики многих американских и британских городов, особенно тех, которые испытывали(ют) кризис деиндустриализации¹². Новая городская политика основана на принципе «регенерации под эгидой культуры» (*culture-led regeneration*), в рамках которой одинаковое внимание уделено как «высокой» культуре, так

⁸ Cloonan M. State of the Nation: "Englishness", Pop, and Politics in the mid-1990s // *Popular Music and Society*. 1997. Vol. 21. No. 2. P. 64.

⁹ См., например: Taylor H. Liverpool 8 and "Liverpool 8": The Creation of Social Space in the Merseybeat Movement // *Exegesis*. 2013. No. 2. P. 34–44.

¹⁰ См., например: Haslam D. Manchester, England: The Story of the Pop Cult City. L.: Fourth Estate, 2000.

¹¹ В этом контексте следует отметить исследования американского социолога Шэрон Зукин о месте и роли культуры в формировании городских образов: Zukin S. *Landscapes of Power. From Detroit to Disney World*. Berkley: California University Press, 1991; *Eadem*. *The Cultures of the Cities*. Cambridge; Oxford: Blackwell, 1995.

¹² Об особом формате регенерации постиндустриальных городов в США и Англии см.: Bianchini F, Parkinson M. Op. cit.; Mommaas H. Cultural Clusters and the Post-industrial City: Towards the Remapping of Urban Cultural Policy // *Urban Studies*. 2004. Vol. 41. No. 3. P. 507–532.

и культуре популярной в качестве источников городской регенерации. Эти стратегии были связаны с проектами по созданию «креативных городов» (*creative city*)¹³, которые возникли в середине 1980-х годов в условиях конкуренции среди европейских городов за звание культурной столицы Европы и получили широкое обсуждение на протяжении 2000-х годов в области культурной географии¹⁴. Дальнейшие исследования обозначили в том числе и негативные последствия, которые культурно-ориентированная политика может повлечь за собой, и подчеркнули необходимость учитывать особенности каждого города. Так, в работах о новой городской политике в северо-западных и северных британских городах (так называемых Мидлэндс), например, Манчестере и Ливерпуле¹⁵, ориентированной на широкое включение музыкальной истории в процесс создания новых городских образов, отмечались значительные результаты. В таких городах местные власти отдали предпочтение развитию и продвижению музыкального туризма, музыкальных кварталов и мероприятий¹⁶, а также репрезентации городского культурного наследия через музыкальную историю¹⁷. Исследователи отмечают¹⁸, что подобная тактика используется муниципальными властями для создания образа города не только как «креативного», но и «музыкального» (*music cities*).

¹³ Термин «креативный город» был впервые предложен британским урбанистом Чарльзом Ландри: Landry C., Bianchini F. *The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators*. L.: Demos, 1995; Landry C. *The Creative City: A Conceptual Toolkit*. Stroud: Comedia, 2000.

¹⁴ Дискуссии по поводу термина «креативный город» см.: Peck J. *Struggling with the Creative Class* // *International Journal of Urban and Regional Research*. 2005. Vol. 29. No. 4. P. 740–770; Pratt A.C. *Creative Cities: The Cultural Industries and the Creative Class* // *Geografiska Annaler: Series B — Human Geography*. 2008. Vol. 90. No. 2. P. 107–117.

¹⁵ См.: Brown A., Cohen S., O'Connor J. *Music Policy in Sheffield, Manchester and Liverpool: A Report for Comedia*. Manchester: MIPC, 1998; Cohen S. *Decline, Renewal and the City in Popular Music Culture: Beyond the Beatles*. Farnham: Ashgate, 2007.

¹⁶ О важности музыкальных мероприятий и музыкального туризма в жизни городов см.: Atkinson C. *Music's Place in the Packaging of New Orleans for Tourism* // *Tourism and Tourism: Identifying with People and Places* / S. Abram, J.D. Waldren, D. Macleod (eds). Oxford: Berg, 1997. P. 91–106; Gibson C., Homan S. *Urban Redevelopment, Live Music, and Public Space: Cultural Performance and the Re-Making of Marrickville* // *International Journal Of Cultural Policy*. 2004. Vol. 10. No. 1. P. 241–259; Gibson C., Connell J. *Music and Tourism: On the Road Again*. Clevedon: Channel View Publications, 2005.

¹⁷ Brown A., O'Connor J., Cohen S. *Local Music Policies within a Global Music Industry: Cultural Quarters in Manchester and Sheffield* // *Geoforum*. 2000. No. 31. P. 437–451; Cohen S. *Decline, Renewal and the City in Popular Music Culture...*

¹⁸ Scott A.J. *The Cultural Economy of Cities. Essays on the Geography of Image-Producing Industries*. L.: Sage, 2000; Evans G. *Hard-branding the Cultural City. From Prado to Prada* // *International Journal of Urban and Regional Research*. 2003. Vol. 27. No. 2. P. 417–440; Tarassi S. *Livemi: Reimagining Milan: Popular Music Policies and Urban Regeneration* // *Comunicazioni Sociali*. 2011. No. 5. P. 76–86.

В целом культурная политика в британских постиндустриальных городах реализовывалась по двум направлениям. В первую очередь происходила работа над новыми городскими образами. Поскольку образы старых промышленных городов отталкивали инвесторов, на протяжении 1980-х годов произошло переосмысление техник презентации их культурного наследия и творческих возможностей. В связи с этим был реализован ряд проектов по строительству новых объектов, которые, с одной стороны, репрезентировали бы культурную историю постиндустриальных городов, а с другой — выступали бы в качестве туристических объектов. Уже в начале 1990-х годов в результате такой политики британские города стали реконструироваться по модели европейских городов, где концепции туризма и городского культурного наследия были тесно взаимосвязаны. В рамках проектов городской регенерации реконструировались прежде всего городские центры, где новые кафе и рестораны встраивались в атмосферные культурные кварталы, привлекая туристов¹⁹. Так, исследователи Адам Браун, Джастин О'Коннор и Сара Козн²⁰ отмечают роль открытия ночных баров и клубов в продвижении образа Манчестера как динамичного города, который «никогда не спит» (*24 hours' city*), и «экономики ночного образа жизни» (*nightlife economy*) в целом. В этом контексте создание новых музыкальных площадок и появление новых музыкальных сцен на основе музыкальных традиций и истории города, а вместе с этим и развитие музыкального туризма, стали одним из приоритетных направлений британского постиндустриального региона. Новые стратегии ребрендинга, использующие музыкальные события в качестве инструмента для продвижения образа города как динамичной среды, были использованы, чтобы обозначить «музыкальные» города на культурной карте страны и привлечь инвестиции в развитие культурных индустрий²¹.

Второе направление культурной политики в британских постиндустриальных городах касалось следующей проблемы — возможности трудоустройства в сфере культуры. Новый подход к этой задаче впервые был предложен Советом Большого Лондона (Greater London Council) в начале

¹⁹ См. о культурном квартале в Манчестере: O'Connor J., Lovat A., Milestone K. *Culture and the Northern Quarter*. MIPC, Manchester, 1993.

²⁰ Brown A., Cohen S., O'Connor J. *Music Policy in Sheffield, Manchester and Liverpool...* P. 8.

²¹ Эти проблемы были рассмотрены исследователями на примере ряда городов, демонстрируя трудности, с которыми на выходе сталкиваются муниципальные власти, пытаясь балансировать между стремлением продвигать музыку и развлечения и возрастающим интересом инвесторов: Connell J., Gibson C. *Sound Tracks: Popular Music, Identity and Place*. L.; N.Y.: Routledge, 2003; Gibson C., Homan S. *Urban Redevelopment, Live Music, and Public Space: Cultural Performance and The Re-Making of Marrickville* // *International Journal Of Cultural Policy*. 2004. Vol. 10. No. 1. P. 241–259; Gibson C., Connell J. *Music and Tourism*, Channel View Press. Buffalo, NY; Toronto: University of Toronto Press, 2005.

1980-х годов. В рамках этого подхода была начата разработка новой культурной стратегии, которая охватила бы кино и телевидение, музыку, издательство, дизайн и т.д. и позволила развить и стимулировать рынок труда в бывших промышленных городах Великобритании. Предложенный Советом подход подчеркнул экономический потенциал культурного сектора и был направлен на преодоление стереотипных представлений, закрепившихся в Великобритании и в англосаксонских странах в целом, о том, что искусство, культура и творчество не связаны с бизнесом и экономикой. Ярким примером может служить переустройство так называемых Доклендс (London Docklands) — бывшего рабочего района на юго-востоке Лондона, где располагались корабельные доки. Район был почти полностью разрушен во время воздушных бомбардировок в начале Второй мировой войны, однако в силу серии экономических спадов в Британии его реконструкция началась только в начале 1980-х годов. Большая программа в 1980–1990-х превратила огромную территорию Доклендс в сеть жилых домов, культурных центров и музеев об истории района²², коммерческих зданий и легкой индустрии. Главным символом этих огромных усилий стал проект Кэнэри Уорф, в ходе которого были построены самые высокие здания Британии и был создан второй финансовый центр в Лондоне. Несмотря на отсутствие понимания этой стратегии многими городскими властями, тем не менее, к середине 1990-х годов программы оживления и реконструкции городов с акцентом на их культурном развитии стали распространенными в городах Великобритании. В этом контексте и популярная культура также была включена в концепт искусства и культуры как «образа жизни» города.

Идея репрезентации музыкальных историй в условиях новой городской политики и особенности местных экономических стратегий в рамках новой культурной политики северных и северо-западных британских городов сформировали разные форматы включения популярной культуры и музыки, в частности в новые городские образы. Опыт таких городов, как Ливерпуль, Манчестер, Ньюкасл, Бирмингем, Шеффилд оказался различным²³. Если в случае с Ливерпулем и Манчестером сюжеты музыкальной истории были успешно встроены в городскую историю и сами городские образы были репрезентированы через историю музыкальную, то случай Шеффилда и Бирмингема демонстрирует неудачный опыт ребрен-

²² См., например: Museum of London Docklands. 2015. [Эл. ресурс]. Режим доступа: <<http://www.museumoflondon.org.uk/docklands/>>, свободный (дата обращения 20.10.2016 г.).

²³ В данном контексте необходимо отметить исследование социологов Карен Эванс, Пенни Фрейзер и Яна Тейлора, посвященное сравнительному анализу постиндустриального состояния Манчестера и Шеффилда: Evans K., Fraser P., Taylor I. *A Tale of Two Cities: Global Change, Local Feeling, and Everyday Life in the North of England: A Study in Manchester and Sheffield*. L.: Routledge, 1996.

динга городов. В рамках настоящего исследования будет рассмотрен кейс Шеффилда, а точнее — Квартал культурной индустрии (Cultural Industries Quarter, CIQ) и Национальный центр популярной музыки (National Centre for Popular Music).

Популярная музыкальная культура в контексте программы культурного возрождения и регенерации Шеффилда

Как уже отмечалось, в 1980-е годы переосмысление целей и содержания культурной индустрии происходило в условиях изменения стратегий регенерации городов. Итогом стало возникновение концепции культурных кварталов²⁴. Несмотря на то что в американской версии культурные кварталы, как правило, ориентированы на потребление вместе с развитием офисного сектора, инициатива подхода Совета Большого Лондона была направлена на создание культурных кварталов в качестве центров городской регенерации. Ранее пустынные или разрушенные районы — старые промышленные зоны XIX века, исторически расположенные недалеко от центральных деловых районов, — были перестроены для проведения выставок и перформансов, а также для создания новых музыкальных клубов, в которых получили бы развитие существующие в городе музыкальные сцены.

Шеффилд, как многие другие индустриальные города Великобритании, после промышленного подъема в XIX веке к 1980-м годам сполна ощутил катастрофу деиндустриализации, и с тех пор местные власти вели поиски новых ресурсов трудоустройства и заработка²⁵. Город пережил постепенное осознание того, что эти изменения требуют не только развития новых отраслей производства или услуг, но и его полного «переоткрытия». Как отмечают исследователи Адам Браун, Джастин О'Коннор и Сара Коэн²⁶, многие британские города, прежде всего промышленные, к концу 1980-х годов в большей или меньшей степени усвоили тезис о том, что их будущее зависит от новых форм инвестирования через развитие частного бизнеса. Не ме-

²⁴ *Montgomery J.* Cultural Quarters as Mechanisms for Urban Regeneration. Part 1: Conceptualizing Cultural Quarters // *Planning Practice & Research*. 2003. Vol. 18. No. 4. P. 293–306; *Idem.* Cultural Quarters as Mechanisms for Urban Regeneration. Part 2: A Review of Four Cultural Quarters in the UK, Ireland and Australia // *Planning Practice & Research*. 2004. Vol. 19. No. 1. P. 3–31.

²⁵ См.: *Tweedale G.* Steel City: Entrepreneurship, Strategy, and Technology in Sheffield 1743–1993. Wotton-under-Edge: Clarendon Press, 1995; *DiGaetano A., Lawless P.* Urban Governance and Industrial Decline: Governing Structures and Policy Agendas in Birmingham and Sheffield, England, and Detroit, Michigan, 1980–1997 // *Urban Affairs Review*. 1999. Vol. 34. No. 4. P. 546–577.

²⁶ *Brown A., O'Connor J., Cohen S.* Local Music Policies within a Global Music Industry... P. 438–439.

нее важным стало осознание необходимости проведения новой политики городской планировки и перепланировки, создания местных налоговых и финансовых стимулов (как правило, через центральные правительственные инициативы), маркетинговых схем, интегрированной поддержки бизнеса и т.д.

Идея ревизии культурного наследия Шеффилда на фоне индустриального прошлого города и региона в целом была встречена британскими властями крайне скептически. Так, член Партии консерваторов британского Парламента Майкл Фабрикант в публикации Комитета по культуре, медиа и спорту назвал Шеффилд «непривлекательным, старым и грязным» («Sheffield is not sexy, it is old and dirty»²⁷). Эта оценка усилила представление о Шеффилде как об очередном северном английском городе, который не поддается реставрации. В этом контексте Шеффилд оказался среди многих индустриальных городов Великобритании, культурная история которых полностью перекрывалась и нивелировалась их промышленным прошлым. Как отмечает исследователь культуры Стивен Маллиндер²⁸, тем не менее Шеффилд стремился к «культурному искуплению», прежде всего через апелляцию к богатому музыкальному прошлому города: так называемому «северному блюзу и соулу» 1960-х годов и фигуре Джо Кокера; к музыкальным движениям нью-вейв и хеви-метал 1980-х годов, прежде всего, хеви-метал-группе «Def Leppard»; а на более поздних этапах и к танцевальной культуре и супер-клубам 1990-х годов, а также популярным брит-рок группам «Pulp» и «Arctic Monkeys». Реактуализация и репрезентация разных музыкальных сцен в разные декады второй половины XX века виделась основным источником возрождения города и привлечения инвесторов и туристов.

Историк Линда Мосс²⁹ указывает, что реификация музыкального прошлого города была связана с отсутствием эффективных механизмов развития предпринимательской деятельности в культурном секторе. В 1993 году Городской совет Шеффилда выиграл тендер на проведение второго фестиваля «Radio One Sound City», целью которого стало повышение интереса к музыкальному сектору и музыкальной истории города, а также привлечение посетителей со всей Англии³⁰. В связи с этим на волне интереса к про-

²⁷ См.: *Kerslake B., Brailey S. Select Committee on Culture, Media and Sport Minutes of Evidence. Examination of Witnesses (Questions 20–39). 16 October 2001.* [Эл. ресурс]. Режим доступа: <<http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200102/cmselect/cmcmmeds/264/1101607.htm>>, свободный (дата обращения 20.10.2016 г.).

²⁸ *Mallinder S. Sheffield is not Sexy // Nebula. 2007. Vol. 4. Iss. 3. P. 293.*

²⁹ *Moss L. Sheffield's Cultural Industries Quarter 20 Years On: What Can Be Learned from a Pioneering Example? // International Journal of Cultural Policy. 2002. Vol. 8. No. 2. P. 211.*

³⁰ См. подробнее об этом: *Brown A. Cohen S., O'Connor J. Music Policy in Sheffield, Manchester and Liverpool... P. 5.*

ектам регенерации северных британских городов в 1990-е годы была реализована попытка создания культурного квартала в Шеффилде (Sheffield's Cultural Industries Quarter)³¹. Центральная позиция в его концепции была отведена популярной музыке как культурному наследию города, а ключевым местом должен был стать Национальный центр популярной музыки (National Centre for Popular Music). Однако в силу неумелой экономической политики местных властей и неспособности стимулировать предпринимательскую деятельность этот проект оказался unsuccessful. Непопулярность культурного квартала и последующее закрытие Центра как его «талисмана» обозначили, в том числе, и существующие проблемы институционализации популярной музыки как культурного капитала. Рассмотрим детальнее опыт создания культурного квартала и Национального центра популярной музыки.

1. Квартал культурной индустрии в Шеффилде

Развитие Квартала культурной индустрии в Шеффилде стало ответом на два существенных фактора. Первым фактором являлся промышленный упадок, который привел к массовой безработице в городе в первой половине 1980-х годов. В результате муниципальные власти города через стимуляцию сектора культурной и медиаиндустрии стремились создать новые рабочие места. Вторым фактором стала идея развития собственно музыкальной сцены в городе, уже имеющей богатую историю. К концу 1970-х годов в Шеффилде сформировались сильные авангардные, пост-панк и танцевальные музыкальные группы, такие, как «The Human League», «Cabaret Voltaire», «ABC», «Heaven 17». Эти группы сотрудничали с крупными музыкальными лейблами и имели значительный успех на национальном уровне. Исследователи Адам Браун, Джастин О'Коннор и Сара Коэн отмечают³², что в 1982 году музыкальный вклад Шеффилда составлял 5% от общенационального рынка, что являлось достаточно высоким показателем. Тем не менее музыканты отмечали нехватку или полное отсутствие площадок и технических возможностей для записи и организации музыкальных концертов. Вместо того чтобы мигрировать в более активный и перспективный в творческом плане Лондон, музыканты из Шеффилда стали сотрудничать с муниципальными властями с целью развития музыкальной индустрии в городе — создания репетиционных баз, звукозаписывающих студий и музыкальных клубов для проведения концертов³³.

³¹ См.: Sheffield Cultural Industries Quarter. 2015. [Эл. ресурс]. Режим доступа: <<http://www.ciq.org.uk/>>, свободный (дата обращения 20.10.2016 г.).

³² Brown A., O'Connor J., Cohen S. Local Music Policies within a Global Music Industry... P. 439.

³³ См. интервью доктора Адама Брауна с руководителем Комитета по развитию культуры Шеффилда Полом Скелтоном: Ibid. P. 439–440.

На протяжении последующих 10 лет при поддержке Городского совета и Городской программы Великобритании (UK Urban Programme)³⁴ в городе были перестроены и отремонтированы многие заброшенные дома, расположенные рядом с центром города, которые стали знаковыми местами развития его музыкальной индустрии и в целом работали на репрезентацию Шеффилда как музыкального города. Концепцией данного проекта стала презентация Шеффилда как одновременно музыкального и промышленного города, поэтому архитектура вновь построенных и отремонтированных домов была призвана подчеркнуть единство этих двух разных составляющих городского прошлого. Были открыты музыкальный клуб «The Leadmill», где выступали местные исполнители и музыкальные группы; студия звукозаписи «Red Tape» (1986) — первая городская рекорд-студия, которая разрабатывала курсы по обучению технике звукозаписи, а также предлагала дешевое оборудование и низкую арендную плату на использование репетиционных помещений; «Audio Visual Enterprise Centre» (1988), где базировались ряд независимых рекорд-лейблов; центр «The Workstation», который также предоставлял пространство и оборудование для проведения музыкальных перформансов и выставок и с 1994 года стал сотрудничать с Северной медиашколой Университета Шеффилда Халлам (Northern Media School, Sheffield Hallam University) и Комиссией независимого телевидения (Independent Television Commission)³⁵; а также Национальный центр популярной музыки (1999). Все новые предприятия спонсировались как из городского бюджета, так и с привлечением частных инвесторов, а также на общественные пожертвования.

Целью разработки квартала было развитие, прежде всего, локальной музыкальной сцены, что в будущем должно было создать особые творческие условия для появления новых известных музыкальных групп и исполнителей. Планировалось, что Квартал культурной индустрии Шеффилда пройдет четырехэтапный план развития — от локального, регионального и национального до международного. Инфраструктура квартала, как предполагалось, должна была быть ориентирована как на развитие локальной музыкальной сцены и индустрии, так и на создание в будущем туристического музыкального аттракциона (крупных музыкальных фестивалей, новых концертных площадок, музыкальных музеев), который привлек бы посетителей из разных уголков Англии и других стран, кардинально меняя образ Шеффилда. Как отмечает исследователь и один из разработчиков проекта создания культурных кварталов в британских городах Джон Монтгомери³⁶, в действительно-

³⁴ Moss L. Op. cit. P. 214.

³⁵ Brown A., Cohen S., O'Connor J. Music Policy in Sheffield, Manchester and Liverpool... P. 7.

³⁶ Montgomery J. Cultural Quarters in Dublin, Sheffield, Manchester and Adelaide // City Edge: Case Studies in Contemporary Urbanism / E. Charlesworth (ed.). L.: The Architectural Press, 2005. P. 87–91.

сти Квартал культурной индустрии не имел того катализирующего эффекта на музыкальную индустрию в городе, как это предполагалось изначально. Несмотря на то что квартал был ориентирован на развитие культурных индустрий, а не только музыкального сектора, в Шеффилде не произошло существенного развития последнего. В отчете о реализации проекта за 1997 год³⁷ отмечались кинематограф и музыка в качестве основных секторов культурного развития, и на тот момент эти секторы репрезентировали только 30% развития всего культурного квартала, причем большая часть музыкального бизнеса была локализована в центре «The Workstation». Тем не менее наиболее успешные музыкальные сцены Шеффилда 1990-х годов, прежде всего пост-эйсид-хаус техно, появились за пределами культурного квартала на базе независимого рекорд-лейбла «Warp Records». Сам лейбл на данный момент является одним из крупнейших независимых танцевальных лейблов в Великобритании. В то же время успех таких музыкальных групп 1990-х, как «Pulp», «Longpigs» и «Babybird», не был использован и включен в создание имиджа Шеффилда как музыкального города.

Следует отметить, что сама политика инвесторов и застройщиков культурного квартала в Шеффилде оказалась крайне противоречивой. Исследователи Адам Браун, Джастин О'Коннор и Сара Коэн указывают³⁸ на недовольство в среде инвесторов дешевой арендной стоимостью студий звукозаписи, площадок и оборудования для организации и проведения концертных выступлений. В результате созданное для развития культурного сектора пространство зачастую просто использовалось под административные нужды. А непоследовательная и достаточно агрессивная городская политика в отношении культурного центра «Red Tape» (например, ограничения на время использования площадок, запрет курения на территории центра и т.д.) отпугнула музыкантов и современных художников. В качестве сравнения Джон Монтгомери указывает³⁹ на то, что культурный квартал («Северный квартал», Northern Quarter), созданный несколькими годами позже в Манчестере, был ориентирован на эклектичное сочетание государственного и частного сектора, не притесняя частный музыкальный бизнес и не вводя дополнительных ограничений. В конечном счете это способствовало развитию музыкальной индустрии и созданию имиджа Манчестера как креативного и музыкального города с развитым музыкальным туризмом⁴⁰.

³⁷ EDAW/Urban Cultures, 1997. Sheffield CIQ Strategic Vision and Development Study. Sheffield City Council, Sheffield. Цит. по: Montgomery J. The New Wealth of Cities: City Dynamics and the Fifth Wave. Aldershot: Ashgate, 2008. P. 331.

³⁸ Brown A., O'Connor J., Cohen S. Local Music Policies within a Global Music Industry... P. 441.

³⁹ Montgomery J. Cultural Quarters in Dublin, Sheffield, Manchester and Adelaide... P. 91–93.

⁴⁰ Примечателен пример социального клуба «The Salford Lads' Club» в городе Салфорд (Большой Манчестер). В настоящее время деятельность клуба направлена на поддержание и

Исследователи Эш Амин и Стивен Грэм в то же время указывают⁴¹ на проблему барьеров между культурными кварталами и самими городами в современной Великобритании, в особенности в отношении постиндустриальных городов, подвергшихся перепланировке и реконструкции. Территориально Квартал культурной индустрии в Шеффилде расположен близко к центру города — между железнодорожным вокзалом и основными торговыми улицами Шеффилда. Тем не менее он значительно обособлен от основных мест организации культурного досуга для жителей города. Несмотря на открытие Национального центра популярной музыки, некоторых баров и пабов, те выставочные пространства и галереи, которые были созданы в культурном квартале, оказались по большей части невостребованными, в том числе из-за их «несостыкованности» с центральным районом города. Джон Монтгомери обращает внимание⁴² на то, что именно в Шеффилде культурный квартал не обладал ни одним из качеств хорошего городского публичного места, где бы в равной степени сосуществовали «деятельность, форма и смысл» (*activity, form and meaning*), как это было в случае с успешными проектами городской регенерации в Манчестере и Ливерпуле.

2. Национальный центр популярной музыки

Национальный центр популярной музыки был открыт в марте 1999 года при финансовой поддержке фонда «UK Lottery Funding». Руководство центра обозначало его локальное и национальное значение, ожидая до 500 тыс. посетителей центра ежегодно⁴³. В рекламных буклетах Центра подчерки-

сохранение памяти о культурной и социальной истории клуба и города Салфорд, где наблюдается разрушение связей с прошлым и своего рода феномен «исторической амнезии». «The Salford Lads' Club» в этом контексте позиционируется как аутентичный исторический памятник — как один из последних «выживших» дореволюционных клубов своего вида, продолживший работу с молодежью и сохранивший традиции английской клубной жизни. Вместе с активным участием в социальной жизни региона «The Salford Lads' Club» также стал культовым местом в музыкальном сообществе Великобритании и оказался одним из центров музыкальной истории Манчестера. С появлением фотографии популярной британской инди-группы «The Smiths» на фоне главного входа клуба в буклете к альбому «The Queen Is Dead» (1986) «The Salford Lads' Club» оказался местом паломничества фанатов со всего мира, а открытая в 2004 году «Smiths Room» стала мини-музеем группы. См.: *Cohen S., Roberts L. Heritage Rocks! Mapping Spaces of Popular Music Tourism // The Globalization of Musics in Transit: Music Migration and Tourism / S. Krüger, R. Trandafoiu (eds). N.Y.: Routledge, 2014. P. 35–58; Dickens L., MacDonald R.L. "I Can Do Things Here That I Can't Do In My Own Life": The Making of a Civic Archive at the Salford Lads' Club // ACME: An International E-Journal for Critical Geographies. 2014. P. 377–389.*

⁴¹ Amin A., Graham S. The Ordinary City // Transactions of the Institute of British Geographers. 1997. Vol. 22. Iss. 4. P. 411–429.

⁴² Montgomery J. Cultural Quarters as Mechanisms for Urban Regeneration. Part 2... P. 10.

⁴³ Moss L. Op. cit. P. 218.

валось единство музыкального и промышленного прошлого города: «Национальный центр популярной музыки является первым в мире зданием такого качества — инновационным и образовательным центром, ориентированным на динамику и разнообразие современной популярной музыки <...>. Расположенные в районе культурной индустрии города, четыре характерных здания в форме барабана из нержавеющей стали сочетают индустриальное прошлое города с инновациями технологий, искусством и витальностью популярной музыки»⁴⁴.

Дизайн Центра был выстроен вокруг концепции четырех зданий в форме барабанов, каждое здание включало специальные тематические выставки и коллекции на разнообразные темы: («танцевальная музыка», «религия», «протестные движения», «любовь»), а также было посвящено конкретным популярным музыкальным исполнителям и группам, которых посетителям предлагалось угадать. Сама подборка артистов не была систематизирована, а зачастую и вовсе представлялась специфичной (так, например, в список исполнителей попал Лучано Паваротти и его эпоха). Несмотря на название, Центр в большей степени представлял собой музей, где, с одной стороны, в той или иной степени была представлена история мировой популярной музыки (с акцентом на музыкальной истории Великобритании); с другой — Центр позиционировался в качестве высокотехнологичной площадки и стремился предложить посетителям «пощупать» и «испытать» популярную музыку в действии. Экспозиции Центра включали подборку музыкальных артефактов (музыкальных инструментов, одежды музыкантов, их личных вещей), а также электронные энциклопедии, в которых можно было найти историю представленных музыкальных групп и исполнителей. В Центре были установлены специальные автоматы и компьютеры, с помощью которых можно было ознакомиться с основными понятиями и процессами музыкальной индустрии (например, звукозапись или музыкальные носители). В целом коллекции Центра представляли разрозненную музыкальную картину из фактов, имен и музыкальных примеров. Так, посетитель мог прочитать краткую справку о той или иной музыкальной группе, послушать отрывок из песни или увидеть музыкальный клип, но предлагаемые для знакомства группы были полностью лишены рассказа о тех контекстах, в которых они существовали. В результате, как указывают исследователи Тара Брабазон и Стивен Маллиндер⁴⁵, Центр, во-первых, столкнулся с проблемой презента-

⁴⁴ См.: National Centre for Popular Music // Nigelcoates, 2016. [Эл. ресурс]. Режим доступа: <http://nigelcoates.com/project/national_centre_for_popular_music>, свободный (дата обращения 20.10.2016 г.).

⁴⁵ *Brabazon T., Mallinder S. Popping the Museum: The Cases of Sheffield and Preston // Museum and Society. 2006. Vol. 4. No. 2. P. 96–112.*

ции музыкального материала в музейном пространстве⁴⁶, во-вторых, он в большей степени был устроен по принципу научного парка.

Несмотря на активную рекламную кампанию в местных и национальных медиа, сразу же после открытия Центр получил самые неоднозначные оценки и комментарии со стороны британских музыкантов, журналистов и общественных деятелей, в конечном счете оказавшись совершенно непопулярным среди широкой аудитории. Например, вокалист группы «Pulp» Джарвис Кокер на одном из выступлений охарактеризовал его как «настоящую трату денег»⁴⁷. Музыкальный журналист Мартин Лиллекер описывает свое разочарование деятельностью Центра следующим образом: «Стоимость входного билета составляла 7 фунтов 25 центов, что было недешево. Совершенно упущенным оказалось обращение к богатому музыкальному прошлому самого Шеффилда. Исключением стала лишь выставка в последнем зале, посвященная музыкальной истории Шеффилда 1960-х, 1970-х и 1980-х, представленная в фотографиях, музыкальных записях, фэнзинах и других предметах»⁴⁸. Оставив за скобками культурное значение музыки, специфику ее структуры и функционирования, организаторы Центра практически сразу после его открытия получили массу недоуменных отзывов от посетителей, ожидавших увидеть более полную картину истории и устройства музыкальной индустрии и самой популярной музыки как культурного явления.

Помимо формата экспозиций, не менее важным оказался и временной контекст открытия Центра. Концепция Центра о репрезентации музыкального прошлого в энциклопедическом формате, в виде виртуальных справочников и инсталляций, с одной стороны, и материальных и вещественных выставок — с другой, оказалась полностью несостоятельной в конце 1990-х — начале 2000-х. Это время совпало с появлением и развитием YouTube и распространением цифровых технологий, в результате чего стало очевидно, что подобный опыт в рамках музейного пространства неинтересен и не нужен широкой аудитории. Неудача и непопулярность Центра, как отмечает историк Линда Мосс⁴⁹, была полностью связана с упущением и неверным прогнозом относительно ожиданий потенциальных посетителей и развития культуры потребления самой популярной музыки в условиях новых медиа.

⁴⁶ О сложностях репрезентации эфемерного музыкального материала через материальные артефакты в рамках музейного пространства см. подробнее: *Leonard M. Constructing Histories Through Material Culture // Popular Music History. 2007. Vol. 2. No. 2. P. 147–167; Idem. Exhibiting Popular Music: Museum Audiences, Inclusion and Social History // Journal of New Music Research. 2010. Vol. 39. No. 2. P. 171–181.*

⁴⁷ Цит. по: *Brabazon T., Mallinder S. Op. cit. P. 102.*

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Moss L. Op. cit. P. 218.*

В результате финансовые трудности привели к закрытию Центра уже в начале 2000 года. Экспозиционные предметы были вывезены и проданы на аукционах. И частично они попали в коллекции других музеев Великобритании по истории популярной культуры (главным образом в Манчестер, Ливерпуль и Лондон). В 2003 году здание Центра перешло во владение Университета Шеффилда Халлам, где был основан и в настоящее время функционирует Центр студенческого совета университета⁵⁰.

В конечном счете те же проблемы, с которыми столкнулся Квартал культурной индустрии в Шеффилде, т.е. неспособность учесть и отреагировать на интересы местной и национальной аудитории, а также проблемы месторасположения и муниципальных стратегий, привели к банкротству и провалу проекта Национального центра популярной музыки. Отсутствие сегмента непосредственно музыкальной культуры Шеффилда в рамках выставочного комплекса лишило Центр его уникальности. Решение представить музыку через тактильный опыт в музейном пространстве без учета всей специфики самого репрезентируемого материала также оказалось одной из причин его неудачи. Вместе с тем музыка была представлена только в категориях коммерческого успеха, что оставило за скобками дефиниции самого звука, его эффект и коммуникативные свойства, а также место и роль музыки в социальных и культурных трансформациях в прошлом и настоящем.

Успешный опыт реализации проекта культурной регенерации таких постиндустриальных британских городов, как Ливерпуль и Манчестер, показывает многоформатность использования музыкального прошлого в репрезентации образов этих городов. В этом контексте провал проекта Национального центра популярной музыки в Шеффилде, так же как и квартала культурной индустрии, маркирует определенные проблемы институционализации популярных музыкальных форм в качестве основного элемента и инструмента городской регенерации. Городской музыкальный нарратив в Шеффилде был реализован через паттерны культурного производства и потребления без учета более широких культурных, исторических и социальных контекстов функционирования музыки. Модель реконструкции Шеффилда оказалась неудачной по ряду обстоятельств, связанных и с муниципальной политикой, и с просчетом потребительских ожиданий, и с игнорированием специфики самой музыкальной сцены в Шеффилде. Наконец, не менее важным оказался временной фактор — развитие в конце

⁵⁰ Wainwright M. Students Given Pop Centre // The Guardian. 2003. February 22. [Эл. ресурс]. Режим доступа: <<http://www.theguardian.com/uk/2003/feb/22/education.arts>>, свободный (дата обращения 20.10.2016 г.).

1990-х — начале 2000-х годов новых медиа (главным образом, интернет-ресурса YouTube) требовало более продуманного формата репрезентации музыкального прошлого и выстраивания на его основе образа Шеффилда как «музыкального города».

Тем не менее настоящий проект оказался одним из первых в данном направлении и по большому счету не учитывал особенности самого города и его ресурсов. Социальные, экономические и культурные условия Шеффилда требовали более основательных стратегий, учитывавших и высокий уровень безработицы в городе, и экономический кризис, но вместе с этим и богатое культурное наследие города. Сам проект обозначил существенные трансформации в векторе и формате политики городской администрации, уловившей современные тенденции в направлении обновления постиндустриальных городов. Отсутствие активного антрепренерского сектора требовало большей основательности и дальновидности от городской администрации, что привело к определенному зонированию культурных кварталов, а не к их органичному развитию, как это случилось позже в рамках проектов городской регенерации в Ливерпуле и Манчестере.

Источники использованных иллюстраций

На обложке

Benozzo Gozzoli (1420–1497). Journey of the Magi La Capella dei Magi
<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gozzoli_magi.jpg>

На шмуцтитule к разделу «ВИНОГРАД НАУК, ФОНТАН ИДЕЙ»:
ИСТОРИЯ ИДЕЙ И ДИСЦИПЛИН

Beato Angelico (Fra Angelico, 1395–1455). The Last Judgment
<<http://aphelis.net/fra-angelico-last-judgment/>>

На шмуцтитule к разделу «В ЧЕРТОГАХ ЗАБВЕНИЯ»: ИНСТИТУТЫ
И ПОЛИТИКИ ПРОШЛОГО

Jan van Call (1675–1685). Amfitheater te Kleef, naar het Noorden
<<https://www.rijksmuseum.nl/en/collection/RP-T-1889-A-1918>>

На шмуцтитule к разделу «БЕСЕДЫ И ПРОГУЛКИ»: ПРОСТРАНСТВА
И ПРАКТИКИ КОММУНИКАЦИИ

фотография из архива Н.В. Самутиной

The Garden of Academic Delights: a collection of writings of the Poletayev Institute for Theoretical and Historical Studies in the Humanities issued on the occasion of Prof. Irina M. Savelieva's anniversary celebration [Text] / Executive editors E. A. Vishlenkova, A. N. Dmitriev, N. V. Samutina; National Research University Higher School of Economics, Poletayev Institute for Theoretical and Historical Studies in the Humanities. — Moscow: HSE Publishing House, 2017. — 352 pp. — 500 copies. — ISBN 978-5-7598-1551-8 (hardcover). — ISBN 978-5-7598-1625-6 (e-book).

The collection is a festschrift on the occasion of Prof. Irina M. Savelieva's anniversary celebration. In 2002, Prof. Savelieva has founded, together with Andrey V. Poletayev, and led ever since the Poletayev Institute for Theoretical and Historical Studies in the Humanities. She is also a tenured professor at the National Research University Higher School of Economics. The book's structure reflects a variety of the research interests of the Institute's academic staff. It comprises works on the history of ideas and science, articles on the representation and politics of the past, and studies of the communication practices in various media and the urban environment.

The book addresses both professional researchers and those interested in the contemporary trends in the humanities.

Научное издание

Сад ученых наслаждений

Сборник трудов ИГИТИ к юбилею профессора И.М. Савельевой

Зав. редакцией Е.А. Бережнова

Художник В.П. Коршунов

Компьютерная верстка: Н.Е. Пузанова

Корректор Е.Е. Андреева

Подписано в печать 16.12.2016. Формат 70×100/16. Гарнитура Minion

Усл.-печ. л. 28,6. Уч.-изд. л. 23,0

Тираж 500 экз. Изд. № 2092. Заказ 9230

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

101000, Москва, ул. Мясницкая, 20

Тел.: (495) 772-95-90 доб. 15285

Отпечатано в АО «Первая Образцовая типография»

Филиал «Чеховский Печатный Двор»

142300, Московская обл., г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1

www.chpd.ru, e-mail: sales@chpd.ru, тел.: 8 (499) 270-73-59



Сборник трудов Института гуманитарных историко-теоретических исследований имени А. В. Полетаева (ИГИТИ) приурочен к юбилею ИРИНЫ МАКСИМОВНЫ САВЕЛЬЕВОЙ — доктора исторических наук, ординарного профессора НИУ ВШЭ, директора ИГИТИ, профессора Школы исторических наук факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ.

И. М. Савельева — пример гармоничного сочетания исследователя, организатора науки и наставника. Автор 12 монографий (большая их часть написана в соавторстве с А. В. Полетаевым) и около 200 статей на русском, английском, немецком, китайском, польском и болгарском языках. Коллеги знают ее как автора фундаментальных теоретических работ, посвященных специфике гуманитарных исследований, условиям и механизмам производства высказываний, знаний, смыслов и ценностей, формирующих и структурирующих поле гуманитарных и общественных дисциплин. Большое внимание И. М. Савельева уделяет социальным аспектам развития исторической науки. В результате многолетнего сотрудничества с ведущими российскими исследователями ею созданы условия для развития целого ряда инновационных направлений в НИУ ВШЭ. Под ее руководством ИГИТИ стал международной лабораторией, уникальным и разносторонним исследовательским коллективом, который реализовал серию масштабных междисциплинарных проектов.



ВЫСШАЯ ШКОЛА
ЭКОНОМИКИ